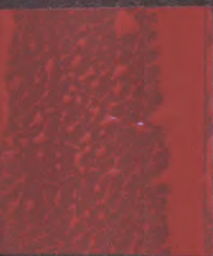
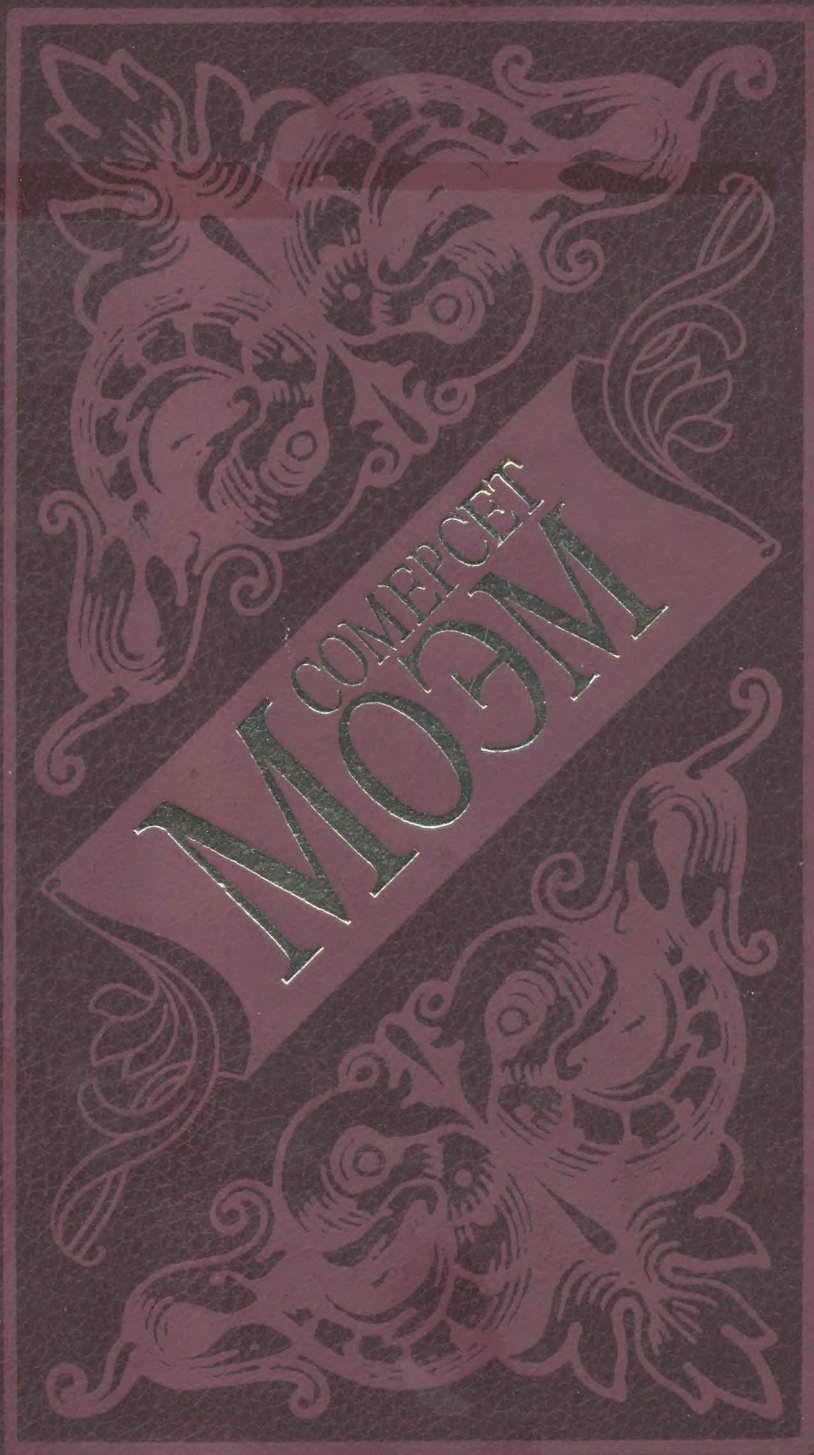


COMERCE
MOGM



8



COMERCET
МОЭМ



СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ

КФЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001

СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Том 8

РАССКАЗЫ

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
М87

Разработка оформления художника
И. МАРЕВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Моэм С.

М87 Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8: Рассказы / Пер с
англ. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2001. — 416 с.

ISBN 5-300-02900-9 (т. 8)

ISBN 5-300-02728-6

Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.

В восьмой том Собрания сочинений включены рассказы, действие которых в большинстве случаев происходит в английских колониях.

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-300-02900-9 (т. 8)
ISBN 5-300-02728-6

© ТЕРРА—Книжный клуб, 2001

РАССКАЗЫ



МАКИНТОШ

Он немного поплескался в море: слишком мелко, чтобы плавать, но забираться на глубину было опасно из-за акул. Потом вышел на берег и побрел в душевую. Прохлада пресного душа была очень приятна после соленой липкости тихоокеанских волн, таких теплых даже в семь утра, что купание не бодрило, а, наоборот, еще больше размаривало. Вытерся и, надевая махровый халат, крикнул повару-китайцу, что будет к завтраку через пять минут. По полосе жесткой травы, которую Уокер, администратор, гордо считал газоном, он прошел босиком в свое бунгало одеваться. Оделся он быстро — весь его костюм состоял из рубашки и парусиновых брюк — и перешел через двор в дом начальника. Они обычно ели вместе, но повар сказал, что Уокер уехал верхом в пять утра и вернется не раньше, чем еще через час.

Макинтош спал скверно и с отвращением посмотрел на поставленные перед ним папайю и яичницу с грудинкой. Москиты в ту ночь совсем осатанели. Они тучами летали за сеткой, под которой он спал, их безжалостное, грозное гудение сливалось в одну протяжную, нескончаемую ноту, словно где-то звучал отдаленный орган — и только задремлешь на минутку, как тут же, вздрогнув, просыпаешься в совершенной уверенности, что хоть один из их воинства да проник под полог. Было так жарко, что он лежал совсем голый. Ворочался с боку на бок. И мало-помалу глухое бие-ние прибоя на рифе, такое неумолчно-монотонное, что обычно его не замечаешь, проникло в его сознание, забарабанило по измученным нервам, и он судорожно сжал кулаки, терпя из последних сил. Мысль, что нет никакой

возможности оборвать эти звуки, что они так и будут повторяться и повторяться до скончания века, была мучительна и будила в нем сумасшедшее желание вскочить и помериться силой с беспощадной стихией. Казалось, еще немного, и он утратит власть над собой, сойдет с ума! И теперь, глядя из окна на лагуну и белую полосу пены на рифе, он содрогнулся от ненависти к этому ослепительному солнечному пейзажу. А безоблачное небо было как опрокинутая, придавившая его чаша. Макинтош закурил трубку и начал перебирать пачку оклендских газет, привезенных из Апии несколько дней назад. Самая свежая была трехнедельной давности. От них веяло несказанной скукой.

Потом он прошел в канцелярию. Это была большая пустая комната с двумя письменными столами и скамьей у стены. На скамье сидело несколько туземцев — среди них две-три женщины. В ожидании администратора они болтали, а когда вошел Макинтош, поздоровались с ним:

— Талофа-ли!

Он поздоровался в ответ, сел за свой стол и принялся работать над отчетом, который настойчиво требовал губернатор Самоа, а Уокер, как обычно оттягивая время, до сих пор не позаботился приготовить. Макинтош писал и мстительно думал, что Уокер запоздал с отчетом из-за своей малограмотности: у него перо и бумага вызывают непреодолимое отвращение; а вот теперь, когда доклад наконец готов, сжатый, четкий, официальный, он заберет труд своего подчиненного, не сказав ни слова похвалы, даже наоборот, еще сострит как-нибудь и посмеется и отправит вверх по инстанциям как собственное произведение. А ведь сам двух слов связать не умеет. Макинтош со злобой подумал, что всякая карандашная вставка шефа заведомо будет подетски наивно и плохо сформулированной. А если он возразит или захочет сделать ее вразумительной, Уокер разъярится и будет кричать: «Черта ли мне в грамматике? Я хочу, чтоб было сказано именно это и именно так!»

Наконец явился Уокер. Туземцы сразу окружили его, стараясь завладеть его вниманием, но он грубо оборвал их и велел сидеть и помалкивать, не то, если будет шум, он выставит их за дверь и сегодня не примет.

— А, Мак! — кивнул он Макинтошу. — Проспались наконец? Не понимаю, чего вы валяетесь в постели чуть не целый день! Вставали бы до света, как я. Лежебока!

Он тяжело плюхнулся в кресло и утер лоб большим пестрым платком.

— Пить хочется, черт подери!

Он обернулся к полицейскому, который стоял у дверей — эдакая живописная персона в белой куртке и лава-лава (набедренной повязке самоанцев), — и приказал подать каву. Чаша с кавой стояла в углу канцелярии. Полицейский зачерпнул половинку скорлупы кокосового ореха и подал Уокеру. Тот брызнул несколько капель на пол, пробормотал требуемое обычаем приветствие присутствующим и жадно осушил скорлупу. Потом велел полицейскому напоить туземцев, и каждый с теми же церемониями напился из скорлупы — по порядку, определяемому возрастом или занимаемым положением.

Только тогда Уокер приступил к делу. Он был заметно ниже среднего роста, просто коротышка, и поражал невероятной толщиной. Крупное мясистое бритое лицо подпирал огромный тройной подбородок, щеки обвисали по сторонам тяжелыми складками; небольшой нос и глаза тонули в сале, и, если не считать полумесяца седых волос на затылке, совершенно голая лысая голова. Что-то вроде мистера Пиквика, нелепая, гротескная фигура — и все же, как ни странно, в нем было свое достоинство. Голубые глазки за большими очками в золотой оправе смотрели проницательно и весело, а в выражении лица было несокрушимое упорство. Ему уже исполнилось шестьдесят, но природное жизнелюбие не поддавалось натиску возраста. Несмотря на толщину, двигался он быстро, а ступал тяжело и решительно, словно хотел оставить на земле отпечатки своих шагов. Голос у него был громкий и грубый.

С тех пор как Макинтош получил назначение на должность его помощника, прошло уже два года. Уокер, который четверть века занимал пост администратора Талуа, одного из относительно крупных островов архипелага Самоа, был широко известен лично или хотя бы по рассказам в Южных морях, и Макинтош с живым любопытством предвкушал встречу с ним. Перед тем как отправиться на Талуа, он по какой-то причине недели на две задержался в Апии и в гостинице Чаплина и в Английском клубе успел послушаться бесчисленных историй про своего будущего начальника. Теперь он с горечью вспоминал о том, какими интересными они ему поначалу показались. С тех пор он их сто раз слышал

от самого Уокера. Уокер знал, что он — легендарная личность, дорожил своей славой и сознательно ей подыгрывал. Он ревниво следил за тем, чтобы анекдоты, которые о нем передавались, были точны во всех подробностях. И смешно сердился, если слышал, что какой-нибудь рассказчик их перевирает.

Сначала Макинтошу нравилось грубоватое добродушие Уокера, а тот, радуясь свежему слушателю, показывал себя с самой лучшей стороны — был весел, сердечен, внимателен. Макинтош до тридцати четырех лет вел тепличное существование лондонского чиновника, пока воспаление легких, грозившее в дальнейшем туберкулезом, не вынудило его просить перевода на острова Тихого океана, и жизнь Уокера показалась ему необыкновенно романтической. Характерно было уже первое приключение, с которого тот начал подчинять себе обстоятельства. В пятнадцать лет он сбежал из дому в море и больше года шуровал уголь на угольщике. Был он заморышем, и матросы, да и помощники капитана его жалели, но сам капитан по какой-то причине терпеть его не мог. Он бил, пинал и гонял мальчика с такой жестокостью, что бедняга часто от боли не мог спать по ночам. Капитана он ненавидел всеми силами души. А потом кто-то подсказал ему лошадь на скачках, и он умудрился занять двадцать пять фунтов у одного знакомого в Белфасте. Лошадь, на которую он поставил, была аутсайдером, и в случае проигрыша ему неоткуда было бы взять деньги для уплаты долга, но ему и в голову не приходило, что он может проиграть. Он был уверен в удаче. Лошадь пришла первой, и он получил более тысячи фунтов наличными. Тут настал его час. Он навел справки, какой нотариус считается в городе лучшим — угольщик стоял тогда у берегов Ирландии, — явился к нему, сказал, что, по его сведениям, судно это продается, и поручил нотариусу осуществить покупку. Нотариус нашел занятым такого юного клиента — Уокеру было шестнадцать, а на вид и того меньше — и, возможно, из симпатии, пообещал все устроить, да еще и наивыгоднейшим образом. И вскоре Уокер стал судовладельцем. Он отправился на угольщик и пережил, по его собственным словам, самую чудесную минуту в своей жизни, объявив шкиперу, что тот уволен и пусть убирается с *его* судна не позже, чем через полчаса. Шкипером он назначил помощника и плавал на угольщике еще девять месяцев, а потом продал его с прибылью.

Он приехал на острова в двадцать шесть лет, чтобы стать плантатором. Обосновался на Талуа еще в то время, когда остров входил во владения Германии и белых там почти не было. Уже тогда он пользовался среди туземцев некоторым влиянием. Немцы сделали его администратором, и он занимал этот пост двадцать лет, а когда остров захватили англичане, должность за ним оставили. Правил он островом деспотично, но вполне успешно. И слава его как управителя тоже вызывала у Макинтоша интерес.

Но они не были созданы друг для друга. Макинтош был некрасивый, тощий мужчина, высокий, с впалой грудью, сутулыми плечами и неуклюжими дергаными движениями. Большие глаза на землистом лице с запавшими щеками смотрели угрюмо. Он питал страсть к чтению, и когда прибыли его книги, Уокер зашел поглядеть на них. Потом с хриплым смешком спросил:

— На кой черт вы приволокли сюда весь этот мусор?

Макинтош багрово покраснел.

— Очень сожалею, что по-вашему это мусор. Свои книги я привез для чтения.

— Когда вы сказали, что к вам должны прийти книги, я-то думал: будет мне что почитать. У вас что, нет никаких детективов?

— Детективные романы меня не интересуют.

— Ну и дурак вы после этого.

— Можете считать и так, если вам угодно.

С каждой почтой Уокер получал массу всякой периодики — газеты из Новой Зеландии, журналы из Америки, и его злило пренебрежение Макинтоша к этим эфемерным изданиям. А книги, которым Макинтош отдавал досуг, его раздражали, он считал, что читать «Упадок и разрушение Римской империи» Гиббона или бертоновскую «Анатомию меланхолии» — одно позерство. А так как держать язык на привязи он был не обучен, то свое мнение высказывал не стесняясь. Макинтош постепенно начинал видеть его в истинном свете и под шумным добродушием обнаружил плебейскую хитрость, которая была ему отвратительна. Уокер оказался хвастлив и нахален, но при всем том еще в глубине души как-то странно робок и оттого питал вражду к людям не своего пошиба. О других он простодушно судил по манере выражаться и если не слышал божбы и грязных ругательств, составлявших значительную часть его собственного лексикона.

кона, то глядел на собеседника с подозрением. По вечерам они вдвоем играли в пикет. Уокер играл плохо, но заносился ужасно, выигрывая, глумился над противником, а если проигрывал, выходил из себя. В тех редких случаях, когда к ним заезжали двое-трое плантаторов или торговцев, чтобы составить партию в бридж, Уокер, по мнению Макинтоша, показывал себя во всей красе. Не обращал внимания на партнера, всегда торговался за прикуп, чтобы непременно играть самому, и без конца спорил, перекрикивая все возражения. Чуть что, брал ход обратно и при этом жалобно приговаривал: «Вы уж простите старику, глаза у меня совсем плохи стали». Понимал ли он, что партнеры предпочитают не навлекать на себя его гнев и сто раз подумают, прежде чем требовать строгого соблюдения правил? Макинтош следил за ним с ледяным презрением. После бриджа они закуривали трубки и, попивая виски, делились друг с другом сплетнями и воспоминаниями. Уокер особенно смачно рассказывал историю своей женитьбы: на свадьбе он так напился, что новобрачная сбежала, и больше он ее никогда не видел. У него было множество приключений с туземками, пошлых и грязных, но он описывал их, безумно гордясь своей лихостью, и оскорблял щепетильный слух Макинтоша. Грубый и похотливый старик, он считал Макинтоша слун-тяем за то, что Макинтош не принимает участия в его амурных похождениях и сидит трезвый в пьяной компании.

Презирал он Макинтоша и за педантичность в исполнении служебных обязанностей. Макинтош любил во всем строгий порядок. Его письменный стол всегда выглядел аккуратно, документы были разложены по местам, чтобы сразу можно было достать, что понадобится, и он знал наизуток все правила и инструкции, которыми регулировалось управление островом.

— Чушь собачья, — говорил Уокер. — Я двадцать лет управлял безо всякой канцелярщины и дальше буду.

— Разве вам легче от того, что приходится битый час разыскивать какое-нибудь письмо? — отвечал Макинтош.

— Бюрократ вы чертов. Хотя вообще-то неплохой парень. Поживете тут годик-другой — исправитесь. Ваша беда, что вы не пьете. Напивались бы раз в неделю, так совсем бы человеком были.

Любопытно, что Уокер совершенно не догадывался о неприязни, которая из месяца в месяц зрела в душе его

подчиненного. Сам он хотя и смеялся над Макинтошем, но, постепенно привыкнув, почти полюбил его. Он вообще относился к чужим слабостям довольно терпимо и скоро успокоился на том, что Макинтош — безобидный чудак. А может быть, он в глубине души потому и питал к нему нежность, что мог сколько угодно над ним потешаться. Ему нужна была мишень для грубых шуток, в которых выражалось его чувство юмора. А тут все: и дотошность помощника, и его нравственные правила, и трезвые привычки — давало повод для издевки. И сама его шотландская фамилия служила отличным предлогом, чтобы лишний раз припомнить какой-нибудь избитый шотландский анекдот. Уокер прямо-таки упивался, когда приезжали гости и можно было потешать их, высмеивая Макинтоша. Он наплел про него какие-то небывлицы туземцам, и Макинтош, еще не вполне владевший самоанским языком, только видел, что они покатываются со смеху в ответ на непристойности, которые слышат от Уокера. Макинтош добродушно улыбался.

— Очко в вашу пользу, Мак! — громко басил Уокер. — Вы не обижаетесь на шутки.

— А это была шутка? — улыбался Макинтош. — Я не понял.

— Одно слово — шотландец! — вопил Уокер и гулко хохотал. — Чтобы шотландец углядел шутку, его прежде прооперировать надо.

Уокер и не подозревал, что Макинтош не выносил, когда над ним смеялись. Он просыпался среди ночи — среди душной, влажной ночи в сезон дождей — и мучительно, угрюмо переживал заново насмешливое замечание, которое походя обронил Уокер неделю назад. Оно жгло его, переполняло его яростью, и он лежал и придумывал способы, как посчитаться с обидчиком. Сначала он пробовал отвечать ему тем же, но Уокер в карман за словом не лез и тут же отшучивался плоско и банально, всегда выходя победителем. Тупость делала его неуязвимым для тонких насмешек, самодовольство служило непробиваемым щитом. Громкий голос, гулкий смех были оружием, которому Макинтош не мог ничего противопоставить, и он на горьком опыте убедился, что лучше всего ничем не выдавать своего раздражения. Он научился сдерживаться. Но его ненависть все росла и росла, пока не превратилась в настоящую манию.

Он следил за Уокером с бдительностью безумца. Он тешил свое большое самолюбие, замечая каждую подлость Уокера, каждое проявление его детского тщеславия, хитрости, вульгарности. Уокер некрасиво ел, жадно и громко чавкал, и Макинтош наблюдал за ним с тайным злорадством. Он упивался каждой глупостью, сказанной Уокером, каждой грамматической ошибкой в его речи. Он знал, что Уокер считает его ничтожеством, и находил в этом горькое презрительное удовлетворение, — чего же еще ждать от этого узколобого самодовольного старика? И особенно его тешило, что Уокер даже понятия не имеет о том, как помощник его ненавидит. Уокер — глупец, любящий, чтобы к нему хорошо относились, вот он и воображает, будто все им восхищаются. Однажды Макинтош услышал, как Уокер говорил про него:

— Он будет молодцом, когда я его хорошенько выдрессирую. Он умный пес и любит своего хозяина.

Над этим Макинтош беззвучно и долго смеялся, не дрогнув ни единым мускулом своего длинного землисто-бледного лица.

Однако ненависть его не была слепой, наоборот, она отличалась необыкновенной проницательностью, и заслуги Уокера Макинтош оценивал вполне точно. Уокер умело правил своим маленьким царством. Был честен и справедлив. Хотя он имел много возможностей быстрой наживы, он не только не разбогател с тех пор, как занял свой пост, но даже стал заметно беднее и в старости мог рассчитывать только на казенную пенсию, которую должен был получить, уйдя на покой. Главной его гордостью было то, что он с одним помощником и клерком-полукровкой ведет дела куда эффективнее, нежели целая армия чиновников на Уполу — острове, где находится главный город архипелага, Апия. Для поддержания власти в его распоряжении было несколько туземных полицейских, но он никогда не прибегал к их помощи, а обходился одним только нахальством и ирландским юмором.

— Вот требовали, чтобы я построил тут тюрьму. А на кой черт мне тюрьма? Стану я запирать туземцев в тюрьму, как же! Если они что-нибудь натворят, я и так с ними управлюсь.

Главное расхождение с властями в Апии у него было по вопросу о том, имеет ли он абсолютную юрисдикцию над

жителями своего острова. Какие бы преступления они ни совершили, он упорно отказывался предать их соответствующим судебным инстанциям, и не раз между ним и губернатором затевалась в связи с этим желчная переписка. Просто он считал туземцев своими детьми. Как ни странно, но этот грубый, вульгарный эгоист горячо любил остров, на котором так долго прожил, и относился к его жителям с суровой нежностью, поистине удивительной.

Он любил развезжать по острову на старой серой кобыле, и красота вокруг ему никогда не приедалась. Труся по травянистой тропе между кокосовыми пальмами, он время от времени останавливался полюбоваться пейзажем. Потом сворачивал в туземную деревушку, и староста подавал ему чашу с кавой. А он обводил глазами тесно столпившиеся колоколоподобные хижины с островерхими тростниковыми крышами — ну совсем как ульи на пасеке! — и его жирное лицо расплывалось в улыбке. Зеленые сени хлебных деревьев веселили ему душу.

— Эх, черт! Ну прямо райский сад.

Иногда он поворачивал кобылу к морю и ехал вдоль берега, а между древесными стволами сверкали солнечные воды, и ни единого паруса на пустынном океанском просторе; а иногда поднимался на холм, и его взгляду открывались широкие долины и приютившиеся среди высоких деревьев деревушки — весь мир земной, и так он сидел чуть не час, и душа его замирала от восторга. Но у него не было слов для выражения таких чувств, и, чтобы дать им выход, он отпускал непристойную шутку. Словно не в силах выдержать напряжения, он искал разрядку в грубости.

У Макинтоша его восторги вызывали ледяную брезгливость. Уокер всегда много пил, он любил, вернувшись в очередной раз из Апии, похвастать, как отправил под стол собутыльника вдвое моложе себя, и, по обычаю всех пьяниц, был слезлив и сентиментален. Плакал над журнальными рассказами, но спокойно мог отказать в займе попавшему в беду торговцу, с которым был знаком двадцать лет. Свои деньги он берег.

Как-то Макинтош сказал ему:

— Да, вас не упрекнешь, что вы сорите деньгами.

А Уокер принял это за комплимент. Конечно, его восхищение природой было лишь слезливой чувствительностью пьяницы. Не трогало Макинтоша и отношение начальника

к туземцам. Он любил их потому, что они были в его власти — так эгоист любит свою собаку, — и по умственному уровню нисколько их не превосходил. Их юмор был примитивен и груб, и у него тоже всегда была наготове грязная шутка. Он понимал их, а они понимали его. Он гордился своим влиянием на них, смотрел на них как на собственных детей и вмешивался во все их дела. Но к своей власти Уокер относился очень ревниво: сам пас их жезлом железным и не терпел возражений, однако другим белым на острове не давал их в обиду. С особой бдительностью он следил за миссионерами: стоило им чем-то заслужить его неодобрение, и он превращал их жизнь в такой ад, что они бывали рады сами убраться, даже если он не мог добиться их перевода. Туземцы подчинялись ему безоговорочно и по одному его слову отказывали своему пастырю в пище и услугах. Не потакал он и торговцам, заботливо следя за тем, чтобы они не обманывали туземцев, чтобы туземцы получали справедливое вознаграждение за свой труд и свою копру, а торговцы не извлекали непомерной прибыли, сбывая им товары. Он беспощадно пресекал сделки, которые считал нечестными. Иногда торговцы жаловались в Апии, что их притесняют. Но им же было от этого хуже. Уокер не брезговал никакой клеветой, никакой самой возмутительной ложью, лишь бы посчитаться с ними, и они убеждались, что должны принимать его условия, если желают сносно жить или хотя бы просто существовать. Не раз случалось, что у неугодного ему торговца сгорал дотла склад с товарами, и лишь своевременность этого несчастья свидетельствовала о том, что администратор приложил к нему руку. Однажды торговец-метис, полушвед, полусамоанец, разоренный пожаром, явился к нему и без обиняков обвинил его в поджоге. Уокер расхохотался ему в лицо:

— Паршивый пес! Твоя мать была туземка, а ты обманываешь туземцев. Если твоя грязная лавчонка сгорела, так это кара Божья. Вот-вот: кара Божья. А теперь убирайся отсюда.

Двое туземных полицейских вытолкали торговца, а администратор жирно смеялся ему вслед:

— Кара Божья!

И вот теперь Макинтош смотрел, как Уокер приступает к делам. Начал он с больных, потому что вдобавок ко всему занимался также врачеванием и в комнатухе за канце-

лярией держал настоящую аптеку. Вперед вышел пожилой мужчина в голубой набедренной повязке, на голове у него топорщилась шапка седых курчавых волос, а испещренная татуировкой кожа была вся сморщенная, как пустой бурдюк.

— Ты зачем явился? — резко спросил Уокер.

Мужчина стал жалобно бормотать, что его рвет после каждой еды и у него болит вот тут, тут и тут.

— Иди к миссионерам, — сказал Уокер. — Ты ведь знаешь, что я лечу только детей.

— Я ходил к миссионерам, и они мне ничем не помогли.

— Тогда отправляйся домой и готовься к смерти. Столько на свете прожил и все еще жить хочешь? Дурак ты, дурак.

Больной заспорил было, но Уокер указал пальцем на женщину с больным ребенком на руках и велел ей подойти к столу. Он задал ей несколько вопросов, посмотрел на ребенка.

— Я дам тебе лекарство, — сказал он и обратился к клерку-метису. — Сходи в аптеку, принеси каломелевых пилюль.

Он заставил ребенка тут же проглотить одну пилюлю, а вторую дал матери.

— Иди и держи малого в тепле. Завтра он либо помрет, либо ему полегчает.

Уокер откинулся на спинку кресла и закурил трубку.

— Удивительная штука — каломель. Я этим снадобьем спас больше больных, чем все лекари в Апии вместе взятые.

Уокер очень гордился своим искусством и с решительностью невежды презирал всех медиков на свете.

— Я что люблю? — рассуждал он. — Чтобы от больного все врачи отказались. Когда врачи говорят, что не могут тебя вылечить, я скажу: «А теперь иди ко мне». Я вам когда-нибудь рассказывал про больного раком?

— Неоднократно, — ответил Макинтош.

— Я его поставил на ноги за три месяца.

— Вы мне никогда не рассказывали про тех, кого не сумели вылечить.

Покончив с врачеванием, Уокер занялся остальными делами. Это была на редкость причудливая смесь. То женщина жаловалась, что не ладит с мужем, то мужчина был обижен, что от него убежала жена.

— Счастливчик! — сказал ему Уокер. — Да тебе каждый женатый позавидует.

Одни долго и запутанно спорили, кому принадлежит крохотный клочок земли, другие не могли поделить улов рыбы. Кто-то жаловался, что белый торговец обвешивает и обмеривает. Уокер внимательно выслушивал всех до единого, быстро принимал и объявлял решение. После этого он уже ничего не слушал, а если жалобщик не унимался, полицейский выводил его из канцелярии. Макинтош наблюдал за происходящим и злился. В целом нельзя было не признать, что тут творилось пусть варварское, но правосудие, однако помощника раздражало, что начальник полагается на свое чутье, а не на факты. Он не принимал во внимание никаких доводов, свидетелями помыкал как хотел, а если они показывали не то, что ему от них было нужно, обзывал их ворами и лгунами.

Напоследок Уокер оставил мужчин, сидевших кучкой в углу. До сих пор он ни разу не взглянул в их сторону. Группа состояла из старого вождя, высокого, благообразного, с короткими седыми волосами, в новой лава-лава и с пестрой метелкой на палке — знаком сана — в руке, его сына и пяти-шести влиятельнейших жителей деревни. Они поссорились с Уокером, и верх одержал он. Теперь он по своей привычке намерен был покуражиться над ними вволю, а заодно и извлечь для себя выгоду из их поражения. История эта была очень своеобразной. Уокер любил строить дороги. Когда он приехал на Талуа, по острову лишь кое-где петляли узкие тропки, но со временем он проложил настоящие дороги от деревни к деревне, и своим благосостоянием остров в значительной степени был обязан именно им. Если прежде было невозможно доставить туземные товары — в основном копру — на берег, чтобы погрузить на шхуны или моторные катера для перевозки в Апию, то теперь это стало проще простого. Заветным желанием Уокера было построить дорогу по берегу вокруг всего острова, и значительная часть ее была уже готова.

— Через два года я ее dokonчу, и тогда хоть помирать, хоть в отставку — все равно.

Он надышаться не мог на свои дороги и постоянно объезжал их, проверяя, в порядке ли они содержатся. Дороги были очень примитивны — просто широкие, поросшие травой проселки, которые прокладывались через дикие

заросли и плантации. Но приходилось выкорчевывать пни, выкапывать или взрывать каменные глыбы, а в некоторых местах срезать пригорки и засыпать ложбины. Он гордился, что своими силами справлялся со всеми трудностями. Хвастал тем, как удачно выбирал для дороги место — и для дела удобно, и можно любоваться красотами острова, которые были так милы его сердцу. О дорогах он говорил почти как поэт. Они проходили среди очаровательных пейзажей, и Уокер позаботился чтобы в одних местах они тянулись прямыми зелеными аллеями с высокими деревьями по сторонам, а в других вились и петляли, радуя глаз разнообразием. Поразительно, с какой тонкой находчивостью этот грубый чувственный человек добивался эффекта, подсказанного ему фантазией. Он проявлял чудеса изобретательности, не хуже прославленных японских садовников. Начальство выдало ему субсидию, но гордый Уокер ее почти совсем не трогал, за весь прошлый год истратив из тысячи только сто фунтов.

— А на что им деньги? — гремел он. — Накупят какой-нибудь никому не нужной дряни, и все. Да еще миссионеры сначала заберут львиную долю.

Безо всякой на то причины, разве что из желания показать всем, какой он рачительный хозяин, не то что эти транжиры в Апии, он заставлял туземцев проводить все работы за почти символическую плату. Из-за этого у него и вышел спор с жителями деревни, старейшины которой явились теперь к нему на прием. Сын вождя прожил год на Уполу и, вернувшись, рассказал односельчанам о тех больших суммах, которые платят в Апии за общественные работы. Долгими досужими беседами он сумел разжечь в их сердцах алчность. Рисовал перед ними картины сказочных богатств, и им уже грезилось виски, которого они могли бы тогда накупить — виски стоило дорого, закон запрещал продавать его туземцам, и они платили за него вдвое больше белых, — грезились сандаловые сундучки для хранения сокровищ, и душистое мыло, и консервированная лососина — словом, все те предметы роскоши, за которые канак готов продать душу. И потому, когда администратор послал за ними и объявил, что они должны проложить дорогу от своей деревни до такого-то места, за что получают двадцать фунтов, они запросили сто. Сына вождя звали Манума. Это был высокий меднокожий красавец, с рыжей, выветлен-

ной известью шевелюрой, шею его обвивала гирлянда из красных ягод, а за ухом, точно язык пламени у смуглой щеки, алел цветок. Манума был обнажен до пояса, но лава-лава заменил на парусиновые брюки в знак того, что жил в Апии и уже больше не дикарь. Он сказал, что они должны стоять друг за друга и администратор уступит. Ведь он очень хочет, чтобы дорога была построена, и когда убедится, что за меньшую плату они работать не согласны, даст им столько, сколько они попросили. Надо только держаться твердо. Что бы он ни говорил, стоять на своем — сказали, сто фунтов, вот пусть сто фунтов и дает. Уокер, услышав эту цифру, разразился своим утробным хохотом. И сказал, чтобы они бросили валять дурака, а поскорее брались бы за работу. Он сегодня добрый и обещает устроить им праздник, после того как дорога будет готова. Когда выяснилось, что они и не думают приступать к работе, он отправился в деревню и спросил, что это за дурацкие шутки. Но Манума их хорошо подготовил. Они говорили очень спокойно и не вступали в спор, хотя канаки обожают спорить; они просто пожали плечами: они построят дорогу за сто фунтов, а если он им не даст этих денег, они работать не будут. Пусть сам решает. А им все равно. Тут Уокер пришел в ярость. Выглядел он страшно. Короткая толстая шея угрожающе вздулась, красное лицо полиловело, на губах выступила пена. На туземцев обрушились громы и молнии. Уязвить и унизить — это он умел. И запугать тоже. Старики побледнели и оробели. Они готовы были дрогнуть. Если бы не Манума с его вестями из широкого мира и если бы не их страх перед его насмешками, они бы уступили.

Уокеру ответил Манума:

— Заплати нам сто фунтов, и мы будем работать.

Уокер, потрясая кулаками, осыпал его всеми ругательствами, какие только знал. Он испепелил его презрением. Манума сидел, не шевелясь, и улыбался. Возможно, в этой улыбке было больше бравады, чем уверенности, но он должен был показать пример остальным. Он повторил:

— Заплати нам сто фунтов, и мы будем работать.

Они уж было думали, что сейчас Уокер набросится на него: администратору не раз случалось собственноручно избивать туземцев. Они знали, как он силен, и, хотя он был вдвое старше Манумы и на шесть дюймов ниже ростом, никто не сомневался, что Мануме несдобровать. Да и кому

бы в голову пришло сопротивляться его бешеному наскоку? Но Уокер только произнес с усмешкой:

— Терять время на разговоры с дураками я не стану. Обсудите между собой. Вы знаете, что я предложил. Если в течение недели вы не начнете работать, пеняйте на себя.

Повернулся, вышел из хижины вождя, отвязал старую кобылу. И встал на удобный камень, чтобы взгромоздиться в седло, а один из стариков повис на другом стремяни — поступок, наглядно характеризующий его отношения с туземцами.

В тот же вечер, когда Уокер, как обычно, прогуливался по дороге за своим домом, вдруг над ухом у него что-то просвистело и ударилось в ствол дерева. В него чем-то метнули. Он машинально пригнулся, но потом с криком: «Кто тут?» — кинулся туда, где должен был находиться метатель, и услышал затихающий треск в кустах. Он понимал, что в темноте погоня бессмысленна, и, вскоре запыхавшись, остановился. Вернувшись на дорогу, он искал то, что было брошено, но в непроглядном мраке ничего не нашел. Поспешно вернувшись в дом, он позвал Макинтоша и слугу-китайца.

— Кто-то из этих чертей запустил в меня чем-то. Идемте поищем, что это было.

Он велел слуге взять фонарь, и они втроем вернулись на место происшествия. Осмотрели землю вокруг, но ничего не обнаружили. Внезапно китаец гортанно вскрикнул. Они обернулись, и в луче света, пронзившем темноту, в стволе кокосовой пальмы зловеще блеснул длинный нож. Брошен он был с такой силой, что его не сразу удалось выдернуть.

— Черт! Не промажь он, хорош бы я сейчас был.

Уокер взял нож — он был сделан по образцу тех матросских ножей, которые появились на островах столетие назад с первыми белыми; теперь ножами разрубали пополам кокосовые орехи, чтобы сушить копру, — смертоносное оружие с очень острым двенадцатидюймовым лезвием. Уокер хмыкнул.

— Ну дьявол! Ну и нахальный же дьявол!

Он не сомневался, что нож метнул Манума. Еще каких-то три дюйма, и ему был бы конец. Но он не рассердился, а, наоборот, пришел в самое лучшее расположение духа. Это происшествие взбодрило его, и, едва войдя в дом, он крикнул, чтобы подали виски.

— Они у меня за это заплатят! — сказал он, злорадно потирая руки.

Его маленькие глазки весело блестели. Напыжившись, как индюк, он принялся во второй раз за полчаса со всеми подробностями излагать Макинтошу обстоятельства дела. Потом предложил перекинуться в пикет и за игрой хвастливо описывал, что намерен теперь предпринять. Макинтош слушал, крепко поджав губы.

— Но почему вы так их прижимаете? — спросил он. — Двадцать фунтов — это не плата за работу, которую вы им поручаете.

— Пусть и за это будут благодарны.

— Но, черт возьми, это же не ваши деньги! Начальство выделяет вам достаточную сумму, и никто не будет в претензии, если вы ее истратите.

— Они в Апии все сплошь дураки.

Макинтош понял, что Уокером движет одно лишь тщеславие, и пожал плечами.

— Какой вам толк, если вы утрете нос чиновникам в Апии, а сами заплатите за это жизнь?

— Господь с вами! Да здешние люди никогда на меня руки не подымут. Я им вот как нужен. Они на меня просто молятся. Манума дурак. И нож-то бросил, просто чтобы меня попугать.

На следующий день Уокер снова поехал в ту деревню. Она называлась Матауту. Спешиваться он не стал. Подъехав к хижине вождя, он увидел, что мужчины, усевшись кружком на полу, заняты оживленным разговором, и догадался, что они снова обсуждают вопрос о дороге.

Самоанские хижины строятся следующим образом: тонкие стволы размещаются по кругу через промежутки в пять-шесть футов, а в центре вкапывается столб, и от него круто вниз настилается кровля. Ночью или во время дождя опускаются циновки из листьев кокосовой пальмы. Но обычно хижина открыта со всех сторон, чтобы ее свободно продувало ветром. Уокер остановил кобылу у самой хижины и крикнул вождю:

— Эй, Тангату! Твой сын вчера ночью оставил нож в дереве. Я привез его тебе.

Он швырнул нож на землю между сидящими и с хохотом затрусил прочь.

В понедельник он поехал проверить, начали ли они работать. Но никаких приготовлений не обнаружил и отправился в деревню. Ее обитатели занимались обычными делами: кто-то плел циновки из листьев пандануса, старик выскребывал чашу для кавы, дети играли, женщины занимались стряпней. Уокер, улыбаясь, остановился у хижины вождя.

— Талофа-ли, — сказал вождь.

— Талофа, — ответил Уокер.

Манума плел сеть. Из рта у него торчала сигарета, и он поглядел на Уокера с торжествующей улыбкой.

— Значит, вы решили дороги не строить?

Вождь ответил:

— Да, если вы не заплатите нам сто фунтов.

— Вы еще пожалеете. — Он повернулся к Мануме. — А у тебя, парень, как бы спина не разболелась, и очень скоро.

Он, посмеиваясь, уехал, а туземцев разобрал страх. Они боялись этого толстого старого грешника, и ни брань, которой его осыпали миссионеры, ни презрение, которому Манума научился в Апии, никак не могли разуверить их в том, что он наделен дьявольской хитростью и что все до единого, кто отваживался ему перечить, рано или поздно за это поплатились. Не прошло и суток, как они узнали, какую уловку он изобрел теперь. Она была вполне в его духе. На следующий день в деревню явилась толпа мужчин, женщин и детей, и их старейшины объяснили, что подрядились строить дорогу. Уокер предложил им двадцать фунтов, и они согласились. Хитрость же заключалась в том, что правила гостеприимства у полинезийцев имеют силу священного закона, и нерушимый этикет требовал, чтобы жители деревни не только предоставили гостям кров, но также кормили и поили их все время, пока те пожелают оставаться у них. Обитатели Матауту попали в ловушку. Каждое утро рабочие веселой толпой отправлялись на строительство: валили деревья, взрывали скалы, выравнивали, где требовалось, полотно, а вечером наводняли деревню, ели и пили — ели так, что за ушами трещало, танцевали, пели духовные гимны и вообще вовсю наслаждались жизнью. Для них это был долгий веселый пикник. Но лица их хозяев постепенно вытягивались. Гости оказались с хорошим аппетитом и ненасытно уничтожали бананы и плоды хлебного дерева; не осталось на ветках ни единого авокадо, а

ведь в Апии за них можно было бы получить немалые деньги. Над деревней нависла угроза полного разорения. И тут выяснилось, что работают гости не торопясь. Может быть, Уокер дал им понять, что особой спешки от них не требуется? При таких темпах, пока построят дорогу, в деревне не останется ни крошки съестного. Хуже того: они стали всеобщим посмешищем. Когда кто-нибудь из жителей Матауту приходил по делам хоть в самое отдаленное селение, выяснялось, что все равно слухи его опередили, и ему навстречу звучал издевательский смех. А для канаков нет ничего страшнее насмешек. Вскоре среди пострадавших поднялся сердитый ропот, Манума перестал быть героем; ему пришлось выслушать немало горьких слов, а затем произошло и то, что напроорочил Уокер: ожесточенный спор перешел в ссору, полдесятка молодых людей набросились на сына вождя и так его отделали, что он неделю пролежал на циновках весь в синяках, ворочаясь с боку на бок и не находя облегчения. Каждый день-два на старой кобыле приезжал администратор и смотрел, как продвигается строительство. Он был не из тех, кто противостоит соблазну поиздеваться над поверженным противником и упустит случай лишний раз напомнить ему о всей глубине его унижения. Он сломил дух жителей Матауту. И как-то утром, спрятав гордость в карман (это чистая фигура речи, так как карма-нов у них не было), они вместе с гостями отправились на строительство. Дорогу необходимо было закончить как можно скорей, чтобы уберечь хотя бы остатки съестных припасов, и потому в работе приняла участие вся деревня. Но работали они молча, затаив в сердцах ярость и обиду — даже дети трудились и молчали. Женщины плакали, связывая и унося обрубленные ветки. Когда Уокер это увидел, он так захохотал, что чуть не свалился с седла. Весть о новом повороте событий облетела остров и страшно насмешила всех туземцев. Ну и потеха, как он их в конце концов оставил в дураках, этот хитрый белый старик, которого не удалось еще обойти ни одному самоанцу! И они приходили из самых отдаленных деревень, приходили с женами и детьми, чтобы поглядеть на глупых людей, которые не взяли двадцати фунтов, чтобы построить дорогу, а теперь должны работать даром. Но чем усерднее работали хозяева, тем с большей прохладцей трудились гости. Зачем торопиться, когда они едят на даровщинку хорошую пищу, и чем дольше

будут тянуть, тем смешнее выйдет шутка! Кончилось тем, что несчастные жители деревни не выдержали и в то утро пришли просить администратора, чтобы он отослал рабочих домой. Если он это сделает, то они сами достроят дорогу даром. Он одержал полную и безоговорочную победу. Они были поставлены на колени. Его широкое бритое лицо расплылось от высокомерного самодовольства, и весь он, казалось, раздулся у себя в кресле, как огромная лягушка. В его облике появилось даже что-то зловещее, Макинтош прямо вздрогнул от отвращения.

А Уокер загремел:

— Что я, строю дорогу для себя? Какая, по-вашему, мне от нее польза? Она вам нужна, чтоб было легко ходить и легко носить вашу копру. Я предложил вам заплатить за работу, хотя работали бы вы на себя. Я предложил щедро вам заплатить. А теперь платить будете вы. Я отошлю людей из Мануа домой, если вы достроите дорогу и заплатите двадцать фунтов, которые я им обещал.

Они возмущенно закричали. Попробовали его уговорить. Объясняли, что у них нет таких денег. Но на все их доводы он отвечал грубыми насмешками. И тут раздался бой часов.

— Пора обедать, — сказал он. — Гоните их всех вон.

Тяжело поднявшись с кресла, он вышел из канцелярии. Когда Макинтош последовал за ним, Уокер уже сидел за столом, подвязав салфетку под подбородком и держа в руках нож с вилкой, готовый наброситься на еду, как только повар-китаец поставит перед ним тарелку. Он был в чудесном настроении.

— Здорово я их отделал, — сказал он, когда Макинтош сел. — Теперь у меня с дорогами никаких хлопот не будет.

— Я полагаю, вы пошутили, — ледяным тоном заметил Макинтош.

— Это вы о чем?

— Вы же не заставите их действительно уплатить двадцать фунтов?

— Будьте уверены, еще как заставляю!

— Не знаю, есть ли у вас на это право.

— Ах, не знаете? Да у меня есть право делать на этом острове все, что я захочу.

— По моему мнению, вы и так уже достаточно над ними произдевались.

Уокер жирно захохотал. Мнение Макинтоша его совершенно не интересовало.

— Когда мне понадобится ваш совет, я у вас его спрошу.

Макинтош побелел. По горькому опыту он знал, что у него лишь один выход — промолчать; он с трудом заставил себя сдержаться, и ему стало дурно. Кусок не лез в горло, и отвратительно было смотреть, как Уокер впихивает мясо в свою широкую пасть. Старик ел очень неряшливо, и сидеть с ним за одним столом было противно. Макинтоша всего передернуло. Ему мучительно хотелось как-то унижить этого толстокожего, жестокого человека. Он отдал бы все на свете, лишь бы увидеть Уокера повергнутым во прах, страдающим так, как он заставлял страдать других. Никогда еще он не испытывал такой брезгливой ненависти к этому грубому тирану.

День тянулся нескончаемо. После обеда Макинтош прилег вздремнуть, но сжигающая сердце ярость гнала сон. Попытался читать, но буквы плавали перед глазами. Солнце палило нещадно, хотелось, чтобы хлынул дождь. Но он знал, что дождь принес бы не прохладу, а только еще более жаркую влажную духоту. Он был родом из Абердина, и сердце его вдруг защемила тоска по ледяным ветрам, свистящим в гранитных улицах этого города. Здесь на острове он был пленником, узником недвижимого океана и своей лютой ненависти к этому мерзкому старику. Он сжал ладонями раскалывающуюся голову. С каким наслаждением он бы его убил. Но он все же одернул себя. Надо чем-то отвлечься, и раз уж не читается, то, пожалуй, можно привести в порядок личные бумаги. Он уже давно собирался этим заняться, но все откладывал и откладывал. Отперев ящик бюро, он достал пачку писем. И увидел там револьвер. Он чуть было не схватил его и не пустил себе пулю в лоб, чтобы вырваться из невыносимых тисков, но отбросил эту мысль, не успев додумать. Заметив, что от сырого воздуха револьвер подернулся ржавчиной, он взял масляную тряпку и начал его протирать. От этого занятия его отвлекло какое-то движение у двери. Он поднял голову и спросил:

— Кто тут?

Прошло несколько секунд, и на пороге показался Манума.

— Что тебе надо?

Сын вождя хмуро молчал. Потом сказал придушенным голосом:

— Мы двадцать фунтов заплатить не можем. У нас нет таких денег.

— А я здесь при чем? — возразил Макинтош. — Ты слышал, что говорил мистер Уокер.

Манума начал упрашивать, мешая самоанские слова с английскими, говоря нараспев дрожащим жалобным голосом, будто нищий, и Макинтош почувствовал гадливость. Его возмущало, что человек позволил так себя раздавить. Какое жалкое зрелище!

— Я ничего не могу сделать, — раздраженно сказал он. — Ты знаешь, что хозяин тут мистер Уокер.

Манума замолчал. Но остался стоять в дверях.

— Я болен, — проговорил он в конце концов. Дайте мне лекарства.

— Что с тобой?

— Не знаю. Болен. У меня колотье в теле.

— Не стой там, — резко сказал Макинтош. — Подойди, я тебя осмотрю.

Манума пересек маленькую комнату и остановился у бюро.

— Колет вот тут и вот тут. — Он прижал руку к пояснице, и лицо его страдальчески сморщилось.

И вдруг Макинтош понял, что юноша смотрит на револьвер, который он отложил, услышав шум на пороге. Обоих сковало молчание, которое Макинтошу показалось бесконечным. Он словно читал мысли канака. И сердце у него при этом бешено стучало. Внезапно он почувствовал, что находится во власти какой-то посторонней силы. Не он сам, но она теперь управляла его движениями, неведомая и чужая. В горле у него пересохло, он машинально прижал ладонь к груди, словно помогая своему голосу, и почему-то, сам того не желая, отвел глаза от Манумы.

— Подожди тут, — с трудом произнес он, будто его душили. — Я принесу тебе чего-нибудь из аптеки.

Он встал. Показалось ему или его и вправду пошатывается? Манума стоял молча, и Макинтош не глядя знал, что тот тупо смотрит в открытую дверь. Из комнаты Макинтоша увела все та же владевшая им чужая сила, но сам он, по своей воле, успел схватить какие-то бумаги и бросить на револьвер, чтобы не было видно. Он добрел до аптеки,

взял одну пилюлю, отлил в пузырек синеватой микстуры и вышел наружу. Возвращаться в бунгало он не хотел и крикнул Мануме:

— Иди сюда.

Он протянул ему лекарства и объяснил, как их принимать.

Почему-то он не мог встретиться с юношей взглядом и, давая наставления, смотрел ему в плечо. Манума взял лекарства и выскользнул за калитку.

Макинтош вошел в столовую и начал в который раз листать старые газеты. Читать он не мог. В доме не было слышно ни звука. Уокер спал в своей комнате наверху. Повар-китаец возился на кухне, оба туземных полицейских отправились ловить рыбу. Тишина, окутавшая дом, ощущалась как что-то потустороннее, а в голове у Макинтоша стучало одно: на месте револьвер или нет? Пойти посмотреть не хватало сил. Неуверенность была страшна, но уверенность могла быть еще страшнее. Он покрылся испариной. Наконец он почувствовал, что выдерживать эту тишину больше не может, и решил сходить к торговцу Джарвису, чья лавка находилась от компаунда на расстоянии всего одной мили. Джарвис был метис, но все-таки наполовину белый, так что с ним худо-бедно, но можно было разговаривать. Макинтошу надо было уйти от своего бюро, заваленного ворохом бумаг, под которыми кое-что лежит... или не лежит. И он зашагал по дороге. Из красивой хижины вождя, когда он проходил мимо, донеслось обычное приветствие. Макинтош вошел в лавку. За прилавком сидела дочь торговца, смуглая широколицая девица в розовой блузке и белой тиковой юбке. Джарвис надеялся, что он на ней женится. У торговца водились деньги, и он как-то сказал Макинтошу, что муж его дочери будет состоятельным человеком. Увидев Макинтоша, она слегка покраснела.

— Папа распаковывает ящики, которые привезли утром. Я сейчас за ним схожу.

Он сел, а она вышла в заднюю дверь. Почти сразу же в лавку вплыла ее мать, грузная старуха из рода вождей, владелица многих земель на острове. Она протянула ему руку. Женщина эта была, конечно, толста до безобразия, однако преисполнена величия, приветлива без угодливости и при всем благодушии ни на миг не роняла своего монаршего достоинства.

— Вас совсем не видно, мистер Макинтош. Тереза только нынче утром говорила: «Мистер Макинтош что-то совсем перестал к нам заглядывать».

Он содрогнулся, вообразив себя зятем этой старой туземки. Весь остров знал, что она властно правит мужем, несмотря на его белую кровь. Она была главой и семьи и дела. Пусть белые видели в ней всего лишь миссис Джарвис, но ее отец был вождем из королевского рода, а его отец и отец его отца королями. Вошел торговец — смуглый маленький брюнет с седеющей черной бородой, красивыми глазами и сверкающими зубами. Он носил парусиновые брюки, держался истым англичанином и уснащал речь жаргонизмами. Тем не менее чувствовалось, что по-английски он говорит как иностранец; в семье он пользовался языком своей матери-туземки. Это был услужливый, подобострастный человек.

— А, мистер Макинтош! Какой чудесный сюрприз. Подай виски, Тереза. Пропустим с мистером Макинтошем по рюмочке.

Он стал рассказывать последние городские новости, все время заглядывая гостю в глаза, чтобы не промахнуться и не сказать неприятного.

— А как Уокер? Что-то он в последнее время совсем не показывается. Миссис Джарвис собирается на этой неделе послать ему молочного поросенка.

— Я утром видела, как он на лошади ехал домой, — встала Тереза.

— Ну, промочим глотку, — произнес Джарвис, поднимая рюмку.

Макинтош выпил. Жена и дочь торговца не спускали с него глаз, — миссис Джарвис в черном широком балахоне, безмятежная и надменная, и Тереза, спешившая улыбнуться всякий раз, как ей удавалось перехватить его взгляд. А торговец беззастенчиво пересказывал сплетни:

— В Апии говорят, что Уокеру пора на покой. Возраст. С тех пор как он приехал на острова, времена изменились, а он не изменился с ними.

— Он не знает меры, — сказала старая дочь королей. — Туземцы недовольны.

— А отличную, однако, штуку отколол он с дорогой. — Торговец засмеялся. — Я когда в Апии рассказал, все прямо животы надорвали. Нет, все же молодчина Уокер.

Макинтош смерил его свирепым взглядом. Да как он смеет так говорить? Для торговца-полукровки существует не Уокер, а *мистер* Уокер. Надо осадить наглеца. Но что-то, он сам не знал что, удержало его от этого.

— Когда он уйдет, надеюсь, его место займете вы, мистер Макинтош, — продолжал Джарвис. — У нас на острове вы всем по душе. Вы понимаете туземцев. Они теперь просвещенные стали, с ними надо обходиться по-иному, чем в старину. Теперь в администраторы нужен человек образованный. А Уокер, он торговец, вроде меня.

У Терезы заблестели глаза.

— Когда настанет время, что потребуется с нашей стороны, считайте, все будет сделано. Можете на меня положиться. Я сам соберу всех вождей и отправлю с петицией в Апию.

Макинтошу стало почти дурно. Ему не приходило в голову, что преемником Уокера, в случае чего, может оказаться он. Правда, никто из чиновников не знал острова лучше него. Он внезапно встал и, коротко попрощавшись, пошел обратно. Теперь он, не мешкая, направился к себе. Окинул быстрым взглядом бюро. Пошарил под бумагами.

Револьвера там не было.

Сердце у него отчаянно застучало в ребра. Он стал искать револьвер. Смотрел на креслах, в ящиках. Искал неистово, все время зная, что ничего не найдет. Внезапно раздался хриплый добродушный голос Уокера:

— Чего это вы, Мак?

Он, вздрогнув, обернулся. Уокер стоял в дверях. Макинтош безотчетно шагнул и заслонил бюро.

— Прибегаетесь? — насмешливо спросил Уокер. — Я велел заложить серую в двуколку. Поеду в Тафони купаться. Давайте со мной.

— Хорошо, — ответил Макинтош.

Пока он с Уокером, ничего произойти не может. Им предстояло проехать три мили до пресного озера, вырытого в скалистом грунте с помощью динамита и отделенного от океана узкой перемычкой. Такие места для купания администратор распорядился устроить туземцам на острове повсюду, где только ни бил источник, — пресная вода была прохладной и бодрящей по сравнению с морской, слишком теплой и словно бы липкой. Они бесшумно катили по травянистой дороге, с плеском переезжали мелкие

заливчики, где океан вторгался на сушу, миновали две деревни, просторные хороводы островерхих хижин вокруг белой часовни, а за третьей вылезли из двуколки, спутали лошадь и спустились к озерку. За ними увязались несколько девушек и стайка ребятишек. И вскоре все уже с криком и смехом плескались в воде, а Уокер в лава-лава плавал, точно неповоротливый старый дельфин. Он обменивался с девушками сальными шуточками, а они для развлечения подныривали под него и ловко ускользали, когда он пытался их схватить. Утомившись, он растянулся на камне, а девушки и ребятишки окружили его, словно одна счастливая семья. Жирный старик, сиявший лысиной в оторочке седых волос, был похож на состарившееся морское божество. В его глазах Макинтош вдруг увидел непривычное мягкое выражение.

— Такие они все хорошие детишки, — сказал Уокер. — На меня смотрят как на отца.

И тут же, не переводя дух, обратился к одной из девушек с непристойностью, от которой они все так и прыснули со смеху. Макинтош стал одеваться. Сухопарый и тощий, с длинными руками и ногами, он был смешон и похож на злого Дон Кихота, и Уокер принялся грубо прохаживаться на его счет. Каждая шутка встречалась приглушенным хихиканьем. Макинтош никак не мог справиться с рубашкой. Он сознавал, что выглядит нелепо, но служить посмешищем не желал. Он не отвечал и хмурился, сдерживая бешенство.

— Если не хотите опоздать к обеду, то пора ехать.

— Вы неплохой парень, Мак. Но глупый. Делаете одно, а помышляете в это время о другом. Разве так можно жить?

Тем не менее он грузно поднялся на ноги и начал одеваться. Они, не торопясь, пошли в деревню, выпили чашу кавы с вождем, а затем под радостные прощальные возгласы всех прохлаждающихся жителей деревни поехали домой.

После обеда Уокер закурил сигару и собрался, как всегда, на вечернюю прогулку. Макинтошу вдруг стало страшно.

— Не кажется ли вам, что выходить одному в темноте сейчас не очень благоразумно?

Уокер уставился на него круглыми голубыми глазами.

— О чем это вы?

— А нож в ту ночь вы помните? Они ведь на вас злы.

— Чушь! Не посмеют.

— Кто-то посмел же.

— Это только так, попугать. Они на меня руки не подымут. Я же им как отец. Они знают: что я ни делаю — все для их же пользы.

Макинтош смотрел на него с тайным презрением. Это чудовищное самодовольство возмущало его, и все же что-то — он сам не понимал что — побуждало его настаивать:

— Вспомните сегодняшний разговор. Не прогуляйтесь один вечер, вас не убудет. Давайте партию в пикет.

— Сыграем в пикет, когда я вернусь. Не родился еще тот канак, из-за которого я стану менять свои привычки.

— Ну, так давайте я пойду с вами.

— Никуда вы не пойдете.

Макинтош пожал плечами. Что же, он предостерег его как мог. Если Уокер не желает слушать, дело хозяйское.

Уокер надел шляпу и вышел. А Макинтош взялся за книгу. Но тут же ему пришла в голову одна мысль: пожалуй, лучше, чтобы его местонахождение сейчас было кому-нибудь известно. Под каким-то благовидным предлогом он зашел на кухню и несколько минут поговорил с поваром. Потом вернулся, вытащил патефон и поставил пластинку; но все время, пока из-под иглы лился чувствительный мотивчик лондонской эстрадной песенки, чутко прислушивался, не раздастся ли из темноты внезапный звук. Патефон сипел и надрывался у самого его локтя, можно даже было разобрать дурацкие слова, но несмотря на это у него было ощущение, будто его окружает глухая, зловещая тишина. Издалека доносился глухой рев прибоя, в верхушках кокосовых пальм вздыхал ветер. Долго ли еще это будет тянуться? Невыносимо!

Тут он услышал хриплый смешок.

— Ну и чудеса! Не так-то часто вы себя ублажаете песенками, Мак.

За окном стоял Уокер, краснолицый, грубый, благодушный.

— Как видите, я жив-здоров. Чего это вы развели музыку?

Он вошел в комнату.

— Нервишки расшалились, а? Поставили песенку, чтобы подбодриться?

— Я поставил ваш реквием.

— Чего-чего?

— «Кружка портера, пинта пива».

— И отличная песня, вот что я вам скажу. Могу слушать хоть сто раз подряд. А теперь давайте-ка я обыграю вас в пикет.

Сели играть. Уокер добивался победы всеми правдами и неправдами: блефовал и бахвалился, подымал противника на смех, дразнил его, страшал, вышучивал и бессовестно злорадствовал при каждом его промахе. И скоро к Макинтошу вернулось прежнее спокойствие, глядя словно со стороны, он только радовался безобразиям этого старого нахала и собственной холодной сдержанности. А где-то затаился Манума и ждал своего часа.

Уокер выигрывал партию за партией и по окончании игры, торжествуя, сгреб выигрыш.

— Вам, Мак, еще расти и расти, прежде чем со мной тягаться. У меня к картам природный талант.

— Не вижу, при чем тут талант, если я сдал вам четырнадцать тузов.

— Хорошая карта идет хорошим игрокам, — возразил Уокер. — Я и с вашими все равно бы выиграл.

И он пустился в длинные рассуждения о том, как ему случилось играть с заведомыми шулерами, и все равно он им карманы обчистил — они только рты разевали. Он хвастал, он пел себе хвалы. А Макинтош слушал и упивался. Ему нужно было теперь поддерживать в себе ненависть. Каждое слово Уокера, каждый жест делали его только еще отвратительнее. Наконец Уокер встал.

— Пора и на боковую, — сказал он, зевая во весь рот. — У меня завтра много дел.

— Каких?

— Поеду на ту сторону острова. Тронусь в пять, но к обеду, наверно, не обернусь, припоздаю.

Обедали обычно в семь.

— Так, может быть, подождать с обедом до половины восьмого?

— Пожалуй, что и так.

Макинтош смотрел, как он выбивает трубку. Прimitивное жизнелюбие так и бурлило в нем. Было странно думать, что над ним нависла смерть. В холодных угрюмых глазах Макинтоша забрезжила легкая улыбка.

— Не хотите ли, чтобы я поехал с вами?

— За каким дьяволом? Я же поеду на кобыле, а с нее и меня хватит. Зачем ей еще и вас тащить тридцать миль?

— Но вы, возможно, не вполне отдаете себе отчет в том, какое настроение царит сейчас в Матауту. Мне кажется, будет спокойнее, если я поеду с вами.

Уокер разразился насмешливым хохотом.

— Много толку от вас будет в случае чего! Ну, да я не трусливого десятка.

Теперь улыбка появилась и на губах Макинтоша, они болезненно покривились.

— *Quem deus vult perdere prius dementat*¹.

— А это еще что за тарабарщина? — спросил Уокер.

— Латынь, — отозвался ему вслед Макинтош.

И усмехнулся. Настроение у него изменилось. Он сделал все, что мог, дальнейшее в руках судьбы. Уснул он сладко, как не спал уже много недель. Утром проснулся и вышел за порог. Он хорошо выспался и радовался бодрящей утренней свежести. Океан синел ярче обычного, ослепительнее блистали небеса, пассат крепчал, и по лагуне бежала рябь, словно ветер гладил аквамариновый бархат против ворса. Макинтош чувствовал прилив молодых сил и за дневные дела взялся с удовольствием. После второго завтрака он вздремнул немножко, а под вечер приказал оседлать гнедого и неторопливо проехался по лесу. Все вокруг он словно видел новыми глазами. И чувствовал себя почти нормально. Поразительным было то, что об Уокере ему удавалось совсем не думать. Точно его и на свете никогда не было.

Вернулся он поздно, разгоряченный верховой прогулкой, и еще раз выкупался. Потом сел на веранде и, покуривая трубку, смотрел, как угасает день над лагуной. На закате лагуна, вся в розовых, лиловых и зеленоватых отблесках, была удивительно красива. Ему было хорошо и спокойно. Когда на веранду вышел повар и сказал, что обед готов, так подавать или подождать еще? — Макинтош ласково ему улыбнулся и посмотрел на часы.

— Половина восьмого. Больше ждать, пожалуй, не стоит. Кто знает, когда хозяин может вернуться.

Повар кивнул, и минуту спустя Макинтош увидел, что он идет по двору с дымящейся супницей. Он лениво поднялся, прошел в столовую, пообедал. Свершилось или нет? Неопределенность забавляла, и Макинтош засмеялся в тишине столовой. Еда казалась ему не такой уж безвкусной,

¹ Кого Бог хочет погубить, того лишает разума (*лат.*).

и даже вечный рубленый бифштекс, которым неизменно потчевал их китаец всякий раз, как исчерпывалась его скудная кулинарная изобретательность, каким-то чудом получился сочный и пряный. После обеда Макинтош неторопливо побрел к себе взять книгу. Кругом стояло удивительное безмолвие, в черном небе уже полыхали яркие звезды. Он крикнул, чтобы принесли лампу, и несколько секунд спустя китаец, пронзая мрак лучом света, прошлепал босыми ногами к бюро, поставил на него лампу и бесшумно выскользнул из комнаты. Макинтош прирос к полу: из-под вороха бумаг на бюро выглядывал револьвер. Макинтош почувствовал мучительное сердцебиение, весь облился потом. Значит, свершилось?

Трясущейся рукой он взял револьвер. Четыре камеры в барабане были пусты. Он настороженно выглянул во тьму ночи — никого. Он быстро вложил четыре патрона в пустые камеры и запер револьвер в ящик.

Потом сел и начал ждать.

Прошел час, второй. Ничего не происходило. Он сидел за бюро и как будто писал. На самом же деле он не писал и не читал. А только слушал. Напрягая слух, он пытался уловить первые, отдаленные звуки. Наконец послышались робкие шаги — это был повар.

— А-Сун! — позвал он.

Китаец подошел к двери.

— Хозяйина очена поздна, — сказал он. —обеда испол- тиласа.

Макинтош смотрел на него и гадал: известно ли китайцу, что произошло? И сможет ли он, когда все станет известно, сопоставить происшедшее с отношениями, которые существовали между Уокером и им, Макинтошем? Китаец был тихий, подобострастный, улыбчивый, занимался своим делом, но поди угадай, что у него в голове.

— Наверное, он пообедал где-нибудь. Но на всякий случай суп держи горячим.

Он не успел договорить, как тишина вдруг взорвалась шумом, криками и быстрым топотом босых ног. В компаунд вбежала толпа туземцев — мужчин, женщин и детей. Они окружили Макинтоша, наперебой что-то объясняя. Понять их было невозможно. Лица у всех были взволнованные, испуганные, многие плакали. Макинтош протолкался к воротам. Хотя из их слов он почти ничего не понял, ему было

совершенно ясно, что именно произошло. У ворот он встретил двуколку. Старую кобылу вел под уздцы долговязый канак, а на сиденье скорчились еще двое, поддерживая лежащего Уокера. Двуколку сопровождало десятка два туземцев.

Кобылу ввели во двор, туземцы повалили следом. Макинтош крикнул, чтобы они отошли, и двое полицейских, явившиеся бог знает откуда, принялись их яростно отталкивать. К этому времени он уже составил себе понятие о случившемся. Мальчишки, ходившие на рыбалку, возвращались домой и увидели по сю сторону брода двуколку, кобыла пощипывала траву, а между сиденьем и передком смутно белело в темноте грузное тело старика. Сначала они подумали, что он мертвецки пьян, и, посмеиваясь, подошли поближе, но услышали стоны и, сообразив, что дело неладно, кинулись в деревню за помощью. Вернулись в сопровождении полусотни человек и тогда только обнаружили, что Уокера подстрелили.

Макинтош, содрогнувшись, подумал, что, может быть, старик уже умер. Но так или иначе, его необходимо снять с двуколки, а это из-за его толщины оказалось делом нелегким. Потребовались усилия четырех мужчин. Они неловко подхватили его, и он глухо застонал. Значит, пока жив. Его внесли в дом, подняли по лестнице и уложили на кровать. Тут только Макинтош его разглядел, потому что во дворе, при тусклом свете переносных фонарей, ничего не было видно. Белые парусиновые брюки Уокера запятнала кровь, и люди, которые внесли его в спальню, тоже вытирали о свои набедренные повязки липкие окровавленные ладони. Макинтош поднял лампу. Он никак не ждал, что старик мог так побледнеть. Глаза его были закрыты. Он еще дышал, и слабый пульс прощупывался, но он, несомненно, умирал. Неожиданно для себя Макинтош ощутил, как судорога ужаса передернула его с ног до головы. Он заметил в углу туземца-клерка и хриплым от страха голосом приказал ему бежать в аптеку и принести все необходимое для инъекции. Один полицейский принес виски, и Макинтошу удалось влить несколько капель в рот старика. В спальню набились туземцы. Они сидели на полу, храня испуганное молчание, и лишь изредка прерывали его причитаниями. Было нестерпимо жарко, но Макинтоша пробирал холодный озноб, руки и ноги у него оледенели, и он с большим

трудом сдерживал дрожь во всем теле. Он не знал, что делать. Он не знал, продолжается ли кровотечение, и если да, то как его остановить.

Вернулся клерк со шприцем.

— Сделайте вы, — сказал Макинтош. — Вам это привычнее, чем мне.

Голова у него разламывалась от боли. В мозгу словно бились какие-то злобные существа и старались вырваться наружу. Теперь надо было ждать, подействует ли инъекция. Вскоре Уокер медленно открыл глаза. Возможно, он не понимал, где находится.

— Вам не следует шевелиться, — сказал Макинтош. — Вы дома. В полной безопасности.

Губы Уокера дрогнули в легком подобии улыбки.

— Они таки меня прикончили, — прошептал он.

— Я распоряжусь, чтобы Джарвис немедленно послал свой катер в Апию, и завтра после обеда врач будет здесь.

Старик долго молчал, а потом произнес:

— Я к тому времени уже умру.

Бледное лицо Макинтоша мучительно исказилось. Он заставил себя рассмеяться.

— Ерунда! Только лежите смирно, и все будет в порядке.

— Дайте мне выпить, — сказал Уокер. — Покрепче.

Трясущейся рукой Макинтош налил виски, разбавил его наполовину водой и придерживал стакан, пока Уокер жадно пил. Ему словно сразу полегчало. Из груди вырвался глубокий вздох, крупное мясистое лицо немного порозовело. Макинтоша давило ощущение полной беспомощности. Он стоял и смотрел на старика.

— Скажите, что надо сделать, и я сделаю, — пробормотал он.

— Делать-то нечего. Оставьте меня лежать, и все. Со мной кончено.

Этот толстый, оплывший старик на огромной кровати выглядел необыкновенно жалким. Он был так слаб, так беззащитен, что прямо сердце сжималось. После передышки сознание у него немного прояснилось.

— Вы были правы, Мак, — проговорил он, помолчав. — Вы ведь меня предупреждали.

— Надо было мне с вами поехать!

— Хороший вы парень, Мак. Только вот не пьете.

Снова оба помолчали, было очевидно, что Уокер быстро слабеет. Внутреннее кровотечение продолжалось, и даже Макинтош, при всем своем невежестве, понимал, что его

начальнику остается жить какой-то час или два. Он неподвижно стоял у кровати. Уокер около получаса пролежал с закрытыми глазами, потом поднял веки.

— На мое место они вас назначат, — медленно проговорил он. — Когда я последний раз был в Апии, я там сказал, что вы годитесь. Достройте мою дорогу. Мне хочется знать, что она будет доделана. Вокруг всего острова.

— Мне ваше место не нужно. И вы обязательно поправитесь.

Уокер слабо покачал головой.

— Я свое отжил. Обходитесь с ними по-честному, это главное. Они же как дети. Всегда про это помните. С ними надо быть твердым, но и добрым тоже. И обязательно справедливым. Я на них ни единого шиллинга не нажил. За двадцать лет не скопил и ста фунтов. Дорога — вот что важно. Достройте дорогу.

У Макинтоша вырвалось что-то вроде рыдания.

— Хороший вы человек, Мак. Вы мне всегда нравились.

Он закрыл глаза, и Макинтош подумал, что больше он их уже, наверно, не откроет. Ужасно хотелось пить, во рту пересохло. Повар-китаец безмолвно подставил ему стул. Он сел рядом с кроватью. Сколько времени так прошло, он не знал. Ночь тянулась нескончаемо. Кто-то из сидевших на полу вдруг по-детски, в голос заплакал, и Макинтош, оглянувшись, увидел, что спальня полна туземцев. Они сидели на корточках, бок о бок, мужчины и женщины, не сводя глаз с кровати.

— Зачем они здесь? — проговорил Макинтош. — У них нет никакого права тут быть. Выгоните их, выгоните их всех до единого.

Его распоряжение, как видно, разбудило Уокера — он снова открыл глаза, теперь совсем мутные, и попытался заговорить. Но сил у него уже почти не было, Макинтош с трудом разбирал слова.

— Пусть останутся. Они мои дети. Их место тут.

Макинтош обернулся к туземцам.

— Останьтесь. Он хочет, чтобы вы были тут. Но молчите. Бескровное лицо старика тронула легкая улыбка.

— Поближе, — позвал он.

Макинтош нагнулся к нему. Его глаза были закрыты, и слова прошелестели, как ветер в листьях кокосовой пальмы.

— Дайте мне еще выпить. Мне надо сказать...

На этот раз Макинтош не стал разбавлять виски водой.

Уокер последним напряжением воли собрался с силами.

— Не устраивайте шума. В девяносто пятом во время волнений убили белых, и военные корабли обстреляли деревни. Погибло много ни в чем не повинных людей. В Апии они все дураки. Если поднять шум, наказание понесут не те. Я хочу, чтобы никого не наказывали.

Он умолк, переводя дух.

— Вы скажете, что это был несчастный случай. И никто не виноват. Обещайте.

— Я сделаю все, как вы хотите, — прошептал Макинтош.

— Молодчина. Такого второго поискать. Они же дети. Я их отец. А отец никогда не даст своих детей в обиду.

Он издал что-то вроде слабого призрачного смешка.

— Вы ведь верующий, Мак. Как там сказано насчет прощения? Ну, вы знаете.

Макинтош ответил не сразу. У него дрожали губы.

— «Прости им, ибо не ведают, что творят»?

— Вот-вот. Прости им. Я же их любил, вы знаете. Всегда любил.

Он вздохнул. Его губы еле шевелились, и Макинтошу пришлось почти прижаться к ним ухом, чтобы расслышать.

— Возьмите меня за руку, — попросил Уокер.

Макинтош охнул. Сердце у него невыносимо сжалось. Он взял руку старика, такую холодную и слабую — грубую, мозолистую руку, и так сидел и держал ее, покуда вдруг тишину не нарушил протяжный kloкочущий хрип. Жуткий, пугающий. Уокер умер. Туземцы разразились причитаниями. По щекам у них бежали слезы, они рыдали и били себя в грудь.

Макинтош высвободил руку из пальцев мертвеца и пошатываясь вышел, как человек, одурманенный сном. Он добрал до своего бюро, достал из ящика револьвер, спустился к лагуне и вошел в воду. Он брел осторожно, чтобы не споткнуться о коралловый выступ, пока не погрузился по плечи. Тогда он выстрелил себе в висок.

Час спустя на том месте, где он упал, плескались и пенили воду гибкие коричневые акулы.

РЫЖИЙ

Шкипер сунул руку в карман брюк и с трудом — он был толст, а карманы у него были не сбоку, а спереди — вытащил большие серебряные часы. Взглянув на них, он перевел взгляд на заходящее солнце.

Канак-рулевой посмотрел на него, но ничего не сказал. Шкипер не отрывал глаз от острова, к которому они приближались. Белая линия пены обозначала риф. Он знал, что в нем должен быть проход, достаточно широкий для его судна, и полагал, что увидит его, как только они подойдут немного поближе.

До наступления темноты оставалось около часа. Лагуна была глубокой и удобной для якорной стоянки. Старейшина деревни, которую он уже мог разглядеть среди кокосовых пальм, был приятелем его помощника, и ночь на берегу обещала быть приятной.

Подошел помощник, и шкипер обернулся к нему.

— Захватим с собой бутылку спиртного и пригласим девочек потанцевать.

— Я не вижу прохода, — сказал помощник.

Это был канак, красивый, смуглый парень, склонный к полноте и несколько напоминавший кого-то из последних римских императоров. Но лицо у него было тонкое, с правильными чертами.

— Я точно знаю, что проход здесь, — сказал шкипер, глядя в бинокль. — Не пойму, куда он девался. Пусть кто-нибудь из ребят посмотрит с мачты.

Помощник шкипера позвал одного из матросов и отдал ему приказание. Шкипер следил, как матрос взбирается на мачту, и стал ждать, что он скажет. Но канак лишь крикнул, что он не видит ничего, кроме сплошной линии пены.

Шкипер, говоривший на языке самоа не хуже туземцев, крепко выругался.

— Пусть сидит там? — спросил помощник.

— Да что проку! — ответил шкипер. — Этот болван все равно ни черта не видит. Будь я там, наверху, я бы уж нашел проход как пить дать!

Он со злостью посмотрел на тонкую мачту. Хорошо туземцам, которые всю жизнь лазят по кокосовым пальмам! Он же тяжел и тучен.

— Слезай! — крикнул он. — Толку от тебя, как от козла молока. Придется идти вдоль рифа, пока не отыщем проход.

Его семидесятитонная парусная шхуна имела вспомогательный двигатель и, если не было встречного ветра, шла со скоростью четырех-пяти узлов. Это была изрядно потрепанная посудина. Когда-то, очень давно, она была окрашена белой краской, но сейчас стала грязной, облезлой, покрылась пятнами. Она насквозь пропахла керосином и копррой, составлявшей ее обычный груз.

Они находились в ста футах от рифа, и шкипер велел рулевому идти вдоль него, пока не достигнут прохода. Пройдя около двух миль, он понял, что проскочил его. Тогда он повернул шхуну и вновь медленно повел ее вдоль рифа. Полоса пены все тянулась, не прерываясь, а солнце стояло уже совсем низко. Проклиная тупость своей команды, шкипер скрепя сердце решил ждать до утра.

— Поворачивай! — приказал он. — Здесь нельзя бросать якорь.

Они отошли подальше в море, и вскоре стемнело. Они бросили якорь. Когда убрали парус, шхуну стало сильно качать. В Апии предсказывали, что когда-нибудь она перевернется вверх дном, и даже хозяин ее, американский немец, владелец одного из крупнейших магазинов в порту, говорил, что ни за какие деньги не согласился бы выйти на ней в море.

Кок-китаец, в белых, очень грязных и изодранных штанах и в тонкой белой рубашке, доложил, что ужин готов. Когда шкипер спустился в каюту, механик уже сидел за столом. Это был долговязый человек с худой шеей, в синем комбинезоне и тельняшке. Худые руки его были татуированы от локтя до самой кисти.

— Чертовски досадно проводить ночь в море, — сказал шкипер.

Механик ничего не ответил, и ужин продолжался в молчании. Каюта освещалась тусклой керосиновой лампой.

После абрикосовых консервов, завершавших ужин, китаец принес чаю. Шкипер закурил сигару и поднялся на палубу. Теперь темная масса острова едва выделялась на фоне ночного неба. Ярko горели звезды. Лишь неумолчный шум прибоя нарушал тишину. Шкипер, усевшись в шезлонг, лениво курил. Вскоре на палубу поднялись трое или четверо матросов и уселись поодаль. У одного было банджо, у другого концертино. Они заиграли, и один из них запел. Странно звучал туземный напев, исполняемый на этих инструментах. Потом под звуки песни двое других матросов стали танцевать. Это был танец варваров, дикий, первобытный, быстрый, с резкими движениями рук, ног, с судорожными подергиваниями всего тела. В нем была чувственность, даже похоть, но без всякой страсти. Он был откровенно животный, причудливый, но без тайн, до такой степени непосредственный, что его можно было даже назвать детским.

Наконец, утомившись, матросы растянулись тут же на палубе и заснули. Все стихло.

Шкипер тяжело поднялся с шезлонга и пошел вниз по трапу. Войдя к себе в каюту, он разделся и лег. От ночной духоты он слегка задыхался.

Наутро, когда над безмятежным морем забрезжил рассвет, они увидели чуть дальше к востоку тот самый проход, который никак не могли разглядеть накануне вечером. Шхуна вошла в лагуну. На поверхности воды не было ни малейшей ряби. Глубоко внизу, между кораллами, сновали разноцветные рыбки.

Поставив судно на якорь, шкипер позавтракал и вышел на палубу. В безоблачном небе сияло солнце, но в воздухе еще ощущалась благодатная утренняя прохлада. Было воскресенье, кругом царили покой и тишина, словно сама природа отдыхала, и от этого шкипер тоже почувствовал себя необыкновенно спокойно и хорошо. Он сидел, с ленивым удовлетворением оглядывая лесистый берег. Затем губы его тронула слабая улыбка, и он швырнул окурок сигары в воду.

— Пора и на берег, — сказал он. — Шлюпку!

Он неуклюже спустился по трапу в лодку, и гребцы доставили его в маленькую бухту.

Здесь пальмы спускались к самой воде, не рядами, но все же в каком-то строгом порядке. Они напоминали кордебалет из старых дев, легкомысленных, несмотря на возраст, застывших в манерных позах, полных жеманной грации былых времен.

Шкипер медленно пошел между ними по едва заметной в густой траве извилистой тропинке. Вскоре она вывела его к речке. Через нее был перекинут мостик, вернее, не мостик, а десяток пальмовых стволов, уложенных впритык и опирающихся концами на развилки, вбитые в дно ручья. Надо было пройти по круглым гладким бревнам, узким и скользким, не имея никакой опоры для рук. Это требовало храбрости и сноровки.

Шкипер остановился в нерешительности. Но на другом берегу среди деревьев виднелась постройка европейского типа. Это заставило его решиться, и он осторожно ступил на первое бревно. Он тщательно примеривался, куда ставить ногу, и в тех местах, где был стык стволов разной толщины, с трудом удерживал равновесие. Со вздохом облегчения добрался он до последнего ствола и наконец почувствовал под ногами твердую почву. Поглощенный трудностями переправы, он не заметил, что за ним наблюдают, и с удивлением услышал обращенные к нему слова:

— Надо иметь крепкие нервы, чтобы ходить по таким мосткам, да еще без привычки.

Шкипер поднял голову и увидел перед собой человека. Очевидно, тот вышел из дома, уже ранее замеченного им.

— Я видел, что вы не сразу решились, — улыбаясь, сказал незнакомец. — Думал, вы вот-вот свалитесь.

— Как бы не так, — ответил шкипер, который вновь обрел уверенность в себе.

— Мне и самому случалось падать здесь. Помню, как-то вечером я возвращался с охоты и упал в воду в чем был, вместе с ружьем. Теперь я беру мальчика, чтобы он носил ружье.

Это был уже немолодой человек с седеющей бородкой и с худощавым лицом. На нем была рубашка без рукавов и парусиновые брюки, но не было ни носков, ни ботинок. По-английски он говорил с легким иностранным акцентом.

— Вы Нейлсон? — спросил шкипер.

— Он самый.

— Слышал о вас. Так и думал, что вы живете в этих краях.

Шкипер последовал за Нейлсоном в маленькое бунгало и тяжело опустился в предложенное ему кресло. Пока Нейлсон ходил за виски и стаканами, он оглядел комнату.

Она поразила его. Он никогда не видел такой массы книг. Все четыре стены, от пола до потолка, занимали полки, тесно уставленные книгами. Был здесь и рояль, заваленный нотами, и большой стол с разбросанными по нему книгами и журналами.

Вид комнаты привел шкипера в смущение. Но он вспомнил, что Нейлсон слывет чудаком. Никто о нем ничего толком не знал, хотя прожил он на островах уже много лет. Однако те, кому приходилось встречаться с ним, в один голос утверждали, что он человек со странностями. По национальности он был швед.

— У вас тут уйма книг, — сказал шкипер Нейлсону, когда тот вернулся.

— Ну что ж, от них вреда нет, — ответил Нейлсон с улыбкой.

— И вы их все прочли? — любопытствовал шкипер.

— Большую часть.

— Я и сам люблю почитать. Регулярно получаю «Сатердей ивнинг пост».

Нейлсон налил своему гостю стакан неразбавленного виски и угостил его сигарой. Шкипер счел своим долгом сообщить ему некоторые сведения о себе.

— Я прибыл вчера вечером, но не нашел прохода. Пришлось бросить якорь в море. Мне эта стоянка не знакома, но хозяева приказали мне доставить сюда кое-какой груз. Для Грэя. Вы слышали про такого?

— Да, у него магазин недалеко отсюда.

— Ну так вот, ему нужны консервы, а у него взамен имеется копра. Вот они и решили, что, чем стоять без дела в Апии, лучше мне отправиться сюда. Я обычно хожу между Апией и Паго-Паго, но у них там сейчас оспа, вся жизнь замерла.

Он отпил виски и закурил сигару. Шкипер по натуре был молчалив, но что-то в Нейлсоне нервировало его и заставляло говорить. Швед смотрел на него большими черными глазами, в которых мелькала легкая усмешка.

— У вас тут славный уголок.

— Да, я немало постарался.

— Ваши деревья, надо думать, дают большой доход. Они у вас хороши, а копра сейчас в цене. У меня у самого была когда-то маленькая плантация на Уполу, да пришлось ее продать.

Шкипер вновь оглядел комнату, заставленную книгами, непонятными и, казалось, враждебными ему.

— А вам тут, должно быть, скучновато, — сказал он.

— Ничего, я привык. Я ведь здесь уже двадцать пять лет.

Не зная, что еще сказать, шкипер молча курил. Нейлсону, по всей видимости, не хотелось нарушать молчание. Он задумчиво рассматривал своего гостя. Это был высокий человек, более шести футов ростом, очень полный. У него было заплывшее жиром лицо, красное и все в пятнах, а щеки покрывала сеть фиолетовых жилок. Глаза были налиты кровью, шея терялась в складках жира. Он был совершенно лыс, если не считать длинной курчавой и почти белой бахромы волос на затылке; высокий блестящий лоб, вместо того чтобы создавать видимость ума, придавал ему, напротив, необыкновенно глупый вид. На нем была голубая фланелевая рубашка, открывавшая заросшую рыжими волосами грудь, и изрядно потрепанные синие шерстяные брюки.

Гость сидел на стуле в тяжелой некрасивой позе, выпятив большой живот и широко расставив толстые ноги. Тело его утратило всякую гибкость. Нейлсон лениво задал себе вопрос, как же выглядел этот человек в молодости. Было почти невозможно представить себе, чтобы эта туша была когда-то резвым мальчишкой.

Шкипер допил свое виски, и Нейлсон пододвинул к нему бутылку.

— Угощайтесь.

Шкипер наклонился и взял бутылку своей огромной ручищей.

— А вы как попали в эти края? — спросил он.

— Я приехал на острова из-за своего здоровья. У меня было неважно с легкими, и доктора сказали, что я не проживу и года. Как видите, они ошиблись.

— Я хотел спросить, как вышло, что вы поселились именно здесь?

— Я человек сентиментальный.

— А !..

Нейлсон видел, что шкипер не имеет ни малейшего понятия о том, что он этим хотел сказать, и в его черных глазах блеснул насмешливый огонек. Но, может быть, именно потому, что шкипер был так неотесан и туп, ему шутки ради захотелось продолжить разговор.

— Когда вы шли по мосткам, вы так боялись свалиться, что вряд ли что замечали вокруг, а ведь это место считается очень красивым.

— У вас здесь славный домишко.

— Ну, его-то здесь как раз не было, когда я сюда приехал. Здесь стояла круглая туземная хижина на сваях, с остроконечной крышей, под огромным деревом с красными цветами, окруженная, как изгородью, кротоновыми кустами с желтыми, красными, золотистыми листьями. А дальше повсюду росли кокосовые пальмы, грациозные, тщеславные, как женщины. Они стояли у самой воды и целыми днями любовались своим отражением.

Я тогда был еще молод — боже мой, ведь это было четверть века назад! — и я хотел насладиться всей красотой мира за то короткое время, что мне осталось до смерти. Когда я впервые попал сюда, у меня дух захватило, и я думал, что заплачу. Я в жизни не видел такой красоты. Мне было всего двадцать пять лет, и я храбрился — умирать мне не хотелось. И мне почему-то показалось, что самая красота этого места поможет мне примириться с судьбой... Когда я приехал сюда, я почувствовал, что все мое прошлое куда-то исчезло — Стокгольм и Стокгольмский университет, и затем Бонн, как будто это была чья-то чужая жизнь; как будто я только сейчас постиг ту реальность жизни, о которой так много говорят наши доктора философии — между прочим, я и сам доктор философии. «Один год, — сказал я себе, — мне остался один год. Я проведу его здесь, а потом я готов умереть».

Как мы глупы, сентиментальны, мелодраматичны, когда нам двадцать пять лет, но, если б не это, может быть, тогда к пятидесяти годам мы не были бы такими умудренными... Пейте, мой друг, пейте! Не обращайте внимания на мою болтовню.

Он жестом указал на бутылку, и шкипер допил свой стакан.

— А вы-то сами ничего не пьете? — спросил он, беря бутылку.

— Я трезвенник, — улыбнулся швед. — Я опьяняю себя другими, более тонкими способами. Но может быть, это просто тщеславие. Во всяком случае, эффект получается более длительный, а результаты менее пагубны.

— Говорят, в Штатах сейчас многие нюхают кокаин — сказал шкипер.

Нейлсон только усмехнулся.

— Я редко вижу белых, и раз в жизни глоток виски, пожалуй, мне не повредит.

Он налил себе немного виски, добавил содовой и отпил из стакана.

— Наконец я понял, почему это место отличалось такой неземной красотой. Здесь на миг задержалась любовь, как перелетная птица, которая, случайно встретив корабль среди океана, садится на мачту и ненадолго складывает усталые крылья. Благоухание прекрасной страсти носилось здесь в воздухе, как аромат боярышника на лугах моей родины в мае. Мне кажется, что там, где люди сильно любили или сильно страдали, навсегда сохраняется слабый аромат чувства, как будто оно полностью не умирает, как будто эти места приобретают некую духовную значимость, которая таинственным образом отражается на тех, кто попадает туда. Жаль, что я не могу яснее это выразить, — он слегка улыбнулся, — но все равно, навряд ли вы и тогда поняли бы, что я хочу сказать.

Нейлсон помолчал.

— Может быть, это место казалось мне таким красивым, потому что здесь я пережил красивую любовь. — Он пожал плечами. — А может быть, просто моему эстетическому чувству импонировало удачное сочетание молодой любви и соответствующей оправы.

Даже человек, менее тупой, чем шкипер, был бы озадачен словами Нейлсона, потому что Нейлсон, казалось, сам посмеивался над тем, что говорил. Как будто его откровенность диктовалась чувством, которое разум находил смешным. Он сам назвал себя сентиментальным, но, если к сентиментальности примешивается скепсис, из этого иногда черт знает что получается.

Нейлсон замолк на минуту и посмотрел на шкипера с внезапным любопытством, как бы силясь припомнить что-то.

— Вы знаете, мне все мерещится, что я вас уже где-то встречал, — сказал он.

— Я что-то не припоминаю, — возразил шкипер.

— Странное чувство, как будто ваше лицо мне знакомо. Я все пытаюсь вспомнить, где и когда я вас видел.

Шкипер пожал плечами.

— Уже тридцать лет, как я на островах. Где же тут упомнить всех, с кем встречался за такой срок.

Швед покачал головой.

— Знаете, иногда чувствуешь, что тебе почему-то знакомо место, где ты никогда не бывал. Вот у меня такое же ощущение, когда я смотрю на вас. — На лице его появилась странная улыбка. — А может быть, вы были начальником галеры в Древнем Риме, а я рабом у весла. Так вы говорите, что прожили здесь тридцать лет?

— Тридцать, как один год.

— Не встречался ли вам человек по прозвищу Рыжий?

— Рыжий?

— Я его знаю только под этим прозвищем. Сам я никогда не был с ним знаком и даже в глаза его не видал. И все же я представляю его себе яснее, чем многих других, например, моих братьев, которых я видел ежедневно в течение многих лет. Он живет в моем воображении так же ясно, как Паоло Малатеста или Ромео. Впрочем, вы, вероятно, не читали ни Данте, ни Шекспира?

— Да вроде нет, — ответил шкипер.

Нейлсон, покуривая сигару, откинулся на спинку кресла и отсутствующим взглядом смотрел на плававший в неподвижном воздухе дым. На губах его играла улыбка, но глаза были серьезны.

Затем он взглянул на шкипера. В невероятной тучности последнего было что-то отталкивающее. Его лицо отражало безграничное самодовольство, свойственное очень толстым людям. Это было возмутительно, это действовало Нейлсону на нервы. Однако контраст между его гостем и тем человеком, которого он мысленно представлял себе, был приятен ему.

— Похоже на то, что этот Рыжий был красавец хоть куда. Я разговаривал со многими людьми, к тому же белыми, которые знавали его в те дни, и все в один голос утверждали, что он был ослепительно красив.

Рыжим его прозвали за огненные волосы. Они вились от природы, и он носил длинную шевелюру. Должно быть, это был тот чудесный оттенок, на котором были помешаны

праерафаэлиты. Не думаю, что он гордился своей шевелюрой — для этого он был слишком прост, — но, если бы и гордился, никто не осудил бы его за такое тщеславие.

Он был высокого роста, шести футов с лишним. В туземной хижине, которая здесь раньше стояла, на центральном столбе, поддерживавшем крышу, была зарубка, отмечавшая его рост. Сложен он был, как греческий бог, широкий в плечах, с узкими бедрами; в его фигуре была та мягкость линий, которую придал Пракситель своему Аполлону, и та же неуловимая женственная грация, волнующая и таинственная. Его кожа была ослепительно белая, бархатистая, как у женщины.

— У меня у самого была довольно белая кожа, когда я был мальчишкой, — сказал шкипер, и его налитые кровью глаза сощурились в усмешке.

Но Нейлсон как бы не слышал его. Он увлекся своим рассказом и не хотел, чтобы его перебивали.

— Лицо его было так же прекрасно, как и тело. У него были большие синие глаза, такие темные, что некоторые утверждали, что они черные. И в отличие от большинства рыжих — темные брови и длинные темные ресницы. Черты лица у него были абсолютно правильные, а рот похож на кровавую рану. Ему было двадцать лет. — На этом швед выдержал драматическую паузу и отпил глоток виски. Затем он продолжал: — Он был неповторим. Не было человека красивее его. Он был как чудесный цветок на диком растении, — счастливая прихоть Природы.

Однажды Рыжий высадился в той бухте, где вы, должно быть, сегодня утром бросили якорь. Он был американским матросом и дезертировал с военного корабля в Апии. Он уговорил какого-то добросердечного туземца подвезти его на катере, шедшем из Апии в Сафоро. Здесь его ссадили на берег. Почему он дезертировал, я не знаю. Может быть, ему пришлось не по вкусу жизнь на военном корабле с ее строгостями; может быть, у него были неприятности; а может быть, просто на него подействовали Южные моря и эти романтические острова. Иногда они странно действуют на человека, он оказывается пойманным, как муха в паутину. Возможно, он был не в меру впечатлителен, и эти зеленые холмы, этот разнеживающий климат, это синее море отняли у него его силу северянина, как Далила отняла силу у Самсона. Так или иначе, ему нужно было скрыться, и он решил,

что здесь можно прожить в безопасности до тех пор, пока его корабль не уйдет с Самоанских островов.

На берегу лагуны была туземная хижина, и пока Рыжий стоял здесь, не зная, куда ему направиться, из хижины вышла девушка и пригласила его войти. Он знал не более двух-трех слов на туземном языке, а она столько же по-английски. Но он отлично понял, что означали ее улыбки и приветливые жесты, и последовал за нею. Он сел на циновку, и она угостила его ломтиками ананаса.

О Рыжем я знаю только понаслышке, но девушку я сам видел через три года после их встречи. Тогда ей было всего девятнадцать лет. Вы не можете себе представить, как она была прелестна. В ней была чувственная грация и богатые краски тропического цветка. Высокая, стройная, с тонкими чертами, присущими ее народу, с большими глазами, похожими на тихие заводи под пальмами. Ее черные вьющиеся волосы рассыпались по спине, а голова была увенчана душистыми цветами. У нее были очаровательные руки, такие маленькие, такой прекрасной формы, что от одного взгляда на них дух захватывало.

В те дни она охотно смеялась. Улыбка у нее была такая нежная, что сердце замирало, а кожа золотилась, как пшеничное поле в солнечный день.

Боже! Как мне описать ее? Она была сказочно хороша.

И эти юные создания — ей было шестнадцать лет, а ему двадцать — влюбились друг в друга с первого взгляда. Такова истинная любовь, не та любовь, которая вырастает из взаимной симпатии, общих интересов, духовной близости, но любовь простая, первозданная. Так полюбил Адам Еву, когда он проснулся и впервые увидел ее в саду, смотрящую на него влажными глазами. Это была та любовь, которая влечет друг к другу зверей и богов. Та любовь, которая делает мир чудом. Та любовь, которая дает жизни ее внутренний смысл. Вы никогда, вероятно, не слышали об умном и циничном французском герцоге, который сказал, что из двух любовников всегда один любит, а другой только позволяет себя любить; это горькая истина, с которой большинство из нас вынуждено мириться. И очень редко бывает так, что оба любят одинаково. Тогда, наверно, само солнце останавливается, как остановилось оно, когда Иисус Навин воззвал к Богу Израиля.

Даже теперь, после стольких лет, когда я вспоминаю об этих юных существах, таких прекрасных, простых, и об их любви, у меня шемит сердце. Оно сжимается так же, как это иногда бывает, когда я ночью смотрю на полную луну, сияющую в чистом небе над тихой лагуной. Созерцание идеальной красоты всегда рождает боль.

Они были детьми. Девушка была добрая, милая и нежная. О нем я ничего не знаю, но хочу думать, что, по крайней мере, в то время он был бесхитростным и чистосердечным. Мне хочется думать, что душа его была так же прекрасна, как его тело. Но очень возможно, что у него было не больше души, чем у населявших леса созданий, которые делали свирели из камыша и купались в горных ручьях и озерах, когда мир был еще молод и когда маленькие фавны скакали по долинам верхом на бородатых кентаврах. Беспокойная вещь — душа, и с тех пор, как человек приобрел ее, он лишился Эдема.

Да, так вот, незадолго до появления Рыжего на острове здесь разразилась эпидемия, одна из тех, которые заносит в страны Южных морей белый человек; треть обитателей острова вымерла. Девушка потеряла всех своих родных и жила у дальних родичей. Вся семья состояла из двух древних старух, морщинистых и сгорбленных, двух женщин помоложе, мужчины и мальчика.

Рыжий пробыл у них несколько дней. Но то ли его смущала близость берега и возможность встречи с белыми, которые выдадут его убежище, то ли влюбленные не хотели, чтобы посторонние хоть на минуту лишали их радости быть вдвоем; так или иначе, однажды они оба, забрав с собой нехитрые пожитки девушки, отправились в путь по заросшей травой тропинке под кокосовыми пальмами и пришли к речке, которую вы сейчас видите. Им пришлось перейти мостик, по которому и вы переправлялись, и девушка весело смеялась над робостью Рыжего. Она довела его за руку до конца первого ствола, но тут мужество покинуло его, и ему пришлось вернуться. Он был вынужден снять с себя всю одежду, прежде чем снова рискнул ступить на мост, и девушка перенесла его вещи на голове.

Они поселились в пустой хижине, которая стояла здесь. То ли девушка имела на нее какие-либо права (права на землю на этих островах — сложная вещь), то ли хозяин хижины умер во время эпидемии, во всяком случае, никто

их ни о чем не спрашивал, и они завладели хижинкой. Вся их обстановка состояла из пары циновок, на которых они спали, осколка зеркала и двух-трех мисок. Но в таком благословенном уголке этого было вполне достаточно, чтобы зажить своим домом.

Говорят, что у счастливых людей нет истории и, уж конечно, ее нет у счастливой любви. Они целыми днями ничего не делали, и все же дни казались им слишком короткими. У девушки было туземное имя, но Рыжий звал ее Салли. Он быстро научился несложному языку туземцев и часами лежал на циновке, слушая ее веселый щебет. Он был молчалив, а может быть, ум его еще не пробудился... Он беспрестанно курил сигареты, которые она делала ему из туземного табака и листьев пандана, и наблюдал, как она своими ловкими пальцами плела циновки из травы.

К ним часто заходили туземцы; они рассказывали длинные истории о былых временах, когда на острове шла война между племенами. Иногда Рыжий рыбачил на рифе и приносил корзину разноцветной рыбы. Иногда ночью он уходил с фонарем ловить омаров. Вокруг хижины росли бананы. Салли пекла их, и это тоже было частью их скромной пищи. Салли умела делать вкуснейшие кушанья из кокосовых орехов, а хлебное дерево, росшее на берегу речки, давало им свои плоды. По праздникам закалывали поросенка и жарили мясо на горячих камнях. Они вместе купались в речке, а вечером катались на челноке по лагуне.

На закате темно-синее море окрашивалось в цвет красного вина, как море гомеровской Греции; в лагуне же оно переливалось всеми оттенками, от аквамарина до аметиста и изумруда; а лучи заходящего солнца на короткое время придавали ему вид жидкого золота. В море были кораллы всех цветов: коричневые, белые, розовые, красные, фиолетовые. Они были похожи на волшебный сад, а сновавшие в воде рыбы — на бабочек. Все это напоминало сказку. Среди зарослей кораллов встречались открытые места с белым песчаным дном и с кристально чистой водой, в которой очень хорошо было купаться.

Уже в сумерках они медленно, держась за руки, возвращались к себе по заросшей мягкой травой тропинке, освеженные и счастливые. Птицы майна наполняли кокосовые рощи своим щебетом. Наступала ночь, и огромное небо, сверкавшее золотыми звездами, казалось шире, чем небо в

Европе, а легкий ветерок продувал их открытую хижину. Но и эта длинная ночь тоже казалась им слишком короткой.

Ей было шестнадцать, а ему едва минуло двадцать лет. Рассвет проникал между столбов хижины и смотрел на этих прелестных детей, спавших в объятиях друг друга. Солнце, чтобы не потревожить их, сначала пряталось за большими резными листьями бананов, а затем его золотой луч, как будто лапка ангорской кошки, лукаво трогал их лица. Они открывали сонные глаза и улыбкой встречали новый день.

Недели превращались в месяцы, прошел год. Они, казалось, любили друг друга так же — я не хочу сказать страстно, потому что в страсти всегда есть оттенок печали, примесь горечи или муки, — но так же безгранично, так же просто и естественно, как в тот день, когда они впервые встретились и поняли, что в них вселилось божество.

Я уверен, что они не допускали мысли, что их любовь может когда-нибудь иссякнуть. Разве мы не знаем, что главное в любви — это вера в то, что она будет длиться вечно. И все-таки, может быть, в Рыжем уже таилось крошечное семя будущего пресыщения, о котором ни он, ни девушка не подозревали, когда однажды туземец, приехавший со взморья, сказал им, что недалеко от берега стало на якорь английское китобойное судно.

— Вот здорово! — сказал Рыжий. — Уж не попробовать ли мне добыть у них фунта два табаку в обмен на орехи и бананы?

Сигареты из пандановых листьев, которые Салли без усталости крутила ему, были крепкими и достаточно приятными на вкус, но они не удовлетворяли его; ему вдруг ужасно захотелось настоящего табаку, забористого и пахучего. Много месяцев он не курил трубки, и при одной мысли об этом у него потекли слюнки.

Можно было бы ожидать, что Салли почует недоброе и попытается его отговорить, однако любовь переполняла ее настолько, что она и подумать не могла о том, что есть такая сила на земле, которая может отнять у нее Рыжего. Они вместе отправились на холмы, набрали большую корзину диких апельсинов, зеленых, но сладких и сочных; возле хижины они нарвали бананов, кокосовых орехов, плодов хлебного дерева и манго и все это снесли на берег. Нагрузив утлый челнок, Рыжий вместе с мальчиком-туземцем, тем самым, который сообщил им о прибытии судна, поплыл за риф.

Больше Салли его никогда не видела.

На другой день мальчик вернулся один, весь в слезах. Он рассказал, что, когда они добрались до судна и Рыжий окликнул людей на борту, показался белый человек и позвал их наверх. Захватив с собой привезенные фрукты, Рыжий вывалил их на палубу. Белый человек заговорил с Рыжим, и они, как видно, о чем-то условились. Один из матросов пошел вниз и принес табаку. Рыжий тут же набил трубку и закурил. Мальчик показал, с каким удовольствием он затянулся и выпустил большой клуб дыма. Затем они ему что-то сказали, и он вошел в каюту. Мальчик, с любопытством наблюдая через открытую дверь, видел, как принесли бутылку и стаканы. Рыжий пил и курил.

Белые, по-видимому, задали ему какой-то вопрос, потому что он покачал головой и засмеялся. Человек, который первым заговорил с ними, тоже смеялся и снова наполнил стакан Рыжего. Они продолжали разговаривать и пить, и мальчик, устав, в конце концов, наблюдать зрелище, смысла которого он не мог уловить, свернулся калачиком на палубе и заснул.

Он проснулся от пинка; вскочив на ноги, он увидел, что корабль медленно выходит из лагуны. Рыжий крепко спал, сидя за столом и положив отяжелевшую голову на руки. Мальчик шагнул было к нему, чтобы разбудить его, но чья-то рука грубо схватила его за плечо, и хмурый матрос, обругав его на непонятном языке, указал на борт. Тогда он громко окликнул Рыжего, но в ту же секунду его схватили и швырнули в воду. Поняв, что он ничего не может сделать, он подплыл к своему челноку, дрейфовавшему неподалеку, подогнал его к рифу, влез в него и, плача, стал грести к берегу.

Объяснялось все это просто. На китобойном судне не хватало матросов — то ли они болели, то ли разбежались, — и капитан предложил Рыжему завербоваться, а когда тот отказался, напоил его и просто увез.

Салли была вне себя от горя. В течение трех дней она рыдала и билась в отчаянии. Туземцы всячески старались утешить ее, но напрасно. Она ничего не ела. А потом, совсем обессилив, погрузилась в мрачную апатию.

Долгие дни она проводила на берегу, не спуская глаз с лагуны, в тщетной надежде на то, что Рыжему как-нибудь удастся сбежать. Она часами сидела на белом песке, и слезы

лились у нее по щекам, а с наступлением ночи устало брела через речку к маленькой хижине, где она когда-то была счастлива. Люди, с которыми она жила до появления Рыжего на острове, уговаривали ее возвратиться к ним, но она отказалась: она была уверена, что Рыжий вернется, и хотела, чтобы он нашел ее на том же месте, где оставил.

Четыре месяца спустя она родила мертвого ребенка, и старуха, которая пришла помочь ей при родах, осталась жить в ее хижине.

Из ее жизни ушла вся радость. Хотя с течением времени ее боль перестала быть такой невыносимой, на смену ей пришла постоянная меланхолия. Нельзя было себе представить, что среди этого народа, чьи чувства бурны, но мимолетны, найдется женщина, способная на такую длительную страсть. Она не переставала верить, что рано или поздно Рыжий вернется. Она ждала его, и каждый раз, когда кто-нибудь шел по узкому мостику, она поднимала голову в надежде, что наконец увидит его...

Нейлсон умолк и слегка вздохнул.

— Что же с ней было дальше? — спросил шкипер.

Нейлсон горько усмехнулся.

— Через три года она сошлась с другим белым.

— Так у них обычно и бывает, — сказал шкипер с циничным смешком.

Швед бросил на него взгляд, полный ненависти. Он не знал, почему этот грубый, ожиревший человек вызывал в нем такое отвращение. Вскоре, однако, мысли его отвлеклись, и на него нахлынули воспоминания.

Они перенесли его на двадцать пять лет назад, к той поре, когда он впервые приехал на остров из Апии, надоевшей ему своим пьянством, азартными играми и грубым развратом. Он был тяжело болен и пытался привыкнуть к мысли о крушении карьеры, с которой связывал столько честолюбивых мечтаний. Отбросив всякую надежду стать когда-нибудь знаменитым, он старался заставить себя быть довольным теми немногими месяцами осторожной жизни, на которые мог рассчитывать, если будет беречь себя.

Он поселился у метиса-торговца, которому принадлежала лавка на берегу, милях в двух отсюда, на окраине туземной деревни. Однажды, бесцельно бродя по заросшим травой тропинкам среди кокосовых пальм, он наткнулся на хижину, в которой жила Салли. Красота этого уголка

породила в его душе огромный, чуть ли не болезненный восторг. И тут он увидел Салли.

Более красивого создания он еще никогда не встречал, а печаль в ее великолепных черных глазах вызвала в нем странное чувство. Канаки — красивый народ, но красота их скорее напоминает красоту животных. Она пуста. Однако трагические глаза Салли хранили какую-то тайну; в них отражалась вся растерянность и горечь израненной души. Торговец рассказал ему историю Салли, и она тронула его.

— Как по-вашему, Рыжий когда-нибудь вернется? — спросил Нейлсон.

— Какое там! Ведь команду рассчитают не раньше чем года через два, а к тому времени он забудет и думать о Салли. Уверен, что когда он проснулся и понял, что его нарочно споили и увезли, он порядком взбесился и, наверное, даже полез в драку. Но, в конце концов, ему пришлось смириться, а через месяц он, наверно, был рад-радешенек, что уехал с острова.

Нейлсон не мог выбросить этот рассказ из головы. Может быть, именно потому, что сам он был больной и слабый, брызжащее через край здоровье Рыжего импонировало его воображению. Будучи сам некрасив, с незначительной внешностью, он высоко ценил красоту в других. Он никогда страстно не любил и тем более никогда не был страстно любим. Почему-то взаимная привязанность этих двух юных созданий бесконечно радовала его. В ней была совершенная красота, говорящая о Вечном.

Он снова отправился к маленькой хижине у реки. У него были способности к языкам и энергичный ум, привыкший работать. Он посвятил уже немало времени изучению туземного языка. Теперь в силу старой привычки он собирал материал для научной работы по языку самоанцев.

Старуха, жившая у Салли, пригласила его войти и присесть. Она угостила его кавой и сигаретами. Она была рада, что ей есть с кем поболтать, а он, пока старуха говорила, разглядывал Салли. Она напомнила ему Психею из Неаполитанского музея. У нее были такие же четкие и чистые черты лица, и хотя она уже прошла через материнство, выглядела она как юная девушка.

Лишь после второй или третьей встречи Нейлсон услышал ее голос. Но и тогда она нарушила молчание лишь для того, чтобы спросить, не встречал ли он в Апии человека

по прозвищу Рыжий. Два года прошло с его исчезновения, но было ясно, что она непрестанно думает о нем.

Вскоре Нейлсон понял, что он влюблен. Только усилием воли он заставлял себя не ходить к речке каждый день, но, даже когда он не видел Салли, его мысли были о ней.

Сначала, считая себя обреченным, он стремился лишь видеть ее, лишь изредка слышать ее голос, и его любовь была для него источником огромного счастья. Он радовался чистоте своего чувства. Он ничего не хотел от Салли, он хотел только сплестать вокруг этой грациозной девушки узор чудесных фантазий.

Но свежий воздух, ровный климат, отдых, простая пища оказали неожиданное действие на его здоровье. У него прекратились опасные ночные скачки температуры, он стал меньше кашлять и прибавил в весе; полгода у него не было кровохарканья, и тогда он вдруг понял, что, может быть, выживет. Он тщательно изучал свою болезнь, и у него появилась надежда, что, соблюдая осторожность, он может пресечь ее развитие.

Возможность снова думать о будущем воодушевила его. Он стал строить планы. Было ясно, что ни о какой напряженной деятельности не может быть и речи, но он мог жить на островах, а его небольшого дохода, которого было бы недостаточно во всяком другом месте, здесь ему вполне хватит. Он станет выращивать кокосовые пальмы, — значит, будет чем заняться; и он выпишет свои книги и рояль; но он быстро понял, что всем этим он только пытается скрыть от себя охватившую его страсть.

Ему нужна была Салли. Он любил не только ее красоту, но и ее душу, которую смутно угадывал по выражению ее страдальческих глаз. Он опьянит ее своей страстью. Он заставит ее забыть. И, отдаваясь нахлынувшему на него чувству, он представлял себе, что сможет дать ей то счастье, которое он считал навсегда утраченным для себя и которое так чудесно обрел.

Он предложил ей жить с ним. Она отказалась. Отказ его не обескуражил — он ожидал его. Но он был уверен, что рано или поздно она уступит. Его любовь одолеет все.

Он сказал старухе о своих намерениях и не без удивления убедился, что и старуха и соседи, давно разгадав их, усиленно уговаривали Салли принять его предложение. Ведь каждая туземная женщина была рада стать хозяйкой в доме

белого человека, а Нейлсон, по местным понятиям, был богат. Торговец, у которого он жил, пошел к Салли и убеждал ее не быть дурой; такая возможность больше не представится, и теперь, когда прошло столько времени, нельзя рассчитывать, что Рыжий вернется.

Спротивление девушки только подстегнуло Нейлсона, и то, что прежде было очень чистой любовью, превратилось в мучительную страсть. Он твердо решил смести все преграды. Он не давал Салли покоя. Наконец, сломленная его настойчивостью и то ласковыми, то сердитыми увещеваниями всех окружающих, она согласилась.

Но когда на следующий день он пришел к ней, переполненный радостным чувством, то обнаружил, что ночью она сожгла хижину, в которой когда-то жила с Рыжим. Старуха выбежала ему навстречу, сердито ругая Салли, но он отмахнулся от нее; это неважно, они построят бунгало на том месте, где стояла хижина. Европейский дом будет даже удобнее, раз он собирается выписать сюда рояль и много книг.

Так появился деревянный домик, в котором он впоследствии прожил много лет, и Салли стала его женой. Но после первых недель восторгов, когда Нейлсон удовлетворялся тем, что она давала ему, он все-таки знал мало счастья. Она покорила ему, потому что устала сопротивляться, но отдала только то, чему не придавала цены. Душа ее, которую он смутно угадывал, ускользала от него. Он знал, что она совершенно равнодушна к нему. Она все еще любила Рыжего и все время ждала его возвращения. Нейлсон знал, что, невзирая на всю его любовь, его нежность, его сочувствие и щедрость, она бросила бы его без малейшего колебания по первому знаку Рыжего. Она даже не задумалась бы о том, какое горе это ему причинит.

Для него это стало мукой; он тщетно пытался пробить непроницаемую стену, которую она воздвигла вокруг себя. К его любви примешалась горечь. Он старался растопить сердце Салли добротой, но оно оставалось таким же холодным; он притворялся равнодушным — она не замечала этого. Иногда он выходил из себя и ругал ее, и тогда она молча плакала. Иногда он думал, что сам себя обманул, сам выдумал ее душу и что он потому не может проникнуть в святая святых ее сердца, что этого святая святых вообще не существует.

Его любовь стала тюрьмой, из которой он стремился бежать, но у него не хватало силы просто открыть дверь — большего и не требовалось — и выйти на свободу. Это было мучением, и под конец он потерял надежду и уже не чувствовал боли. Огонь его страсти выгорел, и когда он видел, что ее взгляд на секунду задерживается на мостике, его охватывала уже не ярость, а досада. Они прожили вместе много лет, связанные узами привычки и удобства, и сейчас он с улыбкой вспоминал свою былую страсть. Она была уже старой женщиной, потому что женщины на островах старятся быстро, и он уже не любил ее, но научился относиться к ней снисходительно. Она больше не была ему нужна. Он вполне довольствовался своим роялем и книгами. Эти мысли вызвали в Нейлсоне желание говорить.

— Когда я оглядываюсь назад и думаю о краткой, но страстной любви Рыжего и Салли, мне кажется, что, пожалуй, они должны благодарить безжалостную судьбу, которая разлучила их, когда их любовь, казалось, была еще в зените. Они страдали, да, но страдания их были красивы. Истинная трагедия любви миновала их.

— Я что-то не совсем вас понимаю, — сказал шкипер.

— Трагедия любви — это не смерть и не разлука. Ведь как знать, сколько бы еще длилась их любовь. Как горько смотреть на женщину, которую когда-то любил всем сердцем, всей душой — любил так, что ни минуты не мог быть без нее, — и сознавать, что ты ничуть не был бы огорчен, если бы больше никогда ее не увидел. Трагедия любви — это равнодушие.

Но пока Нейлсон говорил, произошло нечто очень странное. Хотя он обращался к шкиперу, он говорил не с ним; он просто излагал свои мысли для себя, глядя при этом на человека, сидевшего перед ним. Но вдруг в его сознании возник образ — образ не того, кого он видел перед собой, а другого. Он как будто смотрел в кривое зеркало, которое делает человека или необычайно толстым, или ужасно длинным; только сейчас происходило как раз обратное: в отталкивающем тучном старике он вдруг на мгновение увидел образ юноши.

Он пристально взгляделся в своего гостя. Почему случайная прогулка завела его именно сюда?

У него внезапно дрогнуло сердце. Нелепое подозрение вдруг зародилось в нем. Это казалось немыслимым, а между тем...

— Как ваше имя? — спросил он резко.

Шкипер прищурился и хитро усмехнулся. На лице его появилось злорадное и отвратительно вульгарное выражение.

— Черт побери, меня уже так давно никто не называл по имени, что я и сам почти забыл его; но вот уже тридцать лет, как здесь, на островах, меня все зовут Рыжим.

Его тучное тело затряслось от тихого, почти неслышного смеха. Это было омерзительное зрелище.

Нейлсона передернуло. А Рыжего все это, видимо, очень забавляло, и от смеха в его налитых кровью глазах выступили слезы.

Нейлсон вздрогнул, потому что в эту минуту в комнату вошла женщина. Это была благообразная туземка, полная, но не тучная, очень смуглая — кожа туземцев с возрастом темнеет — и совершенно седая. На ней было свободное платье из тонкой черной ткани, сквозь которую просвечивали ее тяжелые груди. Критический момент наступил.

Женщина что-то сказала Нейлсону насчет домашних дел. Когда он отвечал ей, собственный голос показался ему неестественным, но он не был уверен, почувствовала ли она это. Женщина равнодушно посмотрела на человека, сидевшего у окна, и вышла из комнаты. Критический момент наступил — и прошел.

Нейлсон не мог выговорить ни слова. Он был потрясен. Затем он все же заставил себя сказать:

— Буду рад, если вы останетесь и перекусите со мной, чем Бог послал.

— Боюсь, что не смогу, — сказал Рыжий. — Я должен разыскать этого самого Грэя. Отдам ему его товары и уеду обратно. Мне нужно завтра же быть в Апии.

— Я пошлю мальчика проводить вас.

— Вот и прекрасно.

Рыжий с трудом поднял свое грузное тело с кресла, а швед позвал одного из мальчишек, работавших на плантации. Он объяснил ему, куда нужно идти шкиперу, и мальчик пошел через мостик. Рыжий приготовился следовать за ним.

— Не свалитесь! — сказал Нейлсон.

— Ни в жизнь!

Нейлсон следил за ним, и когда тот исчез за кокосовыми пальмами, он продолжал неподвижно стоять у окна. Затем он тяжело опустился на стул. Неужели это и был тот человек,

которого Салли любила все эти годы и которого она так отчаянно ждала. Какая чудовищная насмешка! Внезапно бешенство охватило его. Ему захотелось вскочить и крушить все вокруг. Его обманули. Они встретились наконец и не узнали друг друга. Он невесело засмеялся, и смех его, становясь все громче, напоминал истерику. Боги сыграли над ним жестокую шутку. А сейчас он уже стар...

Наконец вошла Салли и сказала, что обед готов. Он сидел напротив нее и пытался есть. Что бы она сказала, если бы знала, что толстый старик, только что сидевший здесь в кресле, был тот возлюбленный, которого она все еще помнила со всем пылом юности. Много лет назад, когда он ненавидел ее за то, что она так его мучила, ему доставило бы удовольствие сказать ей это. Он тогда хотел причинить ей боль, такую же, какую она причиняла ему, потому что его ненависть была та же любовь. Но сейчас ему было все равно. Он безразлично пожал плечами.

— Что нужно было тому человеку? — спросила она.

Он не сразу ответил. Она тоже была старая. Толстая старая туземка. Ему уже было непонятно, почему он когда-то любил ее так безумно. Он сложил к ее ногам все сокровища своей души, а ей это было совершенно не нужно.

Зря! Все зря!

Сейчас, когда он смотрел на нее, он чувствовал только презрение. Хватит терпеть! Он ответил:

— Это был капитан шхуны. Приехал из Апии.

— А...

— Он привез мне новости из дома. Мой старший брат очень болен, и я должен вернуться.

— Вы надолго уезжаете?

Он пожал плечами.

ДОЖДЬ

Скоро время ложиться, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна земля. Доктор Макфейл закурил трубку и, опираясь на поручни, стал искать среди созвездий Южный Крест. После двух лет на фронте и раны, которая заживала дольше, чем следовало бы, он был рад поселиться на год в тихой Апии, и путешествие уже принесло ему заметную пользу. На следующее утро некоторым пассажирам предстояло сойти в Паго-Паго, и вечером на корабле были устроены танцы — в ушах доктора все еще отдавались резкие звуки пианолы. Теперь наконец на палубе воцарилось спокойствие. Неподалеку он увидел свою жену, занятую разговором с Дэвидсонами, и неторопливо направился к ее шезлонгу. Когда он сел под фонарем и снял шляпу, оказалось, что у него огненно-рыжие волосы, плешь на макушке и обычная для рыжих людей красноватая веснушчатая кожа. Это был человек лет сорока, худой, узколицый, аккуратный и немного педант. Он говорил с шотландским акцентом, всегда негромко и спокойно. Между Макфейлами и Дэвидсонами — супругами-миссионерами — завязалась пароходная дружба, возникающая не из-за близости взглядов и вкусов, а благодаря неизбежно частым встречам. Больше всего их объединяла неприязнь, которую все четверо испытывали к пассажирам, проводившим дни и ночи в курительном салоне за покером, бриджем и вином. Миссис Макфейл немножко гордилась тем, что они с мужем были единственными людьми на борту, которых Дэвидсоны не сторонились, и даже сам доктор, человек застенчивый, но отнюдь не глупый, в глубине души чувствовал себя польщенным. И только потому, что у него был

критический склад ума, он позволил себе поворчать, когда они в этот вечер ушли в свою каюту.

— Миссис Дэвидсон говорила мне, что не знает, как бы они выдержали эту поездку, если бы не мы, — сказала миссис Макфейл, осторожно выпутывая из волос накладку. — Она сказала, что, кроме нас, им просто не с кем было бы здесь познакомиться.

— По-моему, миссионер — не такая уж важная птица, чтобы чваниться.

— Это не чванство. Я очень хорошо ее понимаю. Дэвидсонам не подходит грубое общество курительного салона.

— Основатель их религии был не так разборчив, — со смешком заметил доктор.

— Сколько раз я просила тебя не шутить над религией, — сказала его жена. — Не хотела бы я иметь твой характер, Алек. Ты ищешь в людях только дурное.

Он искоса посмотрел на нее своими бледно-голубыми глазами, но промолчал. Долгие годы супружеской жизни убедили его, что ради мира в семье последнее слово следует оставлять за женой. Он кончил раздеваться раньше ее и, забравшись на верхнюю полку, устроился почитать перед сном.

Когда на следующее утро доктор вышел на палубу, земля была совсем близко. Он жадно смотрел на нее. За узкой полоской серебряного пляжа сразу встали крутые горы, до вершин покрытые пышной растительностью. Среди зелени кокосовых пальм, спускавшихся почти к самой воде, виднелись травяные хижины самоанцев и кое-где белели церквушки. Миссис Дэвидсон вышла на палубу и остановилась рядом с доктором. Она была одета в черное, на шее — золотая цепочка с крестиком. Это была маленькая женщина с тщательно приглаженными тусклыми каштановыми волосами и выпуклыми голубыми глазами за стеклами пенсне. Несмотря на длинное овечье лицо, она не казалась простоватой, а, наоборот, настороженной и энергичной. Движения у нее были по-птичьи быстрые, а голос, высокий, металлический, лишенный всякой интонации, бил по барабанным перепонкам с неумолимым однообразием, раздражая нервы, как безжалостное жужжание пневматического сверла.

— Вы, наверное, чувствуете себя почти дома, — сказал доктор Макфейл с обычной своей слабой, словно вымученной улыбкой.

— Видите ли, наши острова не похожи на эти — они плоские. Коралловые. А эти — вулканические. Нам осталось еще десять дней пути.

— В здешних краях это то же, что на родине — соседний переулочек, — пошутил доктор.

— Ну, вы, разумеется, преувеличиваете, однако в Южных морях расстояния действительно кажутся другими. В этом отношении вы совершенно правы.

Доктор Макфейл слегка вздохнул.

— Я рада, что наша миссия не на этом острове, — продолжала она. — Говорят, здесь почти невозможно работать. Сюда заходит много пароходов, а это развращает жителей; и, кроме того, здесь стоят военные корабли, что дурно влияет на туземцев. В нашем округе нам не приходится сталкиваться с подобными трудностями. Ну, разумеется, там живут два-три торговца, но мы следим, чтобы они вели себя как следует, а в противном случае мы принимаем такие меры, что они бывают рады уехать.

Она поправила пенсне и устремила на зеленый остров беспощадный взгляд.

— Стоящая перед здешними миссионерами задача почти неразрешима. Я неустанно благодарю Бога, что хотя бы это испытание нас миновало.

Округ Дэвидсона охватывал группу островов к северу от Самоа; их разделяли большие расстояния, и ему нередко приходилось совершать далекие поездки в туземных лодках. В таких случаях его жена оставалась управлять миссией. Доктор Макфейл вздрогнул, представив себе, с какой неукротимой энергией она, вероятно, это делает. Она говорила о безнравственности туземцев с елейным негодованием, но не понижая голоса. Ее понятия о нескромности были несколько своеобразными. В самом начале их знакомства она сказала ему:

— Представьте себе, когда мы только приехали, брачные обычаи на наших островах были столь возмутительны, что я ни в коем случае не могу вам их описать. Но я расскажу миссис Макфейл, а она расскажет вам.

Затем он в течение двух часов смотрел, как его жена и миссис Дэвидсон, сдвинув шезлонги, вели оживленный разговор. Прохаживаясь мимо них, чтобы размяться, он слышал возбужденный шепот миссис Дэвидсон, напоминавший отдаленный рев горного потока, и, видя поблед-

невшее лицо и полураскрытый рот жены, догадывался, что она замирает от блаженного ужаса. Вечером, когда они ушли к себе в каюту, она, захлебываясь, передала ему все, что услышала.

— Ну, что я вам говорила? — торжествуя, вскричала миссис Дэвидсон на следующее утро. — Ужасно, не правда ли? Теперь вас не удивляет, что я сама не осмелилась рассказать вам все это? Несмотря даже на то, что вы врач.

Миссис Дэвидсон пожирала его глазами. Она жаждала убедиться, что достигла желаемого эффекта.

— Не удивительно, что вначале у нас просто опустились руки. Не знаю, поверите ли вы, когда я скажу, что во всех деревнях нельзя было отыскать ни одной порядочной девушки.

Она употребила слово «девушка» в строго техническом значении.

— Мы с мистером Дэвидсоном обсудили положение и решили, что в первую очередь надо положить конец танцам. Эти туземцы жить не могли без танцев.

— В молодости я и сам был не прочь поплясать, — сказал доктор Макфейл.

— Я так и подумала вчера вечером, когда вы пригласили миссис Макфейл на тур вальса. Я не вижу особого вреда в том, что муж танцует с женой, но все же я была рада, когда она отказалась. Я считаю, что при данных обстоятельствах нам лучше держаться особняком.

— При каких обстоятельствах?

Миссис Дэвидсон бросила на него быстрый взгляд сквозь пенсне, но не ответила.

— Впрочем, у белых это не совсем то, — продолжала она, — хотя я вполне согласна с мистером Дэвидсоном, когда он говорит, что не понимает человека, который может спокойно стоять и смотреть, как его жену обнимает чужой мужчина, и я лично ни разу не танцевала с тех пор, как вышла замуж. Но туземские танцы — совсем другое дело. Они не только сами безнравственны, они совершенно очевидно приводят к безнравственности. Однако, благодарение Богу, мы с ними покончили, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в нашем округе уже восемь лет, как танцев нет и в помине.

Пароход приблизился ко входу в бухту, и миссис Макфейл тоже поднялась на палубу. Круто повернув, пароход

медленно вошел в гавань. Это была большая, почти замкнутая бухта, в которой мог свободно поместиться целый флот, а вокруг нее уходили ввысь крутые зеленые горы. У самого пролива, там, куда с моря еще достигал бриз, виднелся окруженный садом дом губернатора. С флагштока лениво свисал американский флаг. Они проплыли мимо двух-трех аккуратных бунгало и теннисного корта и причалили к застроенной складами пристани. Миссис Дэвидсон показала Макфейлам стоявшую ярдах в трехстах от пирса шхуну, на которой им предстояло отправиться в Апию. По пристани оживленно сновали веселые, добродушные туземцы, собравшиеся со всего острова, кто — поглазеть, а кто — продать что-нибудь пассажирам, направляющимся дальше, в Сидней; они наперебой предлагали ананасы, огромные связки бананов, циновки, ожерелья из раковин или зубов акулы, чаши для кавы¹ и модели военных пирог. Среди них бродили аккуратные, подтянутые американские моряки с бритыми веселыми лицами; в стороне стояла кучка портовых служащих. Пока выгружали багаж, Макфейлы и миссис Дэвидсон разглядывали толпу. Доктор Макфейл смотрел на кожу детей и подростков, пораженную фрамбезией — уродливыми болячками, напоминавшими застарелые язвы, и его глаза заблестели от профессионального интереса, когда он впервые в жизни увидел больных слоновой болезнью — огромные бесформенные руки, чудовищные волочащиеся ноги. И мужчины и женщины были в лава-лава.

— Очень неприличный костюм, — сказала миссис Дэвидсон. — Мистер Дэвидсон считает, что его необходимо запретить в законодательном порядке. Как можно требовать от людей нравственности, если они носят только красную тряпку на чреслах?

— Костюм весьма подходящий для здешнего климата, — отозвался доктор, вытирая пот со лба.

Здесь, на суше, жара, несмотря на ранний час, была невыносимой. Закрытый со всех сторон горами, Паго-Паго задыхался.

— На наших островах, — продолжала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом, — мы практически искоренили лава-лава. В них ходят только несколько стариков. Все

¹ Опьяняющий напиток; готовится из корней растения кава — разновидности перца.

женщины носят длинные балахоны, а мужчины — штаны и рубашки. В самом начале нашего пребывания там мистер Дэвидсон написал в одном из отчетов: «Обитатели этих островов по-настоящему проникнутся христианским духом только тогда, когда всех мальчиков старше десяти лет заставят носить штаны».

Миссис Дэвидсон птичьим движением повернула голову и взглянула на тяжелые серые тучи, которые, клубясь, поднимались над входом в бухту. Упали первые капли дождя.

— Нам лучше где-нибудь укрыться, — сказала она.

Они последовали за толпой под большой навес из волнистого железа, и тут же начался ливень. Через некоторое время к ним присоединился мистер Дэвидсон. На пароходе он несколько раз вежливо беседовал с Макфейлами, но, не разделяя любви своей жены к обществу, большую часть времени проводил за чтением. Это был молчаливый, мрачный человек, и чувствовалось, что, стараясь быть любезным, он только выполняет возложенный на себя долг христианина; характер у него был замкнутый, чтобы не сказать — угрюмый. Его внешность производила странное впечатление. Он был очень высок и тощ, с длинными, словно развинченными руками и ногами, впалыми щеками и торчащими скулами: при такой худобе его полные, чувственные губы казались особенно неожиданными. Он носил длинные волосы. Его темные, глубоко посаженные глаза были большими и печальными, а красивые руки с длинными пальцами как будто свидетельствовали о большой физической силе. Но особенно поражало вызываемое им ощущение скрытого и сдерживаемого огня. В нем было что-то грозное и смутно тревожащее. Это был человек, с которым дружеская близость невозможна.

Теперь он принес неприятную новость. На острове свирепствует корь — болезнь для канаков очень серьезная и часто смертельная, — и один из матросов шхуны, на которой они должны были плыть дальше, тоже заболел. Его свезли на берег и положили в карантинное отделение госпиталя, но из Апии по телеграфу отказались принять шхуну, пока не будет установлено, что больше никто из команды не заразился.

— Это означает, что нам придется пробыть здесь не меньше десяти дней.

— Но ведь меня ждут в Апии, — сказал доктор Макфейл.

— Ничего не поделаешь. Если на шхуне больше никто не заболел, ей разрешат отплыть с белыми пассажирами, туземцам же всякие плавания запрещены на три месяца.

— Здесь есть отель? — спросила миссис Макфейл.

— Нет, — с тихим смешком ответил Дэвидсон.

— Так что же нам делать?

— Я уже говорил с губернатором. На приморском шоссе живет торговец, который сдает комнаты, и я предлагаю, как только кончится дождь, пойти посмотреть, нельзя ли там устроиться. Особых удобств не ждите. Нам повезет, если мы найдем себе постели и крышу над головой.

Но дождь все не ослабевал, и в конце концов они тронулись в путь, накинув плащи и раскрыв зонтики. Поселок состоял из нескольких казенных зданий, двух лавчонок и кучки туземных хижин, уютившихся среди плантаций и кокосовых пальм. Дом, о котором шла речь, находился в пяти минутах ходьбы от пристани. Это был стандартный дом в два этажа, с большой верандой на каждом и с крышей из волнистого железа. Его владелец, метис по фамилии Хорн, женатый на туземке, вечно окруженный смуглыми детишками, торговал в лавке на нижнем этаже консервами и ситцем. В комнатах, которые он им показал, почти не было мебели. У Макфейлов стояла только старая расшатанная кровать под рваной москитной сеткой, колченогий стул и умывальник. Они оглядывались по сторонам в полном унынии. Дождь все лил и лил, не переставая.

— Я достану только самое необходимое, — сказала миссис Макфейл.

Когда она распаковывала чемодан, в комнату вошла миссис Дэвидсон, полная обычной кипучей энергии. Безрадостная обстановка совершенно на нее не подействовала.

— Я посоветовала бы вам как можно скорее взять иголку и заняться починкой москитной сетки, — сказала она, — иначе вы всю ночь не сомкнете глаз.

— А здесь много москитов? — спросил доктор Макфейл.

— Сейчас как раз сезон для них. Когда вас пригласят в Апии на вечер к губернатору, вы увидите, что всем дамам дают наволочки, чтобы они могли укрыть в них свои... свои нижние конечности.

— Ах, если бы этот дождь прекратился хоть на минуту! — сказала миссис Макфейл. — При солнце мне было бы веселее наводить здесь уют.

— Ну, если вы собираетесь ждать солнца, вам придется ждать долго. Паго-Паго, пожалуй, самое дождливое место на всем Тихом океане. Видите ли, горы и бухта притягивают влагу, а кроме того, сейчас вообще время дождей.

Она взглянула поочередно на Макфейла и на его жену, стоявших с потерянными лицами в разных концах комнаты, и поджала губы. Она чувствовала, что ей придется за них взяться. Такая беспомощность вызывала в ней только раздражение, но при виде беспорядка у нее всегда начинали чесаться руки.

— Вот что: дайте мне иголку с ниткой, и я заштопаю вашу сетку, пока вы будете распаковывать вещи. Обед подадут в час. Доктор, вам следовало бы сходить на пристань приглядеть, чтобы ваш багаж убрали в сухое помещение. Вы же знаете, что такое туземцы — они вполне способны сложить вещи там, где их будет поливать дождь.

Доктор снова надел плащ и спустился по лестнице. В дверях стоял мистер Хорн. Он разговаривал с боцманом привезшего их парохода и пассажиркой второго класса, которую доктор Макфейл несколько раз видел во время плавания. Боцман, приземистый, сморщенный и необыкновенно грязный человечек, кивнул ему, когда он проходил мимо.

— Скверное дело вышло с корью, а доктор? — сказал он. — Вы как будто уже устроились?

Доктор Макфейл подумал, что боцман слишком фамильярен, но он был застенчив, да и обижаться было не в его характере.

— Да, мы сняли комнату на втором этаже.

— Мисс Томпсон собирается плыть с вами в Апию, вот я и привел ее сюда.

Боцман указал большим пальцем на свою спутницу.

Это была женщина лет двадцати семи, полная, с красивым, но грубым лицом, в белом платье и большой белой шляпе. Ее толстые икры, обтянутые белыми бумажными чулками, нависали над верхом белых лакированных сапожек. Она заискивающе улыбнулась Макфейлу.

— Этот типчик хочет содрать с меня полтора доллара в день за какую-то конуру, — сказала она хриплым голосом.

— Послушай, Джо, я же тебе говорю, что она моя хорошая знакомая, — сказал боцман, — и больше доллара в день платить не может, ну и нечего тебе запрашивать больше.

Торговец был жирный, любезный и всегда улыбался.

— Ну, если вы так ставите вопрос, мистер Суон, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь устроить. Я поговорю с миссис Хорн, и если мы решим, что можно сделать скидку, то сделаем.

— Со мной этот номер не пройдет, — сказала мисс Томпсон. — Мы покончим все дело сейчас. Я плачу за вашу клетушку доллар в день и ни шиша больше.

Доктор Макфейл улыбнулся. Его восхитила наглость, с какой она торговалась. Сам он был из тех людей, которые всегда платят столько, сколько с них требуют. Он предпочитал переплачивать, лишь бы не торговаться. Хорн вздохнул.

— Хорошо, ради мистера Суона я согласен.

— Вот это разговор, — сказала мисс Томпсон. — Ну, так заходите, и вспрыснем это дело. Берите мой чемоданчик, мистер Суон, в нем найдется неплохое виски. Заходите и вы, доктор.

— Благодарю вас, но мне придется отказаться, — ответил он. — Я иду на пристань приглядеть за багажом.

Он вышел под дождь. Над бухтой проносились косые полосы ливня, и противоположного берега почти не было видно. Навстречу ему попалось несколько туземцев, одетых только в лава-лава; в руках у них были большие зонты. Они держались прямо, и их неторопливая походка была очень красива; проходя мимо, они улыбались ему и здоровались с ним на непонятном языке.

Он вернулся к самому обеду; стол для них был накрыт в гостиной торговца. Это была парадная комната, которой пользовались только в торжественных случаях, и вид у нее был нежилой и грустный. Вдоль стен были аккуратно расставлены стулья, обитые узорным плюшем, а на потолке висела позолоченная люстра, завернутая от мух в пожелтевшую папиросную бумагу. Дэвидсона не было.

— Он пошел с визитом к губернатору, — объяснила миссис Дэвидсон, — и его, наверное, оставили там обедать.

Маленькая девочка-туземка внесла блюдо рубленых бифштексов, а через некоторое время в комнату вошел сам хозяин, чтобы узнать, всем ли они довольны.

— Кажется, у нас появилась новая соседка, мистер Хорн? — сказал доктор Макфейл.

— Она только сняла комнату, — ответил торговец. — Столоваться она у меня не будет.

Он поглядел на обеих женщин с просительной улыбкой.

— Я поместил ее внизу, чтобы она вам не мешала. Она вас не побеспокоит.

— Она приехала на нашем пароходе? — спросила миссис Макфейл.

— Да, мэм, во втором классе. Она едет в Апию. Получила там место кассирши.

— А!

Когда торговец ушел, Макфейл сказал:

— Ей, наверно, скучно обедать одной у себя в комнате.

— Если она ехала вторым классом, то, надо полагать, это ее вполне устраивает, — сказала миссис Дэвидсон. — Я не совсем представляю себе, кто бы это мог быть.

— Я проходил мимо, когда боцман привел ее сюда. Ее фамилия Томпсон.

— Не она ли вчера танцевала с боцманом? — спросила миссис Дэвидсон.

— Пожалуй, — сказала миссис Макфейл. — Я еще тогда подумала, кто она такая? Она показалась мне чересчур развязной.

— Да, ничего хорошего, — согласилась миссис Дэвидсон.

Они заговорили о другом, а после обеда разошлись, чтобы вздремнуть, так как утром встали непривычно рано. Когда они проснулись, небо было по-прежнему затянуто тучами, но дождь перестал, и они решили пройтись по шоссе, которое американцы провели вдоль берега бухты.

Когда они вернулись, их встретил Дэвидсон — он тоже только что вошел в дом.

— Нас могут задержать здесь на две недели, — недовольно сказал он. — Я возражал, но губернатор говорит, что ничего сделать нельзя.

— Мистеру Дэвидсону не терпится вернуться к своей работе, — сказала его жена, обеспокоенно поглядев на него.

— Мы отсутствовали целый год, — объяснил он, меряя шагами веранду. — Миссия оставлена на миссионеров-туземцев, и я очень боюсь, что они все запустили. Это весьма достойные люди, я ни в чем не могу их упрекнуть: богобоязненные, благочестивые, истинные христиане — их христианство посрамило бы многих и многих так называемых христиан у нас на родине, — но до крайности бездеятельные. Они могут проявить твердость один раз, два раза, но быть

твердыми всегда они не могут. Когда оставляешь миссию на миссионера-туземца, то, каким бы надежным он ни казался, через некоторое время непременно начнутся злоупотребления.

Мистер Дэвидсон остановился у стола. Его высокая сухопарая фигура и бледное лицо с огромными сверкающими глазами были очень внушительны, пламенные жесты и звучный низкий голос дышали глубочайшей искренностью.

— Я знаю, что мне предстоит большая работа. Я стану действовать — и действовать безотлагательно. Если дерево сгнило, оно будет срублено и предано огню.

А вечером, после заменявшего ужин позднего чая, пока они сидели в чопорной гостиной — дамы с вязаньем, а доктор с трубкой, — миссионер рассказал им о своей работе на островах.

— Когда мы приехали туда, они совершенно не понимали, что такое грех, — говорил он. — Они нарушали заповеди одну за другой, не сознавая, что творят зло. Я бы сказал, что самой трудной задачей, стоявшей передо мной, было привить туземцам понятие о грехе.

Макфейлы уже знали, что Дэвидсон провел пять лет на Соломоновых островах еще до того, как познакомился со своей будущей женой. Она была миссионером в Китае, и они встретились в Бостоне, куда приехали во время отпуска на съезд миссионеров. После брака они получили назначение на эти острова, где и трудились с тех пор на ниве господней.

Разговаривая с мистером Дэвидсоном, доктор и его жена каждый раз удивлялись мужеству и упорству этого человека. Он был не только миссионером, но и врачом, и его помощь в любое время могла потребоваться на том или ином острове. В сезон дождей даже вельбот — ненадежное средство передвижения по бушующим валам Тихого океана, а за ним часто присылали просто пирогу, и тогда опасность бывала очень велика. Если его звали к больному или раненому, он никогда не колебался. Десятки раз ему приходилось всю ночь напролет вычерпывать воду, чтобы избежать гибели, и порою миссис Дэвидсон уже теряла надежду вновь его увидеть.

— Иногда я просто умоляю его не ездить, — сказала она, — или хотя бы подождать, пока море немного утихнет, но он ничего не слушает. Он упрям, и, если уж примет решение, его ничто не может остановить.

— Как мог бы я учить туземцев уповать на Господа, если бы сам страшился уповать на него? — вскричал Дэвидсон. — Но я не страшусь, не страшусь. Присылая за мной в час беды, они знают, что я приеду, если это в человеческих силах. И неужели вы думаете, что Господь оставит меня, когда я творю волю его? Ветер дует по его велению, и бурные волны вздымаются по его слову.

Доктор Макфейл был робким человеком. Он так и не сумел привыкнуть к визгу шрапнели над окопами, и, когда он оперировал раненых на передовых позициях, по его лбу, затуманивая очки, катился пот — с таким напряжением старался он унять дрожь в своих руках. Он поглядел на миссионера с легким трепетом.

— Я был бы рад, если бы мог сказать, что никогда не боялся.

— Я был бы рад, если бы вы могли сказать, что верите в Бога, — возразил Дэвидсон.

Почему-то в этот вечер мысли миссионера то и дело возвращались к первым дням их пребывания на островах.

— Порой мы с миссис Дэвидсон смотрели друг на друга, а по нашим щекам текли слезы. Мы работали без устали дни и ночи напролет, но труд наш, казалось, не приносил плодов. Я не знаю, что бы я делал без нее. Когда у меня опускались руки, когда я был готов отчаяться, она ободряла меня и поддерживала во мне мужество.

Миссис Дэвидсон потупила глаза на вязанье, и ее худые щеки слегка порозовели. От избытка чувств она не могла говорить.

— Нам не от кого было ждать помощи. Мы были одни среди тьмы, и тысячи миль отделяли нас от людей, близких нам по духу. Когда уныние и усталость овладевали мной, она откладывала свою работу, брала Библию и читала мне, и мир нисходил в мою душу, как сон на глаза младенца, а закрыв наконец священную книгу, она говорила: «Мы спасем их вопреки им самим». И я чувствовал, что Господь снова со мной, и отвечал: «Да, с Божьей помощью я спасу их. Я должен их спасти».

Он подошел к столу и стал перед ним, словно перед аналоем.

— Видите ли, безнравственность была для них так привычна, что невозможно было объяснить им, как дурно они поступают. Нам приходилось учить их, что поступки, кото-

рые они считали естественными, — грех. Нам приходилось учить их, что не только прелюбодеяние, ложь и воровство — грех, но что грешно обнажать свое тело, плясать, не посещать церкви. Я научил их, что девушке грешно показывать грудь, а мужчине грешно ходить без штанов.

— Как вам это удалось? — с некоторым удивлением спросил доктор Макфейл.

— Я учредил штрафы. Ведь само собой разумеется, что единственный способ заставить человека понять греховность какого-то поступка — наказывать его за этот поступок. Я штрафовал их, если они не приходили в церковь, и я штрафовал их, если они плясали. Я штрафовал их, если их одежда была неприлична. Я установил тариф, и за каждый грех приходилось платить деньгами или работой. И в конце концов я заставил их понять.

— И они ни разу не отказались платить?

— А как бы они это сделали? — спросил миссионер.

— Надо быть большим храбрецом, чтобы осмелиться противоречить мистеру Дэвидсону, — сказала его жена, поджимая губы.

Доктор Макфейл тревожно поглядел на Дэвидсона. То, что он услышал, глубоко возмутило его, но он не решался высказать свое неодобрение вслух.

— Не забывайте, что в качестве последней меры я мог исключить их из церковной общины.

— А они принимали это близко к сердцу?

Дэвидсон слегка улыбнулся и потер руки.

— Они не могли продавать копру. И не имели доли в общем улове. В конечном счете это означало голодную смерть. Да, они принимали это очень близко к сердцу.

— Расскажи ему про Фреда Олсона, — сказала миссис Дэвидсон.

Миссионер устремил свои горящие глаза на доктора Макфейла.

— Фред Олсон был датским торговцем и много лет прожил на наших островах. Для торговца он был довольно богат и не слишком-то обрадовался нашему приезду. Понимаете, он привык делать там все, что ему заблагорассудится. Туземцам за их копру он платил, сколько хотел, и платил товарами и спиртными напитками. Он был женат на туземке, но открыто изменял ей. Он был пьяницей. Я дал

ему возможность исправиться, но он не воспользовался ею. Он высмеял меня.

Последние слова Дэвидсон произнес глубоким басом и минуты две молчал. Наступившая тишина была полна угрозы.

— Через два года он был разорен. Он потерял все, что накопил за двадцать пять лет. Я сломил его, и в конце концов он был вынужден прийти ко мне, как нищий, и просить у меня денег на проезд в Сидней.

— Видели бы вы его, когда он пришел к мистеру Дэвидсону, — сказала жена миссионера. — Прежде это был крепкий, бодрый мужчина, очень толстый и шумный; а теперь он исхудал как щепка и весь трясся. Он сразу стал стариком.

Дэвидсон невидящим взглядом посмотрел за окно во мглу. Снова лил дождь.

Вдруг внизу раздалась какие-то звуки, и Дэвидсон, повернувшись, вопросительно посмотрел на жену. Там громко и хрипло запел граммофон, выкашливая разухабистый мотив.

— Что это? — спросил миссионер.

Миссис Дэвидсон поправила пенсне.

— Одна из пассажирок второго класса сняла здесь комнату. Наверное, это у нее.

Они замолкли, прислушиваясь, и вскоре услышали шарканье — внизу танцевали. Затем музыка прекратилась и до них донеслись оживленные голоса и хлопанье пробок.

— Должно быть, она устроила прощальный вечер для своих знакомых с парохода, — сказал доктор Макфейл. — Он, кажется, уходит в двенадцать?

Дэвидсон ничего не ответил и поглядел на часы.

— Ты готова? — спросил он жену.

Она встала и свернула вязанье.

— Да, конечно.

— Но ведь сейчас рано ложиться? — заметил доктор.

— Нам еще надо заняться чтением, — объяснила миссис Дэвидсон. — Где бы мы ни были, мы всегда перед сном читаем главу из Библии, разбираем ее со всеми комментариями и подробно обсуждаем. Это замечательно развивает ум.

Супружеские пары пожелали друг другу спокойной ночи. Доктор и миссис Макфейл остались одни. Несколько минут они молчали.

— Я, пожалуй, схожу за картами, — сказал наконец доктор.

Миссис Макфейл посмотрела на него с некоторым сомнением. Разговор с Дэвидсонами оставил у нее неприятный осадок, но она не решалась сказать, что, пожалуй, не стоит садиться за карты, когда Дэвидсоны в любую минуту могут войти в комнату. Доктор Макфейл принес свою колоду, и его жена, почему-то чувствуя себя виноватой, стала смотреть, как он раскладывает пасьянс. Снизу по-прежнему доносился шум веселья.

На следующий день немного прояснилось, и Макфейлы, осужденные на две недели безделья в Паго-Паго, принялись устраиваться. Они сходили на пристань, чтобы достать из своих чемоданов книги. Доктор нанес визит главному врачу флотского госпиталя и сопровождал его при обходе. Они оставили свои визитные карточки у губернатора. На шоссе они повстречали мисс Томпсон. Доктор снял шляпу, а она громко и весело крикнула ему: «С добрым утром, доктор!» Как и накануне, она была в белом платье, и ее лакированные белые сапожки на высоких каблуках и толстые икры, нависающие над их верхом, как-то не вязались с окружающей экзотической природой.

— Признаться, я не сказала бы, что ее костюм вполне уместен, — заметила миссис Макфейл. — По-моему, она очень вульгарна.

Когда они вернулись домой, мисс Томпсон играла на веранде с темнокожим сынишкой торговца.

— Поговори с ней, — шепнул доктор жене. — Она здесь совсем одна, и просто нехорошо ее игнорировать.

Миссис Макфейл была застенчива, но она привыкла слушаться мужа.

— Если не ошибаюсь, мы соседи, — сказала она довольно неуклюже.

— Просто жуть застрять в такой дыре, верно? — ответила мисс Томпсон. — И я слыхала, что мне еще повезло с этой комнатенкой. Я бы не хотела жить в туземной хибаре, а кое-кому приходится попробовать и этого. Не понимаю, почему здесь не заведут гостиницы.

Их разговор продолжался недолго. Мисс Томпсон, громкоголосая и словоохотливая, явно была склонна поболтать, но миссис Макфейл быстро истощила свой небогатый запас общих фраз и сказала:

— Пожалуй, нам пора домой.

Вечером, когда они собрались за чаем, Дэвидсон, входя, сказал:

— Я заметил, что у этой женщины внизу сидят двое матросов. Непонятно, когда она успела с ними познакомиться.

— Она, кажется, не очень разборчива, — отозвалась миссис Дэвидсон.

Все они чувствовали себя усталыми после пустого, бестолкового дня.

— Если нам придется провести так еще две недели, не знаю, что с нами будет, — сказал доктор Макфейл.

— Необходимо заполнить день различными занятиями, распределенными по строгой системе, — ответил миссионер. — Я отведу определенное число часов на серьезное чтение, определенное число часов на прогулки, какова бы ни была погода — в дождливый сезон не приходится обращать внимание на сырость, — и определенное число часов на развлечения.

Доктор Макфейл поглядел на своего собеседника со страхом. Планы Дэвидсона подействовали на него угнетающе. Они снова ели рубленые бифштексы. По-видимому, повар не умел готовить ничего другого. Затем внизу заиграл граммофон. Дэвидсон нервно вздрогнул, но ничего не сказал. Послышались мужские голоса — гости мисс Томпсон подхватили припев. А вскоре зазвучал ее голос, громкий и сиплый. Раздались веселые крики и смех. Четверо наверху старались поддерживать разговор, но невольно прислушивались к звяканью стаканов и шуму сдвигаемых стульев. Очевидно, пришли еще гости. Мисс Томпсон устраивала вечеринку.

— Как только они там помешаются? — неожиданно сказала миссис Макфейл, перебивая своего мужа и миссионера, которые обсуждали какую-то медицинскую проблему.

Эти слова выдали, о чем она думала все время.

Дэвидсон поморщился, и стало ясно, что, хотя он говорил о науке, его мысли работали в том же направлении. Вдруг, прервав доктора, который довольно вяло рассказывал о случае из своей фронтальной практики во Фландрии, он вскочил на ноги с громким восклицанием.

— Что случилось, Альфред? — спросила миссис Дэвидсон.

— Ну конечно же! Как я сразу не понял? Она из Иуэлеи.

— Не может быть.

— Она села на пароход в Гонолулу. Нет, это несомненно. И она продолжает заниматься своим ремеслом здесь. Здесь!

Последнее слово он произнес со странным возмущением.

— А что такое Иуэлеи? — спросила миссис Макфейл.

Сумрачные глаза Дэвидсона обратились на нее, и его голос дрогнул от отвращения.

— Чумная язва Гонолулу. Квартал красных фонарей. Это было позорное пятно на нашей цивилизации.

Иуэлеи находился на окраине города. Вы пробирались в темноте боковыми улочками мимо порта, переходили шаткий мостик, попадали на заброшенную дорогу, всю в рытвинах и ухабах, и затем вдруг оказывались в полосе яркого света. По обеим сторонам дороги тянулись стоянки для машин, блестели витрины табачных лавок и парикмахерских, сияли огнями и позолотой бары, в которых гремели пианолы. Всюду чувствовалось лихорадочное веселье и напряженное ожидание. Вы сворачивали в один из узких проулков направо или налево — дорога делила Иуэлеи пополам — и оказывались внутри квартала. Вдоль широких и прямых пешеходных дорожек тянулись домики, аккуратно выкрашенные в зеленый цвет. Квартал был распланирован, как дачный поселок. Эта респектабельная симметрия, чистота и щеголеватость выглядели отвратительной насмешкой — никогда еще поиски любви не были столь систематизированы и упорядочены. Несмотря на горевшие там и сям фонари, дорожки были бы погружены во мрак, если бы не свет, падавший на них из открытых окон зеленых домиков. По дорожкам прогуливались мужчины, разглядывая женщин, сидевших у окон с книгой или шитьем и чаще всего не обращавших на прохожих ни малейшего внимания. Как и женщины, мужчины принадлежали ко всевозможным национальностям. Среди них были американские матросы с пароходов, стоявших в порту; военные моряки с канонерок, пьяные и угрюмые; белые и черные солдаты из расположенных на острове частей; японцы, ходившие по двое и по трое; канаки; китайцы в длинных халатах и филиппинцы в нелепых шляпах. Все они были молчаливы и словно угнетены. Желание всегда печально.

— На всем Тихом океане не было более вопиющей мерзости, — почти кричал Дэвидсон. — Миссионеры много лет выступали с протестами, и наконец за дело взялась местная пресса. Полиция не желала ударить палец о палец. Вы знаете их обычную отговорку. Они заявляют, что порок неизбежен и, следовательно, самое лучшее, когда он локализован и находится под контролем. Просто им платили. Да, платили. Им платили хозяева баров, платили содержатели притонов, платили сами женщины. В конце концов они все-таки были вынуждены принять меры.

— Я читал об этом в газетах, которые пароход взял в Гонолулу, — сказал доктор Макфейл.

— Иуэлей, это скопище греха и позора, перестал существовать в день нашего прибытия туда. Все его обитатели были переданы в руки властей. Не понимаю, как я сразу не догадался, кто такая эта женщина.

— Теперь, когда вы об этом заговорили, — сказала миссис Макфейл, — я вспоминаю, что она поднялась на борт за несколько минут до отплытия. Помню, я еще подумала, что она поспела как раз вовремя.

— Как она смела явиться сюда! — негодуяше вскричал Дэвидсон. — Я этого не потерплю!

Он решительно направился к двери.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Макфейл.

— А что мне остается? Я собираюсь положить этому конец. Я не позволю превращать этот дом в... в...

Он искал слово, которое не оскорбило бы слуха дам.

Его глаза сверкали, а бледное лицо от волнения побледнело еще больше.

— Судя по шуму, там не меньше четырех мужчин, — сказал доктор. — Не кажется ли вам, что идти туда сейчас не совсем безопасно?

Миссионер бросил на него взгляд, исполненный презрения, и, не говоря ни слова, стремительно вышел из комнаты.

— Вы плохо знаете мистера Дэвидсона, если думаете, что страх перед грозящей ему опасностью может помешать ему исполнить свой долг, — сказала миссис Дэвидсон.

На ее скулах выступили красные пятна: она нервно сжимала руки, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Они все прислушивались. Они услышали, как он сбежал по деревянным ступенькам и распахнул дверь. Пение

мгновенно смолкло, но граммофон все еще продолжал заывать пошлые куплеты. Они услышали голос Дэвидсона и затем звук падения какого-то тяжелого предмета. Музыка оборвалась. Очевидно, он сбросил граммофон на пол. Затем они опять услышали голос Дэвидсона — слов они разобрать не могли, — затем голос мисс Томпсон, громкий и визгливый, затем нестройный шум, словно несколько человек кричали разом во всю глотку. Миссис Дэвидсон судорожно вздохнула и еще крепче стиснула руки. Доктор Макфейл растерянно поглядывал то на нее, то на жену. Ему не хотелось идти вниз, но он опасался, что они ждут от него именно этого. Затем послышалась какая-то возня. Шум стал теперь более отчетливым. Возможно, Дэвидсона тащили из комнаты. Хлопнула дверь. Наступила тишина, и они услышали, что Дэвидсон поднимается по лестнице. Он прошел в свою комнату.

— Пожалуй, я пойду к нему, — сказала миссис Дэвидсон.

Она встала и вышла из комнаты.

— Если я вам понадобится, позовите меня, — сказала миссис Макфейл и, когда жена миссионера закрыла за собой дверь, прибавила: — Надеюсь, с ним ничего не случилось.

— И что он суется не в свое дело? — сказал доктор Макфейл.

Они просидели несколько минут в молчании, и вдруг оба вздрогнули: внизу снова вызывающе завопил граммофон и хриплые голоса принялись с издевкой выкрикивать непристойную песню.

На следующее утро миссис Дэвидсон была бледна. Она жаловалась на головную боль и выглядела постаревшей. Она сказала миссис Макфейл, что миссионер всю ночь не сомкнул глаз и был страшно возбужден, а в пять часов встал и ушел из дому. Во время вчерашнего столкновения его облили пивом, и вся его одежда была в пятнах и дурно пахла. Но когда миссис Дэвидсон заговорила о мисс Томпсон, в ее глазах вспыхнул мрачный огонь.

— Она горько пожалеет о том дне, когда насмеялась над мистером Дэвидсоном, — сказала она. — У мистера Дэвидсона чудесное сердце, и не было человека, который, придя к нему в час нужды, ушел бы неутешенным, но он беспощаден к греху, и его праведный гнев бывает ужасен.

— А что он делает? — спросила миссис Макфейл.

— Не знаю, но ни за какие сокровища мира не захотела бы я очутиться на месте этой твари.

Миссис Макфейл поежилась. В торжествующей уверенности маленькой миссис Дэвидсон было что-то пугающее. Они собирались в это утро совершить прогулку и вместе спустились по лестнице. Дверь в нижнюю комнату была открыта, и они увидели мисс Томпсон в замызганном халате — она что-то разогревала на жаровне.

— Доброе утро! — окликнула она их. — Как мистер Дэвидсон? Ему полегчало?

Они прошли мимо молча, подняв головы, словно не замечая ее. Но когда она насмешливо захохотала, обе покраснели. Миссис Дэвидсон не выдержала и обернулась.

— Не смейте заговаривать со мной, — взвизгнула она. — Если вы посмеете меня оскорбить, вас вышвырнут отсюда.

— Я ведь не приглашала мистера Дэвидсона навестить меня, как по-вашему?

— Не отвечайте ей, — поспешно прошептала миссис Макфейл.

Они заговорили только тогда, когда она уже не могла их услышать.

— Бесстыжая дрянь! — вырвалось у миссис Дэвидсон. Она задыхалась от ярости.

Возвращаясь с прогулки, они встретили мисс Томпсон, которая шла в сторону набережной. Она была в своем обычном одеянии. Огромная белая шляпа с безвкусными яркими цветами была оскорбительна. Проходя мимо, мисс Томпсон весело окликнула их, и два американских матроса, стоявшие неподалеку, широко ухмыльнулись, когда дамы ответили ей ледяным взглядом. Едва они добрались до дому, как снова пошел дождь.

— Надо полагать, ее наряд порядком пострадает, — сказала миссис Дэвидсон со жгучим сарказмом.

Дэвидсон пришел, когда они уже доедали обед. Он промок насквозь, но не захотел переодеваться. Он сидел в угрюмом молчании, почти не прикоснувшись к еде, и, не отрываясь, следил за косыми струями дождя. Когда миссис Дэвидсон рассказала ему о двух встречах с мисс Томпсон, он ничего не ответил. Только по его еще более помрачневшему лицу можно было догадаться, что он ее слышал.

— Как вы думаете, не следует ли потребовать, чтобы мистер Хорн выселил ее? — спросила миссис Дэвидсон. — Нельзя же допускать, чтобы она над нами издевалась.

— Но ведь ей больше некуда идти, — сказал доктор.

— Она может поселиться у какого-нибудь туземца.

— В такую погоду туземная хижина — вряд ли удобное жилье.

— Я много лет жил в туземной хижине, — сказал миссионер.

Когда темнокожая девочка принесла печеные бананы — их ежедневный десерт, — мистер Дэвидсон обратился к ней:

— Узнайте у мисс Томпсон, когда я могу к ней зайти.

Девочка робко кивнула и вышла.

— Зачем тебе нужно заходить к ней, Альфред? — спросила его жена.

— Это мой долг. Я ничего не хочу предпринимать, пока не дам ей возможности вернуться на путь истинный.

— Ты ее не знаешь. Она тебя оскорбит.

— Пусть оскорбляет. Пусть плюет на меня. У нее есть бессмертная душа, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее.

В ушах миссис Дэвидсон все еще звучал насмешливый хохот проститутки.

— Она пала слишком низко.

— Слишком низко для милосердия Божьего? — Его глаза неожиданно засияли, а голос стал мягким и нежным. — О нет. Пусть грешник погряз в грехе более черном, чем сама пучина ада, но любовь Господа нашего Иисуса все же достигнет до него.

Девочка вернулась с ответом.

— Мисс Томпсон приказала кланяться, и, если только преподобный Дэвидсон придет не в рабочие часы, она будет рада видеть его в любое время.

Эти слова были встречены гробовым молчанием. Доктор поспешил подавить улыбку — он знал, что его жене не понравится, если он сочтет наглость мисс Томпсон забавной.

До конца обеда все молчали. Потом дамы взяли свое вязанье (миссис Макфейл трудилась над очередным шарфом — с начала войны она связала их бесчисленное множество), а доктор закурил трубку. Но Дэвидсон продолжал сидеть неподвижно и только рассеянно глядел на стол. Через

некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Они услышали его шаги на лестнице и вызывающее «войдите», которым мисс Тэмпсон ответила на его стук. Он оставался у нее около часа. А доктор Макфейл смотрел в окно. Этот дождь начинал действовать ему на нервы. Он не был похож на английский дождик, который мягко шелестит по траве: он был беспощаден и страшен, в нем чувствовалась злоба первобытных сил природы. Он не лил, он рушился. Казалось, хляби небесные разверзлись; он стучал по железной крыше с упорной настойчивостью, которая сводила с ума. В нем была затаенная ярость. Временами казалось, что еще немного — и вы начнете кричать; а потом вдруг наступала страшная слабость — словно все кости размягчались, — и вас охватывала безнадежная тоска.

Когда миссионер снова вошел в гостиную, Макфейл повернул к нему голову и обе женщины подняли глаза от рукоделия.

— Я сделал все, что мог. Я призывал ее раскаяться. Она закоснела во зле.

Он умолк, и доктор Макфейл увидел, как его глаза потемнели, а бледное лицо стало суровым и непреклонным.

— Теперь я возьму бич, которым Господь наш Иисус выгнал продающих и покупающих из храма Всевышнего.

Он начал ходить взад и вперед по комнате. Его рот был крепко сжат, черные брови сдвинуты.

— Если бы она скрылась на краю света, я и там настиг бы ее.

Вдруг он резко повернулся и вышел. Они слышали, как он снова спустился вниз.

— Что он собирается делать? — спросила миссис Макфейл.

— Не знаю. — Миссис Дэвидсон сняла пенсне и протерла стекла. — Когда он трудится во славу Божию, я не задаю ему вопросов.

Она вздохнула:

— Что с вами?

— Он себя убивает. Он не знает, что значит щадить себя.

О первых результатах деятельности миссионера доктор Макфейл узнал от метиса-торговца, в доме которого они жили. Он окликнул доктора, когда тот проходил мимо лавки; и вышел на крыльцо поговорить с ним. На его жирном лице была тревога.

— Преподобный Дэвидсон напустился на меня за то, что я сдал комнату мисс Томпсон, — сказал он. — Но ведь я же не знал, кто она, когда договаривался с ней. Если люди хотят снять у меня комнату, я интересуюсь только одним — есть ли у них чем платить. А она заплатила мне за неделю вперед.

Доктор Макфейл предпочел не высказывать своего мнения.

— В конце концов, это ваш дом. Мы вам очень благодарны, что вы нас приютили.

Хорн посмотрел на него с некоторым сомнением. Он еще не решил, насколько доктор Макфейл сочувствует миссионеру.

— Миссионеры всегда стоят друг за друга, — начал он неуверенно. — Если они разозлятся на торговца, можно сразу прикрывать дело.

— Он потребовал, чтобы вы ее выгнали?

— Нет. Он сказал, что, пока она будет вести себя прилично, он не может этого требовать. Он сказал, что не хочет поступать несправедливо по отношению ко мне. Я обещал, что посетители к ней больше ходить не будут. Я ей только что об этом объявил.

— И как же она это приняла?

— Обругала меня.

Торговец смущенно поежился. Разговор с мисс Томпсон явно не доставил ему никакого удовольствия.

— Ну, я думаю, она сама куда-нибудь переедет. Вряд ли она захочет оставаться здесь, если ей нельзя будет приглашать гостей.

— Переехать ей некуда, разве что к какому-нибудь туземцу, а из них ее теперь никто не примет, раз она не в ладах с миссионерами.

Доктор Макфейл посмотрел на непрерывно струящийся дождь.

— Пожалуй, нет смысла дожидаться, чтобы прояснилось.

Вечером в гостиной Дэвидсон стал рассказывать им о давних днях, когда он учился в колледже. Он был беден и смог закончить курс только благодаря тому, что подрабатывал в каникулы. Внизу было тихо. Мисс Томпсон сидела в своей комнатухе одна. И вдруг заиграл граммофон. Она завела его назло, стараясь забыть о своем одиночестве, но

подпевать было некому, и музыка звучала тоскливо. Это был словно зов о помощи. Дэвидсон и бровью не повел. Он спокойно продолжал свой рассказ. Граммофон все играл. Мисс Томпсон ставила одну пластинку за другой. Казалось, темнота и безмолвие пугали ее. Ночь была безветренной и душной. Макфейлы ушли к себе, но долго не могли уснуть. Они лежали рядом и с открытыми глазами слушали сердитое пение москитов над сеткой.

— Что это? — вдруг прошептала миссис Макфейл.

За деревянной перегородкой раздавался голос — голос Дэвидсона. Он звучал не затихая, монотонно и торжественно. Миссионер молился вслух. Он молился о душе мисс Томпсон.

Прошло три дня. Теперь, когда они встречали мисс Томпсон на шоссе, она не приветствовала их с иронической сердечностью и не улыбалась: словно не замечая их, она угрюмо проходила мимо, задрав голову и хмурия подведенные брови. Торговец рассказал Макфейлу, что она пыталась найти другую комнату, но не смогла. Каждый вечер она проигрывала все свои пластинки, но это притворное веселье уже никого не обманывало. Бойкие мелодии звучали надрывно, словно фокстрот отчаяния. Когда она завела граммофон в воскресенье, Дэвидсон послал к ней Хорна с просьбой немедленно прекратить музыку, поскольку сегодня — день Господень. Граммофон умолк, и в доме воцарилась тишина, нарушаемая только ровным стуком дождя по железной крыше.

— Мне кажется, она все больше нервничает, — сказал торговец Макфейлу на следующий день. — Она не знает, что задумал мистер Дэвидсон, и боится.

Макфейл уже видел ее в это утро и сразу заметил, что вся ее самоуверенность исчезла. Вид у нее был затравленный.

Хорн искоса поглядел на него.

— Вы, наверное, не знаете, что мистер Дэвидсон принял по этому поводу? — осторожно спросил он.

— Не имею ни малейшего представления.

Вопрос Хорна смутил доктора — ему и самому казалось, что миссионер занят какой-то таинственной деятельностью. Ему чудилось, что Дэвидсон упрямо и осторожно плетет сеть вокруг этой женщины, чтобы, когда все будет готово, внезапно затянуть веревку.

— Он велел мне передать ей, — сказал торговец, — что, если он ей понадобится, пусть она в любое время пошлет за ним, и он непременно придет.

— И что же она ответила?

— Ничего не ответила. Я не дожидаясь. Я только сказал ей то, что он велел сказать, и ушел. Я боялся, что она примется плакать.

— Одиночество действует на нее угнетающе, — сказал доктор. — А тут еще дожди! От этого у кого угодно разыграются нервы, — продолжал он сердито. — Что, он никогда не прекращается на этом чертовом острове?

— В дождливый сезон льет почти без передышки. У нас в год выпадает триста дюймов осадков. Все дело в форме бухты. Можно подумать, что она притягивает дождь со всего океана.

— Черт бы побрал эту бухту с ее формой, — сказал доктор.

Он почесал место, укушенное москитом. Его душило раздражение. Когда дождь кончался и выглядывало солнце, остров превращался в оранжерею, полную влажных, тяжелых, удушливых испарений, и вас охватывало странное ощущение, что все кругом яростно растет. А в туземцах, которых считают беззаботными и счастливыми, как дети, начинало сквозить что-то зловещее — может быть, из-за их татуировки и крашенных волос; и, услышав за спиной шлепанье их босых ног, вы инстинктивно оборачивались. Вы чувствовали, что в любую минуту они могут оказаться рядом и молниеносно всадить вам между лопаток длинный нож. Как знать, какие черные мысли прячутся за их широко расставленными глазами? Они чем-то напоминали изображения на стенах египетских храмов, и от них веяло древним ужасом.

Миссионер приходил и снова уходил. Он был занят, но чем — Макфейлы не знали. Хорн сказал доктору, что он каждый день посещает губернатора, и как-то раз Дэвидсон сам заговорил о нем.

— Он производит впечатление человека решительного, но на поверку оказывается, что у него нет никакой твердости.

— Другими словами, он не желает безоговорочно подчиняться вашим требованиям? — шутливо сказал доктор.

Миссионер не улыбнулся.

— Я требую только одного — чтобы он поступил, как должно. Прискорбно, что есть люди, которым приходится напоминать об этом.

— Но ведь могут быть разные мнения, что считать должным.

— Если бы у больного началась гангрена ступни, могли бы вы равнодушно смотреть, как кто-то раздумывает, ампутировать ее или нет?

— Гангрена — вещь вполне реальная.

— А грех?

Что именно сделал Дэвидсон, скоро перестало быть тайной. Все четверо только что пообедали, дамы и доктор собирались по обыкновению пойти прилечь, пока не спадет жара (Дэвидсон презирал эту изнеженную привычку). Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мисс Томпсон. Она обвела их взглядом и затем шагнула к Дэвидсону.

— Что ты, погань; наплел на меня губернатору?

Она заикалась от бешенства. На секунду воцарилась тишина. Затем миссионер пододвинул ей стул.

— Садитесь, пожалуйста, мисс Томпсон. Я давно надеялся еще раз побеседовать с вами.

— Сволочь ты поганая.

Она обрушила на него поток площадной ругани. Дэвидсон не спускал с нее внимательного взгляда.

— Меня не трогает брань, которой вы сочли нужным осыпать меня, мисс Томпсон, — сказал он, — но прошу вас не забывать, что здесь присутствуют дамы.

Теперь к ее гневу уже примешивались слезы. Лицо у нее покраснело и вздулось, словно ее что-то душило.

— Что случилось? — спросил доктор Макфейл.

— Ко мне заходил какой-то тип и сказал, чтобы я убиралась отсюда со следующим пароходом.

Блеснули ли глаза миссионера? Его лицо оставалось невозмутимым.

— Едва ли вы могли ожидать, что при данных обстоятельствах губернатор разрешит вам остаться здесь.

— Это твоя работа, — взвизгнула она. — Нечего вилать. Это твоя работа.

— Я не собираюсь вас обманывать. Я действительно убеждал губернатора принять меры, единственно совместимые с его долгом.

— Ну что ты ко мне привязался? Я же тебе ничего не сделала.

— Поверьте, даже если бы вы причинили мне зло, я не питал бы к вам ни малейшего недоброжелательства.

— Да что я, хочу, что ли, оставаться в этой дыре? Я привыкла жить в настоящих городах!

— В таком случае я не понимаю, на что вы, собственно, жалуетесь.

С воплем ярости она выбежала из комнаты. Наступило короткое молчание. Потом заговорил Дэвидсон:

— Очень приятно, что губернатор все-таки решился действовать. Он слабоволен и без конца тянул и откладывал. Он говорил, что здесь она, во всяком случае, больше двух недель не пробудет, а потом уедет в Апию, которая находится в британских владениях и к нему отношения не имеет.

Миссионер вскочил и зашагал по комнате.

— Просто страшно становится при мысли, как люди, облеченные властью, стремятся уклониться от ответственности. Они рассуждают так, словно грех, творимый не у них на глазах, перестает быть грехом. Самое существование этой женщины — позор, и что изменится, если ее переправят на другой остров? В конце концов мне пришлось говорить прямо.

Дэвидсон нахмурился и выставил подбородок. Он весь дышал неукротимой решимостью.

— Я вас не совсем понимаю, — сказал доктор.

— Наша миссия пользуется кое-каким влиянием в Вашингтоне. Я указал губернатору, что жалоба на его халатность вряд ли принесет ему большую пользу.

— Когда она должна уехать? — спросил доктор.

— Пароход из Сиднея в Сан-Франциско зайдет сюда в следующий вторник. Она отплывет на нем.

До вторника оставалось пять дней. Когда на следующий день Макфейл возвращался из госпиталя, куда он от нечего делать ходил почти каждое утро, на лестнице его остановил метис.

— Извините, доктор Макфейл. Мисс Томпсон нездорова. Вы к ней не зайдете?

— Разумеется.

Хорн проводил доктора в ее комнату. Она сидела на стуле, безучастно сложив руки и уставившись в одну точку. На ней было ее белое платье и большая шляпа с цветами. Макфейл заметил, что ее кожа под слоем пудры кажется желтовато-землистой, а глаза опухли.

— Мне очень жаль, что вы прихворнули, — сказал он.

— А, да я вовсе не больна. Я это просто сказала, чтобы повидать вас. Меня отсылают на пароходе, который идет во Фриско.

Она поглядела на него, и он заметил, что в ее глазах внезапно появился испуг. Ее руки судорожно сжимались и разжимались. Торговец стоял в дверях и слушал.

— Да, я знаю, — сказал доктор.

Она глотнула.

— Ну, мне не очень-то удобно ехать сейчас во Фриско. Вчера я ходила к губернатору, но меня к нему не пустили. Я видела секретаря, и он сказал, что я должна уехать с этим пароходом и никаких разговоров. Ну, я решила все-таки добраться до губернатора и сегодня утром ждала у его дома, пока он не вышел, и заговорила с ним. Сказать по правде, он не очень-то хотел со мной разговаривать, но я от него не отставала, и наконец он сказал, что позволит мне дожидаться парохода в Сидней, если преподобный Дэвидсон будет согласен.

Она замолчала и с тревогой посмотрела на доктора Макфейла.

— Я не вижу, чем я, собственно, могу вам помочь, — сказал он.

— Да я подумала, может, вы согласитесь спросить его. Господом богом клянусь, я буду вести себя тихо, если он позволит мне остаться. Я даже никуда из дому не буду выходить, если это ему нужно. Всего-то две недели.

— Я спрошу его.

— Он не согласится, — сказал Хорн. — И не надейтесь.

— Скажите ему, что я могу получить в Сиднее работу — то есть честную. Ведь я не многого прошу.

— Я сделаю, что смогу.

— И сразу придете сказать мне, как дела? Мне надо знать твердо, а то я себе просто места не нахожу.

Это поручение пришлось доктору не слишком по вкусу, и он — что, вероятно, было для него характерно — не стал выполнять его сам. Он рассказал жене о разговоре с мисс Томпсон и попросил ее поговорить с миссис Дэвидсон. По его мнению, требование миссионера было неоправданно суровым, и он считал, что не случится ничего страшного, если мисс Томпсон разрешат остаться в Паго-Паго еще на две недели. Но его дипломатия привела к неожиданным результатам. Миссионер сам заговорил с ним.

— Миссис Дэвидсон сказала мне, что вы имели беседу с мисс Томпсон.

Такая прямолинейность вызвала у доктора Макфейла раздражение, как у всякого застенчивого человека, которого вынуждают пойти в открытую. Он почувствовал, что начинает сердиться, и покраснел.

— Не вижу, какая разница, если она уедет в Сидней, а не в Сан-Франциско, и раз она обещает вести себя здесь прилично, то, по-моему, незачем портить ей жизнь.

Миссионер устремил на него суровый взгляд.

— Почему она не хочет вернуться в Сан-Франциско?

— Я не спрашивал, — запальчиво ответил доктор. —

Я считаю, что надо поменьше совать нос в чужие дела.

Возможно, этот ответ был не слишком тактичен.

— Губернатор отдал распоряжение, чтобы ее отправили с первым же пароходом. Он только выполнил свой долг, и я не стану вмешиваться. Ее присутствие здесь — угроза для острова.

— Я считаю, что вы злой и жестокий человек.

Дамы с тревогой посмотрели на доктора, но они напрасно боялись, что вспыхнет ссора, — миссионер только мягко улыбнулся.

— Мне очень грустно, что вы считаете меня таким, доктор Макфейл. Поверьте, мое сердце обливается кровью от жалости к этой несчастной, но ведь я только стараюсь выполнить свой долг.

Доктор ничего не ответил. Он угрюмо посмотрел в окно. Дождь утих, и на другом берегу бухты среди деревьев можно было разглядеть хижины туземной деревушки.

— Я, пожалуй, воспользуюсь тем, что дождь перестал, и пройдусь немного, — сказал он.

— Прошу вас, не сердитесь на меня за то, что я не могу выполнить ваше желание, — сказал Дэвидсон с печальной улыбкой. — Я вас очень уважаю, доктор, и не хотел бы, чтобы вы думали обо мне дурно.

— Ваше мнение о самом себе, наверное, столь высоко, что мое вас не очень огорчит, — отрезал доктор.

— Сдаюсь! — засмеялся Дэвидсон.

Когда доктор Макфейл, сердясь на себя за неоправданную грубость, спустился вниз, мисс Томпсон поджидала его у приоткрытой двери своей комнаты.

— Ну, — сказала она, — вы с ним говорили?

— Да, но, к сожалению, он отказывается что-нибудь сделать, — ответил доктор, смущенно отводя глаза.

И тут же, услышав рыдание, бросил на нее быстрый взгляд. Он увидел, что ее лицо побледнело от ужаса, и испугался.

Вдруг ему в голову пришла новая мысль.

— Но пока не отчаивайтесь. Я считаю, что с вами поступают безобразно, и сам пойду к губернатору.

— Сейчас?

Он кивнул. Ее лицо просветлело.

— Вы меня здорово выручите. Если вы замолвите за меня словечко, он наверняка позволит мне остаться. Я, ей-богу, ничего такого себе не позволю, пока я тут.

Доктор Макфейл сам не понимал, почему он вдруг решил обратиться к губернатору. Он был совершенно равнодушен к судьбе мисс Томпсон, но миссионер задел его за живое, а раз рассердившись, он долго не мог успокоиться. Он застал губернатора дома. Это был крупный, красивый мужчина, бывший моряк, со щеточкой седых усов над верхней губой и в белоснежном мундире.

— Я пришел к вам по поводу женщины, которая сняла комнату в одном доме с нами, — сказал доктор. — Ее фамилия Томпсон.

— Я уже слышал о ней вполне достаточно, доктор Макфейл, — ответил губернатор, улыбаясь. — Я распорядился, чтобы она выехала в следующий вторник, и больше ничего сделать не могу.

— Я хотел просить вас, нельзя ли разрешить ей подождать парохода из Сан-Франциско, чтобы она могла уехать в Сидней. Я поручусь за ее поведение.

Губернатор продолжал улыбаться, но глаза его сузились и стали серьезными.

— Я был бы очень рад исполнить вашу просьбу, доктор, но приказ отдан и не может быть изменен.

Доктор изложил дело со всей убедительностью, на какую был способен, но губернатор совсем перестал улыбаться. Он слушал, угрюмо глядя в сторону. Макфейл увидел, что его слова не производят никакого впечатления.

— Мне очень неприятно причинять неудобства даме, но мисс Томпсон придется уехать во вторник, и говорить больше не о чем.

— Но какая разница?

— Извините меня, доктор, но я обязан объяснять свои решения только моему начальству.

Макфейл внимательно посмотрел на него. Он вспомнил намек Дэвидсона на пущенную в ход угрозу и почувствовал в поведении губернатора какое-то непонятное смущение.

— Черт бы побрал Дэвидсона! И что он сует нос не в свое дело! — с жаром воскликнул он.

— Говоря между нами, доктор, я не стану утверждать, что у меня сложилось особенно благоприятное мнение о мистере Дэвидсоне, но не могу не признать, что он имел полное право указать мне на опасность, которую представляет пребывание женщины, подобной мисс Томпсон, на острове, где военнослужащие живут среди туземного населения.

Он поднялся, и доктор Макфейл тоже вынужден был встать.

— Прошу извинить меня. Мне надо кое-чем заняться. Кланяйтесь, пожалуйста, миссис Макфейл.

Доктор ушел от него в полном унынии. Он знал, что мисс Томпсон будет ждать его, и, чтобы не пришлось самому сообщать ей о своей неудаче, вошел в дом с черного хода и осторожно, как преступник, прокрался по лестнице.

За ужином он чувствовал себя неловко и говорил мало, зато миссионер был оживлен и общителен. Доктору Макфейлу показалось, что взгляд Дэвидсона несколько раз останавливался на нем с добродушным торжеством. Неожиданно ему пришло в голову, что Дэвидсон знает о его безрезультатном визите к губернатору. Но откуда? В той власти, которой обладал этот человек, было что-то зловещее. После ужина доктор увидел на веранде Хорна и вышел к нему, сделав вид, что хочет поболтать с ним.

— Она спрашивает, говорили ли вы с губернатором, — шепнул торговец.

— Да. Он отказал. Мне ужасно жаль, но я больше ничего сделать не могу.

— Я так и знал. Они боятся идти против миссионеров.

— О чем вы разговариваете? — весело спросил Дэвидсон, подходя к ним.

— Я как раз говорил, что вряд ли вам удастся выехать в Апию раньше чем через неделю, — без запинки ответил торговец.

Он ушел, а они вернулись в гостиную. После еды мистер Дэвидсон посвящал один час развлечениям. Вскоре слышался робкий стук в дверь.

— Войдите, — сказала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом.

Дверь осталась закрытой. Миссис Дэвидсон пошла и открыла ее. На пороге стояла изменившаяся до неузнаваемости мисс Томпсон. Это была уже не нахальная девка, которая насмеялась над ними на шоссе, а измученная страхом женщина. Ее волосы, всегда тщательно уложенные в прическу, теперь свисали космами. На ней были шлепанцы и заношенные, измятые блузка и юбка. Она стояла в дверях, не решаясь войти; по лицу ее струились слезы.

— Что вам надо? — резко спросила миссис Дэвидсон.

— Можно мне поговорить с мистером Дэвидсоном? — прерывающимся голосом сказала она.

Миссионер встал и подошел к ней.

— Входите, входите, мисс Томпсон, — сказал он сердечным тоном. — Чем я могу служить вам?

Она вошла.

— Я... я извиняюсь за то, что наговорила вам тогда, и за... за все остальное. Я, наверное, была на взводе. Прошу у вас прощения.

— О, это пустяки. У меня спина крепкая и не переломится от пары грубых слов.

Она сделала движение к нему, отвратительное в своей униженности.

— Вы меня разделили вчистую. Совсем сломали. Не заставляйте меня возвращаться во Фриско, а?

Его любезность мгновенно исчезла, голос стал суровым и жестким.

— Почему вы не хотите возвращаться туда?

Она вся съежилась.

— Да ведь там у меня родня. Не хочу я, чтобы они меня видели такой. Я поеду, куда вы скажете. Только не туда.

— Почему вы не хотите возвращаться в Сан-Франциско?

— Я же вам сказала.

Он наклонился вперед, устремив на нее огромные сверкающие глаза, словно стараясь заглянуть ей в самую душу. Вдруг он резко перевел дыхание.

— Исправительный дом.

Она взвизгнула и, упав на пол, обхватила его ноги.

— Не отсылайте меня туда. Господом богом клянусь, я стану честной. Я все это брошу.

Она выкрикивала бессвязные мольбы, и слезы ручьями катились по накрашенным щекам. Он наклонился к ней и, приподняв ее голову, заглянул ей в глаза.

— Так, значит, исправительный дом?

— Я смылась, а то бы меня зацапали, — отрывисто шептала она. — Если я попадусь быкам, мне припаяют три года.

Он отпустил ее, и она, снова упав на пол, разразилась отчаянными рыданиями. Доктор Макфейл встал.

— Это меняет дело, — сказал он. — Теперь вы не можете требовать, чтобы она вернулась туда. Она хочет начать жизнь снова, не отнимайте же у нее этой последней возможности.

— Я хочу предоставить ей ни с чем не сравнимую возможность. Если она раскаивается, пусть примет свое наказание.

Она не уловила истинного смысла его слов и подняла голову. В ее опухших от слез глазах мелькнула надежда.

— Вы меня отпустите?

— Нет. Во вторник вы отплывете в Сан-Франциско.

У нее вырвался стон ужаса, перешедший в глухой, хриплый визг, в котором не было уже ничего человеческого. Она стала биться головой об пол. Доктор Макфейл кинулся ее поднимать.

— Ну-ну, так нельзя. Пойдите к себе и прилягте. Я дам вам лекарство.

Он поднял ее и кое-как отвел вниз. Он был очень зол на миссис Дэвидсон и на свою жену за то, что они не захотели вмешаться. Метис стоял на площадке, и с его помощью доктору удалось уложить ее на кровать. Она стонала и судорожно всхлипывала. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Доктор сделал ей укол. Злой и измученный, он поднялся в гостиную.

— Я наконец уговорил ее лечь.

Обе женщины и Дэвидсон сидели так же, как он их оставил. Очевидно, пока его не было, они не разговаривали и не шевелились.

— Я ждал вас, — сказал Дэвидсон странным, отсутствующим голосом. — Я хочу, чтобы вы все помолились вместе со мной о душе нашей заблудшей сестры.

Он взял с полки Библию и сел за обеденный стол. Посуда после ужина еще не была убрана, и, чтобы освободить место, ему пришлось отодвинуть чайник. Сильным голосом, звучным и глубоким, он прочел им главу, в которой говорится о том, как к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии.

— А теперь преклоните вместе со мной колени и помолимся о душе возлюбленной сестры нашей Сэди Томпсон.

Он начал с жаром молиться, прося Бога сжалиться над грешницей. Миссис Макфейл и миссис Дэвидсон встали на колени, закрыв лицо руками. Захваченный врасплох, доктор неуклюже и неохотно последовал их примеру. Миссионер молился с яростным красноречием. Он был в исступлении, по его щекам струились слезы. А снаружи лил дождь, лил не ослабевая, с упорной злобой, в которой было что-то человеческое.

Наконец миссионер умолк. На мгновение воцарилась тишина, потом он сказал:

— А теперь прочтем «Отче наш».

Они прочитали молитву и вслед за ним поднялись с колен. Лицо миссис Дэвидсон стало бледным и умиротворенным. На душе у нее, видимо, было легко и спокойно. Но доктора и миссис Макфейл внезапно охватило смущение. Они не знали, куда девать глаза.

— Я, пожалуй, спущусь поглядеть, как она себя чувствует, — сказал доктор.

Когда он постучал к ней, дверь открыл Хорн. Мисс Томпсон сидела в качалке и тихонько плакала.

— Почему вы встали?— воскликнул доктор.— Я же велел вам лежать.

— Мне не ложится. Я хочу видеть мистера Дэвидсона.

— Бедняжка, зачем вам это? Вы не сможете его убедить.

— Он сказал, что придет, если я за ним пошлю.

Макфейл кивнул торговцу.

— Сходите за ним.

Они молча ждали, пока Хорн поднимался наверх. Дэвидсон вошел.

— Извините, что я попросила вас спуститься сюда, — сказала она, мрачно глядя на него.

— Я ожидал, что вы пошлете за мной. Я знал, что Господь услышит мою молитву.

Секунду они глядели друг на друга, потом она отвела глаза. Она смотрела в сторону все время, пока говорила.

— Я вела грешную жизнь. Я хочу покаяться.

— Хвала Господу! Он внял нашим молитвам!

Он повернулся к Макфейлу и торговцу.

— Оставьте меня наедине с ней. Скажите миссис Дэвидсон, что наши молитвы были услышаны.

Они вышли и закрыли за собой дверь.

— Мда-а-а! — сказал торговец.

В эту ночь доктор Макфейл никак не мог заснуть; когда миссионер прошел к себе, он поглядел на часы. Было два. И все-таки Дэвидсон лег не сразу — через разделявшую их деревянную перегородку доктор слышал, как он молится, пока сам наконец не уснул.

Когда они встретились на следующее утро, вид миссионера удивил доктора. Дэвидсон был бледнее, чем обычно, и выглядел утомленным, но глаза его пылали нечеловеческим огнем. Казалось, его переполняет безмерная радость.

— Вы не могли бы теперь же спуститься к Сэди? — сказал он. — Боюсь, что ее тело еще не нашло исцеления, но ее душа — ее душа преобразилась.

Доктор чувствовал себя расстроенным и опустошенным.

— Вы долго были у нее вчера, — сказал он.

— Да. Ей трудно было остаться одной, без меня.

— Вы так и сияете, — сказал доктор раздраженно.

В глазах Дэвидсона засветился экстаз.

— Мне была ниспослана величайшая милость. Вчера я был избран вернуть заблудшую душу в любящие объятия Иисуса.

Мисс Томпсон сидела в качалке. Постель не была убрана. В комнате царил беспорядок. Она не позаботилась одеться и сидела в грязном халате, кое-как зашпилив волосы в пучок. Ее лицо распухло и оплыло от слез, хотя она обтерла его мокрым полотенцем. Вид у нее был неряшливый и непрig-лядный.

Когда доктор вошел, она безучастно посмотрела на него. Она была совсем разбита и измучена.

— Где мистер Дэвидсон? — спросила она.

— Он скоро придет, если он вам нужен, — кисло ответил доктор. — Я зашел узнать, как вы себя чувствуете.

— А, да ничего со мной нет. Не беспокойтесь обо мне.

— Вы что-нибудь ели?

— Хорн принес мне кофе.

Она беспокойно посмотрела на дверь.

— Вы думаете, он скоро придет? Мне не так страшно, когда он со мной.

— Вы все-таки уезжаете во вторник?

— Да, он говорит, что я должна уехать. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он пришел поскорее. Вы ничем мне помочь не можете. Кроме него, мне теперь никто не может помочь.

— Очень хорошо, — сказал доктор Макфейл.

Следующие три дня миссионер почти все время проводил у Сэди Томпсон. Он встречался с остальными только за столом. Доктор Макфейл заметил, что он почти ничего не ест.

— Он не щадит себя, — жаловалась миссис Дэвидсон. — Он, того и гляди, заболеет. Но он не думает о себе.

Сама она тоже побледнела и осунулась. Она говорила миссис Макфейл, что совсем не спит. Когда миссионер уходил от мисс Томпсон и поднимался к себе, он молился до полного изнеможения, но даже после этого засыпал лишь ненадолго. Часа через два он вставал, одевался и шел гулять на берег. Ему снились странные сны.

— Сегодня утром он сказал мне, что видел во сне горы Небраски, — сообщила миссис Дэвидсон.

— Любопытно, — сказал доктор Макфейл.

Он видел их из окна поезда, когда ехал по Соединенным Штатам. Они напоминали огромные кротовые кучи, округлые и гладкие, и круто поднимались над плоской равниной. Доктор Макфейл вспомнил, что они показались ему похожими на женские груди.

Лихорадочное возбуждение, снедавшее Дэвидсона, было невыносимо даже для него самого. Но всепобеждающая радость поддерживала его силы. Он с корнем вырывал последние следы греха, еще таившиеся в сердце бедной женщины. Он читал с ней Библию и молился с ней.

— Это просто чудо, — сказал он как-то за ужином. — Это истинное возрождение. Ее душа, которая была чернее ночи, ныне чиста и бела, как первый снег. Я исполнен смирения и трепета. Ее раскаяние во всем, содеянном ею, прекрасно. Я недостойн коснуться края ее одежды.

— И у вас хватит духу послать ее в Сан-Франциско? — спросил доктор. — Три года американской тюрьмы! Мне кажется, вы могли бы избавить ее от этого.

— Как вы не понимаете! Это же необходимо. Неужели вы думаете, что мое сердце не обливается кровью? Я люблю ее так же, как мою жену и мою сестру. И все время, которое она проведет в тюрьме, я буду испытывать те же муки, что и она.

— А, ерунда! — досадливо перебил доктор.

— Вы не понимаете, потому что вы слепы. Она согрешила и должна пострадать. Я знаю, что ей придется вытерпеть. Ее будут морить голодом, мучить, унижать. Я хочу, чтобы кара, принятая ею из рук человеческих, была ее жертвой Богу. Я хочу, чтобы она приняла эту кару с радостным сердцем. Ей дана возможность, которая ниспосылается лишь немногим из нас. Господь неизреченно добр и неизреченно милосерд.

Дэвидсон задыхался от волнения. Он уже не договаривал слов, которые страстно рвались с его губ.

— Весь день я молюсь с ней, а когда я покидаю ее, я снова молюсь, целиком отдаваясь молитве, молюсь о том, чтобы Христос даровал ей эту великую милость. Я хочу вложить в ее сердце столь пылкое желание претерпеть свою кару, чтобы, даже если бы я предложил ей не ехать, она сама настояла бы на этом. Я хочу, чтобы она почувствовала в муках тюремного заключения смиренный дар, который она слагает к ногам благословенного Искупителя, отдавшего за нее жизнь.

Дни тянулись медленно. Все обитатели дома, думавшие только о несчастной, терзающейся женщине в нижней комнате, жили в состоянии неестественного напряжения. Она была словно жертва, которую готовят для мрачного ритуала какой-то кровавой языческой религии. Ужас совершенно парализовал ее. Она ни на минуту не отпускала от себя Дэвидсона; только в его присутствии к ней возвращалось мужество, и она цеплялась за него в рабском страхе. Она много плакала, читала Библию и молилась. Порой, дойдя до полного изнеможения, она впадала в апатию. В такие минуты тюрьма действительно казалась ей спасением — по крайней мере это была конкретная реальность, которая положит конец ее пытке. Ее смутный страх становился все более мучительным. Отрекшись от греха, она перестала заботиться о своей внешности и теперь бродила по комнате в пестром халате, неумытая и растрепанная. В течение четырех дней она не снимала ночной рубашки, не надевала чулок.

Комната была замусорена. А дождь все лил и лил с жестокой настойчивостью. Казалось, небеса должны уже истощить запасы воды, но он по-прежнему падал, прямой и тяжелый, и с доводящей до иступления монотонностью барабанил по крыше. Все стало влажным и липким. Стены и лежащие на полу башмаки покрыла плесень. Бессонными ночами сердито ныли москиты.

— Если бы дождь перестал хоть на день, еще можно было бы терпеть, — сказал доктор.

Все как избавления ждали вторника, когда должен был прийти пароход из Сиднея. Напряжение становилось невыносимым. Жалость и негодование были вытеснены из души доктора Макфейла единственным желанием — поскорее отделаться от несчастной. Приходится принимать неизбежное. Он чувствовал, что, когда этот пароход наконец отчалит, ему станет легче дышать. На борт ее должен был доставить чиновник губернаторской канцелярии. Он зашел вечером в понедельник и попросил мисс Томпсон собраться к одиннадцати часам следующего утра. У нее был Дэвидсон.

— Я присмотрю, чтобы все было готово. Я сам намерен проводить ее.

Мисс Томпсон молчала.

Когда доктор Макфейл задул свечу и осторожно забрался под москитную сетку, он испустил вздох облегчения.

— Ну, слава богу, все позади. Завтра в это время ее здесь уже не будет.

— Миссис Дэвидсон тоже будет рада. Она говорит, что он совсем замучил себя, — сказала миссис Макфейл. — Она изменилась до неузнаваемости.

— Кто?

— Сэди. Я бы не поверила, что это возможно. Невольно проникаешься смирением.

Доктор Макфейл не ответил и вскоре уснул. Он был очень утомлен и спал крепче обычного.

Его разбудило чье-то прикосновение. Он испуганно вскочил и увидел рядом с кроватью Хорна. Торговец приложил палец к губам и поманил его за собой. Обычно он носил парусиновый костюм, но на этот раз был бос и одет только в лава-лава, как туземец. От этого он неожиданно стал похож на дикаря, и доктор, выбираясь из постели, заметил, что все его тело покрыто татуировкой. Хорн вышел на веранду. Доктор Макфейл соскользнул с кровати и последовал за ним.

— Не шумите, — шепнул торговец. — Вы очень нужны. Накиньте на себя что-нибудь и наденьте башмаки.

Доктор решил, что с мисс Томпсон что-то случилось.

— В чем дело? Захватить инструменты?

— Скорее, ради бога, скорее.

Доктор Макфейл прокрался назад в спальню, надел поверх пижамы плащ и сунул ноги в туфли на резиновой подошве. Он вернулся к торговцу, и они на цыпочках спустились по лестнице. Наружная дверь была открыта, перед ней стояло несколько туземцев.

— В чем дело? — повторил доктор.

— Пойдемте, — сказал Хорн.

Он вышел, и доктор последовал за ним. Туземцы кучкой шли позади. Они пересекли шоссе и вышли к пляжу. Ярдах в двадцати пяти впереди доктор заметил группу туземцев, толпившихся вокруг чего-то, лежавшего у самой воды. Они ускорили шаг; туземцы расступились перед доктором. Торговец торопил его. Затем он увидел труп, лежавший наполовину в воде, наполовину на песке, — труп Дэвидсона. Доктор Макфейл нагнулся — он был не из тех, кто теряется в трудную минуту, — и перевернул его. Горло было перерезано от уха до уха, а правая рука все еще сжимала роковую бритву.

— Он совсем остыл, — сказал доктор. — Он умер уже довольно давно.

— Один из них только что заметил его — по дороге на работу, — пришел и сказал мне. Как вы думаете, он сам это сделал?

— Да. Надо послать за полицией.

Хорн сказал что-то на местном наречии, и двое юношей пустились бежать со всех ног.

— Его нельзя трогать до прихода полиции, — добавил доктор.

— Я не позволю отнести его в мой дом. Я не хочу, чтобы он лежал в моем доме.

— Вы сделаете то, что вам скажут, — резко ответил доктор. — Но я полагаю, его отправят в морг.

Они стояли и ждали. Торговец достал из складок лава-лава две папиросы и протянул одну доктору. Они курили и глядели на труп. Доктор не мог понять, что произошло.

— Как, по-вашему, почему это он? — спросил Хорн.

Доктор пожал плечами. Вскоре подошли с носилками туземные полицейские под командой белого матроса, а за

ними два морских офицера и флотский врач. Они принялись деловито распоряжаться.

— Надо бы поставить в известность его жену, — сказал один из офицеров.

— Раз вы тут, я пойду домой и оденусь. Я позабочусь, чтобы ей сообщили. По-моему, ей не стоит на него смотреть, пока его не приведут в порядок.

— Пожалуй, да, — сказал флотский врач.

Когда доктор Макфейл поднялся к себе, его жена кончала одеваться.

— Миссис Дэвидсон страшно беспокоится о муже, — сказала она, едва увидев его. — Он не ложился всю ночь. Она слышала, как он ушел от мисс Томпсон в два часа, но он вышел из дому. Если он столько времени гулял, то, конечно, будет смертельно измучен.

Доктор Макфейл рассказал ей о несчастье и попросил осторожно подготовить миссис Дэвидсон.

— Но почему он это сделал? — спросила она в ужасе.

— Не знаю.

— Я не могу. Не могу.

— Надо.

Она испуганно посмотрела на него и вышла. Он слышал, как она вошла в комнату миссис Дэвидсон. Подождав минуту, чтобы собраться с силами, он начал бриться. Потом, одевшись, он сел на кровать и стал ждать жену. Наконец она вернулась.

— Она хочет видеть его.

— Его отнесли в морг. Нам, пожалуй, следует проводить ее. Как она это приняла?

— По-моему, ее словно оглушило. Она даже не заплакала. Но она дрожит как осиновый лист.

— Нужно пойти немедленно.

Когда они постучались, миссис Дэвидсон сразу вышла к ним. Она была очень бледна, но не плакала. В ее спокойствии доктору почудилось что-то неестественное. Не обменявшись ни единым словом, они молча пошли по шоссе. Когда они приблизились к моргу, миссис Дэвидсон заговорила.

— Я хотела бы побыть с ним одна, — сказала она.

Они отступили в сторону. Туземец открыл перед ней дверь и закрыл ее, когда она вошла. Они сели и стали ждать. Подошли несколько белых и шепотом заговорили с ними. Доктор снова рассказал о трагедии все, что знал. Наконец дверь тихо отворилась, и миссис Дэвидсон вышла.

— Теперь можно идти, — сказала она.

Ее голос был ровен и строг. Доктор Макфейл не понял выражения ее глаз. Ее бледное лицо было сурово. Они шли медленно, в полном молчании, и наконец приблизились к повороту, который вел к дому Хорна. Миссис Дэвидсон ахнула, и все трое остановились как вкопанные. Их слух поразили немыслимые звуки. Граммофон, который столько времени молчал, хрипло и громко играл разухабистую песенку.

— Что это? — испуганно вскрикнула миссис Макфейл.

— Идемте, — сказала миссис Дэвидсон.

Они поднялись на крыльцо и вошли в переднюю. Мисс Томпсон стояла в дверях своей комнаты, болтая с матросом. В ней произошла внезапная перемена. Это уже не была насмерть перепуганная женщина последних дней. Она облачилась в свой прежний наряд: на ней было белое платье, над лакированными сапожками нависали обтянутые бумажными чулками икры, волосы были уложены в прическу, и она надела свою огромную шляпу с яркими цветами. Ее щеки были нарумянены, губы ярко накрашены, брови черны, как ночь. Она стояла выпрямившись. Перед ними была прежняя наглая девка. Увидев их, она громко, насмешливо захохотала, а затем, когда миссис Дэвидсон невольно остановилась, набрала слюны и сплюнула. Миссис Дэвидсон попятилась, и на ее щеках запыхали два красных пятна. Потом, закрыв лицо руками, она бросилась вверх по лестнице. Доктор Макфейл был возмущен. Оттолкнув мисс Томпсон, он вбежал в ее комнату.

— Какою черта вы себе позволяете? — закричал он. — Остановите эту штуку.

Он подошел к граммофону и сбросил пластинку.

— А ну, лекарь, не распускай рук. Что тебе понадобилось в моей комнате?

— То есть как? — закричал он. — То есть как?

Она подбоченилась. В ее глазах было неопишное презрение, а в ответе — безграничная ненависть:

— Эх вы, мужчины! Поганые свиньи. Все вы одинаковы. Свиньи! Свиньи!

Доктор Макфейл ахнул. Он понял.

РОВНО ДЮЖИНА

Я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга, но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдья, ни показного блеска. Лет десять назад, когда мне случалось туда наезжать, там еще можно было увидеть какой-нибудь старый дом, основательный и не без претензий (подобный разорившейся дворянке, которая скромно кичится своей родословной, но это вас не раздражает, а только кажется забавным), построенный в царствование «первого джентльмена Европы» и, вполне возможно, служивший пристанищем какому-нибудь опальному царедворцу. Главная улица не лишена была томной жеманности, автомобиль единственного в городке врача выглядел на ней как-то не у места. Хозяйки там хозяйничали не спеша. Они судачили с мясником, пока он, под их внимательным взглядом, отрубал кусок вырезки от большой бараньей туши, и справлялись у бакалейщика о самочувствии его жены, пока он укладывал им в веревочную сумку полфунта чая и пакетик соли. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом модным курортом: в мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл respectable и дешевым. Там жили немолодые дамы, как девицы, так и вдовы. Жили отставные военные и чиновники, отслужившие в Индии, и все они не без трепета ожидали августа, когда начинался наплыв отпускников, однако же не прочь были сдать им дом, а на вырученные деньги пожить несколько недель светской жизнью в каком-нибудь пансионе в Швейцарии. Я ни разу не видел Элсом в ту горячую пору, когда все меблированные комнаты были сданы и по набережной разгуливали

мужчины в ярких куртках, когда на пляже давали представления бродячие актеры, а в гостинице «Дельфин» до одиннадцати часов вечера слышался стук бильярдных шаров. Я бывал там только зимой. Тогда на набережной во всех оштукатуренных, столетней давности домах с окнами фонарем белели записочки о сдаче комнат, а постояльцев «Дельфина» обслуживали один-единственный официант и коридорный. В десять часов в курительную являлся швейцар и смотрел на вас так выразительно, что вам ничего не оставалось, как только встать и отправиться к себе в номер спать. Элсом в то время располагал к покою, а «Дельфин» был очень удобной гостиницей. Приятно было думать, что к ее крыльцу не раз подкатывал принц-регент с миссис Фицгерберт — выпить чаю в ресторане. В холле висело под стеклом письмо от мистера Теккеря с просьбой оставить за ним гостиную и две спальни с видом на море и в такой-то день выслать на станцию пролетку встретить его.

Однажды в ноябре, через два-три года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Элсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемоданы, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море — серое, холодное. Над взморьем носилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были вытаснены высоко на каменистый берег, купальные кабинки, облупленные, серые, выстроились в длинный ряд. Никто не сидел на скамейках, которые муниципалитет позаботился расставить на набережной, но несколько приезжих бодро прохаживались взад-вперед для моциона. Мне встретился старый полковник с красным носом и в бриджах, топавший в сопровождении терьера, две пожилые женщины в коротких юбках и прочных ботинках и некрасивая девушка в берете. Никогда еще я не видел набережную такой пустынной. Меблированные комнаты выглядели как неопрятные старые девы, все поджидающие возлюбленных, которые никогда не вернутся, и даже у «Дельфина» вид был унылый и заброшенный. Сердце у меня сжалось. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливой. Я вернулся в гостиницу, задернул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением, однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло окинул их

взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно игроки в гольф, краснолицые и плешивые, поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них, в комнате находилась только еще группа из трех человек, сидевшая отдельно в нише окна, та сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы: одна старая — вероятно, его жена, другая моложе — возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чепец; на запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном, под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Нередко, проходя мимо антикварной лавки или ломбарда, я задерживался перед витриной поглядеть на эти безнадежно устаревшие украшения, такие громоздкие, дорогие и безобразные, и с улыбкой, к которой примешивалась грусть, думал о давно умерших женщинах, что когда-то их носили. Они наводили на мысль о тех временах, когда кринолин уже уступал место турнюрам и оборкам, а плоскую шляпку вытеснял капор с высоченным козырьком и лентами. В те дни англичане любили все добротное и крепкое. В воскресенье утром они ездили в церковь, а после церкви прогуливались в Гайд-парке. Задавали обеды из двенадцати блюд, и хозяин дома сам нарезал ростбиф и цыплят, а после обеда дамы, умевшие играть на фортепьяно, услаждали собравшихся «Песнями без слов» Мендельсона, а джентльмен, обладатель прекрасного баритона, исполнял старинную английскую балладу.

Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной, и сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У нее были роскошные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой вполголоса, но вот она повернула голову, и я увидел ее профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки; а прическа-то как у королевы Александры. Обед кончился, и все трое встали с мест. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево, младшая за ней. И тут я, к ужасу своему, увидел, что она старая. Платье ее было очень простое, юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Может быть, талия чуть более

подчеркнута, чем принято, но общий его рисунок — девический. Она была высокого роста, как героини Теннисона, легкая, длинноногая, грациозная. Нос я уже успел отметить — это был нос греческой богини; рот был прекрасен, глаза большие, синие. Кожа, естественно, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначились морщинки, но в молодости она, наверно, была очаровательна. Она напоминала тех древнеримских дам с идеально правильными чертами лица, которых писал Альма Тадема и в которых вопреки их античным одеждам сразу можно узнать англичанок. Холодного совершенства этого типа никто не видел уже лет двадцать пять. Теперь он и вовсе умер, как эпитафия. Я ощутил себя археологом, обнаружившим статую, давно погребенную под землей, и меня взволновала эта встреча с реликвией минувшей эры. Ибо никакой день не умирает так прочно, как позавчерашний.

Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портвейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был невысокого роста, на голову ниже своей дородной супруги, не толстый, но упитанный, с густыми вьющимися седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка. Губы плотно сжаты, подбородок квадратный. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно — черный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышный черный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвейн, встал и с достоинством удалился.

Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих, мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, какому молодых девиц обучали в фешенебельных школах сорок лет назад, там было записано: «М-р и м-с Сент-Клер, мисс Порчестер», и адрес: «Ленстер-сквер, 58, Бейсуотер, Лондон». Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клер, и узнал, что он, кажется, что-то делает в Сити. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолицых господина читали вечерние газеты, одинокая дама средних лет дремала над романом. Интересовавшая меня троица расположилась в углу комнаты.

Миссис Сент-Клер вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клер читал вслух негромко, но внятно. Проходя мимо них, я уловил, что читает он «Холодный дом».

На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, и ветер улегся. От нечего делать я стал следить глазами за человеком, издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачного вида мужчина в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы — как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. Снова поравнявшись со скамейкой, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нем черные, старые, и предположил, что он вдовец в стесненных обстоятельствах. Или, может быть, служащий похоронного бюро, поправляющийся, как и я, после испанки.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он, — не найдется ли у вас спички?

— Пожалуйста.

Он сел рядом со мной и, пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман — за папиросами. Он вытащил обертку от «Голдфлейкс», и лицо его вытянулось.

— Надо же, какая досада! Ни одной не осталось.

— Закурите мою, — предложил я улыбаясь.

Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу.

— Золотой? — спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. — Золотой? Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их три было. Все украли.

Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно вызывавшие о ремонте. Это был неказистый человечек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было желтое, в морщинах. Определить его возраст я бы не взялся — то ли тридцать пять лет, то ли шестьдесят. В нем не было ничего примечательного, кроме его заурядности. Но, несмотря на явную бедность, выглядел он опрятно и чисто. Вполне respectable фигура, и держится за свою respectableность. Нет, не служит он в похоронном бюро. Скорее, работает клерком у какого-нибудь юриста, недавно похоро-

нил жену, и добросердечный шеф отправил его в Элсом отдохнуть.

— Вы сюда надолго, сэр? — осведомился он.

— Дней на десять — пятнадцать.

— В Элсоне впервые, сэр?

— Нет, я здесь уже бывал.

— Я-то хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии не много найдется приморских курортов, где бы я не побывал. Элсом — один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга. И никакого шума, никакой вульгарности, вы меня понимаете. Для меня, сэр, Элсом связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсом в давно минувшие дни. Я венчался в церкви святого Мартина, сэр.

— В самом деле? — проямлил я.

— Это был очень счастливый брак, сэр.

— Приятно слышать.

— В тот раз хватило на девять месяцев, — добавил он задумчиво.

Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте, но сейчас я ждал продолжения если не с жадным нетерпением, то с любопытством. Продолжения не последовало. Он только вздохнул. Наконец я сам нарушил молчание.

— Приезжих здесь, видимо, совсем немного, — заметил я.

— Вот и хорошо. Толпы — это не по мне. Как я уже сказал, я много лет провел на разных курортах, но только не во время сезона. То ли дело зимой.

— Немножко, пожалуй, уныло.

Он повернулся ко мне и рукой в черной перчатке дотронулся до моего рукава.

— Да, уныло. Потому-то каждый луч солнца так радует.

Слова эти показались мне бессмысленными, и я промолчал. Он убрал руку и встал со скамейки.

— Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться.

Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошел прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в «Дельфин». Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехало ландо, влекомое парой одров, а из ландо

вышел мистер Сент-Клер. Его головной убор являл собой неудачный гибрид из котелка и цилиндра. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Швейцар внес следом за ними подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сент-Клер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время, и заключил из этого, что Сент-Клеры ежедневно совершают прогулку в ландо. Меня бы не удивило, узнай я, что никто из них отроду не ездил в автомобиле.

Администратор рассказала мне, что они держатся особняком, ни с кем в гостинице не знакомятся. Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клер на веранде гостиницы. Он читал «Таймс», она вязала. Миссис Сент-Клер, надо полагать, в жизни не прочла ни одной газеты, ведь они признавали только «Таймс», а эту газету ее муж, разумеется, каждый день увозил с собой в Сити. Часов в двенадцать к ним присоединялась мисс Порчестер.

— Как погуляла, Элинора? — спрашивала миссис Сент-Клер.

— Очень хорошо, тетя Гертруда, — отвечала мисс Порчестер.

— Когда закончишь ряд, дорогая, — говорил мистер Сент-Клер, бросив взгляд на вязанье в руках жены, — можно еще пройтись перед вторым завтраком.

— Очень хорошо, — отвечала миссис Сент-Клер. Она складывала работу и отдавала мисс Порчестер. — Ты ведь пойдешь наверх, Элинора, так захвати мое вязанье.

— С удовольствием, тетя Гертруда.

— Ты, наверное, устала после прогулки?

— Да, я немного отдохну до завтрака.

Мисс Порчестер скрывалась в доме, а мистер и миссис Сент-Клер медленно, плечом к плечу, пускались в путь по набережной, с тем чтобы, дойдя до определенного места, так же медленно вернуться назад.

Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивым, без улыбки поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дело не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них. Но потом мне показалось, что мистер Сент-Клер на меня поглядывает, и, решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил — возможно, из чистого тщеславия, — что читаю в этих

взглядах любопытство. А еще дня через два, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением.

— Мистер Сент-Клер велел кланяться, и не одолжите ли вы ему справочник Уитакера?

Я удивился.

— С чего он взял, что у меня есть справочник Уитакера?

— А ему администратор сказала, что вы, мол, пишете.

Какая тут связь — я не понял.

— Передайте мистеру Сент-Клеру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника Уитакера у меня здесь нет.

Вот случай и представился! Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами. Мне доводилось набрести в сердце Азии на неведомое племя, обитающее в какой-нибудь одной деревушке среди других, чуждых ему племен. Никто не знает, как эти люди туда попали и почему осели именно здесь. Они живут своей жизнью, говорят на своем языке и не общаются с соседями. Никому не известно, кто они такие — то ли потомки какой-то группы, отставшей от своих соплеменников, когда орды их прокатились по этим местам, то ли последние, вымирающие представители какого-то могущественного народа, некогда владевшего этим краем. Они окружены тайной. У них нет истории и нет будущего. Нечто подобное я усмотрел и в членах этой диковинной семейки. Они принадлежали к эпохе, канувшей в небытие. Напоминали персонажей из неторопливых старомодных романов, какие читали наши отцы. Умудрились прожить последние сорок лет так, словно мир все это время стоял на месте! Они вернули меня в мое детство, привели мне на память многих людей, уже давно лежащих в могиле. Может быть, дело тут в дистанции, но у меня сложилось впечатление, что таких своеобразных людей теперь не бывает. Когда в те времена про человека говорили: «Да, это оригинал!», честное слово, это что-то да значило.

И в тот вечер после обеда я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером Сент-Клером.

— Мне очень жаль, что у меня нет справочника Уитакера, — сказал я. — Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга, так сделайте одолжение.

Мистер Сент-Клер был явно поражен. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза.

— Право же, это неважно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель.

Я напряженно думал. Видимо, какая-то связь между моей профессией и справочником Уитакера все же была, но она от меня ускользала.

— В былые дни мистер Троллоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер, и он, помнится, говорил, что для писателя две самые нужные книги — Библия и справочник Уитакера.

— Оказывается, в этой гостинице когда-то останавливался Теккерей, — сказал я, опасаясь, как бы разговор не иссяк.

— Мистера Теккерей я всегда недолюбливал, хотя он не раз обедал у моего тестя, покойного мистера Сарджента Сондерса. На мой вкус, он был чересчур циничен. Моя племянница до сих пор не читала «Ярмарку тщеславия».

Мисс Порчестер слегка покраснела, когда разговор коснулся ее. Подали кофе, и миссис Сент-Клер обратилась к мужу:

— Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?

Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить: «Большое спасибо» — и сел.

— Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем, — сказал мистер Сент-Клер. — Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит мистера Троллопа скучноватым. Мисс Порчестер, например, предпочитает романы Уильяма Блека¹.

— Его я, к сожалению, не читал.

— А-а, вы, значит, как и я, несовременны. Моя племянница однажды уговорила меня прочесть роман некоей мисс Роды Броутон², но больше ста страниц я не осилил.

— Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин, — попробовала оправдаться мисс Порчестер и опять покраснела. — Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нем говорят.

¹ Уильям Блек (1841—1898) — плодовитый английский писатель, ныне забытый.

² Рода Броутон (1840—1920) — английская писательница, в молодости славившаяся своим вольномыслием.

— Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода.

— Однажды, — вмешался я, — мисс Броутон мне сказала, что, когда она была молода, ее книги находили слишком острыми, а когда состарилась — слишком пресными, и это очень обидно, потому что она сорок лет писала совершенно одинаково.

— Ах, вы были знакомы с мисс Броутон? — спросила мисс Порчестер, впервые обращаясь ко мне. — Как интересно! А Уиду вы тоже знали?

— Элинор, милая, вот сюрприз! Неужели ты хочешь сказать, что читала Уиду?

— А вот и читала, дядя Эдвин. Я читала «Под двумя флагами»¹, и мне очень понравилось.

— Ты меня шокируешь. На что только не отваживаются современные девушки, просто уму непостижимо.

— Вы всегда говорили, что, когда мне исполнится тридцать лет, дадите мне полную свободу, разрешите читать все, что я захочу.

— Но, дорогая моя Элинор, свобода и распущенность не одно и то же, — возразил мистер Сент-Клер вполне серьезно, хоть и с легкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным.

Не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать и впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которое он на меня произвел. Я мог бы без конца слушать, как они обсуждают развратный век, чья молодость пришлось на восьмидесятые годы. Я бы много дал, чтобы увидеть их большой, вместительный дом на Ленстер-сквер. Я бы сразу узнал обитый красным плюшем гарнитур гостиной — каждый предмет на раз навсегда отведенном ему месте; и при виде горок с дрезденским фарфором воскресло бы мое детство. В столовой, где они обычно сидели по вечерам, поскольку гостиная предназначалась только для приема гостей, наверняка был постелен турецкий ковер и стоял огромный буфет красного дерева, битком набитый серебром. А по стенам висели картины, приводившие в восхищение

¹ Уида (псевдоним Марии Луизы де ла Раме, 1839—1908) — автор 45 романов из великосветской жизни в Англии и в Италии. «Под двумя флагами» — ее первый роман (1882).

миссис Хэмфри Уорд и ее дядю Мэтью¹ на академической выставке 88-го года.

На следующее утро в живописном местечке на задах Элсома я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоем с мужчиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго, отпугнет сию пятидесятилетнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он, — не найдется ли у вас спички?

— Пожалуйста, — ответил я, — но папирос у меня, к сожалению, при себе нет.

— Закурите мою, — предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. — Надо же, и у меня, как на грех, ни одной не осталось.

Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человечек он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине.

В тот же день я снова его увидел. Я сидел на набережной. Он приближался ко мне мелкими, семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне.

— Вот и еще раз встретились, сэр. Да, тесен мир. Разрешите мне, если не помешаю, немного отдохнуть. Я что-то устал.

— Скамейка общественная, у вас на нее столько же прав, как у меня.

Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папиросу.

¹ Мэри Августа Уорд, урожденная Арнольд (более известная как миссис Хэмфри Уорд) — английская писательница и филантропка (1851—1920). Ее дядя Мэтью Арнольд (1822—1888) — известный поэт, критик и эссеист.

— Вы очень любезны, сэр! Я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше, но по опыту скажу — те, что еще остались, особенно оценишь.

— Мысль утешительная.

— Прошу прощения, сэр, но я не ошибаюсь, вы действительно наш известный писатель?

— Я писатель. Но как вы это узнали?

— Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете?

Я посмотрел на него. Неприглядный человечек в поношенной черной одежде, длинноносый, глаза голубые...

— Простите, не узнаю.

— Немудрено, что я изменился, — вздохнул он. — Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединенного королевства. Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся. Даю слово, есть такие, на которых я бы сам себя не узнал, если б не подпись.

Он помолчал. Было время отлива, и за галькой пляжа протянулась желтая полоса глинистого дна. Волнорезы торчали из нее, как остовы доисторических животных.

— Писать книги — это, должно быть, страшно интересно, сэр. Я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал. В последнее время, правда, почти не читаю. И зрение не то, что было, и вообще. А написать книгу я бы, наверно, мог, если б постарался.

— Говорят, одну книгу может написать каждый, — отозвался я.

— Не роман, знаете ли. До романов я не большой охотник. Предпочитаю исторические труды и всё в таком роде. Или мемуары. Если б кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары.

— Это сейчас модно.

— Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает. Не так давно я даже написал об этом письмо во одну воскресную газету, но они мне не ответили.

Он устремил на меня долгий, оценивающий взгляд. Неужели сейчас попросит полкроны? С его-то респектабельной внешностью...

— Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр?

— Честно говоря, не знаю.

Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочке и наконец не без самодовольства изрек:

— Я — знаменитый Мортимер Эллис.

— Да?

Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые. На лице его отобразилось разочарование, и это меня немного смутило.

— Мортимер Эллис, — повторил он. — Неужели это вам ничего не говорит?

— Решительно ничего. Я, понимаете, очень мало живу в Англии.

Интересно, думал я, чем он прославился? Я мысленно перебрал несколько вариантов. Спортсменом он, безусловно, никогда не был, а ведь в Англии только на их долю выпадает настоящая слава, но он мог в прошлом проповедовать «Христианскую науку» или ставить рекорды на бильярде. Самая незаметная фигура — это, конечно, бывший министр, и он вполне мог оказаться министром торговли в каком-нибудь усопшем правительстве. Но и на политического деятеля он не был похож.

— Вот она, слава, — произнес он с горечью. — Да в Англии я много месяцев был притчей во языцех. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимер Эллис.

Я покачал головой.

Он выдержал паузу для пущего эффекта.

— Я — знаменитый многоженец.

Ну что прикажете ответить, когда совершенно незнакомый человек сообщает вам, что он — знаменитый многоженец? Признаюсь, порой я тешу себя мыслью, что за словом в карман не лезу, но тут я буквально онемел. А он продолжал:

— У меня было одиннадцать жен, сэр.

— Многие считают, что и с одной нелегко справиться.

— А это от отсутствия практики. Кто был женат одиннадцать раз, тот женщин наизусть знает.

— Но почему вы остановились на одиннадцати?

— Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. Одиннадцать —

нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. Три — это может быть у любого, и семь еще туда-сюда, девять, говорят, приносит счастье, десяток тоже неплохо. Но одиннадцать! Я только об этом и сожалею. Все бы ничего, кабы только довести счет до дюжины.

Он расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана бумажник, толстый и сильно засаленный. Из бумажника же достал целую пачку газетных вырезок, грязных, потертых на сгибах, и штуки три развернул.

— Вы только взгляните на эти снимки, и сами скажите, похожи они на меня? Поглядеть на них, можно подумать, что это какой-то уголовник.

Вырезки были длинные, можно было не сомневаться, что среди газетных редакторов Мортимер Эллис в свое время котиrowался высоко. Одна корреспонденция была озаглавлена «Муки многократного мужа», другая — «Бессердечного мерзавца — к ответу», третья — «Презренный негодяй дождался своего Ватерлоо».

— Хорошей прессой это не назовешь, — протянул я.

Он пожал плечами.

— Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет, кого я не могу простить, так это судью. Он обошелся со мной безобразно и себе только навредил — в том же году умер.

Я пробежал глазами корреспонденции.

— Он, я вижу, дал вам пять лет.

— Позор, иначе не назовешь, а вы посмотрите, что тут сказано. — Он ткнул в нужную строку указательным пальцем. — «Три из его жертв подали ходатайства о помиловании». Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он дает мне пять лет. Да еще обзывал по-всякому — бессердечный негодяй — это я-то, добрейшей души человек, — язва на теле общества, опасен для окружающих. Сказал, что, будь его воля, приговорил бы меня к наказанию плетьюми. Не то самое страшное, что он дал мне пять лет — хотя я продолжаю считать, что это чересчур, — но какое он, скажите, имел право так надо мной измываться? Никакого не имел права, и я ему не прощу никогда, проживи я хоть до ста лет.

Щеки многоженца вспыхнули, слезящиеся глаза сверкнули. Для него это была наболевшая тема.

— Можно прочесть? — спросил я.

— Для чего же я вам их и дал. Непременно прочтите, сэр. И если после этого вы не согласитесь, что я — жертва чудовишной несправедливости, значит, вы не тот человек, за какого я вас принимал.

Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Эллис так подробно осведомлен о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост: когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату, благо пансионы пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой, в возрасте, как я не мог не заметить, от тридцати пяти до пятидесяти лет. На суде они все показали, как свидетельницы, что познакомились с ним на набережной. Как правило, он уже через две недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Лишь с одной он затем встретился вновь еще до того, как все они, явившись в суд по вызову, увидели его на скамье подсудимых. Это были отнюдь не легкомысленные вертушки. У одной отец был врач, у другой священник; была среди них хозяйка меблированных комнат, вдова коммивояжера и удалившаяся от дел портниха. У каждой был небольшой капитал, от пятисот до тысячи фунтов, но независимо от степени их богатства он обчищал их до последнего пенни. Однако все, как одна, утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что три из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что, если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал:

— И можно не сомневаться, она стала бы на меня работать. Но я так считаю — прошлого не воротишь. До сочной отбивной мы все охотники, но остывшая баранина — это, признаюсь, не по мне.

Только несчастный случай помешал Мортимеру Эллису жениться в двенадцатый раз и таким образом довести счет ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некоей мисс Хаббард («две тысячи фунтов, не меньше, в облигациях военного займа», — доверительно сообщил он мне), и церковное оглашение

уже состоялось, но тут его случайно увидела одна из бывших жен, навела справки и заявила в полицию. Накануне двенадцатой свадьбы его арестовали.

— Дурная она была женщина, — сказал он мне, — обманула меня без всякой жалости.

— Каким же образом?

— А вот каким. Встретил я ее в Истборне, как-то в декабре, на молу, и в разговоре она упомянула, что была модисткой, а теперь на покое. Сказала, что кое-что сумела отложить на черный день. Сколько именно — утаила, но дала понять, что тысячи полторы у нее имеется. А когда я на ней женился, вы не поверите, оказалось, что у нее всего-то триста фунтов. И она же меня потом продала. А она ведь от меня и слова худого не слышала. Другой бы рвал и метал, если б его так одурачили, а я и виду не подал, до чего огорчился. Просто взял и ушел.

— Однако же триста фунтов с собой прихватили?

— Странно вы рассуждаете, сэр, — возразил он обиженно. — На триста фунтов долго не просуществуешь, а я, как-никак, был женат на ней четыре месяца, прежде чем она создалась.

— Простите за нескромный вопрос, — сказал я, — и ради бога не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных, но... почему они за вас выходили?

— Потому что я их об этом просил, — отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью.

— И вы никогда не получали отказа?

— Очень редко. Четыре-пять раз за все время. Я, конечно, делал предложение лишь после того, как основательно прошупаю почву, но и то случалось промахнуться. Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом все-таки убеждался — нет, не то.

Я помолчал, занятый своими мыслями. Но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке.

— Все ясно, — сказал он. — Это моя наружность вас ввела в заблуждение. Вам непонятно, что они во мне находили. Вот что значит читать романы и ходить в кино. Вам кажется, что женщин привлекает только тип ковбоя либо уж романтический испанский гидальго — сверкающие глаза, оливковая кожа, и танцует как бог. Забавно, честное слово.

— Рад, что позабавил вас.

— А вы женатый человек, сэр?

— Да, но у меня всего одна жена.

— Один пример, понимаете, не поддается обобщению.

Я вас лучше так спрошу: много вы знали бы о собаках, если б у вас за всю жизнь был всего один бультерьер?

Вопрос был явно риторический, ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал:

— Ошибаетесь, сэр. Ничего подобного. Каким-нибудь молодым красавчиком они могут увлечься, но замуж за него не пойдут. Красота, если вникнуть, это для них последнее дело.

— Дуглас Джеррольд, человек столь же безобразный, сколь и остроумный, говаривал, что дай ему десять минут форы, и он отобьет женщину у самого красивого мужчины из всех присутствующих.

— Нет, остроумие им тоже не нужно. Когда мужчина их смешит, они воображают, что ему недостает серьезности. И то же самое думают, если мужчина очень уж хорош собой. А им подавай человека серьезного. Без затей. И чтобы к тому же был внимательный. Я, может быть, не блещу красотой и не бог знает как интересен, но, поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине. Солидность. И вот вам доказательство: всех моих жен я осчастливил.

— Это, безусловно, говорит в вашу пользу — и то, что три из них за вас ходатайствовали, и то, что одна готова была принять вас обратно.

— А как это меня мучило, пока я сидел в тюрьме! Я боялся, что, когда меня выпустят, она будет ждать у ворот. Я даже смотрителя попросил: «Ради бога, сэр, прикажите меня вывести как-нибудь так, чтобы никто не видел».

Он опять разгладил на руках перчатки, и опять его взгляд задержался на дырочке на указательном пальце.

— Вот что значит жить в меблированных комнатах, сэр. Как человеку содержать себя в аккурате без женской заботы? Я столько раз был женат, что просто не могу обойтись без жены. Некоторые мужчины не любят жить в браке. Я их не понимаю. Ведь по-настоящему хорошо делаешь только то, во что вложил душу, а я люблю быть женатым. Мне не составляет труда помнить про всякие пустячки, которые женщины ценят, а иные мужчины считают излишним. Как я уже сказал, женщина дорожит вниманием. Я ни разу,

уходя из дому, не забыл поцеловать жену, и то же самое, когда возвращался домой. И почти всегда приносил ей подарочек — либо конфеты, либо цветы. Невзирая на расходы.

— Деньги-то вы тратили не свои, — вернул я.

— Ну и что ж из этого? Важны не деньги, а внимание. Это женщине дороже всего. Нет, хвастать не хочу, но этого у меня не отнимешь — я хороший муж.

Я опять бросил взгляд на отчеты о судебном процессе, которые все еще держал в руках.

— Меня вот что удивляет, — сказал я. — Все это были женщины вполне приличные, не первой молодости, положительные, порядочные. И они выходили за вас замуж, ничего о вас не зная, после такого недолгого знакомства.

Он потрепал меня по руке, как младшего.

— Вот этого-то вы и не понимаете, сэр. Женщины помещаны на замужестве. Молодые и старые, крупные и миниатюрные, блондинки и брюнетки, у всех одна забота: хотят быть замужними. Имейте в виду, я с ними венчался в церкви. Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойно. Вы говорите, я не красавец. Не спорю, я никогда и не считал себя красавцем, но, будь я горбун и без одной ноги, я бы и то нашел сколько угодно женщин, которые с радостью бы за меня пошли. Им не мужчина нужен, а брак. Это у них какая-то мания. Болезнь. Да любая из них пошла бы за меня после второй же встречи, просто я сам предпочитаю не связывать себя, пока не уверен в успехе. Когда все открылось, шум поднялся страшный, потому, видите ли, что я был женат одиннадцать раз. Одиннадцать раз? Подумаешь, даже не полная дюжина. Я, если б захотел, мог бы жениться и тридцать раз. Даю слово, сэр, когда я думаю о моих возможностях, я только поражаюсь собственной умеренности.

— Я помню, вы мне говорили, что любите читать книги по истории.

— Да. Это, кажется, Уоррен Хэстингс¹ сказал? Мне с тех пор запомнилось. Как будто про меня сказано.

— И эти бесконечные идиллии вам не приедались?

— Как вам сказать, сэр, у меня, мне кажется, логический склад ума, и мне, понимаете, всегда приятно было

¹ Уоррен Хэстингс (1732—1818), первый генерал-губернатор английских владений в Индии, якобы произнес эти слова, когда был привлечен к суду за казнокрадство и злоупотребление властью.

убеждаться, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Вот, например, женщине, которая еще никогда не была замужем, я выдавал себя за вдовца. Это действовало безотказно. Девушке импонирует мужчина, который кое-что знает о семейной жизни. А вдовам я всегда говорил, что холост, — вдова всегда опасается, что мужчина, который уже был женат, знает об этом слишком много.

Я отдал ему газетные вырезки. Он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник.

— Нет, как хотите, а на меня возвели напраслину. Вы только вспомните, как меня называли: язва на теле общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях, я вам все о себе рассказал. По-вашему, я дурной человек?

— Мы с вами знакомы очень недавно, — ответил я, как мне показалось, достаточно тактично.

— Хотел бы я знать, попробовал ли хоть раз судья, или присяжные, или публика взглянуть на это дело с моей точки зрения. Публика меня освистала, когда меня ввели в зал суда, полиции пришлось оградить меня от насильственных действий. Подумал ли кто-нибудь о том, что я сделал для этих женщин?

— Вы забрали себе их деньги.

— Конечно забрал, как же иначе, жить-то мне надо. Но что я дал им взамен за их деньги?

Вопрос был опять риторический, и хотя он словно бы ждал ответа, я промолчал: честно говоря, я не знал, что ответить. А он повысил голос, говорил возбужденно. Видно было, что он не на шутку взволнован.

— Я вам скажу, что я им дал взамен за их деньги. Романтику. Поглядите вокруг. — Широким жестом он словно очертил море до самого горизонта. — В Англии есть сотни таких мест. Поглядите на море, на небо; на эти пансионы; на этот мол и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвечина. Вам-то хорошо, вы приезжаете сюда на недельку, отдохнуть, подлечиться. А вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов. Знакомых почти нет. Денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь! Точь-в-точь как эта набережная — длинная прямая мощеная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон

не сулит им ничего хорошего. Он их не касается. Словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за тридцать пять. И я даю им любовь. Да многим из них мужчина ни разу не застегивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука обвивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они уже поставили на себе крест, а я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца в безрадостной пустыне — вот чем я для них был. Немудрено, что они в меня вцеплялись, немудрено, что хотели меня вернуть. Та единственная, что продала меня, была модисткой. Она сказалась вдовой. А я полагаю, что она никогда не была замужем. Вы говорите, я поступал с ними подло, а я осчастливил одиннадцать женщин, я озарил их жизнь, когда они уже перестали надеяться. Вы говорите, я негодай и мерзавец. Неправда. Я филантроп. Мне дали пять лет, а должны были дать медаль Королевского общества человеколюбия.

Он извлек на свет пустую обертку от «Голдфлейкс» и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище — как праведник пытается сдержать свои чувства.

— А что я с этого имел? — продолжал он после паузы. — Стол и квартиру да мелочь на курицу. Но отложить ничего не отложил, и вот вам доказательство: теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны. — Он искоса посмотрел на меня. — Вот до чего докатился. А я всегда жил по средствам, отроду не просил у друзей взаймы. Я уж подумал, сэр, не могли бы вы ссудить мне малую толику. Совесть на это намекает, но, если б вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли.

Что ж, на фунт стерлингов многоженец, безусловно, меня развлек, и я полез за бумажником.

— С удовольствием, — сказал я.

Он смотрел, как я достаю деньги.

— А двух фунтов не найдется, сэр?

— Наверно, найдется.

Я вручил ему две фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом.

— Вам не понять, что это значит для человека, привыкшего к домашнему комфорту, — не знать, куда приткнуться на ночлег.

— Одно мне хотелось бы у вас спросить, — сказал я. — Не сочтите меня циником, но у меня сложилось впечатление, что, по мнению женщин, библейское «Блаженнее давать, нежели принимать» относится исключительно к нашему полу. Как вам удавалось убедить этих почтенных и, надо полагать, бережливых женщин так неосторожно вверять вам свои сбережения?

Его ничем не примечательное лицо осветила почти веселая улыбка.

— Вот вам объяснение. Скажите женщине, что за полгода вы удвоите ее капитал, и она вам доверит распорядиться им, да еще будет торопить — бери поскорее. Жадность — вот что это такое. Жадность.

Переход от моего занятого проходимца к атмосфере респектабельности, лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был подобен горячему соусу с мороженым. С ними я теперь проводил все вечера. Мистер Сент-Клер, как только его дамы удалялись, посылал официанта пригласить меня на стакан портвейна. Потом мы вместе шли в гостиную пить кофе. Тут мистер Сент-Клер с удовольствием выпивал рюмочку коньяку. Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть.

Администратор, очевидно, рассказала им, что я пишу и пьесы.

— Мы часто ездили в театр, когда сэр Генри Ирвинг играл в «Лицеуме», — сказал однажды мистер Сент-Клер. — Я даже имел счастье с ним познакомиться. Сэр Эверард Милле пригласил меня однажды поужинать в клуб «Гаррик» и представил меня мистеру Ирвингу — он тогда еще не был пожалован титулом.

— Расскажи, что он тебе сказал, Эдвин, — попросила миссис Сент-Клер.

Мистер Сент-Клер встал в позу и очень недурно изобразил высокопарную манеру Генри Ирвинга:

— «У вас, мистер Сент-Клер, лицо актера, — сказал он. — Если надумаете идти на сцену, приходите ко мне, я дам вам роль». — Мистер Сент-Клер снова заговорил естественным тоном: — Какому юноше это не вскружило бы голову!

— А вам не вскружило, — сказал я.

— Не скрою, занимая другое положение в обществе, я мог бы и соблазниться. Но я должен был помнить о моей семье. Для моего отца это был бы страшный удар, ведь он рассчитывал, что я пойду по его стопам.

— И чем же вы занимаетесь?

— Я торгую чаем, сэр. Моя фирма — старейшая в Сити. Сорок лет жизни я посвятил тому, чтобы по мере сил противодействовать желанию моих соотечественников пить цейлонский чай вместо китайского, который в дни моей молодости пили все.

Мне показалось, что это очень трогательно и так на него похоже — посвятить жизнь тому, чтобы убеждать публику покупать то, чего ей не нужно.

— Но когда мой муж был моложе, — сказала миссис Сент-Клер, — он много участвовал в любительских спектаклях, и его считали очень способным.

— Шекспир, знаете ли, да изредка «Школа злословия». Играть в несерьезных пьесах я никогда не соглашался. Но это дело прошлое. Талант у меня был. Жаль, может быть, что я зарыл его в землю, но теперь поздно горевать. Когда мы устраиваем званый обед, дамам иногда удается уговорить меня прочесть знаменитые монологи из «Гамлета». Не более того.

Батюшки мои! Мне прямо дурно сделалось при мысли об этих званных обедах. А что, если я и сам удостоюсь приглашения? Миссис Сент-Клер подарила меня улыбкой, чуть шокированной и чопорной.

— В молодости мой муж охотно общался с богемой.

— Я отдал дань увлечениям юности. Знал многих художников, писателей, например Уилки Коллинза, даже таких, что сотрудничали в газетах. Уотс написал портрет моей жены. Одну картину Милле я купил. Был знаком кое с кем из прерафаэлитов.

— А что-нибудь Россетти у вас есть?

— Нет. Таланту Россетти я отдавал должное, но его личной жизни не одобрял. Я бы никогда не купил картину художника, которого мне не захотелось бы пригласить к себе в гости.

Голова у меня уже шла кругом, но тут мисс Порчестер взглянула на свои часики и спросила:

— А вы нам сегодня не почитаете, дядя Эдвин?

И я откланялся.

Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попивали портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом, но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы.

— Это было ужасно, — сказал мистер Сент-Клер. — Просто ужасно. Но моя племянница, конечно, выбрала единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки и сказала, что не может за него выйти. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце ее было разбито. С тех пор она никого не любила.

— И он женился на той молодой особе?

Мистер Сент-Клер со вздохом покачал головой.

— Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Моя бедная жена долго не могла примириться с мыслью, что ее племянник мог поступить так бесчестно. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали двенадцать тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после.

— А дальше что было?

— Они поженились, и теперь племянник моей жены — член верховного суда, а жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был удостоен рыцарского звания, Элинор предложила, не пригласить ли их к нам на обед, но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме, и я ее поддержал.

— А дочка уборщицы?

— Та вышла замуж в своем кругу, теперь держит трактир в Кентербери. У моей племянницы есть немного собственных средств, она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка.

Бедная мисс Порчестер! Принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали, и, боюсь, единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно.

— Мисс Порчестер на редкость хороша собой, — сказал я. — В молодости она, наверно, была неотразима. Просто непонятно, что она так и не вышла замуж.

— Мисс Порчестер славилась своей красотой. Альма Тадема так восхищался ею, что просил ее позировать для какой-то своей картины, но мы, конечно, не могли на это пойти. — По тону мистера Сент-Клера я понял, что просьба эта в свое время глубоко оскорбила его чувство приличия.

— Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нем не говорит, и прошло уже тридцать лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр, и я, хотя, может быть, и жалею, что радости замужества и материнства не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею.

Но сердце женщины неисповедимо, и опрометчиво судит тот, кто предрекает ей постоянство до гробовой доски. Да, дядя Эдвин, опрометчиво. Вы знали Элинор много лет, ведь, когда ее мать заболела и умерла и вы привезли сироту в ваш богатый, даже роскошный дом на Ленстер-сквер, она была малым ребенком. Но в сущности, дядя Эдвин, много ли вы знаете об Элинор?

Всего через два дня после того, как мистер Сент-Клер поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретила администратор, донельзя взволнованная.

— Мистер Сент-Клер велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернетесь, поднялись к нему в двадцать седьмой номер.

— Сейчас пойду. А что там стряслось?

— Ой, полный переполох. Они вам сами скажут.

Я постучал и, услышав: «Да, да, войдите», вспомнил, что мистер Сент-Клер когда-то играл шекспировских героев в лучшей любительской труппе Лондона. Я вошел. Миссис Сент-Клер лежала на диване, на лбу у нее был платок, смоченный одеколоном, в руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла.

— Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение, — сказал он, — но у нас большая беда, и мы подумали, не поможет ли вы нам понять то, что случилось.

Он явно был в расстроенных чувствах.

— Но что именно случилось?

— Наша племянница мисс Порчестер сбежала. Нынче утром она послала моей жене записку, сказать, что у нее мигрень. Когда у нее бывают ее мигрени, она всегда просит оставлять ее одну, и жена только часа в четыре решила к ней наведаться, узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста. Чемодан был уложен. Несессер с серебряными застежками исчез. А на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас о своем сумасбродном поступке.

— Сочувствую вам, — сказал я, — но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен.

— Нам казалось, что, кроме вас, у нее не было в Элсоме ни одного знакомого джентльмена.

В мозгу у меня забрезжила догадка.

— Теперь я вижу, она сбежала не с вами. В первую минуту мы подумали... но раз это не вы, так кто же?

— Право, не знаю.

— Покажи ему письмо, Эдвин, — сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване.

— Лежи, лежи, Гертруда, а то как бы твой прострел не разыгрался.

У мисс Порчестер бывали «свои» мигрени, у миссис Сент-Клер — «свой» прострел. А у мистера Сент-Клера? Я готов был поручиться, что у него имелась «своя» подагра. Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение.

«Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда! Когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но я боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку, а поскольку решение мое бесповоротно, я подумала, что, если ничего не скажу заранее, это избавит нас всех от тяжелого разговора. Мой жених любит уединенную жизнь, к тому же длительное пребывание в тропических странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы, надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктории.

Любящая вас племянница *Элинора*».

Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру.

— Я никогда ей не прощу, — сказал он. — Ноги ее больше не будет в моем доме. Гертруда, я запрещаю тебе поминать о ней в моем присутствии.

Миссис Сент-Клер тихо заплакала.

— Не слишком ли вы суровы? — сказал я. — Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж?

— В ее-то возрасте? — возразил он гневно. — Это нелепо. Да мы станем всеобщим посмешищем на Ленстер-сквер. Вы знаете, сколько ей лет? Пятьдесят один год.

— Пятьдесят четыре, — поправила миссис Сент-Клер сквозь слезы.

— Мы берегли ее как зеницу ока. Любили, как родную дочь. Она уже сколько лет была старой девой. С ее стороны помышлять о замужестве просто неприлично.

— Для нас она всегда оставалась молоденькой, — с мольбой напомнила миссис Сент-Клер.

— И кто этот человек, за которого она вышла? Обман — вот что не дает мне покоя. Ведь она, значит, любезничала с ним прямо у нас под носом. Даже имени его не назвала. Я опасаясь самого худшего.

Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Эллиса. Перед тем я не видел его несколько дней.

— Вы сегодня франтом, — сказал я.

Башмаки его были починены и блестели, шляпа вычищена, на нем был новый воротничок и новые перчатки. Я еще подумал, что он неплохо распорядился моими двумя фунтами.

— Еду в Лондон по делу, — сказал он.

Я кивнул и вышел из лавки.

И еще я вспомнил, как две недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем, через несколько шагов, — Мортимера Эллиса. Значит, они гуляли вместе и он нарочно отстал, когда они заметили меня? Да, да, все сходится.

— Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестер есть собственный капитал? — спросил я.

— Так, безделица. Три тысячи фунтов.

Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клер ахнула и вскочила с дивана.

— Эдвин, Эдвин, а вдруг он на ней не женится?

Тут мистер Сент-Клер поднес руку ко лбу и без сил опустился в кресло.

— Этого позора я не переживу, — простонал он.

— Упокойтесь, — сказал я. — Он непременно на ней женится. У него так заведено. Он обвенчается с ней в церкви.

Они пропустили мои слова мимо ушей. Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка. А мне теперь все было ясно. Мортимер Эллис добился-таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожденной дюжины.

ЗАПИСКА

На набережной нещадно палило солнце. По оживленной улице неслись потоки автомобилей — грузовиков и автобусов, частных лимузинов и такси, — и все они непрерывно гудели; в сутолоке проворно пробирались рикши и, тяжело дыша, из последних сил покрикивали друг на друга; привычно согнувшись под тяжелыми тюками, мелко трусили кули, вызывая к прохожим, чтобы дали дорогу; звонко расхваливали свои товары уличные торговцы. В Сингапуре можно встретить людей всевозможных национальностей, услышать любые наречия; черные тамилы, желтые китайцы, коричневые малайцы, армяне, евреи, бенгальцы — люди всех цветов перекликались здесь охрипшими голосами.

Зато в конторе «Рипли, Джойс и Нейлор» царила приятная прохлада; после слепящей пыльной улицы тут, казалось, было темно, после неумолчного уличного гама — как-то особенно тихо. Включив электрический вентилятор, за столом у себя в кабинете сидел мистер Джойс. Он откинулся в кресле и, облокотившись на ручки, сложил перед собой кончики вытянутых пальцев. Взор его был устремлен на потрепанные тома судебных отчетов, занимавшие длинную полку напротив. На шкафу стояли ящички из черной лакированной жести, на которых краской были выведены фамилии клиентов.

В дверь постучали.

— Войдите!

Появился клерк-китаец, очень подтянутый, в тщательно отутюженном белом полотняном костюме.

— К вам мистер Кросби, сэр.

Он хорошо говорил по-английски, старательно произнося каждое слово, и часто поражал мистера Джойса богатством своего словаря. Родом из Кантона, Ван Ци-сэн получил юридическое образование в Лондоне. Он собирался открыть собственную контору, а пока для практики год-другой хотел поработать у «Рипли, Джойса и Нейлора». Это был трудолюбивый, услужливый человек, прекрасно себя зарекомендовавший.

— Пусть войдет, — сказал мистер Джойс.

Он встал, пожал вошедшему руку и предложил ему сесть. Кросби сел лицом к окну. Мистер Джойс остался в тени. Мистер Джойс не был по натуре разговорчив, и некоторое время он молча глядел на Роберта Кросби. Перед ним был широкоплечий мускулистый мужчина высокого роста — футов шести, а то и выше. Это был плантатор, человек, закаленный постоянным движением на воздухе — днем он обходил плантации, а по возвращении домой еще играл в теннис. Кожа его сильно потемнела от загара. У него были большие, заросшие волосами руки, на огромных ногах грубые башмаки; почему-то мистеру Джойсу пришло в голову, что таким кулаком с одного удара можно убить щуплого тамила. Но в голубых глазах Кросби не было жестокости, они были добрые и доверчивые, и лицо с крупными, ничем не примечательными чертами было открытое, простое и честное. Сейчас на нем лежала печать глубокого горя. Он похудел, осунулся.

— Вы неважно выглядите. Наверное, плохо спите последнее время? — сказал мистер Джойс.

— Да.

Мистер Джойс посмотрел на старую фетровую шляпу с двумя козырьками, которую Кросби положил на стол; потом перевел взгляд на его шорты цвета хаки, открывавшие загорелые волосатые ноги, на расстегнутую у ворота теннисную рубашку без галстука и грязную, с подвернутыми рукавами куртку. Словно он только что вернулся, долго пробродив среди каучуковых деревьев. Мистер Джойс слегка нахмурился.

— Так нельзя, возьмите себя в руки.

— Ничего, я держусь.

— Вы сегодня виделись с женой?

— Нет, свидание днем. Такой позор, что она в тюрьме!

— Мне думается, это было необходимо, — ответил мистер Джойс своим мягким, ровным голосом.

— Уж как-нибудь могли бы отпустить ее на поруки.

— Но обвинение очень серьезное.

— К черту их обвинение! На ее месте всякая порядочная женщина поступила бы точно так же. Только у девяти из десяти пороку бы не хватило. Лесли лучше всех на свете. Она мухи не обидит. Будь я проклят, ведь мы женаты двенадцать лет, — что я, не знаю ее, что ли? Эх, попался бы мне этот тип — шею бы ему свернул! Прихлопнул бы на месте, не задумываясь. И вы бы так поступили.

— Друг мой, все на вашей стороне. Никто и не думает защищать Хэммонда. Мы вызовим Лесли. Я убежден, что и присяжные, и сам судья еще до судебного заседания решат ее оправдать.

— Это издевательство, вся эта история, — выпалил Кросби. — Ее и вообще-то нечего было сажать за решетку, но подвергать бедную девочку еще и суду — и это после всего, что она пережила! Как я приехал в Сингапур, все до одного, кого я ни встречу, — все говорят, что Лесли поступила правильно. Держать ее в тюрьме столько времени — это бесчеловечно!

— Закон есть закон. Не забывайте, она ведь призналась в убийстве. Неприятность немалая, я очень сочувствую и ей, и вам.

— Дело не во мне, черт возьми.

— Но нельзя не считаться с фактом — совершено убийство, а в цивилизованном обществе это неизбежно ведет к суду.

— По-вашему, уничтожить ядовитую тварь — это убийство? Она застрелила его, как бешеного пса.

Мистер Джойс опять откинулся в кресле и сомкнул перед собой кончики пальцев. Получилась фигура, напоминающая остов крыши. Он немного помолчал.

— Как ваш адвокат, считаю своим долгом указать вам на одну деталь, которая вызывает у меня некоторое сомнение, — негромко произнес он наконец, глядя на своего клиента спокойными темными глазами. — Если бы ваша жена выстрелила один раз, то в деле не было бы никаких затруднений. К несчастью, она выстрелила шесть раз.

— Но ведь она все объяснила. Всякий сделал бы то же, кому ни привелось.

— Возможно, — сказал мистер Джойс, — и, с моей точки зрения, то, что рассказывает Лесли, вполне правдоподобно. Однако нет смысла закрывать глаза на факты. Всегда стоит поставить себя на место другого, и не скрою от вас, что, будь я прокурором, я бы обратил особое внимание именно на это.

— Милейший, что за чушь!

Мистер Джойс быстро взглянул на Роберта Кросби. По его четко очерченным губам пробежала легкая усмешка. Неплохой парень этот Кросби, но, увы, умом не блещет.

— Пожалуй, действительно, все это не столь важно, — ответил адвокат, — я лишь полагал, что мне следовало об этом упомянуть. Теперь уже недолго ждать, и я вам советую, когда все будет позади, поезжайте куда-нибудь с женой, вам надо развлекаться. Перенести такой процесс нелегко, даже когда есть почти полная уверенность в оправдательном приговоре. Так что отдохнуть вам обоим будет полезно.

Впервые Кросби улыбнулся, и улыбка совершенно его преобразила. То, что он грубоват, уже не бросалось в глаза, видно было только, что это человек добрейшей души.

— Мне-то отдыхать потребуется больше, чем Лесли. Она здорово все переносит. Вот стойкая женщина, а?

— Да, самообладание редкостное, — сказал адвокат. — Я бы никогда не предположил, что она окажется столь решительной.

Со дня ареста миссис Кросби мистеру Джойсу в качестве ее адвоката нередко приходилось с ней беседовать. Хотя участь ее всячески старались облегчить, все же она находилась в заключении, ей предстоял суд, и не было бы ничего удивительного, если бы нервы ее сдали. Однако она мужественно переносила испытание. Она много читала, гуляла, сколько было дозволено, и по милостивому разрешению тюремного начальства даже плела кружево — дома это было любимое ее развлечение, за которым она просиживала часами. Она всегда выходила к мистеру Джойсу аккуратно одетая, в легких свежих простых платьях, тщательно причесанная, с маникюром. Была очень сдержанна. Она даже подшучивала над мелкими неудобствами, которые ей приходилось терпеть. Тон, которым она говорила о несчастье, был слегка небрежный, и мистер Джойс думал, что только такие прекрасно воспитанные люди, как миссис Кросби, умеют находить смешные черточки в обстоятельствах, столь

серьезных. Это его удивляло, потому что он никогда прежде не замечал в ней чувства юмора.

Они уже давно были добрыми знакомыми. Когда миссис Кросби приезжала в Сингапур, она обычно обедала у Джойсов, и раз или два она даже провела у них в бунгало на взморье субботу и воскресенье. Жена мистера Джойса недели две гостила у Кросби на плантации, там-то ей несколько раз и привелось видеть Джеффри Хэммонда. Хотя обе четы не были душевными друзьями, они были в хороших приятельских отношениях, и поэтому, когда разразилась беда, Роберт Кросби сразу помчался в Сингапур к мистеру Джойсу и умолил его взять на себя защиту его несчастной жены.

То, что она рассказала в первый раз, она никогда впоследствии не меняла даже в самых малейших подробностях. Тогда, спустя всего несколько часов после трагедии, она говорила так же спокойно, как и теперь. Излагала события последовательно, ровным, бесстрастным голосом, и единственный признак смущения — легкая краска на щеках — появлялся, только когда она описывала некоторые эпизоды. Совершенно не верилось, чтобы именно с ней могла приключиться такая история. Это была хрупкая женщина, едва за тридцать, не очень высокая, но и не маленькая, и скорее миловидная, чем красивая. У нее были изящные запястья и шиколотки, она была чрезвычайно худа, и сквозь белую кожу на руках просвечивали косточки и крупные голубые вены. Лицо у нее было очень бледное, с еле приметной желтизной, губы неяркие, глаза неопределенного цвета. У нее была копна светло-каштановых волос, слегка выющихся от природы. Такие волосы стоит чуть-чуть подвить — и они бывают замечательно красивы, но никому и в голову не могло прийти, что миссис Кросби станет прибегать к подобным уловкам. Тихая, милая, скромная женщина. У нее были приятные манеры, и она не сделалась душой общества только из-за своей застенчивости. Но эта черта в ней понятна — ведь плантаторы ведут уединенный образ жизни; зато у себя дома, среди людей, хорошо знакомых, она умела всех пленить. Миссис Джойс, погостив две недели на плантации Кросби, рассказывала мужу, что Лесли — прелестная хозяйка. Она гораздо глубже, чем кажется; когда с ней познакомишься поближе, только диву даешься, как она начитанна и как с ней интересно поговорить.

Невероятно, чтобы такая женщина могла совершить убийство.

На прощание мистер Джойс постарался как мог утешить Роберта Кросби и, оставшись в кабинете один, принялся перелистывать дело. Он переключал страницы машинально — он и без того все прекрасно помнил. Это была сенсация, не сходявшая с уст во всех клубах, за всеми обеденными столами, на всем полуострове от Сингапура до Пенанга. Судя по словам миссис Кросби, все случилось очень просто. Муж ее уехал по делам в Сингапур, и ей пришлось ночевать одной. Довольно поздно, без четверти девять вечера, она в одиночестве пообедала и села в гостиную плести кружево. Гостиная выходила на веранду. В бунгало не было ни души — все слуги ушли к себе. Вдруг она услышала шаги по садовой дорожке, усыпанной гравием, шаги человека в обуви — значит, это скорее европеец, чем местный житель, — ей это показалось странным, так как она не слышала, чтобы подъезжала машина, и не могла себе представить, кто бы это мог быть так поздно. Человек поднялся по ступеням, которые вели в бунгало, прошел по веранде и появился у двери в гостиную. В первую минуту она его не узнала. У нее горела только лампа, затененная абажуром, а снаружи совсем стемнело.

— Разрешите войти? — сказал он.

Она не узнала его даже по голосу.

— Кто это? — спросила она.

Она работала в очках; теперь она их сняла.

— Джеф Хэммонд.

— Заходите, рада вас видеть.

Она встала и приветливо пожала ему руку. Она немного удивилась, увидев его, потому что, хотя он и был их соседом, они за последнее время отделились друг от друга и уже много недель не виделись. Он управлял каучуковой плантацией милях в восьми, и она недоумевала, почему ему вздумалось нанести им визит в столь поздний час.

— Роберта нет дома, — сказала она. — Он до завтра в Сингапуре.

Он, видно, понял, что нужно как-то объяснить свой приезд, и сказал:

— Жаль. А мне взгрустнулось одному, и я решил съездить посмотреть, как вы живете.

— Как это вы подъехали? Я не слышала машины.

— Я ее оставил на дороге. Боялся, что вы уже улеглись.

Ну что ж, вполне естественно. Плантаторы поднимаются на заре, чтобы сделать переключку рабочим, поэтому их рано начинает клонить ко сну. Наутро машину Хэммонда действительно нашли в четверти мили от бунгало.

Так как Роберта дома не было, виски и содовую из гостиной унесли. Лесли решила, что бой, должно быть, уже спит, не стала его будить и сходила за всем сама. Гость налил себе стакан и набил трубку.

У Джефа Хэммонда в колонии была куча друзей. Приехал он сюда совсем юнцом, а теперь ему было уже под сорок. Когда началась война, он одним из первых ушел добровольцем на фронт и там быстро отличился. Года через два из-за ранения в колено его уволили из армии, и он вернулся в Малайю с Военным крестом и с орденом «За боевые заслуги». Он славился в колонии как один из лучших бильярдистов. До войны он прекрасно танцевал и играл в теннис, теперь из-за больного колена он бросил танцы и в теннис играл намного хуже, но он обладал счастливой способностью нравиться людям, и все его любили. Это был красивый мужчина — высокий рост, чудесные голубые глаза, волнистая черная шевелюра. Старожилы находили у него один-единственный недостаток — он слишком любил женщин — и после катастрофы качали головой: они давно предсказывали, что это не доведет его до добра.

Сейчас он принялся рассказывать Лесли местные новости: про предстоящие скачки в Сингапуре, про цены на каучук, про свои сборы на охоту — в округе недавно появился тигр. Ей хотелось побыстрее закончить кружево — оно предназначалось матери ко дню рождения, и нужно было успеть отослать его в Англию, — поэтому она опять надела очки и придвинула к себе рабочий столик.

— Зачем вам роговые очки, да еще такие большие, — сказал он. — Хорошенькая женщина, а старается себя изуродовать!

Она немного удивилась, услышав его слова. Он никогда не позволял себе говорить с ней в таком тоне. Она решила обратить все в шутку.

— Я не претендую на звание красавицы, и, признаться, меня мало трогает, считаете вы меня дурнушкой или нет.

— Ну, какая же вы дурнушка. По-моему, вы очень хорошенькая.

— Благодарю вас, — насмешливо ответила она, — но в таком случае вы, по-моему, не в своем уме.

Он засмеялся. Потом встал и пересел в кресло рядом с ней.

— Надеюсь, вы не посмеете отрицать, что ни у кого на свете нет рук, прекрасней ваших, — сказал он.

Он потянулся к ее руке. Она легонько его ударила.

— Перестаньте дурачиться. Сядьте на свое место и будьте умником, а то я отправлю вас домой.

Он не пошевелился.

— Вы же знаете, я безумно люблю вас, — сказал он.

Она осталась невозмутима.

— Нет, не знаю. Я не верю вам ни на грош, но, даже если бы это было так, вы не смеете этого говорить.

Этот разговор тем более удивил ее, что за семь лет знакомства он никогда не оказывал ей особых знаков внимания. Когда он вернулся с войны, они довольно часто виделись, потом как-то раз он заболел, и Роберт привез его к ним на машине. Он тогда прожил у них недели две. Но интересы у них были разные, и знакомство так и не перешло в дружбу. Последние два-три года они встречались редко. Случалось, он приезжал к ним поиграть в теннис, случалось, они оказывались вместе в гостях у кого-нибудь из соседей-плантаторов, но бывало и так, что они не виделись по месяцу.

Он налил себе еще стакан. Лесли подумала, не выпил ли он еще до приезда к ней. Он был какой-то странный, и ей стало чуть-чуть не по себе. Она посмотрела на него неодобрительно.

— На вашем месте я бы больше не пила, — сказала она еще довольно дружелюбно.

Он залпом опрокинул стакан и поставил его на стол.

— Вы что, думаете, я завел этот разговор, потому что я пьян? — резко спросил он.

— Такое объяснение напрашивается, разве нет?

— Ерунда. Я полюбил вас с первой нашей встречи. Я достаточно долго молчал, хватит. Я люблю вас, люблю страстно!

Она встала и отодвинула столик.

— Спокойной ночи, — сказала она.

— Я не уйду.

Тогда она начала терять терпение.

— Что за глупости! Поймите же, я никогда никого не любила, кроме Роберта, но, даже если бы я не любила Роберта, вы, во всяком случае, герой не моего романа.

— Мне все равно. Роберта нет дома.

— Немедленно убирайтесь, или я позову слуг, и вас вышвырнут вон.

— Они далеко — не услышат.

Теперь она разозлилась. Она сделала шаг к веранде — оттуда слуги наверняка бы ее услышали, но он схватил ее за руку.

— Пустите меня! — гневно крикнула она.

— Ну нет! Теперь ты моя.

Она позвала: «Бой! Бой!» — но он быстро зажал ей рот ладонью. Не успела она опомниться, как он обнял ее и начал страстно целовать. Она вырывалась, отворачивая рот от его горячих губ.

— Нет, нет, нет! — кричала она. — Оставьте меня! Я не хочу!

Что было дальше — она припоминала с трудом. Она четко помнила все, что случилось до этой минуты, но теперь голос его стал доноситься к ней сквозь завесу ужаса и отвращения. Кажется, он пылко клялся ей в любви, умолял ее о взаимности. И все время неистово сжимал ее в объятиях. Она не могла вырваться, потому что он был очень сильный и ее руки были крепко притиснуты к бокам; она чувствовала, что слабеет; она боялась потерять сознание, его горячее дыхание было омерзительно. Он целовал ее рот, глаза, щеки, волосы. Он сжимал ее как в тисках. Он поднял ее. Она хотела оттолкнуть его ногой, но он только крепче прижал ее к себе. И понес. Теперь он молчал, но она видела, что он бледен и глаза его горят от желания. Он нес ее в спальню. В него вселился дикарь. На пути оказался стол, он споткнулся. Из-за больного колена он не удержался на ногах и упал вместе со своей ношей. Мгновение — и она выскользнула из его рук. Она бросилась за диван. Он тут же вскочил и метнулся за ней. На письменном столе лежал револьвер. Она не из нервных, но все же Роберт уехал на всю ночь, и она хотела захватить револьвер с собой в спальню. Вот почему он оказался на столе. От страха в голове у нее помутилось. Она не соображала, что делает. Послышался выстрел. Хэммонд покачнулся. Вскрикнул. Что-то сказал — она не знает что. Пошатываясь, побрел на веранду. Она уже совсем обезумела, была в каком-то исступлении, она пошла за ним на веранду, да, именно так оно, вероятно, и было, — пошла за ним, хотя она ничего не помнит, и

бессознательно все стреляла и стреляла, пока не кончились патроны. На веранде Хэммонд упал. Он скрючился и застыл, весь залитый кровью.

Когда прибежали слуги, перепуганные выстрелами, она все еще стояла над Хэммондом с револьвером в руке. Хэммонд уже не дышал. Она молча посмотрела на них. Они в страхе сбились в кучу. Она выронила револьвер, молча повернулась и пошла в гостиную. Потом они видели, как она вошла в спальню, и в замке щелкнул ключ. Они не смели дотронуться до трупа и только взволнованно перешептывались, уставившись на него полными ужаса глазами. Потом старший бой пришел немного в себя; это был китаец, человек неглупый, проживший у них много лет. Роберт уехал в Сингапур на мотоцикле, и машина осталась в гараже. Он велел слугам ее вывести, нужно было немедленно ехать к помощнику начальника округа и рассказать о происшествии. Он подобрал револьвер и положил в карман. Помощник начальника округа, по фамилии Уизерс, жил возле ближайшего городка, милях в тридцати пяти. Пока доехали, прошло полтора часа. Весь дом спал, пришлось разбудить слуг. Вскоре вышел сам Уизерс, они ему обо всем рассказали. В подтверждение своих слов старший бой показал револьвер. Помощник начальника округа ушел одеться, послал за своей машиной и через некоторое время уже мчался за ними по пустынной дороге. Он подъехал к дому Кросби на рассвете. Взмахнув на веранду, он как вкопанный остановился перед трупом Хэммонда. Дотронулся до лица — совершенно холодное.

— Где хозяйка? — спросил он у боя.

Китаец показал на спальню. Уизерс подошел к двери и постучал. Никто не отозвался. Он опять постучал.

— Миссис Кросби, — позвал он.

— Кто там?

— Уизерс.

Опять тишина. Потом замок щелкнул, и дверь медленно отворилась. Перед ним стояла Лесли. Она не ложилась, на ней было то же платье, в котором она обедала накануне. Она стояла и молча смотрела на Уизерса.

— Ваш слуга приехал за мной, — сказал он. — Хэммонд. Что вы натворили?

— Он хотел изнасиловать меня, я его застрелила.

— Боже мой! Послушайте, вы бы вышли, а? Вы должны мне все подробно рассказать.

— Только не сейчас. Я не могу. Подождите. Пошлите за мужем.

Уизерс был молод и растерялся, не зная, как ему следует поступить в таких необычных обстоятельствах. Лесли наотрез отказывалась говорить, пока не приехал Роберт. Тогда она им обоим рассказала, как все произошло, и, хотя потом много раз повторяла все сызнова, показания ее никогда и ни в чем не менялись.

Мысли мистера Джойса все время возвращались к выстрелам. Как юриста, его тревожило, что Лесли сделала не один выстрел, а шесть, причем осмотр тела показал, что четыре выстрела были сделаны в упор. Выходило, что она продолжала стрелять, когда Хэммонд уже упал. Она признавалась, что память, с такой точностью восстановившая все, что случилось до этой минуты, здесь ей изменила. Провал в памяти. Значит, она впала в неистовую ярость, но как могла такая тихая, скромная женщина поддаться неистовой ярости? Мистер Джойс знал ее не первый год и всегда считал ее уравновешенным человеком; за эти последние несколько недель он не мог надивиться ее самообладанию.

Мистер Джойс пожал плечами.

«По-видимому, — размышлял он, — нет возможности определить, какие варварские инстинкты заложены в самых порядочных женщинах».

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошел клерк-китаец и притворил за собой дверь. Он притворил ее неторопливо, осторожно, но решительно и приблизился к столу, за которым сидел мистер Джойс.

— Разрешите беспокоить вас, сэр, небольшим разговором частного порядка?

Мистера Джойса всегда немного забавляла изысканная точность, с которой изъяснялся его клерк, и он улыбнулся.

— Какое же беспокойство, Ци-сэн, — возразил он.

— Предмет, о котором я желал бы с вами побеседовать, сэр, весьма секретного и деликатного свойства.

— Выкладывайте.

Глаза мистера Джойса и хитрые глаза клерка встретились. Как и всегда, Ван Ци-сэн был одет по последней местной моде. Сверкающие лакированные ботинки и яркие шелковые носки. В черном галстуке булавка с жемчужиной и рубином, на безымянном пальце левой руки —

бриллиантовое кольцо. В кармане хорошо сшитого белого пиджака — золотая авторучка и золотой карандаш. Золотые часы на руке, на переносице — пенсне без оправы. Он легонько кашлянул.

— Это касается дела Кросби, сэр.

— Да?

— Мне стало известно одно обстоятельство, сэр, которое, как мне кажется, может придать делу совсем другую окраску.

— Какое обстоятельство?

— Мне стало известно, сэр, о существовании записки от нашей подзащитной к несчастной жертве трагедии.

— Что же удивительного. Я думаю, за последние семь лет миссис Кросби не раз случалось писать мистеру Хэммонду.

Мистер Джойс был высокого мнения об уме своего клерка и сказал это лишь для того, чтобы скрыть свои мысли.

— Весьма вероятно, сэр. Миссис Кросби, должно быть, нередко писала мистеру Хэммонду, приглашая его, скажем, к обеду или поиграть в теннис. Такова была первая возникшая у меня мысль, когда мне сообщили о записке. Однако оказалось, что эта записка была написана в день смерти ныне покойного мистера Хэммонда.

Мистер Джойс глазом не моргнул. Он продолжал смотреть на Ван Ци-сэна и, как всегда во время разговора с ним, улыбался, будто слегка забавляясь беседой.

— Откуда вы знаете?

— Об этом обстоятельстве, сэр, мне стало известно от одного моего приятеля.

Мистер Джойс знал, что расспрашивать бесполезно.

— Сэр, я надеюсь, вы помните заявление миссис Кросби о том, что она несколько недель до рокового вечера не общалась с пострадавшим.

— Записка у вас?

— Нет, сэр.

— Что в ней написано?

— Приятель дал мне копию. Не желаете ли взглянуть?

— Покажите.

Ван Ци-сэн вытащил из внутреннего кармана пиджака пухлый бумажник. Он был набит документами, сингапурскими долларами и картинками из папиросных коробок. Наконец он извлек из этого хаоса половинку листа тонкой

почтовой бумаги и положил ее перед мистером Джойсом. Записка гласила:

«Р. уехал до завтра. Нам совершенно необходимо встретиться. Жду в одиннадцать. Я с ума схожу. Если не увидимся, я не отвечаю за последствия. К дому подъезжать не надо. Л.»

Записка была написана аккуратным круглым почерком, которому китайцев учат в иностранных школах. Ровные строчки, точно из прописей, как-то странно не вязались с мрачным содержанием.

— Откуда вы взяли, что эту записку написала миссис Кросби?

— У меня есть все основания доверять лицу, передавшему мне эти сведения, сэр, — ответил Ван Ци-сэн. — К тому же это легко доказуемо. Сама миссис Кросби, конечно, сможет сразу сказать, писала ли она такую записку.

Мистер Джойс с самого начала разговора не отводил взгляда от благообразного лица своего клерка. И теперь ему показалось, что на этом лице мелькнуло выражение насмешки.

— Не верю, чтобы миссис Кросби могла написать подобную записку, — сказал мистер Джойс.

— Если таково ваше мнение, сэр, то разговор, я думаю, можно считать законченным. Мой приятель ввел меня в курс дела лишь потому, что я служу у вас, ибо он полагал, что вам было бы интересно узнать о существовании этой записки, прежде чем она попадет к прокурору.

— У кого оригинал? — резко спросил мистер Джойс.

Ван Ци-сэн и виду не подал, что он по тону вопроса заметил изменившуюся позицию мистера Джойса.

— Вы, вероятно, помните, сэр, что после кончины мистера Хэммонда обнаружилась его связь с некой китайкой. В настоящее время записка находится в ее руках.

Это была одна из причин, сразу настроивших общественное мнение против Хэммонда. Стало известно, что у него в доме несколько месяцев жила китайка.

Оба помолчали. Все, что нужно, было уже сказано, и они прекрасно поняли друг друга.

— Благодарю вас, Ци-сэн. Я все обдумаю.

— Очень хорошо, сэр. Не желаете ли вы, чтобы я сообщил моему приятелю о результатах нашей беседы?

— Ну что ж, пожалуй, неплохо, если вы будете поддерживать с ним контакт, — без тени улыбки сказал мистер Джойс.

— Хорошо, сэр.

Клерк бесшумно вышел, опять осторожно притворив за собой дверь, и мистер Джойс остался наедине со своими мыслями. Перед ним лежала копия записки Лесли, переписанная аккуратным безликим почерком. В голове теснились смутные подозрения. Они привели его в такое замешательство, что он попробовал как-нибудь от них отделаться. Без сомнения, здесь должна быть очень простая разгадка, и Лесли, вероятно, сразу все объяснит, но, право же, объяснение необходимо. Он поднялся, сунул записку в карман и взял шлем. Выйдя из кабинета, он увидел Ван Ци-сэна, усердно что-то писавшего за своим столом.

— Я ненадолго отлучусь, Ци-сэн, — сказал он.

— К вам на двенадцать назначен мистер Джордж Рид, сэр. Как мне ему передать, куда вы ушли?

Мистер Джойс слегка улыбнулся.

— Можете передать, что не имеете об этом ни малейшего понятия.

Но было совершенно ясно — Ван Ци-сэн понял, что он держит путь в тюрьму. Миссис Кросби перевели в Сингапур, потому что в Беланде, где было совершено преступление и где должен был состояться суд, не было тюрьмы, пригодной для содержания белой женщины.

Ее ввели в комнату, где ожидал мистер Джойс, и она с приветливой улыбкой протянула ему свою красивую художавую руку. Одета она была по обыкновению очень мило и просто, пышные светлые волосы тщательно уложены.

— Я не ждала вас с утра, — любезно сказала она.

Она вела себя так, будто была у себя дома, и мистеру Джойсу даже показалось, что сейчас она кликнет боя, чтобы тот принес гостю коктейль.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Спасибо, я совершенно здорова. — В глазах ее мелькнула смешливая искорка. — Здесь можно чудесно отдохнуть и поправиться.

Надзиратель ушел, и они остались вдвоем.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — сказала Лесли.

Он уселся в кресло. Он не представлял себе, с чего начать. Она была так спокойна, что, казалось, невозможно заговорить с ней о том, ради чего он сюда явился. Нельзя было назвать ее красивой, но она была привлекательна. Полна изящества — не внешнего лоска, а изящества, которое так

естественно при хорошем воспитании. Стоило только взглянуть на нее, и становилось понятно, в какой семье, в какой обстановке она выросла. Хрупкость делала ее особенно утонченной. С этой женщиной не вязалась даже малейшая мысль о грубости.

— Днем я жду Роберта, — как всегда весело и непринужденно сказала она. — (Приятно ее слушать, по манере говорить сразу распознается человек из общества.) — Бедняжка, он вконец извелся. Слава богу, еще несколько дней — и все будет позади.

— Осталось всего пять дней.

— Да. По утрам я, как проснусь, говорю себе: «На один день меньше». — Она улыбнулась. — Так бывало в школе перед каникулами.

— Между прочим, скажите, правильно ли я себе представляю: вы в самом деле совершенно не общались с Хэммондом на протяжении нескольких недель до несчастья?

— Конечно. В последний раз мы с ним виделись у Макференсов на теннисе. Насколько я припоминаю, мы с ним и словом-то едва перемолвились. Там два корта, а мы попали в разные партии.

— Вы ему не писали?

— Нет, что вы.

— Вы уверены в этом?

— Что за вопрос, — ответила она с легкой улыбкой. — О чем же мне было ему писать, разве только позвать на обед или на теннис, а я его несколько месяцев не приглашала.

— Одно время вы дружили. Почему вы перестали его приглашать?

Миссис Кросби пожала худыми плечами.

— Люди приедаются. У нас с ним вообще было мало общего. Когда он болел, мы с Робертом, конечно, делали для него все, что могли, но последние года два он был совершенно здоров и пользовался большим успехом. Его прямо на части рвали, к чему же было заваливать его лишними приглашениями.

— Итак, это все, что вы могли бы мне сказать?

Какое-то мгновение миссис Кросби колебалась.

— Пожалуй, вот еще что. До нас дошли слухи, что он живет с китайкой — я ее сама видела, — и Роберт потребовал, чтобы я его не пускала на порог.

Мистер Джойс сидел в кресле с прямой спинкой и, опершись подбородком о ладонь, не отрываясь глядел на Лесли. Неужели ему только показалось, что при этих словах в черных зрачках ее на какую-то долю секунды вдруг блеснул тусклый красный огонек? Мистеру Джойсу стало не по себе. Он переменял позу. Сомкнул перед собой кончики пальцев. И заговорил с расстановкой, подбирая слова.

— Должен сообщить вам, что существует записка к Джеффу Хэммонду, написанная вашей рукой.

Он внимательно смотрел на нее. Она не шелохнулась, в лице ничего не дрогнуло, но она заметно помедлила с ответом.

— Мне приходилось посылать ему записки с каким-нибудь приглашением; а иногда, когда я узнавала, что он собирается в Сингапур, я его просила купить там что-нибудь для меня.

— В этой записке вы просите его приехать, потому что Роберт уезжает в Сингапур.

— Это невозможно. Я никогда ничего подобного не писала.

— Ну что ж, прочтите сами.

Он вынул записку из кармана и протянул ей. Она только взглянула и презрительно улыбнувшись, отдала ее обратно.

— Почерк не мой.

— Да, но мне сказали, что это точная копия оригинала.

Тогда она прочтала записку, и мгновенно в ней произошла страшная перемена. На лицо ее, и без того всегда бледное, нельзя было смотреть без содрогания. Оно позеленело. Кожа туго обтянула кости, будто под ней исчезла плоть. Губы раздвинулись, из-под них, точно в гримасе, показались зубы. Неестественно вытаращенными глазами она уставилась на мистера Джойса. Перед ним была не живая женщина, а мертвец.

— Что это значит? — прошептала она.

Во рту у нее пересохло, из горла вырывался хрип, непохожий на голос человека.

— Объяснить можете только вы, — ответил он.

— Я не писала этого. Клянусь, я этого не писала.

— Подумайте, прежде чем говорить. Если оригинал действительно написан вашей рукой, мы не сможем этого опровергнуть.

— Скажите, что это подделка.

— Это трудно будет доказать. Легче будет доказать, что записка подлинная.

По ее худощавому телу прошла зябкая дрожь. На лбу проступили крупные капли пота. Она достала из сумочки носовой платок и вытерла ладони. Потом опять пробежала записку и исподлобья взглянула на мистера Джойса.

— Здесь нет числа. Если я и писала когда-нибудь такую записку, то с тех пор могло пройти много лет. Подождите, я подумаю, попробую припомнить, как было дело.

— Я заметил, что даты нет. Если записка попадет в руки суда, ваших слуг подвергнут перекрестному допросу. Таким образом быстро выяснится, возили Хэммонду записку в день его смерти или нет.

Миссис Кросби в отчаянии стиснула руки и покачнулась в кресле — мистеру Джойсу показалось, что она теряет сознание.

— Клянусь вам, я не писала этой записки.

Мистер Джойс помолчал. Он перевел взгляд с лица обезумевшей женщины на пол. Он размышлял.

— В таком случае, я полагаю, мы можем оставить эту тему, — медленно сказал он, прервав наконец молчание. — Если обладатель записки найдет нужным передать ее в руки правосудия, это не будет для вас неожиданностью.

По-видимому, мистер Джойс окончил разговор, но он не двинулся с места. Он ждал. Ему казалось, что он ждал очень долго. Не глядя на Лесли, он чувствовал, что она сидит неподвижно. Она не проронила ни звука. И опять заговорил он.

— Если вам больше нечего мне сказать, я, пожалуй, пойду. Меня ждут в конторе.

Тогда она спросила:

— Что можно подумать, если прочесть эту записку?

— Можно решить, что вы сказали заведомую ложь, — резко ответил мистер Джойс.

— Какую?

— Вы определенно утверждали, что не общались с Хэммондом по крайней мере три последних месяца.

— Я пережила страшное потрясение. Такая ужасная ночь, настоящий кошмар. И какая-то одна подробность ускользнула из памяти — разве это не естественно?

— К несчастью, вы сумели точно до мелочей восстановить разговор с Хэммондом, а столь важное обстоятельство, как то, что в день своей гибели он явился к вам по вашему собственному настойчивому приглашению, — это вы забыли.

— Нет, я не забыла. Просто я боялась об этом рассказать. Признаться я, что он приезжал по моему приглашению, кто бы мне поверил! Конечно, это глупость, но у меня голова шла кругом, а раз уж я сказала, что не общалась с Хэммондом, я не могла отступить.

К Лесли снова вернулось ее восхитительное самообладание, и она легко выдержала испытующий взгляд мистера Джойса. Ее женственность обезоруживала.

— Вас попросят объяснить, почему вы пригласили Хэммонда именно в тот вечер, когда уехал Роберт.

Она посмотрела на адвоката широко открытыми глазами. Напрасно он до сих пор считал, что у нее обыкновенные глаза, — глаза у нее чудесные, и сейчас в них, кажется, сверкнули слезы. Голос у нее слегка дрожал.

— Это я готовила Роберту сюрприз. В будущем месяце день его рождения. Он мечтал о новом ружье, а я ничего в спортивных делах не смыслю. Я решила посоветоваться с Джеффом. Хотела попросить, чтобы он сам заказал ружье на мое имя.

— По-видимому, вы не совсем отчетливо помните содержание записки. Может, вы взглянете на нее еще раз?

— Нет, зачем же, — быстро сказала она.

— Неужели вы полагаете, что такую записку может написать женщина знакомому, не слишком близкому, собираясь всего-навсего посоветоваться с ним по поводу покупки ружья?

— Да, конечно, записка сумбурная, и тон довольно взволнованный. У меня такой стиль. Я готова признать, что это смешно. — Она улыбнулась. — Кроме того, уж не так мы были далеки с Джеффом Хэммондом. Когда он болел, я за ним, как мать, ухаживала. Роберт не желал его у нас видеть, вот и пришлось пригласить его, когда Роберт уехал.

Мистер Джойс устал сидеть в одном и том же положении. Он встал и прошелся по комнате, обдумывая слова, с которыми намерен был к ней обратиться; затем остановился у своего кресла, опершись на спинку. Заговорил он медленно и очень внушительно.

— Миссис Кросби, мне бы хотелось с вами поговорить весьма и весьма серьезно. До сих пор ваше дело было сравнительно простым. На мой взгляд, только одно обстоятельство в нем требовало объяснения: как это мне представляется, вы не менее четырех раз стреляли в Хэммонда уже после того, как он упал. У вас мягкий характер и тонкая душа, вы умеете прекрасно владеть собой, поэтому трудно допустить, чтобы такой человек, как вы, даже весьма напуганный, поддался бы столь необузданному гневу. Но все же это возможно. Хотя многим Джеффри Хэммонд нравился и вообще мнения о нем все были неплохого, я готов был все же доказать, что он был способен на преступление, в котором вы его обвиняете, оправдывая свои действия. При этом мы могли бы сослаться на вполне определенный факт, который обнаружился после его смерти, — его связь с китайкой. Эта новость решительно восстановила против него общество. Нам представлялось возможным использовать недоброжелательное отношение, которое такая связь вызвала к нему у всех порядочных людей. Сегодня утром я сказал вашему мужу, что уверен в оправдательном приговоре, — и это было сказано не просто для того, чтобы его подбодрить. Я не сомневаюсь, что присяжные заседатели даже не покинули бы зала суда.

Взгляды их встретились. Миссис Кросби сидела как-то неестественно тихо. Она была похожа на птицу, замороженную взглядом змеи. Так же неторопливо он продолжал:

— Но эта записка совершенно меняет дело. Я ваш адвокат, я должен представлять ваши интересы в суде. Вы рассказали мне, что с вами случилось, и я буду защищать вас, опираясь на эти сведения. Может быть, я верю вам, может быть, я сомневаюсь в правдивости ваших слов. Обязанность защитника состоит в том, чтобы убедить присяжных, что улики, которые им представили, не дают оснований признать подсудимого виновным; а личное мнение защитника по поводу того, виновен ли в действительности его клиент, никакого значения для дела не имеет.

С удивлением он заметил мелькнувшую в глазах Лесли улыбку. Это его задело, и он продолжал уже более сухо:

— Вы не станете отрицать, что Хэммонд приехал к вам по вашему настойчивому и, я бы даже сказал, истерическому приглашению?

На какой-то миг миссис Кросби в нерешительности задумалась.

— Да, я посылала записку Хэммонду с одним из наших боев. Он ездил на велосипеде. Это можно легко узнать.

— Напрасно вы думаете, что все менее сообразительны, чем вы. Записка наведет на такие подозрения, которые до сих пор никому и в голову не приходили. Я умолчу о впечатлении, которое копия записки произвела на меня. Я не хочу ничего знать сверх того, что спасет вас от петли.

Миссис Кросби пронзительно вскрикнула. Побелев от ужаса, она вскочила.

— Как, вы думаете, меня повесят?

— Если будет доказано, что вы убили Хэммонда не в порядке самозащиты, то присяжные заседатели обязаны будут признать вас виновной. Вас обвинят в убийстве. Судья обязан будет вынести смертный приговор.

— Но что они могут доказать? — с трудом выдохнула она.

— Я не знаю, что они могут доказать. Это знаете вы. Я не желаю знать. Но представьте, у суда возникают подозрения, начинается расследование, допрашивают туземцев — что тогда раскроется?

Она вдруг как-то обмякла. Он не успел ее подхватить — она свалилась на пол. Обморок. Он окинул взглядом комнату — воды не было, а ему очень не хотелось, чтобы помешали их разговору. Уложив ее на полу поудобней, он встал рядом на колени, ожидая, пока она придет в себя. Когда она открыла глаза, он был немало смущен, увидев в них смертельный страх.

— Лежите спокойно, — сказал он, — сейчас вам станет легче.

— Не давайте меня повесить, — шепнула она.

Она в истерике зарыдала, он вполголоса ее успокаивал,

— Ради бога, возьмите себя в руки, — говорил он.

— Да, еще минутку.

Поразительное мужество. Он видел, какого усилия ей стоило овладеть собой, но вскоре она опять была совершенно спокойна.

— Теперь я встану.

Он подал ей руку и помог подняться. Поддерживая ее за локоть, он подвел ее к креслу. Она устало села.

— Помолчите немного, — сказала она.

— Хорошо.

Наконец она заговорила, но сказала совсем не то, что он ожидал. Она легонько вздохнула.

— Боюсь, теперь мне не выпутаться.

Он не ответил, и опять наступило молчание.

— А нельзя как-нибудь получить записку? — спросила она наконец.

— Я подозреваю, что мне не рассказали бы о ней, если бы лицо, владеющее запиской, не намерено было ее продать.

— Кто это?

— Китайка, которая жила у Хэммонда.

На скулах Лесли вспыхнули и погасли розовые пятна.

— Она запросила большую цену?

— Надо полагать, ей прекрасно известно, чего стоит эта записка. Едва ли она обойдется дешево.

— Значит, вы собираетесь отдать меня в руки палачей?

— Вы что же, думаете, что так легко перехватить нежелательную улику? Да это ничем не отличается от подкупа свидетелей. Вы не имеете права делать мне подобное предложение.

— Что же со мной будет?

— Правосудие должно свершиться.

Она очень побледнела. Тело ее судорожно передернулось.

— Я вручаю свою судьбу вам. Я понимаю, что не имею права просить вас о чем бы то ни было незаконном.

Мистер Джойс, привыкший к ее всегда выдержанному тону, был невыносимо тронут этим чуть надтреснутым голосом. И в глазах ее была такая покорная мольба, что, казалось, откажи он — и взор этот будет преследовать его до могилы. Все равно несчастного Хэммонда уже не вернуть к жизни. Любопытно, однако, как могла появиться такая записка. Заключение по ней, что убийство было предумышленным, было бы несправедливо. Двадцать лет мистер Джойс прожил на Востоке, и за эти годы чувство профессиональной чести у него уже несколько притупилось. Он устался в пол. Он решился на поступок, которому, он понимал, нет оправдания, — от этого его корбило, и он мрачно негодовал на Лесли. Очень неловко он сказал:

— Я плохо знаю финансовые возможности вашего мужа.

Залившись розовой краской, она метнула на него быстрый взгляд.

— У него довольно много акций оловянных компаний и небольшая доля в двух или трех каучуковых плантациях. Наверное, он бы смог раздобыть деньги.

— Придется ему рассказать, для чего.

Минуту она молчала. Она думала.

— Он еще любит меня. Он жертвует всем для моего спасения. Записку ему показывать обязательно?

Мистер Джойс насупился, и, заметив это, она быстро продолжала:

— Роберт ваш старый друг. Не делайте ничего ради меня, но, умоляю вас, постарайтесь уберечь от лишних страданий простого, доброго человека — он ведь никогда не причинял вам ни малейшей неприятности.

Мистер Джойс не ответил. Он поднялся, и миссис Кросби с присущей ей грацией протянула ему руку. Разговор с мистером Джойсом потряс ее, вид у нее был измученный, но она отважно пыталась выдержать любезный тон.

— Я вам так благодарна, что вы взяли на себя столько хлопот. Трудно выразить, как я вам признательна.

Мистер Джойс вернулся в контору. Сев за стол у себя в кабинете, он отодвинул бумаги и погрузился в размышления. Воображение рисовало самые невероятные картины. Его познабливало. Наконец, как он и ожидал, раздался осторожный стук в дверь. Вошел Ван Ци-сэн.

— Я хотел бы пойти позавтракать, сэр, — сказал он.

— Пожалуйста.

— Но прежде я хотел узнать, сэр, нет ли у вас ко мне какого-нибудь поручения?

— Нет. Вы назначили мистеру Риду другое время?

— Да, сэр. Он будет в три часа.

— Хорошо.

Ван Ци-сэн дошел до двери и положил длинные тонкие пальцы на ручку. Потом, как бы вспомнив что-то, он вернулся к столу.

— Не желаете ли вы передать что-либо моему приятелю, сэр?

У Ван Ци-сэна было великолепное произношение, но звук «р» ему не давался, и получалось «плиятель».

— Какому приятелю?

— В связи с запиской миссис Кросби, сэр, которую она написала покойному Хэммонду.

— Ах, вот вы о чем. А я и забыл. Я говорил с миссис Кросби, но она отрицает, что писала что-либо подобное. Очевидно, это фальшивка.

Мистер Джойс вынул копию из кармана и протянул ее Ван Ци-сэну. Тот словно и не заметил этого жеста.

— В таком случае, сэр, у вас, я думаю, не будет возражений, если мой плиятель передаст записку прокурору?

— Разумеется. Но я не совсем понимаю, какая от этого выгода вашему приятелю.

— Мой плиятель считает, что он обязан действовать в интересах правосудия, сэр.

— Я никогда не стал бы мешать человеку, стремящемуся исполнить свой долг, Ци-сэн.

Взгляды адвоката и клерка встретились. Губы их не дрогнули даже от подобия улыбки, но они прекрасно поняли друг друга.

— Я не сомневаюсь в этом, сэр, — сказал Ван Ци-сэн, — однако, внимательно ознакомившись с делом Кросби, я вынес впечатление, что записка подобного рода может нанести непоправимый ущерб нашему клиенту.

— Я всегда был самого высокого мнения о вашей юридической проницательности, Ци-сэн.

— У меня появилась мысль, сэр, что, если бы мне удалось через моего плиятеля уговорить китаянку отдать нам записку, мы бы избежали многих неприятностей.

Мистер Джойс лениво рисовал профили на промокательной бумаге.

— Ваш приятель, разумеется, деловой человек. На каких условиях он согласен расстаться с запиской?

— Записка не у него. Она у китаянки. Он только родственник китаянки. Она очень невежественная женщина, сэр, и, пока мой плиятель ей не растолковал, она не понимала ценности записки.

— И во сколько же он ее оценил?

— Десять тысяч долларов, сэр.

— Да вы рехнулись! Где миссис Кросби взять десять тысяч долларов, как по-вашему? И, кроме того, уверяю вас, записка поддельная.

Говоря это, он не спускал глаз с Ван Ци-сэна. Его вспышка ничуть не тронула клерка. Он спокойно стоял у стола, полный внимания и почтения.

— Мистер Кросби владеет восьмой долей в Бетонгской каучуковой плантации и шестой долей в каучуковой плантации на Селантан-ривер. У меня есть пlying, который одолжит ему необходимую сумму под залог этой собственности.

— У вас широкий круг знакомых, Ци-сэн.

— Да, сэр.

— Так вот, пусть все они отправляются к дьяволу. Я никогда не посоветую мистеру Кросби дать хоть на пенни больше пяти тысяч за записку, появление которой легко объяснить.

— Китайка не хочет ее продавать, сэр. Моему пlying пришлось долго ее уговаривать. И теперь бесполезно предлагать ей сумму меньше упомянутой.

Мистер Джойс по крайней мере три минуты взирал на Ван Ци-сэна. Клерк не дрогнул под этим пронизывающим взглядом. Он стоял, почтительно склонившись и опустив глаза. Мистер Джойс знал, с кем имеет дело. Хитрая bestия, подумал он, интересно, сколько он получит за эту сделку.

— Десять тысяч долларов — очень крупная сумма.

— Я не сомневаюсь, сэр, что мистер Кросби предпочтет уплатить эту сумму, лишь бы его жену не повесили.

Мистер Джойс опять помолчал. Что еще известно Ци-сэну? Он явно не желает торговаться, должно быть, у него для этого есть веские основания. И эту сумму они, видимо, назначили потому, что заправили, кто бы они ни были, неплохо осведомлены о возможностях, которыми располагает Роберт Кросби, — знают, что больше денег ему не поднять.

— Где сейчас эта китайка? — спросил мистер Джойс.

— Она гостит у моего пlying, сэр.

— Она приедет сюда?

— Мне кажется, сэр, лучше бы вам к ней съездить. Я могу проводить вас туда сегодня вечером, и она отдаст вам записку. Но она очень невежественная женщина, сэр, она совершенно не разбирается в чеках.

— Я и не собирался давать ей чек. Я привезу банкноты.

— Если денег окажется меньше десяти тысяч долларов, сэр, это будет бесполезная трата драгоценного времени.

— Понимаю.

— После завтрака я съезжу предупредить моего пlying, сэр.

— Прекрасно. Ждите меня у входа в клуб в десять часов вечера.

— С удовольствием, сэр.

Он слегка поклонился и вышел. Мистер Джойс тоже отправился завтракать. В клубе, как он и ожидал, он увидел Роберта Кросби. За его столиком все места были заняты, и мистер Джойс, проходя мимо в поисках свободного места, коснулся его плеча.

— У меня к вам небольшое дело, не уходите, — сказал он.

— Ладно. Когда освободитесь, дайте знать.

Мистер Джойс уже решил, как повести разговор. Он позавтракал и в ожидании, пока клуб опустеет, сел играть в бридж. Ему не хотелось на этот раз приглашать Кросби к себе в контору. Немного спустя Кросби пришел в карточную комнату и стал следить за игрой. Когда партия кончилась, все игроки разошлись по своим делам, и они остались вдвоем.

— Вышла одна неприятность, дружище, — сказал мистер Джойс как можно более непринужденно. — Оказывается, в тот самый вечер ваша жена послала Хэммонду записку с приглашением приехать к вам.

— Быть этого не может! — вскричал Кросби. — Она ведь все время говорит, что задолго до этого не общалась с Хэммондом. Я сам могу подтвердить, что она месяца два в глаза его не видела.

— Однако факт налицо — записка существует. Она в руках той китайки, с которой жил Хэммонд. Ваша жена собиралась сделать вам подарок ко дню рождения и хотела попросить Хэммонда помочь ей с покупкой. Сразу после трагедии она была так взволнована, что забыла об этом, а потом боялась признаться в ошибке, после того как уже утверждала, что не общалась с Хэммондом. Очень неприятно, но, пожалуй, совершенно закономерно.

Кросби молчал. На его большом красном лице было написано крайнее недоумение, и, оттого что он ничего не понял, у мистера Джойса и отлегло от сердца, и поднялось чувство раздражения. Кросби туповат, а мистер Джойс не выносил тупиц. Но после катастрофы он был в таком отчаянии, что это несколько смягчило сердце адвоката, и миссис Кросби, попросив его помочь ей не ради нее самой, а ради мужа, задела слабую струнку.

— Вы и сами понимаете, весьма нежелательно, чтобы эта записка попала в руки обвинения. Ваша жена солгала, и ей придется объяснить, для чего она это сделала. Если Хэммонд не ворвался в ваш дом, как непрошенный гость, а приехал по приглашению, дело оборачивается совсем иначе. Это может поколебать присяжных.

Мистер Джойс помедлил. Теперь ему предстояло выполнить свое решение. Не будь положение так серьезно, он бы даже улыбнулся при мысли, что вот сейчас он должен совершить такой серьезный шаг, а человек, ради которого он его совершит, и не подозревает всей его важности. Если бы Кросби и призадумался, то, вероятно, вообразил бы, что мистер Джойс делает только то, что входит в обязанности любого адвоката.

— Дорогой Роберт, вы не только мой клиент, но и мой друг. Я думаю, нам надо завладеть этой запиской. За нее просят очень дорого. Иначе я вообще ничего бы вам о ней не рассказал.

— Сколько?

— Десять тысяч долларов.

— Немало. Цены на каучук упали, да и вообще дела сейчас не блестящие — так что это почти все, что у меня есть.

— Вы можете немедленно достать эти деньги?

— Думаю, что да. Чарли Мэдоуз даст мне их под оловянные акции и под мою долю в двух плантациях.

— Итак, решено?

— А без этого не обойтись?

— Если вы хотите, чтобы вашу жену оправдали.

Кросби сильно покраснел. Губы его странно скривились.

— Но ... — Он не находил слов, лицо его побагровело. — Но я ничего не понимаю. Она ведь может объяснить. Вы что, хотите сказать, что ее могут признать виновной? Не повесят же ее за то, что она прикончила ядовитую тварь.

— Возможно, ее и не повесят. Могут обвинить лишь в непредумышленном убийстве. Тогда она отделается всего двумя или тремя годами.

Кросби вскочил, лицо его исказилось от ужаса.

— Три года!

И тут что-то будто забрезжило в его неповоротливом мозгу. Тьму его разума внезапно пронзила молния, и, хотя затем вновь наступила такая же непроглядная тьма, в памяти

остался след от чего-то, что он едва успел рассмотреть. Мистер Джойс заметил, как большие красные руки Кросби, натруженные и загрубевшие, задрожали.

— Какой она собиралась мне сделать подарок?

— Она говорит, что хотела подарить вам новое ружье.

Крупное красное лицо еще гуще побагровело.

— Когда нужны деньги?

Что-то случилось с его голосом. Он говорил так, будто невидимая рука схватила его за горло.

— Сегодня в десять вечера. Часов в шесть принесите их мне в контору.

— Эта женщина будет у вас?

— Нет, я еду к ней.

— Я принесу деньги. Я поеду с вами.

Мистер Джойс быстро взглянул на него.

— Зачем? Мне кажется, вы могли бы целиком предоставить это дело мне.

— Деньги мои, так? И я еду.

Мистер Джойс пожал плечами. Они встали, попрощались. Мистер Джойс с любопытством поглядел ему вслед.

В десять часов они снова встретились в пустом клубе.

— Все в порядке? — спросил мистер Джойс.

— Да. Деньги у меня в кармане.

— Тогда идемте.

Они спустились с крыльца. Автомобиль мистера Джойса поджидал их на площади, пустынной в этот час, и, когда они приблизились, из тени дома к ним шагнул Ван Цисэн. Он сел рядом с шофером и показал, куда ехать. Миновав отель «Европа», они повернули у гостиницы для матросов и оказались на улице Виктории. Здесь еще торговали китайские лавки, по тротуарам гуляла публика, взад и вперед деловито сновали рикши, автомобили, повозки. Внезапно остановив автомобиль, клерк обернулся.

— Отсюда нам лучше пройти пешком, сэр, — сказал он.

Они вышли из машины. Он шел впереди, они следовали за ним в двух шагах. Вскоре он остановился.

— Подождите здесь, сэр. Я зайду поговорить с моим приятелем.

Он вошел в лавку, у которой не было передней стены; за прилавком стояли три или четыре китайца. Это была одна из тех удивительных лавчонок, где товары не выставлены напоказ и невозможно понять, чем здесь торгуют. Ван Ци-

сэн заговорил с полным человеком в парусиновом костюме с толстой золотой цепью через всю грудь, и тот быстро взглянул в сторону темной улицы. Он дал Ци-сэну ключ, и клерк вышел. Поманив двух ожидающих его мужчин, он скользнул в дверь рядом с лавкой. Они последовали за ним и оказались у лестницы, ведущей наверх.

— Одну минуту, пожалуйста, сейчас я зажгу спичку, — как всегда, нашелся клерк. — Нужно будет подняться выше.

Он светил перед ними японской спичкой, но она почти не разгоняла темноты, и они пробирались за ним на ощупь. Отперев дверь на втором этаже, он зажег газовый рожок.

— Входите, пожалуйста, — сказал он.

Комната была маленькая, квадратная, с одним окном, и вся мебель состояла из двух низких китайских кроватей, покрытых циновками. Один угол занимал большой сундук с замысловатым замком, на нем стоял облупленный поднос с лампой и трубкой для курения опиума. Слабый приторный запах заполнял комнату. Все сели, и Ван Ци-сэн предложил им папиросы. Вскоре появился толстый китаец, которого они видели за прилавком. Он поздоровался на прекрасном английском языке и сел рядом со своим соотечественником.

— Женщина сейчас придет, — сказал Ци-сэн.

Мальчик из лавки принес поднос с чайником и чашками, и китаец спросил, не хотят ли они чаю. Кросби отказался. Китайцы шепотом заговорили между собой. Кросби и мистер Джойс молчали. Потом за стеной послышался голос: кто-то тихо звал; китаец подошел к двери. Он открыл ее, произнес несколько слов и впустил женщину. Мистер Джойс взглянул на нее. После смерти Хэммонда он немало о ней наслышался, но ни разу ее не видал. Женщина была довольно полная, не очень молодая, с широким флегматичным лицом; она была напудрена и нарумянена, брови тонко вычерчены, но, несмотря на все это, она производила впечатление человека с твердым характером. На ней был голубой жакет и белая юбка — костюм полужевропейский, полукитайский, но на ногах были надеты крошечные китайские шелковые туфли. На шее тяжелые золотые цепочки, на руках — золотые запястья, в ушах — золотые серьги, затейливые золотые шпильки в черных волосах. Она вошла тяжелой поступью, неторопливо, как женщина, уверенная в себе, и села на кровать около Ван Ци-сэна. Он сказал ей что-то, и, кивнув, она равнодушно окинула взглядом двух европейцев.

— Записка у нее с собой? — спросил мистер Джойс.

— Да, сэр.

Не говоря ни слова, Кросби извлек пачку пятисотдолларовых банкнотов. Он отсчитал двадцать бумажек и вручил их Ци-сэну.

— Проверьте.

Клерк пересчитал их и отдал толстому китайцу.

— Все правильно, сэр.

Китаец еще раз пересчитал деньги и положил их в карман. Он опять сказал что-то женщине, и она вынула из-за пазухи записку. Она отдала ее Ци-сэну, тот прочел ее.

— Это подлинный документ, сэр, — сказал он и хотел было передать бумагу мистеру Джойсу, но Кросби взял ее у него из рук.

— Разрешите взглянуть, — сказал он.

Мистер Джойс смотрел на Кросби, пока тот не кончил читать, и затем протянул руку к записке.

— Дайте-ка ее мне.

Кросби бережно сложил листок и сунул в карман.

— Нет, пусть будет у меня. Она мне недешево досталась.

Мистер Джойс не стал спорить. Трое китайцев слышали этот краткий разговор, но что они о нем подумали, да и подумали ли что-либо вообще — сказать по их невозмутимым лицам было невозможно.

— Понадоблюсь ли я вам еще сегодня, сэр? — спросил Ван Ци-сэн.

— Нет. — Мистер Джойс знал, что клерк хочет остаться, чтобы получить свою долю, и обратился к Кросби:

— Вы готовы?

Кросби безмолвно встал. Китаец открыл дверь. Ци-сэн разыскал огарок свечи и зажег, чтобы посветить на лестнице, и оба китайца проводили их на улицу. Женщина, закулив папиросу, спокойно продолжала сидеть на кровати. На улице китайцы повернулись и вошли обратно в дом.

— Что вы намерены делать с запиской? — спросил мистер Джойс.

— Хранить.

Они подошли к ожидавшей их машине, и мистер Джойс предложил Кросби подвезти его. Кросби покачал головой.

— Я хочу пройтись. — Он нерешительно переступил с ноги на ногу. — Знаете, я в тот вечер уехал в Сингапур потому, что, кроме других дел, я еще хотел купить новое ружье: один знакомый продавал. Спокойной ночи.

И он быстро исчез в темноте.

В день суда все произошло именно так, как и предсказывал мистер Джойс. Присяжные явились в суд, твердо решив оправдать миссис Кросби. Она сама давала показания. Она говорила очень просто и искренне. Помощник прокурора был настроен доброжелательно и явно не получал удовольствия от своей роли. Он задавал необходимые вопросы чуть ли не виноватым тоном. Его обвинительная речь больше была похожа на защитительную, присяжным на обдумывание уже готового решения потребовалось менее пяти минут. Публика, до отказа набившая зал, встретила решение громом аплодисментов. Судья поздравил миссис Кросби, и она стала свободной.

Никто не высказывал более бурного негодования по поводу поведения Хэммонда, чем миссис Джойс; она была предана своим друзьям и настояла, чтобы супруги Кросби после суда поехали прямо к ней (как и все, она не сомневалась в исходе) и пожили у нее, пока не подготовятся к отъезду. Речи быть не могло о том, чтобы милая, отважная Лесли, бедняжка, вернулась к себе в бунгало, гдестряслась эта жуткая трагедия. Суд окончился к половине первого. У Джойсов их ожидал грандиозный завтрак. Приготовили коктейли — миссис Джойс славилась своими коктейлями на всю Малайю, — и хозяйка предложила тост за здоровье Лесли. Миссис Джойс была очень живая, болтливая дама, и сегодня она была в ударе. Это было очень кстати, так как все прочие молчали. Она не усмотрела в этом ничего удивительного — муж ее вообще не был словоохотлив, а эти двое безумно измучены, их так долго терзали. Во время завтрака она бойко и весело вела монолог. Потом подали кофе.

— Ну а теперь, детки, — жизнерадостно засуетилась она, — марш отдыхать, а после чая я повезу вас к морю.

Сам мистер Джойс, завтракавший дома лишь в виде исключения, должен был, конечно, вернуться в контору.

— Боюсь, я не смогу, миссис Джойс, — сказал Кросби. — Мне надо немедленно ехать к себе на плантацию.

— Как, сегодня? — воскликнула она.

— Да, сейчас же. Я очень давно там не был, все запустил, а дела не терпят. Буду очень признателен, если вы приютите Лесли, пока мы решим, что делать.

Миссис Джойс собиралась возразить, но муж остановил ее.

— Раз нужно ехать — пусть едет, и не о чем спорить.

Что-то в голосе адвоката заставило ее быстро на него взглянуть. Она затихла, и наступила короткая пауза. Снова заговорил Кросби.

— Вы меня простите, я сейчас же в путь, чтобы на месте быть засветло. — Он встал из-за стола. — Проводишь меня, Лесли?

— Конечно.

Они вместе вышли из столовой.

— По-моему, он к ней недостаточно внимателен, — сказала миссис Джойс. — Должен же он понимать, что именно сейчас Лесли хочется побыть с ним.

— Я убежден, что без настоятельной необходимости он бы не поехал.

— Ну, я пойду взгляну, готова ли комната для Лесли. Ей нужен полный покой и уж потом, конечно, развлечения.

Миссис Джойс ушла, адвокат опять сел. Вскоре он услышал, как Кросби завел мотоцикл и с грохотом покатил по гравии садовой дорожки. Мистер Джойс встал и прошел в гостиную. Миссис Кросби, впевнив взор в пространство, стояла посреди комнаты, держа в руке развернутую записку. Ту самую записку. Глаза их встретились — она была смертельно бледна.

— Он знает, — прошептала она.

Мистер Джойс приблизился и взял у нее записку. Он зажег спичку и поднес к бумаге. Лесли смотрела, как записку охватывало пламя. Когда трудно стало держать бумагу в руке, он бросил ее на кафельный пол, и у них на глазах она съежилась и почернела. Тогда он наступил на нее и растер ногой золу.

— Что он знает?

Она посмотрела на него долгим-долгим взглядом, и в глазах ее появилось какое-то странное выражение. Что это, презрение или отчаяние? Мистер Джойс затруднился бы решить.

— Он знает, что Джеф был моим любовником.

Мистер Джойс не шелохнулся и не произнес ни звука.

— Он много лет был моим любовником. Он стал моим любовником почти сразу, как вернулся с войны. Мы понимали, что нужна осторожность. Когда это началось, я

притворилась, что он мне надоел, и при Роберте он приезжал к нам редко. Обычно я ездила на машине в одно условленное место, и там мы встречались, это бывало раза два-три в неделю, а если Роберт был в Сингапуре, он приезжал ко мне поздно вечером, когда все слуги уходили к себе на ночь. Мы все время встречались, все эти годы, и ни одна душа ничего не подозревала. Но в последнее время, примерно с год, он стал другим. Я не понимала, что случилось. Я не могла поверить, что он меня разлюбил. Он все время это отрицал. Я сходила с ума. Устраивала ему сцены. Иногда мне казалось, что он меня ненавидит. Если бы вы только знали, какие муки я перенесла. Муки ада. Я видела, что не нужна ему больше, но я не могла его отпустить. Как я страдала! Я любила его. Я отдала ему все. В нем была вся моя жизнь. И вдруг до меня дошли слухи, что он живет с какой-то китайкой. Я не могла поверить. Я не хотела этому верить. Но потом я увидела ее, увидела собственными глазами, она шла по деревне в своих золотых браслетах и ожерельях, старая жирная китайка. Старше меня. Отвратительно! Все в поселке знали, что она его любовница. Когда я проходила мимо, она поглядела на меня, и я увидела — она знает, что я тоже его любовница. Я послала за ним. Я написала, что должна его видеть. Вы читали записку. Сумасшествие — написать такую записку. Я не соображала, что делаю. Мне было все равно. Я не видела его уже десять дней. Вечность. Когда мы расставались в последний раз, он обнял меня, поцеловал и сказал, чтобы я перестала себя истязать. И из моих объятий пошел прямо к ней.

Все это она говорила тихим, страстным голосом: на мгновение умолкнув, она заломила руки.

— Проклятая записка. Мы всегда были так осторожны. Он всегда уничтожал все мои письма, как только прочтет. Как могла я подумать, что эту записку он оставит? Он приехал, и я сказала, что знаю про китайку. Он не сознавался. Сказал, что это сплетни. Я вышла из себя. Не помню, что я ему наговорила. Как я ненавидела его в ту минуту. Я готова была разорвать его на куски. Я говорила все, что могло причинить ему боль. Оскорбляла его. Чуть не плевала в лицо. И тогда он не выдержал. Он сказал, что я ему опротивела и он не желает больше меня видеть. Он сказал, что я надоела ему до смерти. И признался, что все про китайку — правда. Он сказал, что познакомился с ней много лет назад, еще

до войны, и что она единственная женщина, которая для него что-то значит, а все остальные — только для развлечения. Он сказал, что доволен: теперь я все узнала и наконец оставляю его в покое. Я просто не знаю, что было потом, — я взбесилась, себя не помнила. Я схватила револьвер и выстрелила. Он вскрикнул — значит, попала. Он покачнулся и побежал на веранду. Я — за ним и опять выстрелила. Он упал, а я стояла над ним и все стреляла, стреляла, пока не защелкал пустой барабан и я поняла, что кончились патроны.

Наконец она замолчала, тяжело дыша. Она потеряла человеческий облик, лицо ее исказилось от злобы, ярости и боли. Кто бы поверил, что эта спокойная, утонченная женщина способна на такую дьявольскую страсть. Мистер Джойс отпрянул. Вид ее привел его в ужас. То не было лицо человека — то была омерзительная маска. Из соседней комнаты послышался голос — громкий, дружелюбный, веселый. Голос миссис Джойс.

— Лесли, голубушка, идемте, ваша комната готова. Вы, наверное, падаете с ног от усталости.

Постепенно лицо миссис Кросби обрело обычное выражение. Черты, искаженные бушевавшими в ней страстями, разгладились, точно смятая бумажка, по которой провели рукой, и через минуту лицо это опять было чистым, спокойным и безмятежным. Она была немного бледна, но губы ее раздвинулись в приветливой, любезной улыбке. Вновь это была благовоспитанная светская женщина.

— Иду, милая Дороти. Мне так совестно, что я доставляю вам столько хлопот.

МЭЙХЬЮ

Жизнь большинства людей определяется их окружением. Обстоятельства, в которые ставит их судьба, они принимают не только с покорностью, но и охотно. Они похожи на трамваи, вполне довольные тем, что бегут по своим рельсам, и презирующие веселый маленький автомобиль, который шныряет туда-сюда среди уличного движения и резво мчится по деревенским дорогам. Я уважаю таких людей: это хорошие граждане, хорошие мужья и отцы, и, кроме того, должен же кто-то платить налоги; но они меня не волнуют. Куда интереснее, на мой взгляд, люди — надо сказать, весьма редкие, — которые берут жизнь в руки и как бы лепят ее по своему вкусу.

Может быть, свобода воли нам вообще не дана, но иллюзия ее нас не покидает. На развилке дорог нам кажется, что мы вольны пойти и направо и налево, когда же выбор сделан, трудно увидеть, что нас подвел к нему весь ход мировой истории.

Я никогда не встречал более интересного человека, чем Мэйхью. Это был адвокат из Детройта, способный и преуспевающий. К тридцати пяти годам он имел большую и выгодную практику, добился независимого материального положения и стоял на пороге великолепной карьеры. Он был умен, честен, симпатичен. Ничто не мешало ему стать видной фигурой в финансовом или политическом мире.

Как-то вечером он сидел у себя в клубе с друзьями; они немного выпили. Один из них, только что побывавший в Италии, рассказал о доме, который он видел на Капри, — это был дом в большом тенистом саду на холме над Неаполитанским заливом. Выслушав описание красот

самого красивого острова в Средиземном море, Мэйхью сказал:

— Звучит превосходно. А этот дом продается?

— В Италии все продается.

— Пошлем им телеграмму, предложим цену.

— А что, скажи на милость, ты будешь делать с домом на Капри?

— Буду в нем жить, — сказал Мэйхью.

Он послал за телеграфным бланком, заполнил его и отправил. Через несколько часов пришел ответ. Предложение было принято.

Мэйхью не был лицемером и не скрывал, что в трезвом состоянии никогда не совершил бы такого безумного шага, но, протрезвившись, он не жалел об этом. Он не был ни импульсивен, ни излишне эмоционален, это был очень честный и искренний человек. Мэйхью не стал бы упорствовать из чистой бравады, если бы, подумав, расценил свой поступок как безрассудный. Но тут он не считал нужным менять принятое решение. За большим богатством он не гнался, а на то, чтобы жить в Италии, денег у него было достаточно. Ему пришло в голову, что, пожалуй, не стоит тратить жизнь на улаживание мелких дрызг незначительных людей. Никакого определенного плана у него не было. Просто ему захотелось уйти от привычной жизни, потерявшей для него всякий интерес.

Друзья, вероятно, решили, что он спятил; некоторые, я думаю, не жалели сил, чтобы отговорить его. Он привел в порядок дела, упаковал мебель и уехал.

Капри — это суровая скала неприступного вида, омываемая темно-синим морем, но живая зелень виноградников украшает ее и смягчает ее суровость. Это ласковый, спокойный, приветливый остров. То, что Мэйхью обосновался в таком чудесном месте, удивляет меня, ибо я не встречал человека, менее восприимчивого к красоте. Не знаю, чего он искал там — счастья, свободы или просто праздности, — но знаю, что он нашел. В этом уголке земли, столь притягательном для чувств, он жил чисто духовной жизнью. Дело в том, что на Капри все дышит историей, и над ним вечно витает загадочная тень императора Тиберия. Из своих окон, выходивших на Неаполитанский залив, Мэйхью видел благородные очертания Везувия, меняющего цвет с каждой переменной освещения, и сотни мест, напоминающих о

римлянах и греках. Прошлое завладело его мыслями. Все, что он видел здесь впервые — потому что он никогда раньше не бывал за границей, — волновало его и будило творческое воображение. Мэйхью был человек действия. Вскоре он решил написать исторический труд. Некоторое время он выбирал тему и наконец остановился на втором столетии Римской империи. Эпоха эта была мало изучена и, как ему казалось, выдвигала проблемы, сходные с современными.

Он начал собирать книги и вскоре стал обладателем огромной библиотеки. За годы своей адвокатской деятельности Мэйхью научился читать быстро. Он принялся за дело.

Вначале он часто проводил вечера в обществе художников и писателей в маленькой таверне на площади, но потом отдалился от них, увлеченный работой. Он успел полюбить купание в этом тихом, теплом море и далекие прогулки среди кудрявых виноградников, но мало-помалу, жалея время, отказался и от прогулок, и от моря. Он работал больше и усерднее, чем когда-либо в Детройте. Начинал в полдень и работал весь день и всю ночь, пока гудок парохода, который каждое утро ходит с Капри в Неаполь, не давал ему знать, что уже пять часов и пора ложиться.

Тема постепенно раскрывалась перед ним во всем своем объеме и значительности, и мысленно он уже видел труд, который поставит его в один ряд с великими историками прошлого. С годами он все больше сторонился людей. Его можно было выманить из дому, только соблазнив возможностью сыграть партию в шахматы или с кем-нибудь поспорить. Его увлекали поединки интеллектов. Он был теперь широко начитан, и не только в области истории, но и в философии, и в естественных науках; он был искусный полемист — быстрый, логичный, язвительный. Но он оставался человеком добрым и терпимым, и, хотя победа доставляла ему вполне понятное удовольствие, он не радовался ей вслух, щадя самолюбие противника.

Он приехал на остров крепко сбитым, мускулистым человеком с шапкой черных волос и черной бородой; но постепенно кожа его приобрела бледно-восковой оттенок, он стал худым и слабым. Странная вещь: этот логичнейший из людей, убежденный и воинствующий материалист, презирал тело, смотрел на него как на грубый инструмент, который должен лишь исполнять приказания духа. Ни бо-

лезнь, ни усталость не могли помешать ему продолжать работу. Четырнадцать лет он трудился не покладая рук. Он исписал тысячи карточек. Он сортировал и классифицировал их. Он изучал свою тему вдоль и поперек, и наконец подготовка была закончена. Он сел за стол, чтобы начать писать. И умер.

Тело, с которым он, материалист, обошелся так неуважительно, отомстило ему.

Огромные накопленные им знания погибли безвозвратно. Не сбылась его мечта — нисколько не постыдная — увидеть свое имя рядом с именами Гиббона и Моммзена.

Память о нем хранят немногие друзья, которых с годами, увы, становится все меньше, а миру он после смерти неизвестен так же, как был неизвестен при жизни.

И все же, на мой взгляд, он прожил счастливую жизнь. Картина ее прекрасна и законченна. Он сделал то, что хотел, и умер, когда желанный берег был уже близок, так и не изведав горечи достигнутой цели.

САЛЬВАТОРЕ

Интересно, удастся ли мне это сделать. Когда я впервые увидел Сальваторе, это был пятнадцатилетний мальчик, очень некрасивый, но с приятным лицом, смеющимся ртом и беззаботным взглядом. По утрам он лежал на берегу почти нагишом, и его загорелое тело было худым как щепка. Он был необычайно грациозен. То и дело он принимался нырять и плавать, рассекая воду угловатыми легкими взмахами, как все мальчишки-рыбаки. Он взбирался на острые скалы, цепляясь за них шершавыми пятками (ботинки он носил только по воскресеньям), и с радостным воплем бросался оттуда в воду. Отец его был рыбаком и имел небольшой виноградник, а Сальваторе приходилось возиться с двумя младшими братьями. Когда мальчики заплывали слишком далеко, он звал их обратно; когда наступало время скудного обеда, заставлял их одеваться, и они поднимались по горячему склону холма, покрытому виноградниками.

Но на юге мальчики растут быстро, и вскоре он уже был безумно влюблен в хорошенькую девушку, которая жила на Гранде Марина. Глаза ее были подобны лесным озерам, и держалась она, как дочь Цезаря. Они обручились, но не могли пожениться, пока Сальваторе не отбудет срок военной службы, и когда он — первый раз в жизни — уезжал со своего острова, чтобы стать матросом во флоте короля Виктора-Эммануила, он плакал, как ребенок. Трудно было Сальваторе, привыкшему к вольной жизни птицы, подчиняться теперь любому приказу; еще труднее — жить на военном корабле с чужими людьми, а не в своем маленьком белом домике среди виноградника; сходя на берег,

бродить по шумным городам, где у него не было друзей и где на улицах была такая давка, что он даже боялся их переходить, — ведь он так привык к тихим тропинкам, горам и морю. Он, вероятно, и не представлял себе, что не может обойтись без Искьи — острова, на который он смотрел каждый вечер, чтобы определить, какая будет на следующий день погода (на закате этот остров был совершенно сказочным), — и жемчужного на заре Везувия; теперь, когда он их больше не видел, он смутно осознал, что они так же неотделимы от него, как любая часть его тела. Он мучительно тосковал по дому. Но труднее всего он переносил разлуку с девушкой, которую любил всем своим страстным молодым сердцем. Он писал ей детским почерком длинные, полные орфографических ошибок письма, в которых рассказывал, что все время о ней думает и мечтает о возвращении домой. Его посылали в разные места — в Специю, Бари, Венецию — и наконец отправили в Китай. Там он заболел загадочной болезнью, из-за которой его много месяцев продержали в госпитале. Он переносил это с немим терпением собаки, не понимающей, что происходит. Когда же он узнал, что болен ревматизмом и потому непригоден для дальнейшей службы, сердце его возликовало, так как теперь он мог вернуться домой; его совершенно не беспокоило, вернее, он даже почти и не слушал, когда врачи говорили, что он никогда не сможет полностью излечиться от этой болезни. Какое это имело значение — ведь он возвращался на свой маленький остров, который так любил, и к девушке, ждавшей его!

Когда Сальваторе сел в лодку, встречавшую пароход из Неаполя, и, подъезжая к берегу, увидел на пристани отца, мать и обоих братьев, уже больших мальчиков, он помахал им рукой. В толпе на берегу он искал глазами свою невесту. Но ее не было. Он взбежал по ступенькам, начались бесконечные поцелуи, и все они, эмоциональные создания, немного поплакали, радуясь встрече. Он спросил, где девушка. Мать ответила, что не знает: они не видели ее уже две или три недели. Вечером, когда луна светила над безмятежным морем, а вдали мерцали огни Неаполя, он спустился к Гранде Марина, к ее дому. Она сидела на крыльце вместе с матерью. Он немножко робел, так как давно ее не видел. Спросил, может быть, она не получила письма, в котором он сообщал о своем возвращении. Нет, письмо

они получили, и один парень с их же острова рассказал им о его болезни. Именно поэтому он и вернулся; разве ему не повезло? Да, но они слышали, что ему никогда полностью не выздороветь. Доктора болтали всякую чушь, но он-то хорошо знает, что теперь, дома, он поправится. Они помолчали немного, затем мать слегка подтолкнула дочь локтем. Девушка не стала церемониться. С грубой прямоотой итальянки она сразу сказала, что не пойдет за человека, недостаточно сильного, чтобы выполнять мужскую работу. Они уже все обсудили в семье, ее отец никогда не согласится на этот брак.

Когда Сальваторе вернулся домой, оказалось, что там уже и раньше все знали. Отец девушки заходил предупредить о принятом решении, но у родителей Сальваторе не хватило духу рассказать ему это. Он плакал на груди у матери. Он был невероятно несчастен, но девушку не винил. Жизнь рыбака тяжела и требует силы и выносливости. Он прекрасно понимал, что девушке нельзя выйти замуж за человека, который, может быть, не сумеет ее прокормить. Он грустно улыбался, глаза у него были как у побитой собаки, но он не жаловался и не говорил ничего плохого про ту, которую так сильно любил. Через несколько месяцев, когда он уже обжился, втянулся в работу на отцовском винограднике и ходил на рыбную ловлю, мать сказала, что одна молодая женщина из их деревни не прочь выйти за него. Ее зовут Ассунта.

— Она страшна, как черт, — заметил он.

Ассунта была старше его, ей уже было лет двадцать пять, не меньше; жениха ее убили в Африке, где он отбывал военную службу. Она скопила немного денег и, если бы Сальваторе женился на ней, купила бы ему лодку; к тому же они могли бы арендовать виноградник, который, по счастливой случайности, пустовал в это время. Мать рассказала, что Ассунта видела его на престольном празднике и влюбилась в него. На губах Сальваторе появилась его обычная нежная улыбка, и он обещал подумать. В следующее воскресенье, облачившись в грубый черный костюм — в нем он выглядел намного хуже, чем в рваной рубаше и штанах, которые обычно носил, — он отправился в приходскую церковь к обедне и пристроился так, чтобы хорошенько разглядеть молодую женщину. Вернувшись, он сказал матери, что согласен.

Итак, они поженились и поселились в крошечном белом домике, приютившемся среди виноградника. Теперь Сальваторе был огромным, нескладным верзилой, он был высок и широкоплеч, но сохранил свою мальчишескую наивную улыбку и доверчивые ласковые глаза. Держался он с паразитическим благородством. У Ассунты были резкие черты и угрюмое выражение лица, и она выглядела старше своих лет. Но сердце у нее было доброе, и она была неглупа. Меня забавляла чуть заметная преданная улыбка, которой она дарила своего мужа, когда он вдруг начинал командовать и распоряжаться в доме; ее всегда умиляла его кротость и нежность. Но она терпеть не могла девушку, которая его отвергла, и, несмотря на добродушные увещания Сальваторе, поносила ее последними словами.

У них пошли дети. Жизнь была трудная. В течение всего сезона Сальваторе вместе с одним из своих братьев каждый вечер отправлялся к месту лова. Чтобы добраться туда, они шли на веслах не меньше шести или семи миль, и Сальваторе проводил там все ночи за ловлей каракатицы, выгодной для продажи. Потом начинался долгий обратный путь: надо было успеть продать улов, чтобы первым пароходом его увезли в Неаполь. Иногда Сальваторе трудился на винограднике — с раннего утра до тех пор, пока жара не загоняла его на отдых, а затем, когда становилось немного прохладнее, — дотемна. Случалось и так, что ревматизм не давал ему работать, и тогда он валялся на берегу, покуривая сигареты, и всегда у него находилось для всех доброе словечко, несмотря на терзавшую его боль. Иностранцы, приходившие купаться, говорили при виде его, что итальянские рыбаки — ужасные лодыри.

Иногда он приносил к морю своих ребятишек, чтобы выкупать их. У него было два мальчика, и в то время старшему было три года, а младшему не исполнилось и двух лет. Они ползали нагишом по берегу, и время от времени Сальваторе, стоя на камне, окунал их в воду. Старший переносил это стойчески, но малыш отчаянно ревел. Руки у Сальваторе были огромные, каждая величиной с окорок, они были жестки и огрубели от постоянной работы; но когда он купал своих детей, он так осторожно держал их и так заботливо вытирал, что, честное слово, руки его становились нежными, как цветы. Посадив голого мальчугана на ладонь, он высоко поднимал его, смеясь тому, что ребенок

такой крошечный, и смех его был подобен смеху ангела. В такие минуты глаза его были так же чисты, как глаза ребенка.

Я начал рассказ словами: интересно, удастся ли мне это сделать, и теперь я должен сказать, что именно я пытался сделать. Мне было интересно, смогу ли я завладеть вашим вниманием на несколько минут, пока я нарисую для вас портрет человека, простого итальянского рыбака, у которого за душой не было ничего, кроме редчайшего самого ценного и прекрасного дара, каким только может обладать человек. Одному Богу известно, по какой странной случайности этот дар был ниспослан именно Сальваторе. Лично я знаю одно: Сальваторе с открытым сердцем нес его людям, но, если бы он это делал не так неосознанно и скромно, многим наверняка было бы трудно его принять. Если вы не догадались, что это за дар, я скажу вам: доброта, просто доброта.

НА ОКРАИНЕ ИМПЕРИИ

Новый помощник прибыл после полудня. Когда мистеру Уорбертону, резиденту, доложили, что прау¹ уже видна, он надел тропический шлем и спустился к реке. Почетный караул — восемь малорослых солдат-даяков — вытянулся в струнку при его появлении. Резидент с удовольствием отметил про себя, что вид у солдат бравый, мундиры опрятны и впору, а оружие так и сверкает. Да, ему есть чем гордиться. Стоя на пристани, он не спускал глаз с поворота реки, из-за которого через минуту стремительно вылетит лодка. В белоснежном полотняном костюме, в белых туфлях он выглядел безукоризненно. Под мышкой он держал пальмовую трость с золотым набалдашником — подарок султана, правителя Перака. Он ждал с двойственным чувством. Конечно, одному человеку не под силу управлять со всеми делами округа, а всякий раз, когда он совершает очередной объезд вверенного ему края, приходится оставлять резиденцию на попечение служащего-туземца, и это очень неудобно; но он слишком долго был здесь единственным белым, и приезд другого белого пробуждал в его душе невольные опасения. Он привык к одиночеству. Во время войны он три года не видел ни одного соотечественника; однажды его предупредили, что к нему придет специалист по лесоводству, и предстоящая встреча с чужим человеком напугала его до крайности; он распорядился, чтобы приезжего приняли и устроили наилучшим образом, оставил записку, объясняя, что дела вынуждают его отлучиться, — и сбежал; вернулся он лишь после того, как его известили с нарочным, что гость уехал.

¹ Прау — малайская лодка.

И вот в том месте, где река изогнулась широкой дугой, показалась прау. На веслах сидели арестанты-даяки, приговоренные к различным срокам заключения; двое конвойных ждали их на пристани, чтобы опять отвести в тюрьму. Даяки, крепкие молодцы, с детства привычные к реке, размеренно и сильно взмахивали веслами. Когда лодка подошла к берегу, из-под навеса на корме поднялся человек и шагнул на пристань. Солдаты взяли на караул.

— Наконец-то приехали! Фу, черт, насилу разогнулся. Я привез вам почту.

Вновь прибывший говорил бойко, весело. Уорбертон учтиво протянул руку:

— Мистер Купер, я полагаю?

— Ну конечно. А вы ждали кого-нибудь еще?

Он, должно быть, шутил, но резидент не улыбнулся.

— Моя фамилия Уорбертон. Пойдемте, я покажу вам, где вы будете жить. Ваши вещи туда принесут.

Он пошел впереди Купера по узкой тропинке, и вскоре они оказались на огороженном участке, перед небольшим бунгало.

— Я велел, насколько возможно, привести этот дом в порядок, но, конечно, чувствуется, что он много лет пустовал.

Дом был построен на сваях. Он состоял из длинной столовой, выходявшей на широкую веранду, и двух спален в глубине, разделенных коридором.

— Подходяще, — сказал Купер.

— Очевидно, вы хотите принять ванну и переодеться. Буду очень польщен, если вы сегодня отобедаете у меня. В восемь часов вам будет удобно?

— Мне во всякий час удобно.

Резидент ответил любезной, но несколько растерянной улыбкой и откланялся. Он возвратился к себе в форт. Аллан Купер произвел на него не слишком благоприятное впечатление, но мистер Уорбертон был человек справедливый и понимал, что не следует судить столь поспешно. Много ли узнаешь с одного взгляда? На вид Куперу лет тридцать. Он высок, худощав, лицо изжелта-бледное, без румянца. Оно словно все окрашено одной краской. Большой ястребиный нос, карие глаза. Когда, войдя в дом, он снял шлем и швырнул его слуге, Уорбертон подумал, что такая крупная голова с коротко остриженными каштановыми волосами

как-то не очень гармонирует с безвольным подбородком. На Купере были шорты и рубашка хаки, потрепанные и в пятнах, помятый шлем давным-давно не чищен. Впрочем, подумал мистер Уорбертон, ведь молодой человек провел неделю на каботажном пароходишке, а последние двое суток пролежал на дне прау.

— Посмотрим, в каком виде он явится к обеду.

Мистер Уорбертон прошел в свою комнату, где все уже было для него приготовлено с такой тщательностью, как будто ему служил лакей-англичанин, разделся, спустился по лестнице в душ и облился холодной водой. Климату мистер Уорбертон делал одну-единственную уступку — надевал к обеду белый смокинг, в остальном же он одевался так, словно обедал в своем клубе на Пэл-Мэл: крахмальная сорочка, стоячий воротничок, шелковые носки, лакированные туфли. Рачительный хозяин, он заглянул в столовую и убедился, что там все в идеальном порядке. На столе — яркие орхидеи, серебро ослепительно сверкает. Искусно сложены салфетки. Свечи под колпачками, в серебряных подсвечниках, льют мягкий, приятный свет. Мистер Уорбертон одобрительно улыбнулся и, возвратясь в гостиную, стал ждать. Вскоре явился и гость. На нем были шорты, рубашка хаки и потрепанная куртка — тот самый наряд, в котором он вышел сегодня из лодки. Приветливая улыбка застыла на губах Уорбертона.

— Ого, каким вы франтом! — воскликнул Купер. — Я и не знал, что вы переоденетесь к обеду. Чуть было не заявился к вам в саронге¹.

— Это не имеет значения. Я понимаю, у ваших слуг сейчас много дела.

— Из-за меня, знаете, вы могли и не утруждать себя.

— Я и не утруждал себя из-за вас. Я всегда переодеваюсь к обеду.

— Даже когда обедаете один?

— В особенности когда обедаю один, — ледяным тоном ответил Уорбертон.

Он заметил насмешливые искорки в глазах Купера, и кровь бросилась ему в лицо. Мистер Уорбертон был вспыхив, вы тотчас угадали бы это по красному воинственному

¹ Саронг — национальная мужская и женская одежда малайцев, вид юбки.

лицу, по рыжим, теперь уже седеющим волосам; голубые глаза его, обычно холодные и пронизательные, метали молнии, когда его охватывал приступ бешенства; но он был человек светский и, как сам полагал, справедливый. Он должен сделать все возможное, чтобы поладить с этим субъектом.

— В бытность мою в Лондоне я вращался в кругах, где переодеваться к обеду так же естественно, как принимать ванну каждое утро, иначе вас сочтут просто чудачком. И, приехав на Борнео, я не видел причины изменить этому прекрасному обычаю. Во время войны я три года не видел ни одного белого. Но не было случая, чтобы я не переоделся к обеду, — разве что был болен и вообще не обедал. Вы еще новичок в здешних краях; поверьте мне, это наилучший способ сохранить чувство собственного достоинства. Когда белый человек хоть в малой мере поддается влиянию окружающей среды, он быстро теряет уважение к себе, а коль скоро он перестанет сам уважать себя, можете быть уверены, что и туземцы очень быстро перестанут его уважать.

— Ну, если вы воображаете, что я в такую жару влезу в крахмальную рубашку и стоячий воротничок, так вы сильно ошибаетесь.

— Когда вы обедаете у себя дома, вы, разумеется, вольны одеваться как вам угодно, но в тех случаях, когда вы делаете мне честь обедать у меня, быть может, вы хотя бы из вежливости станете одеваться так, как это принято в цивилизованном обществе.

Вошли два боя-малайца в саронгах и щеголеватых белых куртках с медными пуговицами; один нес коктейли, другой — поднос с маслинами и анчоусами. Затем гость и хозяин перешли в столовую. Мистер Уорбертон гордился тем, что его повар-китаец — лучший повар на всем острове, и всячески старался, чтобы стол у него был образцовый, насколько это возможно в такой глуши. Китаец не жалел труда, изобретая самые тонкие яства, какие можно приготовить из доступных здесь продуктов.

— Не хотите ли посмотреть меню? — спросил мистер Уорбертон, передавая листок Куперу.

Меню было написано по-французски, у всех блюд — звучные, торжественные названия. За столом прислуживали те же два боя. Два других, стоя в противоположных углах столовой, огромными опахалами приводили в движение

знойный воздух. Трапеза была великолепная, шампанское — выше всяких похвал.

— И вы каждый день так едите? — спросил Купер.

Уорбертон бросил небрежный взгляд на меню.

— По-моему, обед сегодня такой же, как всегда. Сам я ем очень мало, но поставил за правило, чтобы мне каждый день подавали приличный обед. Это весьма полезно: и для повара практика, и слуги приучены к порядку.

Поддерживать разговор было нелегко. Мистер Уорбертон был изысканно любезен и, может быть, чуточку злорадствовал, — его забавляло, что такая учтивость сбивает собеседника с толку. Купер пробыл в Сембулу всего несколько месяцев и почти ничего не мог рассказать Уорбертону о его знакомых в Куала-Солор.

— Кстати, — спросил Уорбертон, — вы не встречались с неким Хенерли? Он, по-моему, недавно приехал.

— Как же, знаю. Он служит в полиции. Ужасный хам.

— А мне кажется, он должен быть прекрасно воспитан. Он приходится племянником моему другу лорду Бараклафу. Только на днях я получил письмо от леди Бараклаф с просьбой повидать его.

— Да, я слышал, что он кому-то там родня. Наверно, потому и место получил. Он учился в Итоне и Оксфорде и хвастается этим на каждом шагу.

— Вы меня удивляете, — сказал мистер Уорбертон. — Все молодые люди из его рода учатся в Итоне и Оксфорде уже на протяжении нескольких веков. Я думаю, он не видит в этом ничего необыкновенного.

— По-моему, он самодовольный болван.

— А вы какую школу окончили?

— Я родился на Барбадосе. Там и учился.

— Ах, вот как.

Уорбертон ухитрился произнести это короткое замечание таким обидным тоном, что Купер весь вспыхнул. Он молчал, не находя ответа.

— Я получил несколько писем из Куала-Солор, — продолжал Уорбертон, — и у меня создалось впечатление, что молодой Хенерли пользуется там большим успехом. Говорят, он первоклассный спортсмен.

— Ну еще бы, он личность известная. Они там, в Куала-Солор, таких обожают. А я лично не вижу в первоклассных спортсменах никакого толку. Играет человек в гольф и в

теннис лучше других — а что с того в конечном-то счете? Что за важность, если он ловко разбивает пирамидку на бильярде? В Англии больно много значения придают всей этой чепухе.

— Вы так полагаете? А мне всегда казалось, что первоклассные спортсмены во время войны показали себя ничуть не хуже других.

— Ну, уж если вы завели речь о войне, так тут я знаю, о чем говорю. Я был с этим Хенерли в одном полку, и, можете мне поверить, люди его терпеть не могли.

— Откуда вы знаете?

— Я сам был у него под началом.

— А, так, значит, вы не дослужились до офицера?

— Черта с два я мог дослужиться. Я ведь уроженец колоний, так это называется. Я не учился в привилегированной школе, и у меня нет связей. Вот и проторчал всю эту окоянную войну рядовым.

Купер нахмурился. Ему, видно, стоило немалого труда сдержаться и не разразиться бранью. Мистер Уорбертон изучал его, прищутив свои небольшие светлые глаза, изучал — и составил окончательное о нем суждение. Переменив тему, он заговорил о новых обязанностях Купера и, едва часы пробили десять, поднялся.

— Что ж, не смею больше вас задерживать. Вы, вероятно, устали с дороги.

Они обменялись рукопожатием.

— Да, вот еще что, — сказал Купер. — Может быть, вы поможете мне найти боя? Мой прежний слуга исчез, когда я уезжал из Куала-Солор. Погрузил мои вещи в лодку и больше не показывался. Я и не знал, что его нет, пока мы не отплыли.

— Я спрошу своего старшего боя. Без сомнения, он вам кого-нибудь подыщет.

— Вот и хорошо. Вы ему просто скажите, пускай пришлет парня ко мне, я на него погляжу и, если понравится, возьму.

Светила луна, и в фонаре не было нужды. Купер направился через форт к своему бунгалу.

«Понять не могу, почему мне прислали этого субъекта? — недоумевал мистер Уорбертон. — Неужели нельзя было найти кого-нибудь получше? Люди этого сорта не многого стоят».

Он прошел в сад. Форт стоял на вершине холма, а сад спускался к самой реке; здесь, на берегу, в зеленой теневой беседке Уорбертон любил выкурить послеобеденную сигару. И нередко с реки, текущей у его ног, слышался человеческий голос — голос какого-нибудь робкого малайца, который не осмелился бы прийти к нему при свете дня, — и слух резидента ловил произнесенную шепотом жалобу или обвинение, весть или намек; все это могло ему очень и очень пригодиться, но никогда он не узнал бы этого официальными путями. Он тяжело опустился в плетеный шезлонг. Этот Купер! Завистливый, дурно воспитанный мальчишка, заносчивый, самоуверенный и тщеславный... Но тихий вечер был так хорош, что досада мистера Уорбертона быстро улеглась. Воздух напоен был сладостным ароматом — это цвело дерево, росшее у входа в беседку, — и в сумерках неторопливо пролетали светлячки, будто мерцающие серебристые искры. По речной глади месяц разостлал светлую дорожку для легконогой возлюбленной бога Шивы, тонко вычерчены в небе силуэты пальм, растущих на том берегу. Мир и покой снизошли в душу мистера Уорбертона.

Станный он был человек и жизнь прожил необычную. В двадцать один год он получил солидное наследство, сто тысяч фунтов, и, окончив Оксфорд, предался развлечениям, какие в то время (мистеру Уорбертону недавно минуло пятьдесят четыре) были к услугам молодого человека из хорошей семьи. У него была квартира на Маунт-стрит, кабриолет, охотничий домик в Уорикшире. Он бывал повсюду, где собирались сливки общества. Красивый, щедрый, интересный собеседник, он был заметной фигурой в лондонском свете начала девятидесятых годов — лондонский свет тогда еще не утратил своего блеска и был доступен лишь для избранных. Об англо-бурской войне, которая нанесла ему первый удар, никто еще и не помышлял; мировую войну, его сокрушившую, предрекали одни только заядлые пессимисты. В ту пору роль богатого молодого человека была весьма приятна, и в разгар лондонского сезона каминная доска мистера Уорбертона была завалена приглашениями на званые обеды, балы и вечера. Мистер Уорбертон с удовольствием выставлял их напоказ. Ибо мистер Уорбертон был сноб. Не робкий, застенчивый сноб, которого и самого

несколько смущает почтение, испытываемое им к тем, кто стоит выше его; не тот сноб, что добивается близости известных политических деятелей или знаменитостей из мира искусства, и не тот, которого ослепляет богатство,— нет, он был самый обыкновенный, наивный, чистейшей воды сноб, с обожанием взирающий на всякую титулованную особу. Самолюбивый и вспыльчивый, он, однако, предпочитал насмешку лорда лести простого смертного. Его имя упоминалось мельком в «Книге пэров» Бэрка, и любопытно было наблюдать, как ловко умудрялся он в разговоре вернуть словечко о своей косвенной принадлежности к знатному роду; но ни разу ни словом он не обмолвился о добропорядочном ливерпульском фабриканте, от которого через свою мать, урожденную мисс Габбинс, унаследовал свое состояние. Он постоянно терзался страхом, как бы кто-нибудь из его ливерпульских родственников не заговорил с ним на регате в Каусе или на скачках в Аскоте в ту минуту, когда он будет беседовать с какой-нибудь герцогиней или даже с принцем крови.

Его слабость была столь явной, что быстро стала известна всем и каждому, но этот откровенный снобизм был чересчур нелеп, чтобы вызвать одно лишь презрение. Великие люди, перед которыми он преклонялся, смеялись над ним, однако в глубине души считали это преклонение естественным. Бедняга Уорбертон, конечно, был ужасный сноб, но, в общем, славный малый. Он всегда рад был уплатить по счету за благородного пэра без гроша в кармане, и, оказавшись на мели, вы наверняка могли перехватить у него сотню фунтов. Он угощал отличными обедами. В вист играл плохо, но не горевал о проигрыше, лишь бы партнеры принадлежали к избранному миру сего. Он был страстный игрок по натуре, и притом игрок неудачливый, но он умел проигрывать, и нельзя было не восхищаться хладнокровием, с каким он за один присест выкладывал пятьсот фунтов. Страсть к картам была в нем почти так же сильна, как страсть к титулам, и она-то и привела его к гибели. Он жил на широкую ногу, проигрывал огромные деньги. А играл он все азартнее, увлекся скачками, потом биржей. Он был в какой-то мере простодушен и оказался легкой добычей для иных беззастенчивых хищников. Не знаю, понимал ли он, что его великосветские друзья смеются над ним за его спиной; но, мне кажется, чутье подсказывало ему, что он не должен и

виду подавать, будто знает счет деньгам. Он попал в лапы ростовщиков. В тридцать четыре года он был разорен.

До мозга костей проникшийся духом своего класса, он не стал колебаться и раздумывать. Когда человек его круга промотает все свои деньги, ему остается одно: уехать в колонию. Никто не слышал, чтобы Уорбертон возроптал на судьбу. Он не жаловался на то, что некий высокородный приятель посоветовал ему пуститься в рискованную спекуляцию, не стал спрашивать денег с тех, кому давал займы; он уплатил свои долги (знал бы он, что это в нем заговорила презренная кровь ливерпульского фабриканта!) и ни у кого не просил помощи. Он, доныне не ударивший палец о палец, стал искать способа зарабатывать на жизнь. При этом он по-прежнему был весел, беззаботен, всегда в духе. Он вовсе не желал портить людям настроение рассказами о своей беде. Мистер Уорбертон был сноб, но притом он был еще и настоящий джентльмен.

Лишь об одном одолжении попросил он своих высокопоставленных друзей, с которыми водил знакомство долгие годы: о рекомендательных письмах. Тогдашний султан Сембулу, человек неглупый, взял его на службу. Вечером, в канун отплытия из Англии, он последний раз обедал в своем клубе.

— Я слышал, вы уезжаете, Уорбертон? — спросил его старый герцог Хэрифорд.

— Да, еду на Борнео.

— Боже милостивый, что это вам вздумалось?

— Просто я разорен.

— Вот как? Жаль. Ну что ж, дайте нам знать, когда вернетесь. Надеюсь, вы неплохо проведете время.

— О да. Там, знаете, отличная охота.

Герцог кивнул ему и прошел мимо. Спустя несколько часов мистер Уорбертон с борта корабля следил, как тают в тумане берега Англии и с ними все, ради чего, по его понятиям, стоило жить на свете.

С тех пор прошло двадцать лет. Он вел оживленную переписку со многими знатными дамами, и письма его были веселы и занимательны. Он по-прежнему питал пристрастие к титулованным особам и внимательно следил за каждым их шагом по светской хронике в «Таймс» (лондонские газеты доходили к нему через полтора месяца). Он прочитывал все сообщения о рождениях, смертях и свадьбах и спешил

письмом поздравить или же выразить соболезнование. По иллюстрированным изданиям он знал, как меняются лица и моды, и, наезжая время от времени в Англию, всякий раз мог возобновить старые связи, точно они и не прерывались, и вполне осведомлен был о каждом новом человеке, который за последнее время оказался на виду. Высший свет влек его ничуть не меньше, чем в ту пору, когда он и сам был туда вхож. И ему по-прежнему казалось, что в мире нет ничего важнее.

Но мало-помалу нечто новое вошло в его жизнь. Пост, который он теперь занимал, тешил его тщеславие; он уже не был жалким льстецом, жаждущим улыбки великих мира сего, он был господин и повелитель, чье слово — закон. Ему приятно было, что у него есть личная охрана из солдат-даяков и они берут на караул при его появлении. Ему нравилось вершить судьбы своих ближних. Приятно было улаживать раздоры между вождями враждующих племен. В давние времена, когда немало хлопот доставляли охотники за черепами, он сам взялся примерно их наказывать и был весьма горд тем, что во время этой экспедиции вел себя очень недурно. Крайне тщеславный, он не мог не быть отважным, и его дерзкое хладнокровие стало притчей во языцех: рассказывали, что он один явился в укрепленное селение, где засел кровожадный пират, и потребовал, чтобы тот сдался. Он стал умелым правителем. Он был строг, справедлив и честен.

И понемногу он искренне привязался к малайцам. Его занимали их нравы и обычаи. Он никогда не уставал их слушать. Он восхищался их достоинствами и, с улыбкой пожимая плечами, прощал их грехи.

— В былые времена, — говаривал он, — узы дружбы связывали меня со многими знатнейшими людьми Англии, но никогда я не встречал более безупречных джентльменов, чем иные малайцы хорошего рода, которых я с гордостью могу назвать моими друзьями.

Ему нравились их учтивость и умение себя держать, их кротость и внезапные вспышки страстей. Безошибочное чутье подсказывало ему, как с ними обращаться. Он питал к ним неподдельную нежность. Однако ни на минуту не забывал, что сам он — англичанин и джентльмен, и не прощал тем белым, которые позволяли себе перенимать туземные обычаи. Он не шел ни на какие уступки. Он не последовал

примеру многих и многих белых, берущих в жены туземок, ибо интрижки подобного рода, хотя и освященные обычаем, казались ему не только скандальными, но несовместимыми с достоинством настоящего джентльмена. Человек, которого сам Альберт-Эдуард, принц Уэльский, называл просто по имени, разумеется, не вступит в связь с туземкой. И теперь, возвращаясь на Борнео из своих поездок в Англию, он испытывал что-то похожее на облегчение. Его друзья, как и сам он, были уже не молоды, а новое поколение видело в нем просто докучливого старика. Нынешняя Англия, казалось ему, утратила многое из того, что было ему дорого в Англии его юности. А вот Борнео не меняется. Здесь теперь его родной дом. Он останется на своем посту как можно дольше. В глубине души он надеялся, что не доживет до того времени, когда придется подать в отставку. В своем завещании он написал, что, где бы ни пришлось ему умереть, он желает, чтобы прах его перевезли в Сембулу и похоронили среди народа, который он полюбил, на берегу, куда доносится мягкий плеск реки.

Но эти свои чувства он тщательно скрывал, и, глядя на него, полного, коренастого, одетого франтом, на его бритое энергичное лицо и седеющие волосы, никто не заподозрил бы, что он таит в душе столь глубокую и нежную привязанность.

Мистер Уорбертон досконально разбирался в том, как надлежит вести дела, и в первые дни не спускал глаз с нового помощника. Очень скоро он убедился, что Купер — работник дельный и старательный. Лишь одно можно было поставить ему в укор: он грубо обращался с туземцами.

— Малайцы робки и крайне чувствительны, — сказал ему Уорбертон. — Старайтесь обходиться с ними всегда вежливо, с терпением и кротостью, и вы скоро увидите, что это наилучший способ чего-либо от них добиться.

Купер коротко, резко рассмеялся.

— Я родился на Барбадосе, воевал в Африке. Надо думать, негров я знаю неплохо.

— Я их совсем не знаю, — сухо заметил мистер Уорбертон. — Но мы не о неграх говорим. Речь идет о малайцах.

— Да какая разница!

— Вы очень невежественны, — сказал мистер Уорбертон.

На том разговор и кончился.

В первое же воскресенье мистер Уорбертон позвал Купера обедать. Он всегда строго соблюдал этикет, и, хотя они виделись накануне в канцелярии и потом, в шесть часов, вместе пили джин на веранде форта, он отправил боя через дорогу с церемонным письменным приглашением. Купер, правда без особой охоты, облачился в смокинг; мистер Уорбертон, хоть и довольный тем, что его желание исполнено, поглядел на молодого человека с тайным презрением: костюм плохо сшит, сорочка сидит нескладно. Однако в этот вечер он был в духе.

— Кстати, — сказал он гостю, — я говорил с моим старшим боем о том, чтобы подыскать вам слугу, и он рекомендует своего племянника. Я его видел, он производит впечатление смышленного и старательного юноши. Хотите на него взглянуть?

— Можно.

— Он здесь дожидается.

Мистер Уорбертон позвал старшего боя и велел ему прислать племянника. Через минуту появился высокий, стройный малаец лет двадцати. У него были большие темные глаза и точеный профиль. Саронг, короткая белая куртка, бархатная цвета спелой сливы феска без кисточки — все на нем было опрятно и к лицу. Звался он Аббасом. Мистер Уорбертон посмотрел на него одобрительно, взгляд и голос его невольно смягчились, когда он обратился к юноше; по-малайски он говорил легко и свободно. С белыми мистер Уорбертон часто бывал язвителен, но в его обращении с малайцами счастливо сочетались снисходительность и дружелюбие. Он был здесь царь и бог. Но он умел, не роняя собственного достоинства, в то же время не подавлять туземцев своим величием.

— Подходит вам этот юноша? — спросил он Купера.

— Что ж, наверно, он не больший негодай, чем все прочие.

Мистер Уорбертон объявил малайцу, что его наняли, и отпустил.

— Вам очень повезло, — заметил он Куперу. — Юноша из прекрасной семьи. Они переселились сюда из Малакки чуть ли не сто лет тому назад.

— Ну, знаете, его дело чистить мне башмаки и подать напиток, а течет в его жилах голубая кровь или еще какая-

нибудь — это меня мало интересует. Мне надо, чтоб он делал, что ему велено, да поживее.

Мистер Уорбертон поджал губы, но не сказал ни слова.

Они прошли в столовую. Обед был превосходный, вино отличное. Скоро оно подействовало на обоих, и они стали беседовать не только без колкостей, но даже дружелюбно. Мистер Уорбертон любил жить в свое удовольствие, а воскресные вечера имел обыкновение проводить еще приятнее, чем будни. Он подумал, что, пожалуй, был не совсем справедлив к Куперу. Разумеется, Купер не джентльмен, но ведь это не его вина, а если узнать его поближе, может быть, он окажется славным малым. Пожалуй, все его недостатки — плод дурного воспитания. И работник он, безусловно, расторопный, добросовестный, на него можно положиться. К тому времени, как подали десерт, мистер Уорбертон преисполнился благожелательности ко всему роду человеческому.

— Сегодня первое ваше воскресенье на новом месте, и я хочу угостить вас стаканчиком совсем особенного портвейна. У меня осталось всего около двух дюжин, я берегу его для торжественных случаев.

Он отдал распоряжение, и вскоре принесли бутылку. Мистер Уорбертон следил за тем, как бой ее раскупоривал.

— Я получил его от моего старого друга Чарлза Холлингтона. У него этот портвейн хранился сорок лет, и у меня он тоже хранится уже долгие годы. Винный погреб Чарлза Холлингтона считается лучшим во всей Англии.

— Он что, торгует вином?

— Не совсем, — улыбнулся мистер Уорбертон. — Я говорю о лорде Холлингтоне из Каслрэя. Он один из самых богатых английских пэров. Мой старинный друг. Я учился в Итоне с его братом.

Подобного случая мистер Уорбертон никак не мог упустить, и он рассказал анекдот, вся соль которого, кажется, заключалась только в том, что он, Уорбертон, знаком был с одним графом. Портвейн и вправду был превосходный; мистер Уорбертон выпил стаканчик, потом другой. Он утратил всякую осмотрительность. Много месяцев не приходилось ему говорить с англичанином. Он пустился в воспоминания. Да, когда-то он был своим человеком среди великих людей. Слушая его, можно было подумать, что стоило ему в ту пору шепнуть словечко на ушко герцогине или в за-

стойной беседе бросить намек ближайшему советнику монарха — и по его подсказке послушно меняли состав кабинета и принимали важнейшие политические решения. Далекие дни Аскота, Гудвуда и Кауса ожили в его памяти. В Йоркшире и в Шотландии каждый год устраивались грандиозные приемы — и он бывал там постоянным гостем.

— У меня служил тогда некий Формен — лучшего лакея я не видывал, — и, как по-вашему, из-за чего он взял расчет? Вы ведь знаете, за столом у мажордома горничные и лакеи сидят по старшинству, согласно рангу их господ. И он заявил мне, что ему надоело ездить на балы и званые обеды, где я — единственный человек без титула. Из-за этого он всегда должен сидеть в самом конце стола, и, пока блюдо дойдет до него, все лучшие куски уже разобраны. Я рассказал об этом герцогу Хэрифорду, и он очень смеялся. «Ей-богу, сэр, — сказал он, — будь я король Англии, я сделал бы вас виконтом только для того, чтобы удружить вашему лакею». — «Возьмите его к себе, герцог, — сказал я. — У меня за всю жизнь не было лучшего слуги». — «Отлично, Уорбертон, — ответил герцог. — Если он подходит вам, значит, подойдет и мне. Пришлите его».

Далее последовал рассказ о Монте-Карло, где мистер Уорбертон вместе с великим князем Федором однажды сорвал банк, а затем — о Мариенбаде. В Мариенбаде мистер Уорбертон играл в баккара с Эдуардом VII.

— Тогда он, разумеется, был еще только принцем Уэльским. Помню, он сказал мне: «Джордж, если вы прикупите к пятерке, вы спустите все до нитки». И он был прав; я думаю, он за всю свою жизнь не сказал ничего более справедливого. Удивительный это был человек. Я всегда говорил, что он величайший дипломат Европы. Но я тогда был молод и глуп, у меня не хватило ума последовать его совету. Послушайся я его, не прикупи я тогда к пятерке, я не сидел бы сейчас здесь.

Купер внимательно слушал. Его карие, глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно, губы насмешливо кривились. В Куала-Солор он наслушался рассказов об Уорбертоне. Неплохой малый, говорили про него, и порядок в своем округе навел образцовый, но, господи, какой сноб! Над ним беззлобно посмеивались — трудно судить строго человека столь щедрого и доброжелательного, — и Купер уже раньше слышал историю о принце Уэльском и об

игре в баккара. Но сейчас она не показалась ему занятой. С самого начала его задело поведение резидента. Он был очень самолюбив, и его передергивало от вежливых колкостей мистера Уорбертона. У мистера Уорбертона был особый дар: на слова, которых он не одобрял, отвечать убийственным молчанием. Купер жил в Англии очень недолго и до крайности невзлюбил англичан. Пуще всего он не терпел питомцев привилегированных школ, так как всегда боялся, что они будут смотреть на него свысока. От страха, как бы другие не стали задирать перед ним нос, от желания опередить их, он сам уж до того задира л нос, что все считали его нестерпимо самонадеянным.

— Ну, как ни верти, а в одном отношении война пошла нам на пользу, — сказал он наконец. — Она сокрушила власть аристократии. Бурская война уложила ее в гроб, а четырнадцатый год заколотил крышку.

— Лучшие семейства Англии обречены, — меланхолически произнес мистер Уорбертон, точно эмигрант, вздыхающий о дворе Людовика XV. — Им уже не по средствам жить в своих великолепных дворцах, и их княжеское гостеприимство скоро отойдет в область преданий.

— Туда ему и дорога!

— Мой бедный Купер, что можете вы об этом знать? Что вам «былая слава Греции и Рима блеск былой»?

Мистер Уорбертон широко повел рукою. Глаза его на мгновение затуманились — он созерцал невозвратное прошлое.

— Ну, знаете, мы по горло сыты этой чепухой. Что нам нужно, так это дельное правительство с дельными людьми во главе. Я родился в колонии, в колониях провел чуть не всю жизнь. За ваших высокородных лордов я гроша ломаного не дам. Главная беда Англии — снобизм. А для меня самое ненавистное существо на свете — сноб.

Сноб! Мистер Уорбертон побагровел, глаза его гневно вспыхнули. Всю жизнь его преследовало это слово. Знатные леди, знакомство с которыми так льстило ему в молодости, благосклонно принимали его восхищение, но даже и знатные леди бывают порою не в духе — и не раз мистеру Уорбертону бросали в лицо это ненавистное словечко. Он знал, он не мог не знать, что есть такие ужасные люди, которые называют его снобом. Какая несправедливость! Да ведь, на его взгляд, нет греха отвратительней снобизма. В конце

концов, просто ему приятно общаться с людьми своего круга, лишь среди них он чувствует себя как дома — какой же это снобизм, скажите на милость?! Родство душ...

— Совершенно с вами согласен, — сказал он Куперу. — Сноб — это человек, который восхищается другими или презирует их только за то, что они занимают в обществе более высокое положение, чем он сам. Это вульгарнейшая черта английского буржуа.

Глаза Купера насмешливо блеснули. Он ухмыльнулся и прикрыл рот ладонью, отчего эта широкая усмешка стала еще заметнее. У мистера Уорбертона задрожали руки.

Вероятно, Купер так и не понял, как глубоко он оскорбил своего начальника. Сам очень уязвимый и обидчивый, он был до странности глух к чужим обидам.

Они вынуждены были двадцать раз на дню встречаться для коротких деловых разговоров, а в шесть часов вместе выпивали по стаканчику на веранде у мистера Уорбертона. То был испокон веков заведенный в этих краях обычай, и мистер Уорбертон ни за что не желал его нарушить. Но обедали они врозь: Купер — у себя в бунгало, Уорбертон — в форте. Закончив дневную работу, оба любили пройтись, пока не стемнело, но и гуляли они врозь. Тропинки были наперечет, джунгли со всех сторон обступали селение и плантации, и, узнав издали размашистую походку своего помощника, мистер Уорбертон предпочитал сделать крюк, лишь бы с ним не встретиться. Его давно уже раздражали дурные манеры Купера, и заносчивость, и нетерпимость; но только когда Купер провел в форте месяца три, произошел случай, после которого неприязнь резидента обратилась в жгучую ненависть.

Мистеру Уорбертону нужно было совершить инспекционную поездку по округу, и он спокойно оставил резиденцию на Купера, так как за это время окончательно уверился, что на него можно положиться. Одно плохо: он слишком резок. Честный, справедливый, усердный работник, он совершенно не понимает туземцев. Мистера Уорбертона и возмущало, и смешило, что человек, считающий себя ничуть не хуже всякого другого, столь многих людей ставит ниже себя. Он не знает снисхождения, не желает вникать в психологию туземцев, и притом он груб. Мистер Уорбертон быстро понял, что малайцы невзлюбили Купера и боятся его. Нельзя сказать, чтобы это очень огорчило резидента.

Не слишком приятно было бы, если б его помощника стали здесь уважать так же, как его самого. Тщательно все подготовив, мистер Уорбертон отправился в путь и вернулся через три недели. Тем временем прибыла почта. Первое, что бросилось в глаза Уорбертону, когда он вошел в гостиную, была гора распечатанных газет. Купер встретил его, и в дом они вошли вместе. Мистер Уорбертон обратился к одному из слуг, остававшихся дома, и, указывая на газеты, сурово спросил, что это значит.

— Это я хотел узнать подробности уолверхемптонского убийства, вот и позаимствовал вашу «Таймс», — поспешил объяснить Купер. — Я все газеты принес обратно. Я знал, что вы не будете против.

Бледный от гнева, Уорбертон обернулся к нему.

— Нет, я против. Я решительно против!

— Прошу прощенья, — невозмутимо сказал Купер. — Я просто не мог дожидаться, пока вы вернетесь.

— Странно, что вы не вскрыли заодно и моих писем.

Купер улыбнулся, нимало не смущаясь недовольством своего начальника.

— Ну, это ведь не одно и то же. Мне и в голову не пришло, что вы всерьез будете недовольны, если я просмотрю ваши газеты. В них нет ничего личного.

— Мне в высшей степени неприятно, когда кто бы то ни было читает мои газеты раньше меня. — Мистер Уорбертон подошел к заваленному газетами столу. Тут было около тридцати номеров. — Я считаю ваш поступок чрезвычайно дерзким. Все газеты перепутаны.

— Мы сейчас же приведем их в порядок, — сказал Купер, тоже подходя к столу.

— Не прикасайтесь к ним! — воскликнул мистер Уорбертон.

— Послушайте, ну что за ребячество — устраивать сцены из-за такого пустяка.

— Как вы смеете так со мной разговаривать?

— А, да подите вы к черту! — сказал Купер и выбежал вон.

Мистер Уорбертон, весь дрожа от ярости, стоял перед грудой газет. Величайшее наслаждение, какое ему еще оставалось в жизни, погубили грубые, равнодушные руки. Почти все, кто живет вдали от родины, на глухих окраинах, спешат, едва приходит почта, развернуть газеты и хватаются

прежде всего за последние номера, чтобы поскорей узнать самые свежие новости. Почти все — но не мистер Уорбертон. Он специально распорядился, чтобы на каждой бандероли, в которой ему высылали газету, проставлены были день и число, и, получив сразу большую пачку, просматривал даты и синим карандашом нумеровал бандероли. Старшему бою велено было каждое утро к чаю, который сервировался на веранде, подавать и газету, и для мистера Уорбертона это было ни с чем не сравнимое удовольствие: вскрыть обертку и за чашкой чаю просмотреть утреннюю газету. В эти минуты ему казалось, что он дома, в Англии. Каждый понедельник он читал понедельничную «Таймс» полуторамесячной давности, каждый вторник — номер от вторника, и так всю неделю. По воскресеньям он читал «Обсервер». Так же, как и привычка переодеваться к обеду, это было нитью, связующей его с цивилизацией. И он гордился тем, что, сколь ни животрепещущими были новости, ни разу не поддался искушению вскрыть газету раньше положенного срока. Во время войны неизвестность подчас становилась нестерпимой, и, прочитав однажды, что началось наступление, он пережил жесточайшие муки ожидания, от которых мог бы легко себя избавить, попросту распечатав следующий номер газеты, лежавший на полке. Никогда еще мистер Уорбертон не подвергал себя более тяжкому испытанию, — но вышел из него победителем. А этот бестактный болван распечатал туго свернутые аккуратные пачки, потому что ему, видите ли, не терпелось узнать, убила ли какая-то мерзавка своего негодяя мужа.

Мистер Уорбертон послал за старшим боем и велел ему принести оберточной бумаги. Он сложил каждый номер как мог аккуратнее, заново обернул и перенумеровал. Но невеселое это было занятие.

— Никогда ему не прощу, — сказал он. — Никогда.

Старший бой, разумеется, сопровождал своего господина в поездке — мистер Уорбертон всегда брал его с собой, потому что он до тонкости изучил вкусы и привычки хозяина, а мистер Уорбертон был не из тех путешественников, которые в джунглях согласны обойтись без удобств, но теперь, возвратясь, бой успел уже поболтать с другими слугами. Он узнал, что у Купера были нелады с его боями и все, кроме Аббаса, ушли от него. Аббас тоже хотел уйти, но дядя определил его в услужение к Куперу потому, что так велел сам резидент, и, не спросясь дяди, он боялся уйти.

— Я ему сказал, что он хорошо поступил, туан¹, — сказал старший бой Уорбертону. — Но ему там плохо. Он говорит, это нехороший дом, другие ушли, можно ему тоже уйти?

— Нет, он должен остаться. Тому туану нужны слуги. Заменили ли тех, которые ушли?

— Нет, туан, никто не идет.

Мистер Уорбертон сдвинул брови. Купер — наглый дурак, но он занимает официальное положение, и ему подобает соответствующий штат прислуги. Недопустимо, чтобы в доме у него не было надлежащего порядка.

— Где те слуги, которые убежали от туана Купера?

— Они в деревне, туан.

— Пойди и поговори с ними сегодня же, скажи им, я надеюсь, что завтра на рассвете они вернутся в дом туана Купера.

— Они не захотят идти, туан.

— Если я велю?..

Старший бой прослужил у резидента пятнадцать лет и знал наизусть каждую нотку его голоса. Он не боялся своего туана, они через многое прошли вместе: однажды в джунглях хозяин спас ему жизнь, а один раз их лодку перевернуло на порогах, и, если бы не он, мистер Уорбертон утонул бы; но он хорошо знал, когда следует повиноваться беспрекословно.

— Я пойду в деревню, — сказал он.

Мистер Уорбертон полагал, что его помощник воспользуется первым же удобным случаем и извинится за свою грубость; но Купер, человек дурно воспитанный, не умел просить прощения и, когда на другое утро они встретились в канцелярии, вел себя так, словно ничего не случилось. Поскольку мистер Уорбертон три недели пробыл в отъезде, им не миновать было продолжительной беседы. Покончив с делами, он отпустил Купера:

— Благодарю вас, это все. — Тот повернулся, чтобы уйти, но Уорбертон остановил его: — У вас, кажется, были неприятности с вашими слугами?

Купер зло засмеялся:

— Они пытались меня шантажировать. У них хватило нахальства удрать — у всех, кроме этого бестолкового Аббаса,

¹ Господин (малайск.).

он-то понимает, что ему крупно повезло, — но я был тверд, как камень. Ну, у них и поубавилось спеси.

— Что вы имеете в виду?

— Сегодня утром все они опять были на местах — повар-китаец и прочие. И все как ни в чем не бывало; можно подумать, они у себя дома. Сообразили, надо полагать, что я не так глуп, как им казалось.

— Ничего подобного. Они вернулись по моему специальному распоряжению.

Купер слегка покраснел.

— Я просил бы не вмешиваться в мои личные дела.

— Это не ваше личное дело. Когда от вас сбегают слуги, вы оказываетесь в глупом положении. Сами вы вольны выставять себя на посмеище, сколько вам угодно, но я не могу допустить, чтобы вас поднимали на смех другие. Вы не должны оставаться без прислуги, это неприлично. Как только я услышал, что ваши бои ушли от вас, я велел им чуть свет снова быть на месте. Вот и все.

Мистер Уорбертон кивнул, давая понять, что разговор окончен. Купер не обратил на это внимания.

— А знаете, что я сделал? Я созвал их и уволил всю эту паршивую шайку. Сказал, чтоб через десять минут их духу не было в доме.

Мистер Уорбертон пожал плечами.

— Почему вы думаете, что вам удастся нанять других?

— Я велел своему секретарю об этом позаботиться.

Мистер Уорбертон минуту подумал.

— По-моему, вы вели себя очень неразумно. Впредь вам полезно помнить, что у хорошего хозяина все слуги хороши.

— Еще чему вы хотите меня учить?

— Я охотно поучил бы вас приличным манерам, но, боюсь, это будет тяжкий и неблагодарный труд, а я не имею возможности тратить время понапрасну. Я позабочусь о том, чтобы вы не остались без прислуги.

— Пожалуйста, не трудитесь. Я и сам достану себе прислугу.

Мистер Уорбертон язвительно улыбнулся. Похоже, что Купер его так же не терпит, как он — Купера, а что может быть досаднее, чем необходимость принять одолжение от ненавистного тебе человека?

— Позвольте сказать вам, что нанять здесь малайцев или китайцев вам теперь будет не легче, чем англичанина-

дворецкого или повара-француза. Если кто-либо и пойдет к вам в услужение, то единственно лишь по моему приказу. Угодно вам, чтобы я распорядился?

— Нет.

— Воля ваша. До свидания.

Холодно и насмешливо наблюдал мистер Уорбертон за дальнейшим ходом событий. Секретарю Купера не удалось уговорить ни одного малайца, даяка или китайца пойти на службу к такому хозяину. Аббас, единственный, кто остался ему верен, умел готовить только туземные блюда — и, как ни был неприхотлив Купер, неизменный рис в конце концов ему осточертел. У него не было водоноса, а в такую жару необходимо несколько раз в день принять ванну. Он клял Аббаса на чем свет стоит, но Аббас выслушивал его в утробном молчании и делал лишь то, что считал нужным. Купера бесило сознание, что малаец не уходит от него только по приказу резидента. Так продолжалось две недели, а потом в одно прекрасное утро те самые слуги, которым он дал расчет, вновь оказались на своих местах. Купер пришел в ярость, однако за это время он все-таки научился уму-разуму и, ни слова не сказав, оставил их у себя. Он примирился со своим унижением, но странности мистера Уорбертона теперь не только злили его — презрение перешло в утробную ненависть: ведь этот ехидный сноб сделал его посмешищем в глазах туземцев!

Теперь эти двое не поддерживали никаких неофициальных отношений друг с другом. Нарушен был освященный годами обычай — в шесть часов вечера выпивать по стаканчику вина с любым белым, оказавшимся в пределах резиденции, все равно, по душе он вам или не по душе. Каждый жил так, словно другого нет на свете. Теперь, когда Купер вполне освоился с работой, им почти не было нужды разговаривать друг с другом и по службе. Мистер Уорбертон все распоряжения передавал своему помощнику только через курьера или письменно, в строго официальной форме. Виделись они постоянно, этого никак нельзя было избежать, но за неделю не обменивались и десятком слов. Уже одно то, что они не могли не попадаться друг другу на глаза, раздражало и злило обоих. Взаимная неприязнь не давала им покоя, и мистер Уорбертон во время вечерней прогулки только о том и думал, до чего ему ненавистен его помощник.

И, что самое ужасное, по всей вероятности, им придется вести такую жизнь один на один, в непримиримой вражде, до тех пор, пока Уорбертон не уедет в отпуск. А это будет только через три года. И у него нет оснований жаловаться высшему начальству. Купер прекрасно справляется со своими обязанностями, а время такое, что нового помощника подыскать нелегко. Правда, до резидента доходили туманные жалобы и намеки на то, что Купер чересчур резок с туземцами. Без сомнения, они недовольны. Но когда мистер Уорбертон пробовал разобраться в том или ином случае, он мог сказать только, что Купер был суров там, где не повредила бы мягкость, и черств тогда, когда сам он, Уорбертон, проявил бы участие. Однако он не делал ничего такого, за что можно было бы взыскать. Но Уорбертон не спускал с него глаз. Ненависть обостряет зрение. Он догадывался, что Купер едва ли считает туземцев людьми, хоть в обращении с ними и не выходит за рамки законности, понимая, что так он вернее досадит начальнику. Но, пожалуй, настанет день, когда он зайдет слишком далеко. Мистер Уорбертон хорошо знал, каким раздражительным делает человека вечная жара и как трудно после бессонной ночи сохранять самообладание. Он внутренне посмеивался. Рано или поздно Купер сам отдаст себя в его власть.

Когда это наконец случилось, мистер Уорбертон рассмеялся вслух. Купер ведал заключенными; они прокладывали дороги, строили сараи, садились на весла, когда надо было выслать лодку вверх или вниз по реке, поддерживали чистоту в форте и выполняли другие необходимые работы. Те, кто отличался хорошим поведением, иногда даже служили в доме у белых. Купер не давал им пощады. Пусть пошевеливаются! Он с наслаждением изобретал для них все новые и новые задачи; арестанты понимали, что их заставляют тратить силы впустую, и делали все кое-как. Купер в наказание заставлял их работать дольше обычного. Это было против правил, и, когда об этом сообщили мистеру Уорбертону, он, ни слова не сказав помощнику, немедленно распорядился, чтобы работы производились только в установленные часы; Купер, выйдя на прогулку, с удивлением увидел, что арестанты возвращаются в тюрьму: по его приказу они должны были работать дотемна. Он спросил надзирателя, почему работу прекратили так рано, и услышал в ответ, что так велел резидент.

Купер побелел от бешенства и зашагал к форту. Мистер Уорбертон, в белоснежном полотняном костюме и аккуратном шлеме, с тростью под мышкой, как раз собирался со своими собаками на вечернюю прогулку. Он видел, как незадолго до того Купер вышел из дому и спустился к реке. Теперь он, перескакивая через две ступеньки, взбежал на веранду и подошел к Уорбертону.

— Какого дьявола вы отменили мой приказ, чтобы арестанты работали до шести? — выпалил он, вне себя от ярости.

Мистер Уорбертон широко раскрыл холодные голубые глаза и изобразил на лице величайшее изумление.

— В своем ли вы уме? Неужели вы до того невежественны, что даже не понимаете, насколько недопустим подобный тон в разговоре со старшим по должности?

— А, идите вы к черту. Арестанты — моя забота, и вы не имеете права вмешиваться. Я в ваши дела не суюсь — и вы в мои не суйтесь. Какого дьявола вы меня выставяете дураком? Каждая собака будет знать, что вы отменили мой приказ.

— Вы были не вправе отдать такой приказ, — по-прежнему холодно и спокойно ответил Уорбертон. — Я отменил его, потому что это тирания и жестокость. Поверьте, я не выставяю вас и вполнину таким дураком, каким вы сами себя выставяете.

— Вы меня сразу невзлюбили, не успел я сюда приехать. Уж как вы старались, чтобы мне стало невмоготу здесь работать, а все потому, что я не желал лизать вам пятки. Вы готовы сжить меня со свету, потому что я к вам не подлаживаюсь!

Купер кричал с пеной у рта: забыв об осторожности, он ступил на зыбкую почву. Глаза мистера Уорбертона стали совсем уж ледяными и колючими.

— Ошибаетесь. Я считал вас наглецом, но был вполне доволен тем, как вы справляетесь со своими обязанностями.

— Сноб. Проклятый сноб. Вы меня считали наглецом, потому что я не учился в Итоне. Да, да, в Куала-Солор мне говорили, чего от вас ждать. Ха, может, вам не известно, что вся колония над вами потешается? Да я чуть не покатился со смеху, когда вы мне стали рассказывать эту вашу знаменитую историю про принца Уэльского. Господи боже мой, какой хохот стоял в клубе, когда мне про это рассказывали! Ей-богу, куда лучше быть наглецом, чем таким вот снобом!

Он угодил в самое больное место.

— Вон из моего дома! — крикнул Уорбертон. — Уходите сию же минуту, или я вас ударю!

Купер подошел к нему вплотную, взглянул прямо в глаза.

— Только тронь! — сказал он. — Ох, черт, хотел бы я поглядеть, как ты меня ударишь! Может, повторить? Сноб! Сноб!

Купер был на три дюйма выше Уорбертона, жилист, молод и силен. Мистеру Уорбертону минуло пятьдесят четыре, и он оброс жирком. Он занес кулак. Купер перехватил его руку и с силой оттолкнул его.

— Не валяйте дурака. Я ведь не джентльмен. Кулаками работать я умею.

Он хрипло захохотал и, скривив лицо в насмешливой гримасе, сбегал с веранды. Мистер Уорбертон бессильно опустился в кресло. Сердце его неистово колотилось, он горел как в лихорадке. Одну ужасную минуту ему казалось, что он вот-вот расплчется. Но вдруг до его сознания дошло, что на веранде он не один — поодаль стоял старший бой, — и он снова взял себя в руки. Бой подошел ближе и подал ему виски с содовой. Мистер Уорбертон молча выпил стакан до дна.

— Что ты хотел мне сказать? — спросил он, сиюсь улыбнуться непослушными губами.

— Туан, этот туан-помощник — плохой человек. Аббас опять хочет от него уйти.

— Пусть немного подождет. Я напишу в Куала-Солор и попрошу, чтобы туан Купер уехал куда-нибудь в другое место.

— Туан Купер недобрый с малайцами.

— Уйди.

Слуга неслышно удалился. Мистер Уорбертон остался наедине со своими мыслями. Ему представился клуб в Куала-Солор; мужчины в светлых спортивных костюмах с наступлением темноты бросили гольф и теннис и собрались за столом у окна; они пьют виски и коктейли и хохочут, пересказывая знаменитую историю о том, как он беседовал в Мариенбаде с принцем Уэльским. Стыд и отчаяние жгли мистера Уорбертона. Сноб! Все они считают его снобом. А он-то всегда считал их очень славными людьми, он, истинный джентльмен, неизменно держался с ними как равный, хотя они и не бог весть кто. Теперь они ему ненавистны. Но эта

ненависть — ничто по сравнению с тем, как он ненавидит Купера! А ведь если бы дошло до драки, Купер просто-напросто его отколотил бы! Слезы горького унижения струились по красным пухлым щекам мистера Уорбертона. Так он просидел несколько часов, курил сигарету за сигаретой и жаждал одного: умереть.

Наконец вернулся бой и спросил, угодно ли ему переодеться к обеду. Да, конечно! Он ведь всегда переодевается к обеду. Мистер Уорбертон устало поднялся с кресла, надел крахмальную сорочку и стоячий воротничок. Потом он сидел за нарядно убранным столом и ему, как всегда, прислуживали два боя, а два других размахивали опахалами. А там, в бунгало, в двухстах ярдах от него, поедает свой жалкий обед Купер, и на нем только и надето что саронг да рубаха. Ноги его босы, и за едой он, надо полагать, читает какой-нибудь детектив. Пообедав, мистер Уорбертон сел писать письмо. Султан как раз был в отъезде, но он писал лично и секретно его приближенному советнику. Купер прекрасно справляется со своими обязанностями, писал мистер Уорбертон, но беда в том, что у него тяжелый характер. Они никак не могут поладить, и он, Уорбертон, был бы в высшей степени признателен, если бы Купера перевели куда-нибудь в другое место.

На следующее утро он отослал письмо с нарочным. Ответ пришел через две недели, вместе с остальной ежемесячной почтой. Это была личная записка, она гласила:

«Дорогой Уорбертон!

Не хочу отвечать на Ваше письмо в официальной форме, поэтому пишу сам несколько строк. Конечно, если Вы настаиваете, я доложу о Вашей просьбе султану, но, мне кажется, с Вашей стороны было бы гораздо благоразумнее оставить все, как есть. Я знаю, Купер грубоват, неотесан, но он способный малый, а в годы войны ему пришлось туго, и теперь следует дать ему возможность выдвинуться. Мне кажется, Вы склонны приписывать положению человека в обществе чересчур большое значение. Не забывайте, что времена изменились. Разумеется, это очень хорошо, когда человек еще и джентльмен, но гораздо важнее, чтобы он знал свое дело и работал, не жалея сил. Будьте немножко снисходительнее, и я уверен, что Вы с Купером отлично поладите.

Искренне Ваш *Ричард Темпл*».

Мистер Уорбертон выронил письмо. Не так уж трудно читать между строк. Дик Темпл, с которым они знакомы двадцать лет, Дик Темпл, выросший в прекрасной семье, считает его снобом и потому отмахнулся от его просьбы. Внезапное отчаяние овладело Уорбертоном. Тот мир, что был ему родным, отошел в прошлое, а будущее принадлежит иному, менее достойному поколению. Это поколение олицетворяет собою Купер, а Купера он ненавидит всей душой. Он потянулся за стаканом, и, едва он зашевелился, к нему подошел старший бой.

— Я не знал, что ты здесь.

Бой поднял с полу письмо в казенном конверте. А-а, вот чего он дожидался.

— Туан Купер уедет, туан?

— Нет.

— Будет беда.

Мистер Уорбертон слишком устал, и в первую минуту смысл этих слов не дошел до его сознания. Но только в первую минуту. Потом он выпрямился в кресле и посмотрел на боя. Он был весь внимание.

— Что это значит?

— Туан Купер нехорошо поступает с Аббасом.

Мистер Уорбертон пожал плечами. Откуда такому Куперу знать, как обращаться со слугами? Мистер Уорбертон часто встречал людей подобного склада: такой будет с лакеем запанибрата, а через минуту накричит и унизит его.

— Пусть Аббас вернется домой.

— Туан Купер не платит ему жалованья, чтобы он не мог убежать. Три месяца ничего не платит. Я уговариваю Аббаса терпеть, но он очень сердит, не хочет слушать. Если туан Купер станет и дальше его обижать, будет беда.

— Ты хорошо сделал, что рассказал мне об этом.

Какой болван! Неужели он так плохо знает малайцев, что воображает, будто их можно безнаказанно оскорбить? Вот всадят ему в спину крик — и поделом, черт возьми. Крик... Сердце мистера Уорбертона на мгновение замерло. Не надо только ни во что вмешиваться — и в один прекрасный день он избавится от Купера. Он слабо улыбнулся, вспомнив крылатое слово об «умелом бездействии». И теперь его сердце забилося чуточку быстрее, ибо ему представилось, как ненавистный Купер лежит ничком на тропинке в джунглях и между лопаток у него торчит кривой малайский

нож. Самый подходящий конец для наглеца и грубияна. Мистер Уорбертон вздохнул. Его долг — предупредить Купера, и, разумеется, он так и сделает. Он написал коротенькую официальную записку, предлагая Куперу сейчас же прийти в форт.

Через десять минут Купер явился. С того дня, как Уорбертон едва его не ударил, они не разговаривали друг с другом. И теперь мистер Уорбертон не предложил ему сесть.

— Вы хотели меня видеть? — спросил Купер.

Он был неряшливо одет и, должно быть, не умывался сегодня. Лицо и руки сплошь в красных пятнах, потому что он расчесал до крови укусы moskitov. Похудел, осунулся, смотрит исподлобья.

— Насколько я понимаю, у вас опять нелады с прислугой, — начал Уорбертон. — Аббас, племянник моего старшего боя, жалуется, что вы задерживаете ему жалованье за три месяца. Я считаю, что это чистейший произвол. Юноша хочет от вас уйти, и я нисколько его не осуждаю. Я вынужден настаивать, чтобы вы уплатили Аббасу все, что ему причитается.

— Я не желаю его отпускать. Я удерживаю его жалованье как залог, чтоб он вел себя прилично.

— Вы не знаете нрава малайцев. Они очень чувствительны к оскорблению и к насмешке. Они пылки и мстительны. Мой долг предупредить вас, что, испытывая терпение этого юноши, вы подвергаете себя серьезной опасности.

Купер презрительно фыркнул.

— А что он, по-вашему, сделает?

— По-моему, он вас убьет.

— А вам жалко?

— О нет, — со смешком ответил мистер Уорбертон. — Я мужественно перенесу этот удар. Но, как лицо официальное, я обязан вас надлежащим образом предупредить.

— И вы думаете, я испугаюсь паршивого негра?

— Это мне глубоко безразлично.

— Ладно, к вашему сведению, я и сам сумею о себе позаботиться. Этот ваш Аббас — дрянь, воришка. Пусть только он попробует со мной шутки шутить! Я сверну ему шею, черт подери!

— Это все, что я хотел вам сказать, — произнес мистер Уорбертон. — До свидания.

И он легонько кивнул — это означало, что подчиненный может идти. Купер залился краской, постоял минуту в нерешимости, потом неловко повернулся и вышел. Мистер Уорбертон с ледяной улыбкой смотрел ему вслед. Он исполнил свой долг. Но что бы он подумал, знай он, что Купер, возвратясь к себе, в свое безмолвное и унылое жилище, бросился на кровать и, охваченный горьким чувством одиночества, потерял всякую власть над собой! Грудь его разрывалась от рыданий, по худым щекам катились свинцовые слезы.

После этого мистер Уорбертон почти не видел Купера и ни разу с ним не говорил. Каждое утро он читал «Таймс», потом занимался делами, совершал прогулку, переодевался к обеду, а пообедав, сидел в беседке у реки и курил сигару. Если ему и случалось столкнуться с Купером, он попросту не замечал его. Каждый ежеминутно помнил о близости другого и, однако, вел себя так, словно тот вообще не существует. Время шло, но их вражда оставалась все такой же ожесточенной. Они зорко следили друг за другом, и каждому был известен любой шаг и поступок другого. Мистер Уорбертон в юности был метким стрелком, но с годами вкусы его переменились, и теперь ему претило убивать дикую лесную тварь; Купер же по воскресеньям и в праздники уходил с ружьем в джунгли: если охота бывала удачна, он торжествовал победу над Уорбертоном, когда же возвращался ни с чем, мистер Уорбертон фыркал и пожимал плечами. Уж эти приказчики, изображающие из себя спортсменов! Рождественские праздники для обоих были нестерпимо тяжелы: они обедали в одиночестве, каждый у себя, и оба совершенно сознательно напивались. Кроме них, на двести миль вокруг не было ни одного белого, а они жили на расстоянии окрика друг от друга. Вскоре после Нового года Купера свалила лихорадка, и, увидав его потом, Уорбертон был поражен — так страшно тот исхудал. Он казался совсем больным и измученным. От одиночества, вдвойне противоестественного потому, что оно не вызывалось необходимостью, Купер совсем извелся. Извелся и Уорбертон, часто по ночам он не мог уснуть. Он лежал и предавался невеселым мыслям. Купер пьет сверх меры, и, без сомнения, недалек час, когда он сорвется; однако с туземцами он осторожен и не дает начальнику повода в чем-либо его упрекнуть. Они вели угрюмую, молчаливую борьбу. Это было испытание выдержки.

Проходили месяцы, и ни тот, ни другой не сдавался. Они были точно обитатели страны, где царит вечная ночь, и их угнетало сознание, что никогда для них не наступит рассвет. Казалось, они обречены до скончания века жить все в той же тупой и злобной ненависти.

И когда неизбежное наконец совершилось, оно потрясло Уорбертона, как нежданный удар. Купер заявил, что Аббас украл у него какие-то рубашки, и, когда бой заспорил, схватил его за шиворот и спустил с лестницы. Аббас потребовал свое жалованье, и Купер обрушил на него все ругательства, какие только знал. Чтобы через час этого негодяя здесь не было, не то сидеть ему в полиции! На другое утро бой подстерег его у форта, когда Купер шел на службу, и снова спросил свое жалованье. Купер с размаху ударил его кулаком в лицо. Аббас упал, а когда поднялся, из разбитого носа у него струилась кровь.

Купер пришел в канцелярию и сел за работу. Но он не мог сосредоточиться. Гнев его остыл, и теперь он понимал, что хватил через край. Его грызла тревога. Он чувствовал себя больным и несчастным, он совсем пал духом. За стеною в своем кабинете сидел Уорбертон, и Куперу захотелось пойти и все ему рассказать; он было привстал со стула, но тут же ясно представил себе, с каким холодным презрением его выслушают. Он уже видел высокомерную улыбку Уорбертона. На минуту ему стало не по себе: Аббас теперь способен на все. Недаром Уорбертон предостерегал его... Купер вздохнул. Какого он свалил дурака! Но тут же с досадой передернул плечами. Не все ли равно? Что за радость — такая жизнь! А все Уорбертон виноват: если бы он не злился по пустякам, ничего бы такого не случилось. Уорбертон с самого начала отравлял ему существование. Сноб проклятый! Впрочем, все они такие; это потому, что он, Купер, уроженец колоний. Стыд и срам, что его так и не произвели в офицеры, он воевал ничуть не хуже других. Все они паршивые снобы. И теперь он не покорится, черта с два. Конечно, Уорбертон пронюхает о том, что произошло, — старая лиса всегда все знает. Но ему не страшно. Не испугают его никакие малайцы, и пропади он пропадом, этот Уорбертон!

Он не ошибся, Уорбертон действительно узнал о случившемся. Старший бой рассказал ему об этом, когда он вернулся домой ко второму завтраку.

— Где сейчас твой племянник?

— Не знаю, туан. Он ушел.

Мистер Уорбертон промолчал. После завтрака он имел обыкновение вздремнуть, но сегодня ему не спалось. Взгляд его то и дело обращался к бунгалу, где отдыхал Купер.

Остолоп! Ненадолго мистера Уорбертона охватили сомнения. Понимает ли этот Купер, какая ему грозит опасность? Пожалуй, следует за ним послать. Но ведь всякий раз, как пытаешься его вразумить, в ответ слышишь одни только дерзости. Внезапный бешеный гнев всколыхнулся в груди Уорбертона, даже вены на висках вздулись, и он сжал кулаки. Наглец был предупрежден. Теперь пусть получает по заслугам. Его это не касается, и не его вина, если что-нибудь случится. Но в Куала-Солор еще пожалеют, что не вняли его совету и не перевели Купера в другое место.

В этот вечер Уорбертону было особенно тревожно. Пообедав, он принялся шагать взад и вперед по веранде. Когда старший бой собрался уходить, мистер Уорбертон спросил, не видал ли кто-нибудь Аббаса.

— Нет, туан. Он, верно, пошел в деревню, к брату своей матери.

Мистер Уорбертон посмотрел на него в упор, но слуга не поднимал глаз, и взгляды их не встретились. Уорбертон спустился к реке, посидел в беседке. Но не было ему покоя. Река текла тихая, зловещая. Точно огромная змея, лениво скользила она к морю. И в джунглях на том берегу тоже таилась глухая угроза. Ни птичьего пения, ни вздоха ветерка в листве кассий. Все вокруг словно замерло, чего-то ожидая.

Он пересек сад и вышел на дорогу. Отсюда было хорошо видно бунгалу Купера. Окно гостиной светилось, и через дорогу долетали звуки рэгтайма: Купер завел граммофон. Уорбертона передернуло, он никак не мог одолеть отвращения к этому инструменту. Если бы не граммофон, он бы пошел и поговорил с Купером. Он повернулся и побрел к себе. Он читал до глубокой ночи и наконец уснул. Но спал он недолго, его мучили страшные сны, и ему показалось, что разбудил его какой-то крик. Конечно, и это тоже только приснилось, ведь никакой крик — из бунгалу, например, — не донесся бы до его спальни. До рассвета он больше не сомкнул глаз. Потом слышались торопливые шаги, голоса, его старший бой, даже без фески, ворвался в комнату, и сердце замерло в груди Уорбертона.

— Туан, туан!

Уорбертон вскочил.

— Сейчас приду!

Он сунул ноги в домашние туфли и в саронге и пижамной куртке прошел к Куперу. Купер лежал на кровати, рот его был открыт, а в сердце вонзился крис. Его убили во сне. Мистер Уорбертон вздрогнул; не потому, что он не ждал увидеть именно такую картину, нет, — он вздрогнул, вдруг почувствовав себя безмерно счастливым. Тяжкий камень скатился с его души.

Купер уже совсем очоценел. Мистер Уорбертон вытащил крис из раны — убийца всадил его с такой силой, что едва удалось его извлечь, — и осмотрел. Нож был ему знаком. Этот самый крис ему предлагал торговец недели три назад, и мистер Уорбертон знал, что его купил Купер.

— Где Аббас? — строго спросил он.

— Аббас в деревне, у брата своей матери.

Сержант туземной полиции стоял в ногах кровати.

— Возьми двух человек, ступай в деревню и арестуй его.

Мистер Уорбертон сделал все, что требовалось сделать безотлагательно. С каменным лицом отдавал он приказания. Они были кратки и властны. Потом он вернулся в форт. Он побрился, принял ванну, оделся и вышел в столовую. Возле прибора его ждала нераспечатанная «Таймс». Мистер Уорбертон взял себе фруктов. Старший бой налил ему чаю, другой подал яичницу. Мистер Уорбертон завтракал с аппетитом. Старший бой все не уходил.

— Что тебе? — спросил мистер Уорбертон.

— Туан, мой племянник Аббас всю ночь провел в доме брата своей матери. Это можно доказать. Его дядя присягнет, что он не выходил из дому.

Мистер Уорбертон, нахмурясь, обернулся.

— Туана Купера убил Аббас. Ты это знаешь не хуже меня. Правосудие должно свершиться.

— Но туан не повесит его?

Мистер Уорбертон мгновение колебался, и, хотя голос его по-прежнему был тверд и суров, во взгляде что-то дрогнуло. Какая-то искорка мелькнула в глазах, и глаза малайца ответно блеснули.

— У Аббаса есть некоторое оправдание: не он начал первый. Его посадят в тюрьму. — Наступило короткое мол-

чение, мистер Уорбертон положил себе джема. — Когда он отбудет часть своего срока, я возьму его сюда, он будет служить мне. Ты его как следует обучишь. Я не сомневаюсь, что в доме туана Купера он приобрел дурные привычки.

— Аббасу надо прийти и повиниться, туан?

— Это было бы разумнее всего.

Бой удалился. Мистер Уорбертон взял «Таймс» и аккуратно разрезал обертку. Приятно разворачивать плотные, шелестящие страницы. Утро чудесное — такая свежесть, такая прохлада! Мистер Уорбертон обвел дружелюбным взглядом свой сад. Огромная тяжесть свалилась с его души. Он обратился к тем столбцам, где сообщалось о рождениях, смертях и свадьбах. Эти новости он всегда просматривал прежде всего. Знакомое имя привлекло его внимание. Наконец-то у леди Ормскерк родился сын. Господи, до чего, должно быть, рада ее высокородная матушка! Со следующей же почтой надо ее поздравить.

Из Аббаса выйдет отличный слуга.

Болван этот Купер!

МИРАЖ

Я много месяцев ездил по Востоку и наконец попал в Хайфон. Город это торговый, скучный, но отсюда всегда можно найти какой-то транспорт до Гонконга. Надо было только переждать несколько дней, и совершенно нечем было заняться. Правда, из Хайфона можно съездить в залив Алонг, который является одной из *Sehenswürdigkeiten* Индокитая, но достопримечательности мне надоели. Я довольствовался тем, что просто сидел в кафе, благо там не слишком жарко и можно хотя бы вылезти из тропического облачения, почитывая старые номера «L'Illustration», или же, моциона ради, ходил бодрым шагом по прямым и широким городским улицам. Хайфон весь перерезан каналами, на каналах кишат бесчисленные туземные лодки, и подчас разнообразные сцены, которые открывались моему взгляду, были красочны и полны очарования. Один канал, зажатый рядами высоких китайских домов по обоим берегам, образовывал живописный изгиб и был особенно приятен глазу. Беленые, но побуревшие, в цветных разводах, стены домов, серые крыши на фоне блеклого неба — пейзаж в полутонах, проникнутый нежным изяществом старой акварели. Мягкие, как бы усталые краски, будящие в душе легкую печаль. Сам не знаю почему, но этот вид привел мне на ум одну старую деву, которую я знал, когда был молод, — эдакий пережиток викторианской эпохи: она носила черные шелковые митенки и вязала крючком шали для бедных, вдовам черные, а мужним женам белые, и считалось, что когда-то в молодости пережила горе, но что именно — болезнь или несчастную любовь, никто толком не знал.

Однако в Хайфоне выпускалась местная газета — убогий листок, набранный жирным шрифтом, с которого

типографская краска сходила на пальцы; она содержала статью о политике, телеграфные новости, объявления и городские известия. Издатель явно испытывал недостаток в материале, так как печатал еще и списки новоприбывших и отбывающих лиц — европейцев, местных жителей и китайцев; и в такой список, наряду с прочими, попала и моя фамилия. Накануне того дня, на который назначено было отплытие старой посуды, увозившей меня в Гонконг, я сидел в кафе моей гостиницы и потягивал аперитив в ожидании второго завтрака, как вдруг ко мне подошел официант и сообщил, что меня желает видеть один господин. Я в Хайфоне никого не знал и, естественно, заинтересовался, кто это. Официант ответил, что господин — англичанин, что он живет здесь, но имени его назвать мне не смог. Он едва-едва изъяснялся по-французски, я вообще мало понял из того, что он говорил. Недоумевая, я велел ему пригласить посетителя в зал. Через минуту он появился в дверях с каким-то белым мужчиной и указал ему на меня. Тот посмотрел на меня с порога и двинулся к моему столику. Мужчина был очень высокого роста, много больше шести футов, довольно грузный, расплывшийся, с багровым бритым лицом, на котором выделялись удивительно светлые голубые глаза. Одет в поношенные шорты цвета хаки и расстегнутую у ворота китайскую рубашу, на голове — старый тропический шлем. Я сразу заключил, что вижу перед собой бродягу из бывших, который хочет обратиться ко мне с просьбой о вспомоществовании, и стал прикидывать, на сколько придется раскошелиться.

Он подошел и протянул мне большую красную руку с обломанными грязными ногтями.

— Вы меня, конечно, не узнаете, — сказал он. — Моя фамилия Гроусли, я учился с вами в больнице Святого Фомы. Вычитал ваше имя в газете и вот решил прийти повидаться.

Я его совершенно не помнил, но пригласил сесть за мой столик и чего-нибудь выпить. Сначала, по внешнему виду, я было подумал, что он попросит десять пиастров и можно будет дать ему пять, но при таком обороте дела как бы он не попросил сотню, и хорошо еще будет, если я отделаюсь пятьюдесятью. Профессиональный попрошайка всегда запрашивает вдвойне против того, что ожидает получить, и только сердится, если дать ему всю сумму, досадует на себя, что не запросил больше. Считает себя обманутым.

— Вы врач? — спросил я его.

— Да нет, я там всего год продержался.

Он снял свой тропический шлем и обнажил нечесаную копну седых волос. Лицо у него было нездоровое, в каких-то странных пятнах. Зубы спереди сгнили, а с боков и вовсе зияли провалы. Когда подошел официант принять заказ, он спросил коньяку.

— Принеси бутылку, — добавил он, — *la bouteille*. — Он обернулся ко мне: — Пять лет здесь живу, а с французским никак не слажу. Я говорю по-тонкински. — Он откинулся назад вместе со стулом и посмотрел на меня. — А знаете, я вас хорошо помню. Вы еще дружили с теми близнецами, как бишь была их фамилия? Я, должно быть, изменился больше вашего. Прожил полжизни в Китае, знаете ли. Пакостный климат, такое делает с человеком...

Я по-прежнему совершенно его не помнил. И откровенно признался ему в этом.

— Вы поступали в том же году, что я? — спросил я его.

— Да, в девяносто втором.

— Черт знает, как давно это было.

В медицинскую школу при больнице поступало каждый год около шестидесяти молодых людей, иногда совсем еще подростков, неловких, робеющих на пороге новой жизни; многие вообще первый раз в Лондоне; и для меня они были не более как безымянные тени, мелькающие на белой стене. За год часть из них по тем или иным причинам отсеялась, а на второй год те, кто остался, начали постепенно приобретать индивидуальные черты. В моем сознании они были не только они сами, но еще и лекции, которые мы вместе слушали, и кофе с булочкой, которыми кормились за одним столиком, и трупы, которые препарировали бок о бок в анатомичке, и «Красотка из Нью-Йорка» в театре «Шафтсбери», которую вместе смотрели из задних рядов партера.

Официант принес бутылку коньяка, Гроусли, если такова действительно была его фамилия, налил себе почти полный стакан и, не разбавляя ни водой, ни содовой, выпил единым духом.

— Медицина оказалась не по мне, — объяснил он. — Я это дело бросил. Ну, а родным надоело со мной нянчиться, и меня отослали в Китай. Дали с собой сотню фунтов —

управляйся сам, как хочешь, А я, надо сказать, и рад был уехать, мне они осточертели, наверное, не меньше, чем я им. Больше я их уже не затруднял своей особой.

И тут из глубины моей памяти поднялось и заплескалось по краю что-то похожее на воспоминание — так во время прилива вода то набежит на песок, то отступит, чтобы со следующей волной продвинуться еще дальше. Сначала припомнилось что-то про скандал, мелкий, но, однако, попавший в газеты. Потом встало перед глазами юношеское лицо, и так одно за другим ожили в памяти все обстоятельства. Я узнал его. Правда, он тогда звался не Гроусли, у него была, если не ошибаюсь, односложная фамилия, хотя ручаться не могу. Высокий юноша (я теперь отчетливо представлял его себе), худой, с сутулинкой, едва восемнадцати лет от роду, из таких, которые вытягиваются вдруг, у них рост обгоняет силу. Каштановые шелковистые локоны, крупные черты лица (теперь, вероятно из-за толщины и одутловатости, они уже не выглядели такими крупными) и удивительно нежный, свежий, как у девушки, румянец во всю щеку. Люди, я думаю, в особенности женщины, считали его, конечно, красавчиком, но для нас он был просто нескладный дылда. Еще я вспомнил, что он часто пропускал лекции, вернее, не так, студентов было много, где уж тут помнить, кто присутствовал в аудитории, а кто нет. Но я вспомнил анатомический театр. Гроусли за соседним столом препарировал ногу; и эта нога почти все время оставалась нетронутой. Почему-то, я не знаю почему, другие студенты сердились на его нерадивость, должно быть, он задерживал их работу. В те времена в анатомичке, кромсая трупы, студенты судачили друг с другом на всевозможные темы, и теперь, через тридцать лет, кое-что из тогдашних разговоров ожило у меня в памяти. Один студент заметил, что, мол, вот Гроусли живет не тужит, пьет как бочка и бабник ужасный. Народ в больнице учился простой, они подходили к жизни с мерками, привезенными из дома и школы. Пуритане ужасались, другие, кто прилежно учился, презрительно посмеивались и сулили ему провал на экзаменах, но большинство из нас относились к нему с почтительным восхищением, ведь он вел себя так, как рады были бы и мы, если бы только смели.

У Гроусли появились почитатели, и часто можно было видеть его в окружении небольшой свиты, жадно внима-

ющей рассказам о его похождениях. Воспоминания уже теснили меня со всех сторон. Очень скоро Гроусли утратил прежнюю застенчивость и приобрел замашки записного гуляки. Вот уж, должно быть, не вязались они с обликом этого нежнолицего румяного юноши. Слухи об его эскападах передавались из уст в уста. Он стал героем дня. Проходя через музей, он непременно отпускал язвительные шуточки, если замечал двух старательных студентов, повторяющих на пару урок анатомии. Он стал своим человеком в соседних кабаках и был на короткой ноге с официантками. Теперь, оглядываясь назад, я, мне кажется, понимаю, что, впервые очутившись в Лондоне, вырвавшись из-под опеки родителей и учителей, он как бы ошалел от собственной свободы и от сказочных возможностей столичной жизни. Его развлечения были достаточно безобидны. В нем просто бродила молодая кровь. Он потерял голову.

Но мы все были очень бедны и совершенно не представляли себе, откуда берутся у Гроусли деньги на кутежи. Мы слышали, что отец его — деревенский врач, я думаю, даже знали с точностью, сколько он присылает сыну в месяц. Этого не могло хватить на девиц, которых он подбирал на променаде в «Павильоне», и на виски, которым он угощал приятелей в баре «Критериона». Мы зловещим шепотом высказывали друг другу предположение, что он, должно быть, по уши в долгах. Может быть, конечно, он закладывает вещи, но мы по опыту знали, что под заклад не получишь больше, чем три фунта за микроскоп и тридцать шиллингов за скелет. А у него, мы считали, уходило по крайней мере десять фунтов в неделю. Представления о жизни у нас были более чем скромные, и такие траты казались нам пределом расточительности. Но потом один из его друзей раскрыл секрет: оказывается, Гроусли изобрел превосходный способ добывать деньги. Нам было и смешно, и завидно. Никому из нас такая хитрость не пришла бы в голову, а если б и пришла, все равно никогда не хватило бы смелости ее применить. Гроусли ходил по аукционам, не к Кристи, конечно, а куда-нибудь попроще, на Стрэнд и Оксфорд-стрит, или в частные дома и покупал по дешевке вещи, которые можно было унести с собой. А потом сдавал покупку в ломбард и получал под ее залог на десять-двенадцать шиллингов больше, чем заплатил. Такая деятельность приносила ему по четыре-пять фунтов в неделю, и

он поговаривал, что бросит медицину и сделает из этого настоящий бизнес. Из нас никто еще в жизни не заработал ни пенса, и все смотрели на Гроусли с восхищением.

— Да, вот это умник, — говорили мы.

— Хитрец, каких мало.

— Миллионером будет, из такого теста сделан.

Все мы считали себя в свои восемнадцать лет людьми бывалыми, отлично разбирающимися в жизни. Только почему-то, когда экзаменатор задавал вопрос, у нас, вот досада, от волнения все вылетало из головы, а если сестричка в больнице давала опустить по дороге письмо, мы краснели как маков цвет. Потом стало известно, что Гроусли вызвал к себе декан и устроил ему страшную выволочку. Угрожал разными карами, если он не перестанет пренебрегать занятиями. Гроусли вознегодовал. Этим он сыт по горло еще со школьных дней, заявил он, и не позволит какому-то осломордому еврею обращаться с собой, как с мальчишкой. Да ему, черт возьми, скоро девятнадцать, и уж как-нибудь он сам знает, что хорошо, что плохо. Декан сказал, что, по слухам, он слишком много пьет. Какая наглость. Он умеет пить не хуже любого мужчины, он в прошлую субботу упился до беспамятства и в эту субботу опять собирается упиться до беспамятства, а кому это не нравится, пусть идет известно куда. Приятели все соглашались с Гроусли, что нельзя терпеть подобные оскорбления.

Но в конце концов беда все же пришла, и я теперь отчетливо помнил, как мы были потрясены. Мы не видели Гроусли, наверно, дня два или три, но он и так появлялся в больнице не слишком исправно, и мы если вообще обратили внимание на его отсутствие, то, наверно, считали, что он опять закутил. Дня через два объявится, бледный, но полный впечатлений, и будет рассказывать о том, какую девицу подцепил на этот раз и как отлично провел время. В девять часов утра начиналась лекция по анатомии, и обычно в это время все торопились в аудиторию. Но в тот день лектора мало кто слушал. Напрасно он, упиваясь собственным безупречным выговором и изысканным красноречием, описывал не помню какую часть человеческого организма — по скамьям перебежал взволнованный шепоток и украдкой передавалась с рук на руки сложенная газета. Вдруг лектор замолчал. У него был особый уничижительный педагогический прием: делать вид, будто он не знает фамилии студента.

— Боюсь, что я мешаю джентльмену читать. Анатомия — наука очень скучная, я весьма сожалею, что правила Королевского медицинского колледжа вынуждают меня требовать от вас внимания к этому предмету, дабы вы могли сдать по нему экзамен. Однако любой из присутствующих джентльменов, полагающий это требование чересчур для себя обременительным, вправе продолжить чтение газеты за дверью.

Незадачливый студент, к которому эти слова относились, покраснел до корней волос и в замешательстве стал запихивать газету в карман. Профессор анатомии холодно наблюдал за ним.

— Боюсь, сэр, что газета великовата для вашего кармана, — заметил он. — Может быть, вы будете так добры и отдадите ее мне?

Газета пошла вниз по рядам амфитеатра к лектору, и почтенный профессор, не довольствуясь конфузом, в который поверг бедного студента, получив ее, спросил:

— Позвольте узнать, что в этой газете могло так сильно заинтересовать упомянутого джентльмена?

Студент, подавший ему газету, не говоря ни слова, ткнул пальцем в заметку, которую мы все успели прочесть. Профессор стал читать, а мы сидели и ждали. Потом он отложил газету и продолжил лекцию. Заметка была озаглавлена: «Арест студента-медика». Гроусли предстал перед полицейским судом, обвиненный в том, что закладывал вещи, купленные в кредит. Это оказалось уголовным преступлением, и судья оставил его под стражей сроком на неделю без выпуска под залог. Видимо, изобретенный им способ покупать вещи по дешевке, а потом закладывать не вполне оправдал себя как постоянный источник дохода, и Гроусли решил, что гораздо прибыльнее закладывать вещи, если на их приобретение вообще не тратиться. После лекции мы сбились кучей и взволнованно обсуждали случившееся. И признаюсь, сами не владея собственностью и потому не проникшись сознанием ее святости, мы не считали преступление Гроусли таким уж серьезным; однако со свойственным молодости пристрастием к драме наперебой предсказывали ему от двух лет принудительных работ до семи лет каторги.

Чем вся эта история для Гроусли кончилась, я почему-то не помнил. Возможно, потому, что его арест пришелся

под конец семестра и, когда его судили, мы все уже разъехались на каникулы. Я даже не знал, ограничилось ли дело полицейским судом или же было передано в уголовный. Хотя смутно мне помнится, что все-таки он получил небольшой срок, должно быть, шесть недель, поскольку действовал не без размаха. Одно могу сказать с точностью: из нашей среды он исчез и вскоре о нем забыли. Приходилось только удивляться, что теперь, через столько лет, я этот случай так ясно, со многими подробностями вспомнил. Словно перевернул лист старого фотоальбома, и передо мной открылась давно забытая сцена.

Но, конечно, в этом краснолицем грузном пожилом мужчине я бы никогда не угадал румяного долговязого юношу из времен моей молодости. На вид ему можно было дать лет шестьдесят, хотя я знал, что в действительности он много моложе. Интересно, что с ним все эти годы было? Похоже, что в жизни он не особенно преуспел.

— А что вы делали в Китае? — спросил я.

— Служил береговым смотрителем.

— Вот как?

Должность эта довольно незначительная, но я постарался скрыть удивление. Береговые смотрители — это служащие китайских таможен, в чьи обязанности входит лично посещать все корабли и джонки, прибывающие в открытые порты Китая, как я понимаю, главным образом на предмет борьбы с контрабандой опиума. Они большей частью из бывших матросов или из среднего состава, отслужившие свой срок во флоте. Я наблюдал их на разных судах у берегов Янцзы — они держатся на равных с лоцманом и судовым механиком, а уж шкипер смотрит на них сверху вниз. Эти люди лучше других европейцев усваивают китайский язык и нередко женятся на китаянках.

— Когда я уехал из Англии, то дал себе зарок не возвращаться, пока не разбогатею. И я свой зарок выполнил. Тогда в береговые смотрители брали кого попало, из белых конечно, и вопросов не задавали. Не интересовались, кто вы и что вы. Честно скажу, я рад был получить эту работу, я к тому времени издержался в прах. Пошел тогда к ним временно, покуда не отыщу чего получше, но потом остался, должность мне подходила, мне нужны были деньги, а в береговых смотрителях, я убедился, можно набить карман, надо только уметь взяться. Я прослужил на китайских

таможнях без малого двадцать пять лет и когда уезжал, ручаюсь, что многие официальные представители британской короны позавидовали бы денежкам, которые я с собой увозил.

Он бросил на меня хитрый, вороватый взгляд. Нетрудно было понять, на что он намекает. Но одну вещь мне хотелось уточнить: если он все же намерен попросить у меня сотню пиастров (а я уже смирился с мыслью, что речь пойдет именно о такой сумме), то уж лучше узнать об этом сразу. Я спросил:

— Ну и что же? Надеюсь, вы их не спустили?

— Еще чего. Я клал деньги в банк в Шанхае, а когда уезжал, то на все приобрел американские железнодорожные акции. Мое правило: надежность прежде всего. Уж я-то знаю толк в мошенничествах и рисковать не стану.

Это замечание мне понравилось, и я пригласил его позавтракать вместе со мной.

— Да нет, я, пожалуй, пойду. Я на второй завтрак мало ем и уж лучше подзаправлюсь дома, все равно меня ждут. Мне пора, я думаю. — Он поднялся надо мною во весь рост. — А знаете что, может, вы заглянете ко мне нынче вечером, посмотрите, как я живу? У меня жена здешняя. И малыш есть. Мне редко случается поговорить с кем-нибудь, вспомнить Лондон. Приходите, но не к обеду, у нас пища местная, вам едва ли понравится. Часам к девяти. Придете?

— Хорошо, — ответил я.

Я уже говорил ему, что уезжаю из Хайфона завтра вечером. Он велел официанту принести листок бумаги, чтобы оставить мне адрес. Писал он старательно, почерком четырнадцатилетнего.

— Скажете швейцару, чтобы прочитал рикше адрес. Я живу на третьем этаже. Звонка нет. Стучите. Ну, так увидимся.

И он ушел. А я отправился завтракать.

Вечером после обеда я кликнул рикшу и с помощью швейцара сообщил ему, куда мне надо. Мы поехали, и я увидел, что он везет меня вдоль того самого канала, над которым изогнутые ряды домов напомнили мне блеклую викторианскую акварель. Перед одним из этих домов рикша остановился и указал мне подъезд. Дверь была обшарпана, и кругом такая грязь, что я поначалу заподозрил ошибку.

Не верилось, чтобы Гроусли мог жить в самой глубине туземного квартала и в таком неказистом доме. Я велел рикше ждать, а сам подошел и толкнул входную дверь, за которой оказалась неосвещенная лестничная клетка. Дом словно вымер, и на улице — ни одного прохожего. Как будто сейчас не вечер, а ранний предрассветный час. Я чиркнул спичкой, прислушался и стал ощупью подниматься по лестнице. На площадке третьего этажа снова зажег спичку и увидел перед собой высокую коричневую дверь. Постучался. Дверь тут же отворила маленькая тонкинская женщина со свечой в руке. Она была одета в бурый балахон, какие носят местные жители победнее, на голове — небольшой черный тюрбанчик, рот измазан красным соком бетеля, а зубы и десны, когда она заговорила, оказались, как обычно у этих людей, уродливо черными. Она что-то прошептала по-своему, и тут же раздался голос Гроусли.

— Входите, входите. Я уже думал, вы не появитесь.

Я прошел тесную и темную переднюю и очутился в большой комнате, окнами, как я понял, на канал. Гроусли, вытянув длинные ноги, полулежал в кресле, но встал мне навстречу. Рядом на столике горела керосиновая лампа, при ее свете он читал гонконгские газеты.

— Садитесь, — пригласил он, — и ноги вот сюда.

— Зачем же я буду занимать ваше кресло?

— Садитесь, садитесь. Я устроюсь вот здесь.

Он придвинул какую-то табуретку и уселся, а ноги упер сбоку в кресло.

— Это моя жена. — Он указал большим пальцем на женщину, которая вошла в комнату вслед за мной. — А вот там в углу — малыш.

Я посмотрел, куда он указывал, и увидел у стены на бамбуковых циновках прикрытого одеялом спящего ребенка.

— Забавный постреленок, когда не спит. Жаль, вы его не увидите. У нее скоро будет еще один.

Я покосился на женщину — справедливость его последних слов была очевидна. Женщина была маленькая, с крохотными ручками и ножками, но с плоским нечистым лицом. Смотрела она неприветливо, хотя это могло быть просто от застенчивости. Она вышла и тут же вернулась с бутылкой виски, двумя стаканами и сифоном. Я огляделся. В глубине комнаты шла дощатая некрашенная перегородка, отделявшая, должно быть, еще одну комнату, и к доскам на самом

видном месте был приколот вырезанный из журнала портрет Джона Голсуорси. Голсуорси выглядел скромным, снисходительным и глубоко порядочным, здесь ему было явно не место. Остальные стены были оштукатуренные и побеленные, но грязные, темные. И на них тоже висели картинки из «Графика» или «Иллюстрейтед Лондон ньюс».

— Это я приколот, — сказал Гроусли. — По-моему, с ними уютнее.

— А почему Голсуорси? Вы что, читаете его книги?

— Нет, я даже не знал, что он писатель. Мне лицо понравилось.

На полу кое-где были разостланы вытертые пальмовые циновки, а в углу валялась кипа номеров «Гонконг таймс». Вся мебель составляли умывальник, две или три табуретки, стол, еще один столик и большая туземная кровать из тикового дерева. Тоска и убожество.

— Неплохо живем, правда? — сказал Гроусли. — Меня устраивает вполне. Сначала подумывал о переезде, но теперь уж едва ли куда-нибудь тронусь. — Он усмехнулся. — Остановился в Хайфоне на двое суток, а прожил вот уже пять лет. Я ведь ехал на самом деле в Шанхай.

Он смолк. Мне нечего было ему сказать, и я тоже молчал. Потом его жена произнесла какую-то фразу, которую я, естественно, не понял. Гроусли ей ответил. После этого он опять минуты две молчал, но вид у него был такой, будто он хочет у меня что-то спросить. И почему-то не решается.

— Вы во время ваших путешествий по Востоку не пробовали курить опиум? — спросил он наконец как бы невзначай.

— Попробовал один раз в Сингапуре. Хотел испытать, что это такое.

— Ну, и что?

— По правде сказать, ничего особенного. Я ожидал каких-то дивных ощущений, грез, знаете — в духе Де Куинси. А испытал только физическое удовольствие, как на лежаке в прохладном предбаннике после турецкой бани, ну и своеобразное возбуждение ума, когда, о чем ни подумаешь, все тебе открывается с совершенной ясностью.

— Я знаю.

— По существу, только то и открывается, что дважды два — четыре, и нет ни малейших оснований в этом сомневаться. Зато наутро — бог ты мой! Как у меня кружилась

голова! Как меня целый день мутило и тошнило, как рвало и выворачивало! И при этом я все время думал: а ведь есть же люди, которым это нравится.

Гроусли запрокинул голову и невесело рассмеялся.

— Должно быть, товар был плохого качества. Или же вы лишку хватили. А могли дать вам как человеку неопытному уже перекуреного зелья. От него всякого будет выворачивать. Не хотите еще раз попытать удачи? У меня есть немного, и за качество ручаюсь.

— Нет, с меня одного раза вполне достаточно.

— А вы не против, если я выкурю трубку-другую? При здешнем климате без этого никак нельзя. Предохраняет от дизентерии. Я обычно как раз в это время курю.

— Сделайте милость, — сказал я.

Он дал распоряжение женщине, и она крикнула что-то неприятным, резким голосом. Сквозь дощатую перегородку из соседней комнаты донесся ответ, и через две минуты оттуда вышла старуха с круглым подносом в руках. Она была скрюченная и сморщенная и при виде меня растянула в заискивающей улыбке черный, обмазанный красным бетелем рот. Гроусли встал с табурета, пошел и лег на кровать. Старуха поставила рядом с ним поднос, на подносе были спиртовка, трубка, длинная игла и круглый коробок с опиумом. Сама старуха уселась, подобрав ноги, в изножье кровати, и жена Гроусли в такой же позе устроилась тут же, но ближе к стене. Гроусли, не отрываясь, смотрел, как старуха наколола шарик зелья на кончик иглы, подержала его над пламенем спиртовки, пока он не зашипел, а затем запихнула в трубку. Трубку она передала ему, он глубоко затянулся, задержал дыхание — и выдохнул густое, серое облако дыма. Потом вернул трубку старухе. Она сразу же стала готовить вторую порцию. Никто не говорил ни слова. Гроусли выкурил подряд три трубки и откинулся на постели.

— Ну, так, теперь мне лучше. А то я уж совсем закис. Эта старая ведьма отлично готовит трубки. Может, все-таки соблазнитесь?

— Да нет.

— Как хотите. Тогда чаю попейте.

Он сказал что-то жене, та слезла с кровати и вышла из комнаты. Вскоре она появилась снова и принесла небольшой фарфоровый чайник и две чашки.

— Здесь, знаете ли, многие курят. Это вреда не приносит, если соблюдать меру. Я в день выкуриваю трубок двадцать — двадцать пять, а больше ни-ни. Так можно продержаться не год и не два, надо только себя ограничивать. А тут есть французы, курят в день по сорок — пятьдесят трубок. Это чересчур. Я этого себе не позволяю, разве изредка, когда чувствую, что нуждаюсь во встряске. И должен сказать, худа мне от этого никогда не было.

Мы пили чай, бледный, чуть ароматный и какого-то чистого вкуса. Потом старуха приготовила Гроусли еще одну трубку и еще одну. Жена его снова забралась на кровать и скоро, свернувшись в клубок у него в ногах, уснула. Гроусли курил по две-три трубки в один прием и, пока курил, был полностью поглощен своим занятием, но в перерывах говорил не закрывая рта. Я несколько раз порывался встать и уйти, но он меня не отпускал. Тянулись часы. Раз или два, пока он курил, я даже вздремнул. Он рассказывал мне о себе. И все никак не мог остановиться. Я только изредка вставлял словечко-другое, подавал ему реплики. Воспроизвести его рассказ дословно нет возможности. Он повторялся. Был очень многословен. Говорил о себе беспорядочно, сначала — что было недавно, потом — что этому предшествовало, выстроить рассказ в хронологической последовательности мне уж пришлось самому. Иногда я видел, что из опасения, как бы не сказать лишнего, он кое о чем умалчивает; иногда было ясно, что он лжет, и приходилось угадывать правду по его улыбке, взгляду. Он не настолько владел словом, чтобы передать свои чувства, я должен был понимать его жаргонные выражения и затертые, шаблонные обороты. При этом я все время пытался вспомнить его настоящую фамилию, она вертелась у меня на кончике языка, но никак не давалась, и это меня раздражало, хотя, зачем мне нужна его фамилия, я и сам не знал. Поначалу он отнесся ко мне немного опасливо, я понял, что лондонская история с аукционами и тюрьмой — это его мучительная позорная тайна. Его всю жизнь преследовал страх, как бы кто-нибудь не вытащил ее на свет божий.

— Странно, что вы и сейчас не вспомнили, как мы вместе были у Святого Фомы, — заметил он и поглядел на меня подозрительно. — У вас, должно быть, память никуда не годится.

— Да ведь с тех пор прошло чуть не тридцать лет. У меня были тысячи разных знакомств. Разве есть причина мне помнить вас лучше, чем вам — меня?

— Вы правы. Наверно, нет.

Это, по-видимому, его успокоило. Он наконец накурился вдосталь, тогда старуха приготовила трубку себе и тоже закурила. А потом отковыляла в угол, где спал на циновках ребенок, и притулилась рядом с ним. Как легла, так и замерла, верно, сразу же и уснула. А потом я все-таки наконец ушел и застал внизу моего рикшу крепко спящим на дне коляски. Пришлось его расталкивать. Где я нахожусь, я себе представлял, мне захотелось пройтись и подышать свежим воздухом, поэтому я дал рикше пару пиастров и сказал ему, что дойду пешком.

Странную историю я унес с собой из этого дома.

С чувством, похожим на ужас, выслушал я рассказ Гроусли о двадцати годах, проведенных им в Китае. Он накопил там денег, не знаю сколько, но по тому, как он об этом говорил, думаю, что где-то между пятнадцатью и двадцатью тысячами фунтов, а это для берегового зрителя целое состояние. Честно заработать такую сумму он не мог, и хотя я не представлял себе в частности его работу, но по недомолвкам, по каким-то намекам и ухмылкам можно было понять, что он не брезговал ни одной самой грязной сделкой, если она сулила ему выгоду. И прибыльнее всего была как раз контрабанда опиума, а служебное положение обеспечивало ему безопасность и открывало богатые возможности. У начальства по временам закрадывались подозрения на его счет, но прямых доказательств, необходимых для принятия мер, никогда не было. И дело ограничивалось лишь тем, что Гроусли переводили из порта в порт, что ему, естественно, нисколько не мешало, и следили за ним, да какое там, он всех перехитрил. Я видел, что он в нерешительности: с одной стороны, боится выболтать лишнее и очернить себя в моих глазах, с другой, хотел бы похвастаться своей изворотливостью. Гордясь, он говорил, что китайцы ему безоговорочно доверяли.

— Знали, что на меня могут всегда положиться. А это меня обязывало. Я в жизни не провел ни одного китайца, — рассуждал он в приятном сознании собственной честности.

Китайцы разузнали, что он питает слабость к художественным поделкам, и несли ему подарки или же привозили

разные штучки на продажу; а он никогда не интересовался, откуда они взялись, и покупал по дешевке. Когда набиралось много, отсылал товар в Пекин и с большой выгодой продавал. Мне сразу вспомнилось, как он начинал на коммерческом поприще с того, что покупал вещи на аукционах, а потом их закладывал. Так на протяжении двадцати лет, где нечистоплотной уловкой, где мелким обманом, он прикапливал фунт за фунтом и все, что собирал, помещал в Шанхае. При этом жил скудно, половину жалованья откладывал; в отпуск ни разу не ездил, чтобы зря не тратиться, с китайскими женщинами дела не имел, не хотел себя никак связывать; не пил. Он был поглощен одной мечтой: накопить денег и вернуться в Англию, чтобы снова зажить той жизнью, от которой мальчишкой оторвала его судьба. Другого ему не надо было. Жизнь его в Китае проходила словно во сне; он не видел ничего вокруг, соблазны, краски, своеобразие — ничего этого для него не существовало. Перед ним постоянно висел мираж: Лондон, бар «Критериона», где он сам стоит, уперев ботинок в подножку стойки, променады «Эмпайра» и «Павильона», уличные женщины, оперетка в мюзик-холле и мелодрама в «Гэйети». Вот это — жизнь, и любовь, и приключения. Это — романтика. Это — предел всех его мечтаний. Все-таки действительно тут что-то есть: человек столько лет во всем себе отказывает единственно ради того, чтобы вернуться к такому пошлому образу жизни. Тоже нужна своего рода сила характера.

— Понимаете, — говорил он, — я, даже если бы мог съездить в отпуск в Англию, все равно бы не поехал. Не хотел, пока нельзя было вернуться окончательно. И думалось, уж возвращаться, так с шиком.

Он представлял себе, как будет вечерами выходить из дому в смокинге, с гарденией в петлице, как будет ездить на скачки, одетый в пальто и коричневую шляпу, с биноклем в футляре, висящем через плечо. Как будет оглядывать женщин на панели и выбирать себе по вкусу. У него было давно решено, что вечером по приезде в Лондон он напьется до полного беспамятства, он ведь не пил двадцать лет, при его работе этого нельзя было, там надо держать ухо востро. И по пути в Англию, на пароходе, он не хотел напиваться. Нет, непременно отложить до Лондона. А уж тогда... Он мечтал о том, как все это будет, целых двадцать лет.

Что послужило непосредственной причиной его ухода с Китайской таможни, не знаю — то ли над ним всерьез сгустились тучи, то ли срок контракта вышел, то ли просто он наконец накопил сумму, которую себе назначил. Так или иначе, но он сел на пароход и поплыл домой. Билет он взял второго класса, не хотел транжирить деньги до приезда в Лондон. Снял квартиру на Джермин-стрит, он всегда мечтал там жить, и первым делом отправился к портному, заказал себе гардероб. Все — в самом лучшем виде. А потом начал осматриваться. Лондон предстал перед ним совсем не таким, каким он его помнил, движение на улицах было гораздо больше, и Гроусли немного растерялся, почувствовал себя словно бы не в своей тарелке. Он направился в «Критерион», но оказалось, что там уже нет бара, в котором он когда-то пил и коротал вечера. На Лестер-сквер был ресторан, где он обычно ужинал, если бывал при деньгах, но теперь он никак не мог его найти, верно, снесли. Пошел к «Павильону» — там ни одной девицы; рассердился, двинулся к «Эмпайру», а променада, оказывается, вообще нет. Он был потрясен и никак не мог прийти в себя. Впрочем, что ж, за двадцать лет не могло обойтись без перемен, ну, а если нельзя ничего другого, то уж напиться, по крайней мере, можно. Но в Китае он подхватил лихорадку, и от перемены климата его снова начало трясти, так что он чувствовал себя довольно скверно и после пяти порций виски рад был убраться к себе и лечь в постель.

Первый день — это только один из многих в таком же роде, затем последовавших. Все пошло кривь и вкось. В голосе Гроусли звучала горечь и досада, когда он перечислял мне свои разочарования. Старые заведения все куда-то подевались, народ стал какой-то другой, необщительный, Гроусли страдал от одиночества — в таком-то многолюдном городе, как Лондон. Да, в этом все и дело, город стал чересчур велик, ничего не осталось от веселого, уютного Лондона начала девяностых годов. Все пошло к черту. Гроусли пробовал приводить к себе девиц, но они были куда хуже, чем во времена его молодости, с ними оказалось совсем не так весело, и он смутно чувствовал, что он для них нечто вроде музейного экспоната. Ему было едва за сорок, а они относились к нему как к старику. А молодые люди у стойки в баре не хотели принимать его в свою компанию. Зеленая молодежь, совсем не умеют пить. Смотрели бы да учились.

И он каждый божий день накачивался спиртом, больше-то все равно делать было нечего в этом проклятом месте, и каждое утро вставал совершенно больной. Наверно, китайский климат был виноват. Когда-то студентом-медиком он мог что ни вечер выпивать по бутылке виски, а наутро был свеж как огурчик. Он стал чаще задумываться о Китае, на ум приходили разные разности, которые он, оказывается, запомнил, даже сам того не зная. Неплохая жизнь у него там была. И, наверно, зря он сторонился китайских женщин, среди них были довольно миленькие, и они не важничали, не то что здешние. С такими деньгами, как у него, в Китае можно жить в свое удовольствие. Взять себе в дом китаяночку, вступить в члены клуба, там всегда веселое общество, найдется с кем выпить, сыграть в бридж или в бильярд. Он вспоминал китайские магазинчики, и толкотню на улицах, и вереницы носильщиков с тюками, и джонки у причалов в порту, и пагоды по берегам рек. Смешно, пока он жил в Китае, ему там не очень-то нравилось, а вот теперь — ну просто все время думал о Китае. Из головы не шла тамошняя жизнь. Стали приходиться мысли, что Лондон — не место для белого человека. Да и нет его, Лондона, больше, вот в чем все дело. И в один прекрасный день ему пришло в голову, что, пожалуй, неплохо было бы вернуться обратно в Китай. Глупость, конечно, двадцать лет работал как каторжный, чтобы можно было жить в свое удовольствие в Лондоне, нелепо теперь ехать в Китай. С такими деньгами, как у него, можно всюду жить и горя не знать. Но на уме почему-то был один Китай. Потом он как-то пошел в кино, и там показывали виды Шанхая. И этим все решилось. Хватит с него Лондона. Глаза бы на него не смотрели. Уедет он отсюда, теперь уже навсегда. Он прожил на родине полтора года, и это время тянулось для него дольше, чем все двадцать лет, проведенные на Востоке. Он купил билет на французский пароход, выходящий из Марселя, и, когда берега Европы утонули наконец за горизонтом, глубоко и облегченно вздохнул. А в Суэце, ощутив первое прикосновение Востока, он окончательно понял, что поступил правильно. С Европой было покончено. Жить можно только на Востоке.

В Джибути он сходил на берег, в Коломбо и в Сингапуре тоже, а вот в Сайгоне, хотя там стояли два дня, оставался на борту. Он много пил в пути и не очень хорошо себя

чувствовал. Но когда прибыли в Хайфон, где стоянка была двое суток, решил, что, пожалуй, стоит побывать на берегу, посмотреть город. Хайфон был последний порт, куда они заходили по пути в Китай. А билет у него был до Шанхая. По прибытии в Шанхай он намерен был остановиться в гостинице, сначала оглядеться немного, а потом взять себе китаяночку и зажить собственным домом. Приобрести пару лошадей, участвовать в скачках. Там он скоро обзаведется друзьями. На Востоке люди не такие чопорные и необщительные, как в Лондоне. Он сошел на берег, поужинал в гостинице, а потом сел на рикшу и велел, чтобы отвез его к женщине. И рикша доставил его в тот облезлый серый дом, где я теперь провел у него столько часов, и там были старуха и молодая женщина, ставшая потом матерью его ребенка. Старуха через какое-то время осведомилась, не хочется ли ему покурить. Он еще ни разу не пробовал опиум, все боялся, но теперь подумал, что нет причины отказываться. Настроение у него в тот вечер было отличное, да и молодая пришлась по душе, ласковая такая и, вроде китаяночки, хорошенюкая, маленькая, как местный божок. Ну и выкурил он трубку-другую, и стало ему на душе совсем легко и приятно. Он провел у них всю ночь. Не спал. А просто лежал и спокойно так размышлял о разных разностях.

— И прогостил у них, пока мой корабль не уплыл в Гонконг, — рассказывал Гроусли. — Он уплыл, а я остался.

— А вещи? — поинтересовался я.

Я вообще всегда интересуюсь (быть может, и напрасно) тем, как люди сочетают практические стороны жизни с идеальными. Когда в каком-нибудь романе под занавес низкий гоночный автомобиль уносит любовников, у которых нет гроша за душой, к далеким туманным холмам, мне интересно, откуда у них взялись на это деньги; и я часто задумывался, каким образом герои Генри Джеймса, занятые тонким анализом собственных взаимоотношений, умудряются в промежутках удовлетворять свои физиологические потребности.

— А у меня и был-то всего один чемодан с одеждой, мне много барахла не надо, и мы съездили с молодой на рикше, взяли его с парохода. Я хотел только подождать следующего рейса. Понимаете, я был здесь так близко от Китая, что хотелось погодить немного, как-то пообвыкнуться, перед тем как ехать дальше. Не знаю, понятно ли вам.

Мне было понятно. Это последнее признание раскрыло мне его душу. Я догадался, что на пороге Китая у него попросту не хватило смелости. Англия так горько его разочаровала, что ему теперь страшно было подвергать испытанию Китай: а вдруг и там все окажется не так, ведь тогда он останется ни с чем. Двадцать лет Англия дразнила и манила его, как мираж в пустыне. Но стоило приблизиться, и все искрящиеся водоемы, пальмы, зеленая трава обернулись убегающими вдаль песчаными барханами. Однако оставался еще Китай, и покуда эта страна скрыта от его глаз, она — его достояние.

— Вот как-то так и застрял. Вы даже вообразить не можете, до чего быстро проносятся дни. Я не успеваю сделать и половины из того, что задумаю. В конце концов, мне здесь удобно. Старуха отлично готовит трубки, и молодая вон какая славная, и потом еще малыш. Занятный такой проказник. Если тебе где-то хорошо, какой смысл перебираться в другое место?

— А вам здесь хорошо? — спросил я его.

Я оглядел большую, голую, грязную комнату, без признаков уюта, без каких-либо личных вещей, которые могли бы создать ему иллюзию дома. Гроусли занял эту сомнительную квартиру, в которой молодая принимала клиентов-европейцев, а старуха продавала им опиум, и все здесь оставил как было, включая хозяйку, словно не поселился, а стал на постой, чтобы завтра же собрать пожитки и отправиться дальше. Помолчав немного, он ответил:

— Мне никогда в жизни не было так хорошо. Иной раз я думаю, что еще все-таки уеду в Шанхай, но это вряд ли. А уж об Англии и думать не хочу.

— И вас не мучает тоска, что не с кем перемолвиться словом?

— Нет. Иногда в порт заходит китайский сухогруз, а на нем шкипером англичанин или машинистом шотландец, и тогда я поднимаюсь на борт и болтаю с ними о старых временах. И тут есть один старик француз, на таможне когда-то работал и говорит по-английски, я иногда захожу его поведать. Но по правде сказать, мне никто особенно не нужен. Я много думаю. И раздражаюсь, когда люди отвлекают меня от моих мыслей. Курю я не много, вы знаете, трубочки две с утра для пищеварения, а потом только уж вечером. И вот тогда я думаю.

— Про что же?

— Так, про разное. Иногда вспоминаю Лондон, каким он был во времена моей молодости. Но чаще про Китай. До чего мне там хорошо жилось, и как я сумел накопить деньги. Про приятелей думаю, с которыми знался, про китайцев. Случалось мне попадать в опасные положения, но всякий раз выпутывался. Думаю, какие у меня могли быть там женщины. Китайяночки, они хорошенькие, мне теперь жаль, что не завел себе одну или двух. Великая страна Китай; так приятно вспоминать все эти лавочки, в каждой сидит на полу старичок, курит свой кальян. И вывески. И пагоды. Да, черт возьми, вот где надо жить человеку. Вот где жизнь!

Перед взором у него сиял мираж. Глаза застил обман зрения. И человек был счастлив. Трудно сказать, какой его ждал конец. Но это — в будущем. А он только теперь, может быть впервые за всю жизнь, держал в руках настоящее.

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

Вот уже тридцать лет я изучаю моих ближних. Не так-то много я о них узнал. Наверно, я не решился бы нанять слугу, доверясь только его внешности, а между тем, мне кажется, в большинстве случаев мы как раз по внешнему виду судим о людях. Смотрим, какой формы у человека подбородок, какой у него взгляд, как очерчен рот, — и делаем выводы. Не уверен, что мы чаще бываем правы, чем ошибаемся. Романы и пьесы нередко фальшивы и нежизненны потому, что их авторы наделяют героев цельными, последовательными характерами, — впрочем, пожалуй, они не могут иначе, ведь если сделать характер противоречивым, он станет непонятен. А между тем почти все мы полны противоречий. Каждый из нас — просто случайная мешанина несовместимых качеств. Учебник логики скажет вам, что абсурдно утверждать, будто желтый цвет имеет цилиндрическую форму, а благодарность тяжелее воздуха; но в той смеси абсурдов, которая составляет человеческое «я», желтый цвет вполне может оказаться лошадью с тележкой, а благодарность — серединой будущей недели. Когда люди уверяют меня, что первое впечатление от человека никогда их не обманывает, я только пожимаю плечами. Помоему, такие люди либо не слишком проницательны, либо чересчур самонадеянны. Что до меня — чем дольше я знаю человека, тем загадочней он мне кажется; и как раз про самых старых своих друзей я могу сказать, что не знаю о них ровным счетом ничего.

На эти размышления навела меня заметка, которую я прочитал сегодня в утренней газете: в Кобе скончался Эдвард Хайд Бартон. Он был коммерсант и долгие годы вел

дела в Японии. Я мало знал его, но он занимал мои мысли, потому что однажды очень меня удивил. Если бы я не услышал эту историю от него самого, я никогда бы не поверил, что он способен на такой поступок. Это тем поразительней, что по внешности и манерам это был человек вполне определенного склада. Вот уж поистине цельная личность. Маленький, не выше пяти футов четырех дюймов ростом, щуплый, седые волосы, красное лицо все в морщинах и голубые глаза. В ту пору, когда мы познакомились, ему было лет шестьдесят. Одевался он всегда очень тщательно, но отнюдь не криливо, как и подобало его возрасту и положению.

Хотя его контора находилась в Кобе, Бартон часто наезжал в Иокогаму. Мне однажды пришлось провести там несколько дней в ожидании парохода, и нас познакомили в Британском клубе. Мы оказались партнерами в бридже. Он был хороший игрок и притом не мелочный. Говорил мало — и за игрой, и после за вином, — но все, что он говорил, звучало вполне разумно. Не лишен был чувства юмора — шутил сухо, сдержанно, без улыбки. В клубе он, видимо, был своим человеком, и после его ухода все отзывались о нем наилучшим образом. Оказалось, что мы оба остановились в Гранд-отеле, и на завтра он пригласил меня обедать. Я познакомился с его женой — полной, немолодой женщиной, щедрой на улыбки, — и с двумя дочерьми. Семья, по-видимому, была дружная и любящая. Самой примечательной чертой Бартона мне показалась доброта. Удивительно располагал кроткий взгляд голубых глаз. Голос звучал мягко, нельзя было представить себе, что он может подняться до гневного крика; улыбка — самая благожелательная. Вас влекло к этому человеку, потому что в нем чувствовалась подлинная любовь к ближнему. В нем было обаяние. Но при этом никакой слащавости: он со вкусом играл в карты и пил коктейль, умел рассказать пикантный анекдот и в молодости даже был неплохим спортсменом. Человек состоятельный, он всем своим богатством был обязан только самому себе. Мне кажется, в нем привлекала еще и эта хрупкость и маленький рост: появлялось безотчетное желание защитить его и оберечь. Чувствовалось, что этот человек и мухи не обидит.

Однажды я сидел в гостиной Гранд-отеля. Это было еще до землетрясения, и там стояли кожаные кресла. Из окон открывался вид на просторную, оживленную гавань. Тут

были огромные пассажирские пароходы, направляющиеся в Ванкувер и Сан-Франциско, либо через Шанхай, Гонконг и Сингапур — в Европу; грузовые суда под флагами всех стран, потрепанные бурями и непогодой; джонки с высокой кормой и большими разноцветными парусами и бесчисленные сампаны. Жизнь кипела ключом, однако Бог весть почему зрелище это успокаивало душу. Тут была романтика: казалось, стоит протянуть руку — и коснешься ее.

Скоро в гостиной появился Бартон. Заметив меня, он подошел и сел рядом.

— Не выпить ли нам по стаканчику?

Он хлопнул в ладоши, подзывая слугу, и спросил два коктейля. Когда слуга возвратился с подносом, по улице прошел один мой знакомый и, увидев меня в окно, помахал рукой. Я кивнул ему.

— Вы знакомы с Тернером? — спросил Бартон.

— Мы познакомились в клубе. Мне говорили, что он вынужден был покинуть Англию и живет на деньги, которые ему присылают из дому.

— Да, похоже на то. Здесь таких очень много.

— Он недурно играет в бридж.

— Как все они. Тут был один в прошлом году, как ни странно, мой однофамилец, — лучшего игрока я в жизни не встречал. В Лондоне вы вряд ли с ним сталкивались. Он называл себя Ленни Бартон. Вероятно, был раньше членом какого-нибудь аристократического клуба.

— Не припомню такого имени.

— Замечательный был игрок. Какое-то особое чутье на карты. Даже страшновато. Я часто с ним играл. Он некоторое время прожил в Кобе.

Бартон отпил глоток вина.

— Забавная история, — сказал он. — Этот мой однофамилец был неплохой малый. Мне он нравился. Всегда хорошо одет, настоящий франт. Даже красив на свой лад — такой белолицый, румяный, волосы выются. Женщины на него заглядывались. Он был безвредный, знаете, просто повеса. Пил, конечно, больше, чем надо. Такие всегда сильно пьют. Раз в три месяца он получал немного денег да кое-что выигрывал в карты. У меня по крайней мере он выиграл немало.

Бартон добродушно усмехнулся. Я знал по опыту, что он умел проигрывать не поморщившись. Он погладил чисто

выбритый подбородок худой, почти прозрачной рукой со вздувшимися венами.

— Наверно, поэтому он и пришел ко мне, когда остался без гроша, да еще может быть потому, что мы с ним были однофамильцы. В один прекрасный день приходит он ко мне в контору и просит взять его на службу. Я удивился. Он объяснил, что больше не получает денег из дому и ему нужна работа. Я спросил, сколько ему лет.

— Тридцать пять.

— А до сих пор чем вы занимались?

— Да ничем, в сущности.

Я не удержался от смеха.

— Боюсь, — говорю, — что пока я ничем не могу вам помочь. Приходите еще через тридцать пять лет, тогда посмотрим.

Он не шелохнулся. Побледнел. Постоял в нерешительности и, наконец, объяснил, что последнее время ему очень не везло в карты. Вечно играть в один только бридж не хотелось, он перешел на покер и проигрался в пух и прах. У него не осталось ни гроша. Он заложил все, что имел. Нечем заплатить по счету в отеле, и в долг больше не верят. Он нищий. Если он не найдет какой-нибудь работы, ему останется только покончить с собой.

Минуту-другую я разглядывал его. И понял, что малому крышка. Видно, последнее время он пил больше обычного, и теперь ему можно было дать все пятьдесят. Женщины уже не восхищались бы им, если б видели его в эту минуту.

— А все-таки, — спросил я, — умеете вы делать еще что-нибудь, кроме как играть в карты?

— Я умею плавать.

Я едва верил своим ушам: экая глупость!

— В университете я был чемпионом по плаванию.

Тут я начал понимать, куда он клонит. Но я встречал слишком много людей, которые в студенческие годы были кумирами своих однокашников, и это не внушало мне особого почтения.

— Я и сам в молодости был недурным пловцом, — сказал я.

И вдруг меня осенило.

Прервав свой рассказ, Бартон неожиданно спросил:

— Вы хорошо знаете Кобе?

— Нет, — сказал я, — останавливался там как-то проездом, но только на одну ночь.

— Тогда вы не знаете Шиойя-клуб. В молодости я проплывал оттуда вокруг маяка до устья ручья Таруми. Это свыше трех миль, и задача нелегкая, потому что я огибал маяк, а там очень сильное течение. Ну, я рассказывал об этом своему тезке и обещал, что если он проплывет там — я возьму его на службу.

Вижу, он растерялся.

— Вы же сказали, что вы хороший пловец, — говорю.

— Но я сейчас немного не в форме.

Я ничего не сказал, только пожал плечами. Он посмотрел, посмотрел на меня — и кивнул.

— Согласен, — говорит. — Когда мне плыть?

Я поглядел на часы. Было начало одиннадцатого.

— У вас уйдет на это примерно час с четвертью, может быть, чуть больше. Я подъеду к ручью в половине первого и встречу вас. Потом отвезу назад в клуб, вы переоденетесь, и вместе позавтракаем.

— Ладно.

Мы пожали друг другу руки, я пожелал ему успеха, и он ушел. В то утро у меня была куча работы, и я еле успел к половине первого к устью Таруми. Но напрасно я спешил: мой тезка так и не явился.

— Струсил в последнюю минуту? — спросил я.

— Нет, не струсил. Поплыть-то он поплыл. Но пьянством и беспутством он погубил свое здоровье. Он не мог справиться с течением у маяка. Тело нашли только на третий день.

Несколько минут я молчал. Я был несколько ошеломлен. Потом задал Бартону один вопрос:

— Скажите, когда вы предлагали ему плыть, вы знали, что он утонет?

Бартон тихонько хихикнул, посмотрел мне прямо в глаза кроткими, наивными голубыми глазами и потер ладонью подбородок.

— Видите ли, — сказал он, — места-то свободного у меня в конторе все равно не было.

ПУСТЯЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Я рассказываю эту историю от первого лица, хотя не принимал в ней никакого участия: я не хочу притворяться перед читателем, будто знаю больше, чем говорю. Как все было — описано точно, почему — об этом пришлось догадываться, и, возможно, мои предположения покажутся читателю неверными. Тут никто не может сказать что-либо наверняка. Но для того, кто интересуется душой человека, нет более увлекательного занятия, чем поиски побуждений, вылившихся в определенные действия. Подробности этой злополучной истории я узнал совершенно случайно. Как-то мне пришлось дня два-три пожить на одном из островов к северу от Борнео, и начальник округа любезно предложил мне остановиться у него. Перед тем я некоторое время путешествовал в самых примитивных условиях и теперь был рад отдохнуть. Когда-то этот остров имел и некоторое значение, и собственного губернатора, но времена изменились, и теперь ничто не напоминало о лучших днях, кроме внушительного каменного дома, где прежде обитал губернатор, а ныне обосновался начальник округа, сетовавший, впрочем, на непомерную величину своего жилища. Однако это был удобный дом — с огромной гостиной, столовой человек на сорок, просторными высокими спальнями. Он понемножку ветшал — сингапурские власти весьма благоразумно не желали раскошелиться на его ремонт, — но мне он нравился: тяжелая массивная мебель придавала комнатам строгую торжественность, и это забавляло меня. Сад возле дома был так велик, что хозяева не могли содержать его в порядке, и постепенно он превратился в непроходимые тропические заросли. Начальник

округа Артур Лоу был человек невысокого роста, лет под сорок, спокойный и неторопливый, у него была жена и двое детей. Лоу так и не сумели обжить эти пустынные хоромы, они жили по-походному, словно беженцы из мест, охваченных эпидемией, и только и ждали, когда их переведут в другую, более привычную для них обстановку.

Мне они сразу понравились. Начальник округа был обходителен и приветлив, с чувством юмора. Не сомневаюсь, что свои многочисленные служебные обязанности он исполнял превосходно, и при этом он всеми силами старался избежать официального тона. У него был острый, но не злой язык, речь его пестрела жаргонными словечками. Приятно было смотреть на него, когда он играл со своими детишками. Семейная жизнь, несомненно, пришлось ему по вкусу. Миссис Лоу была очень милая маленькая женщина, пухленькая, темноглазая, с прелестными бровями, не красавица, но, бесспорно, привлекательная. У нее был здоровый вид и веселый нрав. Супруги вечно пикировались между собой, и каждый как будто бы находил в другом очень много смешного. Хотя их шутки не были ни остры, ни новы, им самим они казались такими уморительными, что вы невольно смеялись вместе с ними.

Мне кажется, они были рады мне, особенно миссис Лоу, — ведь, кроме распоряжений по дому да присмотра за детьми, ей нечем было занять свой досуг. На острове было так мало европейцев, что всякий интерес друг к другу у них давно иссяк; и не успел я прожить там и дня, как получил приглашение от миссис Лоу погостить у них неделю, месяц, а то и год. В день моего приезда Лоу устроили обед и позвали к себе всех местных служащих: правительственного инспектора, доктора, учителя, начальника полиции. Приглашенные явились со своими слугами, чтобы было кому прислуживать за обедом. На следующий день мы обедали втроем, и за столом нам подавали только слуга мистера Лоу и мой, с которым я путешествовал. Принесли кофе, и мы остались втроем. Лоу и я закурили сигары.

— А я вас встречала раньше, — сказала миссис Лоу.

— Где?

— В Лондоне. На одном из приемов. Я слышала ваше имя, когда вас кто-то называл, показывая кому-то. Это было у леди Кастеллан, в доме на Карлтон-Хаус-Террас.

— Ах, вот как! Когда же?

— В нашу последнюю поездку домой в Англию. У нее на вечере еще давал представление русский балет.

— Помню. Года два-три назад. И вы тоже там были? Удивительно.

— Вот и мы тогда удивлялись, — сказал Лоу, улыбнувшись своей милой, скромной улыбкой. — Нам ведь никогда раньше не случалось бывать на таких приемах.

— Вечер произвел сенсацию, — заметил я. — Самый блестящий прием сезона. Вам, наверное, очень понравилось?

— Ах, этот вечер был для меня мучением, — сказала миссис Лоу.

— Не будем забывать, Би, это ты настояла на том, чтобы пойти туда. Вообразите себе нас среди этой расфранченной толпы. На мне был фрак, который я носил еще в Кембридже, а он и тогда не отличался элегантностью.

— Я купила себе платье у Питера Робинсона нарочно для этого дня. В магазине оно казалось таким нарядным. Но там, на вечере, я была словно последняя замарашка. И зачем я его покупала, зря только деньги выбросила.

— Подумаешь, какая беда. Нас ведь все равно ни с кем не познакомили.

Я хорошо помнил тот вечер. Великолепные залы в доме на Карлтон-Хаус-Террас были разубраны тяжелыми гирляндами желтых роз, в одном конце огромной гостиной соорудили сцену. Для танцоров сшили костюмы времен регентства, а один композитор специально написал музыку к двум прелестным балетам, в которых они танцевали. Глядя на это, трудно было отрешиться от прозаической мысли, что такая затея, пожалуй, стоила немалых денег. Леди Кастеллан была красивая женщина и превосходная хозяйка, но вряд ли кто заподозрил бы ее в излишней доброте; к тому же она знала так много людей, что не могла думать о ком-нибудь в отдельности больше, чем о других, поэтому я никак не мог понять, чего ради она пригласила на свой роскошный праздник этих двух неприметных маленьких людей из далекой колонии.

— Вы давно знакомы с леди Кастеллан? — спросил я.

— Совсем не знакомы. Получили приглашение и поехали. Мне захотелось взглянуть, что она собой представляет, — сказала миссис Лоу.

— Очень умная женщина, — заметил я.

— Вероятно. Когда дворецкий доложил о нас, она и понятия не имела, кто мы такие. Но секунду спустя она вспомнила. «А, друзья покойного Джека. Прошу вас, располагайтесь так, чтобы удобно было смотреть. Лифарь вам страшно понравится. Он бесподобен». И тут же покинула нас, чтобы встретить новых гостей. Но взгляд ее на секунду задержался на мне. Она словно спрашивала, что мне известно, и сразу поняла, что мне известно все.

— Что за чушь, дорогая. Как можно все это понять, вот все то, о чем ты говоришь, только раз взглянув на человека? Да и откуда тебе знать, что она думала в ту минуту?

— А вот знаю. Одним-единственным взглядом мы сказали друг другу все. Я уверена, что испортила ей вечер!

Лоу засмеялся, я улыбнулся тоже — такое торжествующее злорадство было в ее голосе.

— Болтаешь лишнее, Би, — сказал он.

— Вы с ней друзья? — спросила меня миссис Лоу.

— Как вам сказать. Пятнадцать лет мы встречались с ней то там, то здесь. Я часто бывал на ее вечерах. Она умеет превосходно устраивать их. И приглашает именно тех, с кем бы вам хотелось увидеться.

— Что вы о ней думаете?

— Леди Кастеллан — заметная фигура в Лондоне. С ней приятно беседовать, на нее приятно смотреть. Она любит музыку, живопись, покровительствует искусствам. А вы что о ней думаете?

— Стерва она, — весело, с решительной откровенностью сказала миссис Лоу.

— Вот это приговор!

— А ты расскажи ему, Артур.

Лоу минуту колебался.

— Не знаю, имею ли я право...

— Тогда я все расскажу сама.

— Би ненавидит эту женщину, — усмехнулся Лоу. — Но история и в самом деле неприятная.

Лоу выпустил в воздух ровное колечко дыма и долго следил за тем, как оно тает.

— Артур, мы ждем, — напомнила ему миссис Лоу.

— Так вот. Это случилось незадолго до нашей последней поездки в Англию. В то время я был начальником округа в Селангоре. Однажды мне сообщили, что в нескольких часах езды от Селангора, в небольшом городишке вверх по реке

умер белый. До этого я не слыхал, чтобы там жил кто-нибудь из европейцев. Поеду, решил я, посмотрю сам. Вызвал катер и отправился. Приехав на место, сейчас же принялся за расспросы. В полиции знали только, что этот человек жил здесь уже два года у китайки в доме на Базарной улице. Базар этот был весьма живописным местом. Высокие дома в два ряда, между ними деревянный настил, у берега укрепленный на сваях, вдоль улицы над лавками навесы от солнца. Я взял с собой двух полицейских, и они привели меня к жилищу покойного. В нижнем этаже была медная лавка, комнаты верхнего этажа сдавались. Хозяин лавки повел меня по темной шаткой лестнице, где отвратительно пахло китайскими кушаньями. Наверху он кого-то позвал. Дверь нам отворила немолодая китайка. Я заметил, что лицо у нее все распухло от слез. Она не сказала ни слова и пропустила нас в комнату. Это была крохотная каморка под самой крышей, с оконцем на улицу. В комнате царил полумрак: навес над окном затенял свет. Мебели почти не было, только простой некрашенный стол да стул со сломанной спинкой. На циновке у стены лежал мертвый человек. В комнате стояло такое зловоние, что тошнота подступала к горлу, и я сразу же велел отворить окно. Сильнее всего ощущался запах опиума. На столе, рядом с небольшой керосиновой лампой, я заметил длинную иглу — что это значит, я знал. Трубки не было, ее, видимо, спрятали. Мертвый лежал на спине, он был одет в грязную куртку и в саронг. У него были длинные каштановые с проседью волосы и короткая борода. Да, это был белый. Чтобы убедиться, умер ли он естественной смертью, я внимательно осмотрел его. Кожа да кости, но знаков насилия нет. Похоже, что умер от голода, подумал я. Задал, как водится, несколько вопросов хозяину и китайке. Полицейские подтвердили их слова. Оказалось, он сильно кашлял, иногда кровью, да и вид его говорил, что без туберкулеза здесь, пожалуй, не обошлось. К тому же, по словам хозяина лавки, он был страстным курильщиком опиума. Ну что ж! Мне все было ясно. Подобные случаи хоть и редки, к счастью, но все-таки имеют место: европеец сбивается с пути и доходит постепенно до крайней степени нищеты и деградации. Было похоже на то, что китайка любила этого человека. Два последних года она поила и кормила его на свои скудные гроши. Я объяснил, что делать дальше, а сам задумался над

тем, кем мог быть этот человек. Возможно, он был служащим какой-нибудь английской фирмы, а может, работал приказчиком в одном из английских магазинов в Сингапуре или в Куала Лумпур. Я спросил у китайки, не осталось ли от него каких-либо вещей. Здесь, в этой убогой комнате, мой вопрос прозвучал нелепо, однако китайка подошла к стоящему в углу чемоданишку, открыла его и извлекла оттуда четырехугольный пакет толщиной в две сложенные вместе книги, завернутый в старую газету. Я заглянул в чемодан. Ничего сколько-нибудь ценного там не было. Я взял пакет.

Сигара мистера Лоу погасла, он привстал и, потянувшись через стол, зажег ее от свечи.

— Я развернул его. Внутри был еще сверток, на нем четким красивым почерком образованного человека стояло: «Начальнику округа», то есть мне, затем шли слова: «Передать лично леди Кастеллан, Лондон, Ю-3, Карлтон-Хаус-Террас, 53». Это меня порядком удивило, и я решил просмотреть содержимое. Разрезал шнурок, и в руках у меня оказался платиновый с золотом портсигар. Легко вообразить мое изумление. Из всего услышанного я понял, что эта пара, китайка и умерший, жили впроголодь, а тут такое богатство. Кроме портсигара, в свертке были еще письма без конвертов, написанные той же аккуратной рукой. В конце каждого вместо подписи стояло «Дж.». Всего было сорок или пятьдесят писем. Я не мог тут же прочесть их все, но и беглого взгляда хватило, чтобы понять, что это любовные письма мужчины. Я спросил у китайки фамилию умершего. Либо она сама не знала ее, либо не захотела мне сказать. Я распорядился о похоронах и вернулся на катер. Дома обо всем рассказал Би.

Обычная ласковая улыбка тронула его губы.

— Мне пришлось быть твердой, — сказала миссис Лоу. — Сначала он не давал мне писем, но я не могла примириться с подобной чепухой.

— Ведь это чужие письма.

— Но тебе надо было узнать его фамилию.

— Хорошо, а ты-то здесь при чем?

— Фу, как глупо. Не прочитай я этих писем, я бы сошла с ума.

— Вы узнали фамилию? — спросил я.

— Нет.

— И там не было никакого адреса?

— Был, только очень странный. Письма писались на бумаге министерства иностранных дел.

— Интересно!

— Я не знал, что делать. Написать леди Кастеллан и объяснить все? Пожалуй, поставишь ее в неудобное положение. Письма необходимо передать лично — такова воля покойного. Я завернул их, как были, и спрятал в сейф. Весной мы собирались в отпуск, и я решил отложить все до тех пор. Письма эти, видите ли, были до некоторой степени компрометирующие.

— Мягко выражаясь, — хихикнула Би. — Они попросту разоблачали ее.

— Я думаю, этого незачем касаться, — заметил Лоу.

Тут они принялись спорить. Но он, видимо, противился только формы ради. Уж он-то отлично знал, что ему не удастся сохранить приличествующую должностному лицу скромность, если его жена захочет выложить мне все. У нее был зуб против леди Кастеллан, поэтому она не очень заботилась о ее репутации. Все ее симпатии были на стороне мужчины. Лоу старался, как мог, смягчить ее суждения. Он останавливал ее, когда она преувеличивала. Он говорил, что она дала волю воображению и вычитала в письмах больше того, что там было. Миссис Лоу настаивала на своем. Письма, очевидно, глубоко взволновали ее. Итак, ее живой рассказ и поправки мистера Лоу дали мне некоторое представление о том, что в этих письмах содержалось. Несомненно одно, они были очень трогательны.

— Сказать вам не могу, как было противно глядеть на Би, когда она упивалась этими письмами.

— Замечательные письма! Ты никогда не писал мне таких.

— Ты бы первая сочла меня за идиота, если бы я вздумал тебе так писать, — ухмыльнулся он.

— Может, и сочла бы. И все-таки я была без памяти влюблена в тебя. Только бог его знает, почему.

Постепенно ход событий стал проясняться. Автор писем, таинственный Дж., по-видимому мелкий служащий из министерства иностранных дел, безумно полюбил леди Кастеллан, и она отвечала ему тем же. Первые письма любовников были полны нежной страсти. Они наслаждались счастьем, они верили, что любовь их будет длиться вечно.

Не успевали они расстаться, как он уже брался за перо. Он писал ей, что обожает ее, что она для него все на свете. Каждую секунду он думал о ней. Ее чувства, казалось, были столь же горячи: в одном из писем он оправдывался, отвечая на ее упреки, что он не пришел туда, где они могли встретиться. Он рвался к ней, но ему неожиданно поручили срочную работу, и он так страдал из-за этого.

И вдруг — удар. Лорд Кастеллан узнал все. Откуда, каким образом — можно только гадать. Он не просто подозревал жену, у него были доказательства ее измены. Произошло бурное объяснение, она оставила мужа и вернулась в дом отца. Лорд Кастеллан сообщил ей, что намерен начать дело о разводе. Тон писем сразу изменился. Дж. настаивал на немедленном свидании, она просила его не приходить к ней. Отец — против их встреч. Дж. мучился оттого, что любимая несчастна, его убивала мысль, что она страдает по его вине, он очень жалел ее, понимая, что дома ей несладко, что родители ее в ярости. Но в то же время чувствовалось, что он рад случившемуся. Для него ничто на свете не имело значения, кроме их любви. Он писал, что презирает Кастеллана. Пусть затевает процесс. Чем раньше они смогут пожениться, тем лучше.

В свертке были только его письма, от нее ни одного. О том, что писала она, можно судить лишь по его ответам. По-видимому, она смертельно перепугалась и никакие его слова не могли успокоить ее. Ему придется уйти из министерства иностранных дел. Он уверял, что для него это пустяки. Можно найти работу в колониях. Там заработаешь больше. Он не сомневался, что она будет с ним счастлива. Конечно, скандала не миновать, но все скоро забудется. А вдали от Англии о них вообще никто знать не будет. Только не надо падать духом. В ее письмах, видимо, появились нотки недовольства. Ее расстраивала мысль о разводе. Кастеллан отказался взять вину на себя и предстать на суде ответчиком. Она не сможет расстаться с Лондоном, здесь — вся ее жизнь. Она не хочет похоронить себя в какой-нибудь богом забытой дыре на краю света.

По его ответам было видно, что он очень страдал. Он обещал сделать все, что она захочет. Заклинал ее любить по-прежнему. Сходил с ума оттого, что несчастье охладило ее. Леди Кастеллан попрекала его случившимся, а он и не защищался. Да, он один виноват во всем. Вдруг словно бы луч

надежды блеснул для нее. Кто-то неведомый поговорил с Кастелланом, и тот согласился пойти на мировую. Она сообщила об этом Дж., и это привело нашего таинственного Дж. в отчаяние. Его ответ был почти бессвязен. Он снова умолял о встрече, он просил ее не терять мужества. Повторял, что она для него все на свете. Он боялся, что окружающие будут влиять на нее. Он писал, что ей надо сжечь за собой мосты и бежать с ним в Париж. Он обезумел. Несколько дней она не отвечала ему. Он ничего не понимал. Думал, что его письма не доходят до нее. Он метался, как загнанный зверь. Наконец грянул гром. Она написала ему, что, если он подаст в отставку и покинет Англию, муж согласится простить ее и принять обратно в дом. Сердце его было разбито.

— Он так и не раскусил ее, — сказала миссис Лоу.

— Было разве что раскусывать? — заметил я.

— Вы не знаете, что она писала ему, нет? А я знаю.

— Что за дурацкие рассуждения, Би. Ну разве ты можешь все это знать?

— Это у тебя дурацкие. Знаю, как нельзя лучше! Леди Кастеллан все предоставила решать ему, взывая к его великодушию. А сама в это время писала ему об отце с матерью, поминала детишек, хотя, держу пари, тут она первый раз о них вспомнила с тех пор, как они на свет появились. Она была уверена, что он любит ее так, что ради ее счастья пойдет на все, даже на разлуку с ней. Она знала, что он без колебания принесет ей в жертву все: свою любовь, жизнь, карьеру. И он сделал это — она его заставила. Она построила так, что он не только все сам предложил, а еще и уговорил ее принять его жертву.

Я слушал миссис Лоу с улыбкой, но и с вниманием. Она сама была женщиной и инстинктивно знала, как при таких обстоятельствах женщина будет вести себя. Она с негодованием говорила о леди Кастеллан, однако на ее месте — и она это смутно чувствовала — вела бы себя точно так же. Бесспорно, ее рассуждения — лишь домыслы, основанные на письмах Дж., но, думается, в них есть доля истины.

На этом переписка кончалась.

Я недоумевал. Я был знаком с леди Кастеллан давно, правда не очень близко. Мужа ее я знал и того меньше. Он занимался политикой и ко времени знаменитого приема у

леди Кастеллан, куда были приглашены и мы с Лоу, был уже товарищем министра внутренних дел. Мы встречались с ним только у него в доме. Леди Кастеллан слыла красавицей. Великолепная, несколько крупная фигура, прекрасная кожа, большие голубые глаза, широко расставленные — что придавало ей некоторое сходство с телкой, — роскошные белокурые волосы. Держалась она всегда с большим достоинством и хорошо владела собой. Казалось невероятным, что эта женщина способна уступить страсти, о какой свидетельствовали письма. Она была честолюбива и, безусловно, способствовала мужу в его продвижении на политическом поприще. Я считал, что она не может поступить опрометчиво. Порывшись в памяти, я припомнил ходивший несколько лет назад слух, что Кастелланы не ладят, однако подробности ускользнули от меня, к тому же, когда бы я ни встречал эту пару, у них, казалось, все обстояло благополучно. Кастеллан был крупный мужчина, с красным лицом, черными прилизанными волосами, громкоголосый, веселый и радушный, но с хитрыми, крохотными глазками, которые за всем следили и все примечали. Он был трудолюбив, хороший оратор, но говорил немного напыщенно. Пожалуй, он чересчур мнил о себе. И никогда не позволял вам забывать, что он человек с положением и богатч. С людьми, стоящими ниже его, он был склонен принимать покровительственный тон.

Меня не удивило, что, узнав о связи своей жены со скромным чиновником из министерства иностранных дел, он пришел в неопишемую ярость. Отец леди Кастеллан был много лет бессменным товарищем министра иностранных дел. Какой позор — разводиться с женой из-за подчиненного ее отца! Кастеллан, вполне возможно, любил свою жену, так что его могла терзать и самая обычная ревность. Но у него была гордость и не было чувства юмора. Он боялся прослыть смешным. А в роли обманутого мужа трудно держаться с достоинством. Не думаю, что он был бы рад скандалу, который грозил его карьере. Возможно, друзья леди Кастеллан сообщили ему, что у нее на суде будет защитник. И перспектива перебивать свое грязное белье на людях ужасала его. Похоже, что на него оказали давление, и он решил, что лучше всего простить жену, позволить ей вернуться, если, конечно, любовник исчезнет навсегда. И леди Кастеллан согласилась на это.

Она, по-видимому, натерпелась страху. Я не сужу ее так строго, как миссис Лоу. Она была очень молода, ей и сейчас еще не более тридцати пяти лет. Кто может сказать, как случилось, что она стала любовницей Дж.? Я подозреваю, что любовь застала ее врасплох и она запуталась в ее сетях, еще не успев понять, что произошло. Она и в ту пору была, вероятно, такой же сдержанной и так же умела владеть собой. Но ведь именно над такими людьми природа порой подшучивает самым неожиданным образом. Видно, она совсем потеряла голову. Каким образом Кастеллан проведаль обо всем, так и останется неразгаданным. Но ясно, что она забыла всякую осторожность, если не уничтожила писем возлюбленного. Артуру Лоу показалось странным, почему в связке были не ее, а его письма. Помоему, это легко объяснить. Когда все открылось, она отослала ему те письма, что были у нее, и потребовала взамен свои. А он, естественно, хранил их, перечитывал иногда, воскрешая в памяти свою любовь, которая так много значила для него.

По-видимому, леди Кастеллан, захваченная своим чувством, не задумывалась о последствиях, и, когда беда грянула, не удивительно, что она до смерти напугалась. Как и многие другие женщины ее круга, она, вероятно, не уделяла особого внимания детям, но расстаться с ними ей было бы тяжело. Была ли она привязана к мужу — трудно сказать, но, зная ее характер, можно предположить, что богатство его и положение ей не были безразличны. Новая жизнь не сулила ей ничего хорошего. Она теряла все: великолепный дом на Карлтон-Хаус-Террас, положение в обществе, свое доброе имя. У отца не было денег, любовник еще и сам заработка не имел. И она поддалась уговорам семьи. Доблестного в этом мало, но понять можно.

Пока я размышлял таким образом, Лоу продолжал свой рассказ:

— Я не представлял себе, как связаться с леди Кастеллан. Дело осложнялось тем, что я не знал имени этого человека. Как бы то ни было, вернувшись в Англию, я написал ей. Объяснил, кто я такой, и сообщил, что привез ей письма и портсигар от человека, который недавно умер в моем округе. Письма, прибавил я, необходимо вручить лично. Я боялся, что она не ответит совсем или вздумает сообщаться со мной через своего поверенного. Но она ответила.

И пригласила меня к себе к двенадцати часам. Знаю, что глупо, но, признаюсь, я волновался, как мальчишка, когда ступил на порог ее дома и рука моя коснулась звонка. Дверь отворил дворецкий. Я сказал ему, что леди Кастеллан ожидает меня. Швейцар взял мою шляпу и пальто, и меня провели наверх, в большую гостиную.

— Пойду доложу о вас, — сказал дворецкий.

Он ушел, а я сел на краешек стула и принялся разглядывать комнату. По стенам висели картины — все больше портреты, — чьей кисти, не знаю, очевидно Рейнольдса или Ромнея, везде восточный фарфор, золоченые консоли, зеркала. Среди этого великолепия я почувствовал себя таким жалким, таким ничтожным. От моего костюма шел запах камфары, брюки на коленях пузырились, галстук был слишком яркий. Вернулся дворецкий и пригласил меня следовать за собой. Он отворил дверь напротив той, через которую мы вошли, и я очутился в другой комнате, поменьше первой, но столь же великолепной. В конце ее, у камина, стояла женщина. Она взглянула на меня, когда я вошел, и слегка кивнула. Пересекая комнату, я испытывал страшную неловкость, боясь натолкнуться на мебель. Одно утешение — может быть, я не выглядел таким дураком, каким себя чувствовал. Сесть мне не было предложено.

— Вы привезли что-то для меня. Очень любезно с вашей стороны.

Она не улыбалась. Вела себя сдержанно и как бы оценивала меня. Сказать правду, я разозлился. Кому приятно, когда тебя разглядывают, словно ты пришел в шоферы наниматься.

— Стоит ли говорить об этом! Таков долг службы, — сухо сказал я.

— То, что вы должны передать мне, у вас с собой?

Не отвечая, я раскрыл портфель и вынул оттуда письма. Она взяла их, не проронив ни слова. Взглянула. Под толстым слоем косметики лицо ее побледнело, клянусь вам. Но выражение не менялось. Я посмотрел на ее руки, они слегка дрожали. Впрочем, она тут же овладела собой.

— Извините меня, — вдруг спохватилась она, — я забыла предложить вам стул. Садитесь, пожалуйста.

Я сел. Мгновение она не знала, что делать. Письма еще были у нее в руках. Зная, что в них, я пытался представить себе ее состояние. Она ничем не выдавала себя. У камина стоял

письменный столик, она выдвинула ящик и положила туда письма. Потом села напротив меня и предложила мне закурить. Тогда я протянул ей портсигар, который до этого лежал у меня в кармане.

— Я должен передать вам еще и это.

Она взяла портсигар и стала молча рассматривать его. Я ждал, не зная теперь, что делать: встать и уйти или остаться.

— Вы дружили с Джеком? — вдруг спросила она.

— Нет, — ответил я. — Первый раз увидел его уже мертвым.

— Я не знала до вашей записки, что он умер. Я давно потеряла его из виду. Ведь мы были друзьями много лет назад.

Я не знал, что подумать. То ли она предполагает, что я не читал писем, то ли забыла, что в них. В ту минуту, когда она их увидела, что-то дрогнуло у нее в душе, но она мигом справилась с собой и теперь говорила почти равнодушно.

— От чего же он умер?

— Голод, туберкулез, опиум, — ответил я.

— Какой ужас! — сказала она, как обычно говорят в таких случаях приличия ради. Может, и было у нее что на сердце, да она не собиралась открываться передо мной. Оставалась бесчувственной и холодной как лед. Я видел, а возможно, мне только казалось, что она наблюдает за мной, призвав на помощь всю свою проницательность. Ей хотелось понять, известно мне что-нибудь или нет. Думаю, она бы много дала, чтобы знать точно.

— Как письма попали к вам? — спросила она.

— Все, что осталось от него после смерти, отдали мне, — объяснил я. — Письма и портсигар были связаны в пакет. На нем было написано: передать леди Кастеллан, лично.

— Была какая-нибудь необходимость вскрывать пакет?

Вы бы слышали, с каким ледяным презрением это было сказано. Я почувствовал, что бледнею, а на моем лице не было краски, чтобы скрыть бледность. Я ответил, что считал своим долгом выяснить имя умершего и сообщить о его смерти родным.

— Ясно, — сказала она и взглядом дала понять, что наша беседа окончена. Она ожидала, что я поднимусь и уйду. Но я не уходил. Мне хотелось хоть немного отыграть-ся. И я стал рассказывать о том, как я получил известие из соседнего города, как поехал туда и что там нашел. Описал

все и, помедлив, прибавил, что в последние минуты его жизни возле него была только нищая китайка.

Вдруг отворилась дверь. Я обернулся, леди Кастеллан тоже. В комнату вошел мужчина средних лет и, увидев меня, остановился.

— Прости, — заговорил он, — я не знал, что у тебя гость.

— Не уходи, — сказала она: И едва он приблизился, представила нас друг другу. — Мистер Лоу — мой муж.

Лорд Кастеллан кивнул мне.

— Я только хотел спросить тебя... — начал было он, но тут взгляд его упал на портсигар, который все еще лежал на ладони леди Кастеллан. Не знаю, заметила ли она вопрос в его глазах или нет. Но она улыбнулась ему легкой дружеской улыбкой. Да, эта женщина бесподобно владела собой.

— Мистер Лоу приехал из Малайи. Джек Алмонд умер — и вот оставил мне портсигар.

— В самом деле, — произнес лорд Кастеллан. — Когда же он умер?

— С полгода назад, — ответил я.

Леди Кастеллан встала.

— Не буду вас дольше задерживать. У вас, вероятно, много дел. Вы исполнили последнюю волю Джека — я вам так за это благодарна.

— Положение в Малайе неважное, я слышал, — заметил лорд Кастеллан.

Мы обменялись рукопожатием, и леди Кастеллан позвонила.

— Вы еще побудете в Лондоне? — обратилась она ко мне, когда я уже был на пороге. — У нас на той неделе небольшой вечер. Приезжайте к нам.

— Я не один, со мной здесь жена.

— Чудесно, я пошлю вам приглашение.

Минуту спустя я вышел на улицу. Мне хотелось побыть одному. Я был ошеломлен. Как только с уст ее сорвалось его имя, я вспомнил. Так это был Джек Алмонд. Этот жалкий нищий, умерший с голоду в китайской лачуге, — Джек Алмонд! А ведь я его хорошо знал. Но разве могло прийти мне в голову, что это он. Мы не раз обедали с ним за одним столом, вместе сиживали за картами, играли в теннис. Он умирал у меня под боком, а я ничего не знал! Хоть бы он послал за мной, уж я бы сделал что-нибудь для него.

Я вошел в Сент-Джеймский парк и сел на скамейку. Мне надо было хорошенько подумать.

Я понимал, что так потрясло Лоу. Я сам был потрясен не менее, услышав имя этого бездомного бродяги. Как ни странно, и я его знал. Мы не были на короткой ноге, но встречались у общих знакомых в Лондоне и в загородных поместьях, где вместе проводили субботние вечера и воскресенья. Много лет я ни разу не вспоминал о нем, и только этим можно объяснить мою недогадливость. Его имя, как молния, озарило память. Вот почему он бросил службу, которую так любил! В те годы, сразу после войны, я многих знавал в министерстве иностранных дел, и Джек Алмонд считался самым талантливым среди молодых. Он мог надеяться на высшие дипломатические посты. Конечно, на все нужно время. И поэтому, когда он, отказавшись от блестящей карьеры, поступил в какое-то коммерческое предприятие и уехал на Дальний Восток, все сочли это непростительной глупостью. Друзья всячески отговаривали его. Он ответил, что у него расстроено состояние, а на одно жалование жить невозможно. Этому плохо верилось, уж как-нибудь можно было протянуть, пока дела не поправятся.

Я хорошо помню, как он выглядел в то время. Он был высокого роста, прекрасно сложен. Одевался с шиком, что при его молодости только шло ему. У него были блестящие черные волосы, всегда аккуратно причесанные, синие глаза, необыкновенно длинные ресницы и замечательно свежий цвет лица. Он был само здоровье. Веселый, остроумный, он был всегда душой общества. Я не знал более обаятельного человека. Обаяние — опасное свойство. Те, у кого оно есть, нередко считают, что одного этого вполне достаточно, чтобы прожить жизнь. Им поэтому всегда надо быть начеку, чтобы не поддаваться таким рассуждениям. Но у Джека Алмонда обаятельность была проявлением его богато одаренной натуры. Он очаровывал, потому что был очарователен. В нем не было ни капли сомнения. Он превосходно знал языки, по-французски и по-немецки говорил без малейшего акцента; манеры его были безупречны. Вы так и видели его послом в какой-нибудь стране, блестяще играющим свою роль. Он покорял всех, и не удивительно, что леди Кастеллан так сильно увлеклась им. Воображение мое разыгралось. Есть ли что более трогательное, чем юная любовь! Прогулки

по парку теплыми весенними вечерами. Танцы, когда он держал ее в своих объятиях. Прелесть тайны, понятной только двоим, когда они обменивались взглядами за столом во время обедов. Торопливые, полные опасности свидания, ради которых стоило рисковать всем, когда влюбленные где-нибудь в условленном месте, известном только им одним, оставались вдвоем и забывали обо всем мире. Они вкушали вино блаженства.

Как страшно, что конец их любви был столь трагичен.

— Как вы с ним познакомились? — спросил я Лоу.

— Он служил у Декстера и Фармилоу. Слыхали, наверное, — пароходная компания. Место — лучше и желать нечего. Он приехал с рекомендательными письмами к губернатору и другим важным лицам. Я был в это время в Сингапуре. Помнится, первый раз мы встретились с ним в клубе. Он был отличный спортсмен. Играл в поло, превосходно владел ракеткой. Его все полюбили.

— Пил он?

— Нет, нет, — горячо запротестовал Лоу. — Он вел себя идеально. Женщины боготворили его, и не мудрено. Очень порядочный молодой человек. Таких я и не встречал.

Я обратился к миссис Лоу.

— А вы знали его?

— Почти нет. Сразу после свадьбы мы переехали в Перрак. Помню, что он был хорош собой. Таких длинных ресниц я не видала ни у одного мужчины.

— Он довольно долго не брал отпуска, кажется лет пять. Не люблю банальностей, но иначе про него не скажешь — его окружала всеобщая любовь. Кое-кто сперва досадовал, что такое место досталось ему по протекции, но и они не могли не признать, что работник он отменный. Мы знали, что он прежде служил в министерстве иностранных дел. Но он никогда не задира нос.

— Что в нем особенно пленяло, — заметила миссис Лоу, — так это бьющая через край энергия. Поговоришь с ним — и сразу встряхнешься.

— Перед его отъездом в Англию ему устроили грандиозные проводы. Как раз в это время я на пару деньков заехал в Сингапур. И попал на этот прощальный обед в ресторане «Европа». Все мы изрядно выпили. Были очень весело. Провожать его собралась целая толпа. Он уезжал на полгода.

Помню, всем хотелось, чтобы он поскорее вернулся. Лучше бы он не возвращался.

— А что же случилось с ним потом?

— Точно не знаю. Меня снова перевели, в этот раз — на север.

Какая досада! Право, гораздо легче выдумывать истории из головы, чем описывать живых людей, когда не только приходится гадать о мотивах их поведения, но даже поступки их в решительные моменты жизни остаются вам не известными.

— Он был славный парень. Но друзьями мы не были. Знаете, как разборчиво сингапурское общество. Джек Алмонд принадлежал к сливкам, а мы нет. Вскоре мы переехали на север, и я о нем забыл. Но как-то в клубе я оказался свидетелем разговора между двумя моими знакомыми — Уолтоном и Кеннингом. Уолтон только что вернулся из Сингапура. Там проводился большой матч в поло.

— Алмонд играл? — спросил Кеннинг.

— Конечно, нет, — сказал Уолтон. — Его выгнали из команды еще в прошлый сезон.

Тут я не выдержал и вмешался.

— О чем это вы говорите?

— А вы разве не знаете? Бедняга совсем свихнулся.

— Как так?

— Пьет.

— Говорят, и к наркотикам пристрастился, — заметил Кеннинг.

— Я тоже слышал об этом. Опиум, кажется. Так и ноги протянуть недолго.

— Если не образумится, потеряет место.

— Я ничего не понимал, — продолжал Лоу. — Кто угодно мог так опуститься, только не он. Джек Алмонд был настоящий англичанин и джентльмен в полном смысле слова. Оказалось, что Уолтон возвращался вместе с ним на пароходе из отпуска. Алмонд сел на корабль в Марселе. Настроение у него было мрачное. Но это понятно. Многие испытывают то же, покидая родину и возвращаясь к работе. Он много пил. И это иногда бывает. Но Уолтон сказал про него странную вещь — он выглядел так, будто жизнь в нем угасла. Это сразу бросалось в глаза, ведь прежде жизнь была в нем через край. Раньше мы думали, что в Англии у Джека Ал-

монда оставалась невеста, и теперь на корабле стали поговаривать, что она дала ему отставку.

— Я тоже так решила, когда Артур мне рассказал об этом, — заметила миссис Лоу. — Нельзя же уезжать от невесты на пять лет.

— Как бы то ни было, но все верили, что, занявшись работой, Алмонд встряхнется, но этого, к сожалению, не случилось. Он опускался все ниже. Его многие любили и пытались спасти, уговаривали его взять себя в руки. Но все без толку. Он просил оставить его в покое. Стал резок и груб, этого никто не ожидал — так он раньше был мягок со всеми. Уолтон сказал, что он стал совсем другим, — его словно подменили. Алмонда перестали принимать у губернатора, а потом и в других домах. Леди Ормонд, жена губернатора, была снобом и знала, что Алмонд из хорошей семьи; и она, конечно, отказала ему от дома только тогда, когда он совсем уж сбился с пути. Да, он был славный малый, этот Джек Алмонд. Было обидно, что с ним стряслась такая беда. Я искренне жалел его. Но не мог же я в самом деле потерять из-за этого аппетит и не спать по ночам.

Спустя несколько месяцев я сам оказался в Сингапуре и, зайдя в клуб, осведомился о нем. Работу он так-таки потерял: он частенько не появлялся в конторе дня по два, по три. Мне рассказали, что кто-то устроил его на Суматру управляющим на каучуковой плантации в надежде, что вдали от Сингапура с его соблазнами он выправится. Понимаете, его до того все любили, что не могли так просто примириться с его судьбой. Но все напрасно. Он пристрастился к опиуму. На Суматре он пробыл недолго и скоро опять появился в Сингапуре. Я слышал, что его нельзя было узнать. Прежде он был таким шеголем, таким элегантным. А теперь бродил по улицам Сингапура грязный, в лохмотьях, с одичалым взглядом. Несколько старых друзей собрались в клубе и решили что-нибудь предпринять. Они еще надеялись спасти его. Послали его в Саравак. Не помогло: он не желал, чтобы его спасали. По-моему, он сам хотел погибнуть, и как можно скорее. Затем он исчез, говорили, что он вернулся в Англию. Так или иначе, но скоро о нем позабыли. Вы, наверное, знаете, как легко затеряться человеку в Малайе. Вот почему, найдя в вонючей китайской халупе труп белого, одетого в саронг, заросшего бородой, я и подумать не мог, что это Джек Алмонд. Ведь я не слыхал о нем уже много лет.

— Только вообразите, что он пережил за эти годы! — сказала миссис Лоу, и в глазах ее заблестели слезы, потому что у нее было доброе и жалостливое сердце.

— Загадочная история, — сказал Лоу.

— Почему? — спросил я.

— Уж если ему суждено было погибнуть, отчего это не случилось раньше, в его первый приезд в колонии? Пять лет все шло хорошо. Как нельзя лучше. Пусть его сгубила несчастная любовь. Так отчего он был здоров и доволен жизнью, когда рана еще была свежа? Все те годы он был весел, как птица: казалось, у него нет никаких забот. Он стал другим, вернувшись из Лондона.

— Значит, в эти полгода что-то произошло, — заметила миссис Лоу. — Это же ясно.

— Мы никогда этого не узнаем, — вздохнул Лоу.

— Но можем предполагать, — усмехнулся я. — Вот когда на помощь приходит писатель. Хотите, я расскажу вам, что произошло в Лондоне, как это мне представляется?

— Рассказывайте!

— Первые пять лет живительным источником для него была жертва, которую он принес. У него было сердце рыцаря. Он поступил всем, ради чего стоит жить, чтобы спасти любимую женщину. Он пребывал в постоянном экстазе. Он по-прежнему боготворил ее. Любят многие, перестают любить и снова любят. Но есть люди, которые живут всю жизнь только одной привязанностью. Таким, очевидно, и был Джек Алмонд. Он был счастлив на свой лад, сознавая, что пожертвовал собой ради женщины, которая была достойна его жертвы. Она всегда присутствовала в его мыслях. И вот он поехал в Англию. Он все так же любил ее и не сомневался, что и она продолжает любить его, как раньше, сильно и верно. Зачем он вернулся? Быть может, надеялся втайне, что она не будет дольше противиться своему чувству и согласится бежать с ним. А может, ему достаточно было узнать, что он все еще ей дорог. Конечно, их встреча была неизбежна — они вращались в одном кругу. И он вдруг увидел, что больше ничего для нее не значит. Вместо пылкой, влюбленной девочки он встретил холодную, искушенную жизнью светскую даму. Он понял, что она никогда не любила его так, как он думал. Стал подозревать, что она, хладнокровно все взвесив, заставила его пойти на жертву. Он видел ее на балах, спокойную, невозмутимую, окруженную поклонниками. Он понял, что те благородные качества, которые он находил в ней, были созданы его собственным воображе-

нием. Она была обыкновенной женщиной, которая поддавалась минутному влечению. Страсть остыла, и она вернулась к своему привычному образу жизни. Имя, богатство, положение в обществе, светские успехи — вот что только имело для нее цену. А он потерял все: друзей, привычную обстановку, блестящее будущее, возможность применить свои способности. Потерял все, что составляет смысл жизни! И ничего не получил взамен. Да, было от чего сойти с ума. Его ловко одурачили, и он не перенес этого. Ваш приятель Уолтон сказал правильно, да вы и сами это заметили: Джек Алмонд выглядел так, словно жизнь в нем угасла. Так это и было. Ему все теперь было безразлично. Но самое худшее, пожалуй, состояло в том, что, не заблуждаясь более относительно леди Кастеллан, он продолжал любить ее. На мой взгляд, нет ничего более трагичного, чем любить человека всем сердцем, любить, несмотря на все попытки вырвать эту любовь, и знать, что человек этот не достоин твоей любви. Вот отсюда и опиум. Чтобы одно забылось, а другое помнилось.

Я говорил долго и наконец замолчал.

— Все это одни предположения, — сказал Лоу.

— Не спорю, — ответил я. — Но они не противоречат ходу событий.

— Мне кажется, он не был сильным человеком. Иначе он мог бы бороться и победить.

— Может быть. Может быть, некоторая слабость всегда идет рука об руку с таким обаянием. Может быть, любить так беззаветно и преданно способны лишь немногие. Может быть, он и сам не хотел бороться и победить. Я не берусь судить его.

Я не прибавил, боясь прослыть циником, что не будь у Джека Алмонда таких удивительно длинных ресниц, он и по сей бы день жил и здравствовал, был бы посланником в каком-нибудь иностранном государстве и находился на верном пути к месту посла в Париже.

— Перейдем в гостиную, — сказала миссис Лоу, вставая. — Надо убрать со стола.

Вот и все о Джеке Алмонде.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ферма была расположена в долине между холмами Сомерсетшира. Старомодный каменный дом окружали сараи, загоны для скота и другие дворовые строения. Над его входной дверью красивыми старинными цифрами была высечена дата постройки: 1673; и серый, на века сложенный дом был такой же неотъемлемой частью пейзажа, как и деревья, под сенью которых он укрывался. Из ухоженного сада к большой дороге вела аллея великолепных вязов, которая украсила бы любую помещичью усадьбу. Люди, жившие там, были такими же крепкими, стойкими и скромными, как и самый дом. Гордились они только тем, что со времени его постройки все мужчины, принадлежавшие к этой семье, из поколения в поколение рождались и умирали в нем. Триста лет они обрабатывали здесь землю. Джорджу Медоузу было теперь пятьдесят лет, а его жене — на год или два меньше. Оба они были прекрасные, честные люди в расцвете сил, и дети их — два сына и три дочери — были красивые и здоровые. Им были чужды новомодные идеи — они не считали себя леди и джентльменами, знали свое место в жизни и довольствовались им. Я никогда не видал более сплоченной семьи. Все были веселы, трудолюбивы и доброжелательны. Их жизнь была патриархальна и гармонична, что придавало ей законченную красоту симфонии Бетховена или картины Тициана. Они были счастливы и достойны своего счастья. Но хозяином на ферме был не Джордж Медоуз («Куда там», — говорили в деревне): хозяйкой была его мать. «Прямо-таки, мужчина в юбке», — говорили про нее. Это была женщина семидесяти лет, высокая, статная, с седыми волосами, и хотя лицо ее

было изборождено морщинами, глаза оставались живыми и острыми. Ее слово было законом в доме и на ферме; но она обладала чувством юмора и властвовала хотя и деспотично, но не жестоко. Шутки ее вызывали смех, и люди повторяли их. У нее была крепкая деловая хватка, и провести ее было трудно. Это была незаурядная личность. В ней уживались, что случается очень редко, доброжелательность и умение высмеять человека.

Однажды, когда я возвращался домой, меня остановила миссис Джордж. (Только к ее свекрови почтительно обращались как к «миссис Медоуз», жену Джорджа называли просто «миссис Джордж».) Она была чем-то сильно взволнована.

— Как бы вы думали, кто к нам сегодня приезжает? — спросила она меня. — Дядя Джордж Медоуз. Знаете, тот, который был в Китае.

— Неужели? Я думал, что он умер.

— Мы все так думали.

Историю дядюшки Джорджа я слышал десятки раз, и она всегда забавляла меня, так как от нее веяло ароматом старинной легенды; теперь меня взволновала возможность увидеть ее героя. Ведь дядюшка Джордж Медоуз и Том, его младший брат, оба ухаживали за миссис Медоуз, когда она еще была Эмили Грин, пятьдесят с лишним лет назад, и когда Эмили вышла замуж за Тома, Джордж сел на корабль и уехал.

Было известно, что он поселился где-то на побережье Китая. В течение двадцати лет он изредка присылал им подарки; затем больше не подавал о себе вестей; когда Том Медоуз умер, его вдова написала об этом Джорджу, но ответа не получила; и наконец все решили, что его тоже нет в живых. Но несколько дней назад, к большому своему удивлению, они получили письмо из Портсмута от экономки приюта для моряков. Она сообщала, что последние десять лет Джордж Медоуз, искалеченный ревматизмом, провел там, а теперь, чувствуя, что жить ему осталось недолго, пожелал снова увидеть дом, в котором родился. Альберт, его внучатый племянник, отправился за ним в Портсмут на своем форде, к вечеру они должны были приехать.

— Только представьте себе, — говорила миссис Джордж, — он не был здесь больше пятидесяти лет. Он

даже никогда не видел моего Джорджа, а ему уже пошел пятьдесят первый год.

— А что думает об этом миссис Медоуз? — спросил я.

— Ну, ведь вы ее знаете. Она сидит и улыбается про себя. Сказала только: «Он был красивым парнем, когда уезжал, но не таким положительным, как его брат». Вот поэтому она и выбрала отца моего Джорджа. Она еще говорит: «Теперь-то, вероятно, он уgomонился».

Миссис Джордж пригласила меня зайти познакомиться с ним. С наивностью деревенской жительницы, которая если и уезжала из дома, то не дальше, чем в Лондон, она считала, что, раз мы оба побывали в Китае, у нас должны быть общие интересы. Конечно, я принял приглашение. Когда я пришел, вся семья была в сборе; все сидели в большой старой кухне с каменным полом, миссис Медоуз — на стуле у огня, держась очень прямо и в своем парадном шелковом платье, что меня позабавило, сын с женой и детьми — за столом. По другую сторону камина сидел сгорбленный старик. Он был очень худ, и кожа висела на его костях, как старый, слишком широкий пиджак. Лицо у него было морщинистое и желтое; во рту не осталось почти ни одного зуба.

Мы поздоровались с ним за руку.

— Очень рад, что вы благополучно добрались сюда, мистер Медоуз, — сказал я.

— Капитан, — поправил он меня.

— Он прошел всю аллею, — сказал мне Альберт, его внучатый племянник. — Когда мы подъехали к воротам, он заставил меня остановить машину и заявил, что хочет идти пешком.

— А ведь я целых два года был прикован к кровати. Меня снесли на руках и посадили в машину. Я думал, что никогда уже не смогу ходить, но когда я их увидел, эти самые вязы, — помню, отец их очень любил, — то почувствовал, что опять могу двигать ногами. Я прошел по этой аллее пятьдесят два года тому назад, когда уезжал, а вот теперь снова сам вернулся по ней обратно.

— Ну и глупо! — заметила миссис Медоуз.

— Мне это пошло на пользу. Так хорошо и бодро я не чувствовал себя уже лет десять. Я еще тебя переживу, Эмили.

— Не слишком рассчитывай на это, — ответила она.

Вероятно, уже целую вечность никто не называл миссис Медоуз по имени. Меня это даже немного покорило, будто старик позволил себе какую-то вольность по отношению к ней. Она смотрела на него, и в глазах у нее мелькнула чуть насмешливая улыбка, а он, разговаривая с ней, ухмылялся, обнажая беззубые десны. Странное чувство я испытывал, глядя на этих двух стариков, не видевшихся пол-века, и думая о том, что столько лет назад он любил ее, а она любила другого. Мне захотелось узнать, помнят ли они, что чувствовали тогда и о чем говорили друг с другом. Мне захотелось узнать, не удивляет ли теперь его самого, что из-за этой старой женщины он покинул дом своих предков, законное свое наследие, и всю жизнь скитался по чужим краям.

— Вы когда-нибудь были женаты, капитан Медоуз? — спросил я.

— Нет, это не для меня, — ответил он надтреснутым голосом и ухмыльнулся, — я слишком хорошо знаю женщин.

— Ты только так говоришь, — возразила миссис Медоуз, — на самом деле в молодости у тебя наверняка было с полдюжины черных жен.

— Тебе не мешало бы знать, Эмили, что в Китае женщины не черные, а желтые.

— Может быть, поэтому ты и сам так пожелтел. Когда я тебя увидела, то сразу подумала: да ведь у него желтуха.

— Я сказал, Эмили, что, кроме тебя, ни на ком не женюсь, и не женился.

Он произнес это без всякого пафоса или чувства обиды, так же просто, как говорят: «Я сказал, что пройду двадцать миль, — и прошел». В его словах звучало даже некоторое удовлетворение.

— Может, тебе пришлось бы раскаиваться, если бы ты женился, — сказала она.

Я немного поговорил со стариком о Китае.

— Я знаю все порты Китая лучше, чем вы — содержимое ваших карманов. Я побывал повсюду, куда только заходят корабли. Вы могли бы здесь просиживать целые дни в течение полугода, и то я не успел бы рассказать вам половины всего, что повидал в свое время.

— Мне кажется, одного ты все же не сделал, — сказала миссис Медоуз, и в глазах ее по-прежнему светилась насмешливая, но добрая улыбка, — ты не разбогател.

— Не такой я человек, чтобы копить деньги. Зарабатывай их и трать — вот мой девиз. Одно могу сказать: если бы мне пришлось начинать жизнь заново, я бы в ней ничего не изменил. А ведь немногие это скажут.

— Конечно, — заметил я.

Я смотрел на него с восторгом и восхищением. Это был беззубый старик, скрюченный ревматизмом, без гроша в кармане, но он хорошо прожил жизнь, так как умел ею наслаждаться. Когда мы с ним прощались, он попросил меня прийти и на следующий день. Если я интересуюсь Китаем, он будет рассказывать о нем сколько угодно.

На следующее утро я решил зайти справиться, хочет ли старик меня видеть. Я медленно прошел великолепную вязовую аллею и, подойдя к саду, увидел, что миссис Медоуз рвет цветы. Услышав, что я здороваюсь с ней, она распрямилась. В руках она уже держала целую охапку белых цветов. Я взглянул в сторону дома и увидел, что на окнах опущены шторы; меня это удивило: миссис Медоуз любила солнечный свет. «Хватит времени налегаться в темноте, когда вас похоронят», — часто говорила она.

— Как себя чувствует капитан Медоуз? — осведомился я.

— Он всегда был легкомысленным парнем, — ответила она. — Когда Лиззи понесла ему сегодня чашку чая, она нашла его мертвым.

— Мертвым?

— Да. Он умер во сне. Вот я и нарвала цветов, чтобы поставить в его комнату. Я рада, что он умер в этом старом доме. Все эти Медоузы считают, что умирать надо именно здесь.

Накануне очень трудно было убедить его лечь спать. Он все рассказывал о событиях своей долгой жизни. Он так радовался, что вернулся в свой старый дом. Гордился, что без всякой помощи прошел аллею, и хвастался, что прожил еще двадцать лет. Но судьба оказалась милостивой к нему: смерть вовремя поставила точку.

Миссис Медоуз понюхала белые цветы, которые держала в руках.

— Я рада, что он вернулся, — сказала она. — После того как я вышла за Тома Медоуза, а Джордж уехал, я никогда не была вполне уверена, что сделала правильный выбор.

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Когда я был маленьким, меня заставляли учить наизусть басни Лафонтена, и мораль каждой мне тщательно растолковывали. Была среди них «Стрекоза и муравей», из которой юные умы почерпывают полезнейший вывод: в нашем несовершенном мире трудолюбие вознаграждается, а легкомыслие карается. В этой превосходнейшей басне (прошу прощения за пересказ того, что известно всем, как несколько опрометчиво требует признать вежливость) муравей усердно трудится все лето, собирая запасы на зиму, а стрекоза сидит себе на листочке под солнышком и распевает песенки. Наступает зима, муравей обеспечен всем необходимым, но у стрекозы кладовая пуста. Она отправляется к муравью и просит дать ей еды. И получает от муравья ответ, ставший классическим:

— Да работала ль ты в лето?

— Я без души лето целое все пела.

— Ты все пела? Это дело: так поди же попляши!

Думаю, дело было не в извращенности моего ума, а просто в детской непоследовательности — ведь нравственное чувство детству чуждо, — но я никак не мог принять такую мораль. Все мои симпатии были на стороне стрекозы, и еще долго, увидев муравья, я старался наступить на него. Таким категоричным образом (и как мне стало ясно много позже — чисто по-человечески) я пытался выразить неодобрение предусмотрительности и здравому смыслу.

Мне невольно вспомнилась эта басня, когда на днях я увидел в ресторане Джорджа Рэмси, который завтракал там в одиночестве. Лицо его было неопишимо скорбным.

Он смотрел в никуда неподвижным взглядом. Казалось, на его плечи легли все беды мира. Мне стало жаль беднягу —

уж конечно, милый братец снова его допек. Я подошел к нему, протягивая руку.

— Как поживаете? — сказал я.

— Не ликую, — ответил он.

— Опять Том?

Он вздохнул.

— Да, опять Том.

Наверное, в любой семье есть свой козлище. Двадцать лет Том был для брата источником непреходящей горечи. Жизнь он начал пристойно: занялся коммерцией, женился, родил двух детей. Семья Рэмси была во всех отношениях почтенной, и были все основания полагать, что Том Рэмси проживет полезную и похвальную жизнь. Но в один прекрасный день он ни с того ни с сего объявил, что работать не любит и не годится в отцы семейства. Он хотел наслаждаться жизнью. И не желал слушать никаких уговоров. Он бросил жену и контору. У него были кое-какие деньги, и он прожил два счастливых года в разных европейских столицах. Время от времени до его родных доходили вести о нем, глубоко их шокировавшие. Время он, бесспорно, проводил великолепно. Они покачивали головами и спрашивали, что он будет делать, когда израсходует все свои деньги. Скоро они это узнали. Он начал занимать. Он был обаятелен и нешепетил. Я не встречал другого человека, которому было бы так трудно не дать в долг. Он взимал постоянную дань со своих друзей, а друзей он заводил легко. Но он всегда утверждал, что тратить деньги на самое необходимое невыносимо скучно. Приятно и весело тратить деньги на всякую роскошь. Источником таких денег служил его брат Джордж. Обаяния он на него не расходовал — Джордж был серьезен, и подобные эфемерности его не трогали. Джордж был солиден. Раза два он клевал на обещания Тома исправиться и снабжал его солидными суммами, чтобы тот мог начать жизнь заново. На эти суммы Том приобрел автомобиль и кое-какие недурные драгоценности. Когда же Джордж, поняв, что его брат никогда не остепенится, умыл руки, Том без малейших угрызений совести принялся его шантажировать. Не так-то приятно респектабельному адвокату узнать, что его брат сбивает коктейли за стойкой бара его любимого ресторана или сидит за рулем такси у дверей его клуба. Том утверждал, что стоять за стойкой бара и водить такси — занятия вполне солидные, однако, если Джордж может услужить ему двумя-тремя сотнями фун-

тов, он ради чести семьи от них, так и быть, откажется. И Джордж платил.

Однажды Том чуть не угодил в тюрьму. Джордж был в ужасе. Нет, Том действительно зашел слишком далеко. Прежде он был легкомысленным мотом и эгоистом, но бесчестных поступков не допускал. (Под этим Джордж подразумевал нарушения закона.) И если бы его привлекли к суду, ему несомненно вынесли бы обвинительный приговор. Но нельзя же допустить, чтобы ваш единственный брат попал в тюрьму! Человек, которого Том надул, человек по фамилии Кроншо, был мстителен. Он непременно хотел обратиться в суд. Он сказал, что Том негодяй и должен понести кару. Благополучный исход этого дела обошелся Джорджу во множество хлопот и пятьсот фунтов. И я ни разу не видел его в таком бешенстве, как в тот день, когда он узнал, что Том и Кроншо, едва кассировав чек, укатили вместе в Монте-Карло, где провели преотличнейший месяц.

Двадцать лет Том играл на скачках и в казино, волочил-ся за самыми хорошенькими женщинами, танцевал, ел в самых дорогих ресторанах и одевался с безупречным вкусом. Он всегда выглядел так, словно сошел со страницы модного журнала. Хотя ему было сорок шесть, вы бы от силы дали ему тридцать пять. Он был на редкость остроумным собеседником, и хотя вы знали, что он полная никчемность, это не мешало вам получать большое удовольствие от его общества. Его отличали бодрость, неугасимая веселость и невероятное обаяние. Я несколько не досадовал на поборы, которые он регулярно брал с меня для удовлетворения насущных потребностей. Всякий раз, когда я отсчитывал ему пятьдесят фунтов, у меня возникало ощущение, что я у него в долгу. Том Рэмси знал всех, и все знали Тома Рэмси. Одобрить его образ жизни вы не могли, но все равно он вам нравился.

Бедняга Джордж был всего годом старше своего беспутного брата, но выглядел он на все шестьдесят. В течение четверти века он позволял себе отдыхать не более двух недель в год. Каждое утро в девять тридцать он уже сидел в своей конторе и уходил не раньше шести. Он был честным, трудолюбивым и во всех отношениях достойным человеком. У него была прекрасная жена, которой он ни разу не изменил даже в мыслях, и четыре дочери, для которых он был лучшим из отцов. Он поставил себе правилом откладывать треть дохода с тем, чтобы в пятьдесят пять лет удалиться на покой в небольшой загородный дом, работать в своем саду и играть в гольф. Его жизнь была безупречной, и он

радовался тому, что стареет: ведь Том тоже старел. Джордж потирал руки и говорил:

— Все шло прекрасно, пока Том оставался молодым и красивым, но он только на год моложе меня. Через четыре года ему стукнет пятьдесят. И тогда жить ему станет не так легко. К тому времени, когда я достигну пятидесяти лет, у меня будет тридцать тысяч фунтов. Двадцать пять лет я говорил, что Том кончит под забором. И вот тогда мы посмотрим, как ему это понравится. Тогда мы посмотрим, что лучше — трудиться или бездельничать.

Бедняга Джордж, я ему от души сочувствовал. И теперь, сядя за его столик, я про себя гадал, в каком постыдном поступке повинен Том на этот раз. Джордж был явно в глубочайшем расстройстве.

— Знаете, что случилось? — спросил он меня.

Я приготовился к худшему. Неужели Том все-таки попал в руки правосудия? Голос у Джорджа прерывался.

— Вы же не станете отрицать, что всю жизнь я был порядочным, респектабельным, честным тружеником. И после долгих лет неустанных усилий и бережливости я могу предвкушать уход на покой, обеспеченный небольшим доходом с государственных ценных бумаг. Я всегда исполнял свой долг в соответствии с тем жребием, какой Провидению было благоугодно мне назначить.

— Совершенно верно.

— И вы не можете отрицать, что Том был никчемным, распушенным и бесчестным бездельником.

— Совершенно справедливо.

Джордж побагровел.

— Несколько недель назад он стал женихом женщины, годившейся ему в матери. А теперь она умерла и оставила ему все свое состояние. Полмиллиона фунтов, яхту, дом в Лондоне и загородный дом.

Джордж стукнул по столу крепко стиснутым кулаком.

— Это нечестно, говорю вам, это нечестно! Черт побери, это нечестно!

Я ничего не мог с собой поделать и, глядя на гневное лицо Джорджа, вдруг захохотал. Я извивался на стуле и чуть не скатился на пол. Джордж так меня и не простил. Но Том часто угощает меня превосходными обедами в своем элегантном доме в Мэйфере, а если иногда и берет у меня займы, то лишь по привычке. И никогда больше совершена.

ЗАВТРАК

Я встретил ее в театре. В антракте она мне кивнула, я подошел к ней и сел рядом. Я не видел ее очень давно и, если бы не услышал ее имени, то, пожалуй, не узнал бы ее.

— Сколько лет мы с вами не видались! — с улыбкой сказала она. — Как летит время! Да, мы не молодеем. Помните нашу первую встречу? Вы пригласили меня позавтракать.

Помнил ли я!

Это было двадцать лет назад, я жил тогда в Париже. Я снимал в Латинском квартале крошечную квартирку окнами на кладбище, и денег, которые я зарабатывал, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Она прочла одну из моих книг и написала мне. Я ответил несколькими словами благодарности и вскоре получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что будет проездом в Париже и хотела бы со мной поболтать; но у нее очень мало свободного времени, и единственный день, который она может мне уделить, это следующий четверг; утро она проведет в Люксембургском дворце, а потом мы могли бы позавтракать у Фойо. Ресторан Фойо посещают французские сенаторы, мне он был не по средствам, я никогда и не помышлял о нем. Однако ее внимание мне польстило, к тому же я был слишком молод и не научился еще говорить женщинам «нет». (Мужчину редко удается научить этому, прежде чем он достигнет такого возраста, когда женщине уже безразлично, что он скажет.) У меня до конца месяца оставалось восемьдесят франков, а скромный завтрак не мог, конечно, стоить дороже пятнадцати. Если оставшиеся две недели обходиться без кофе, мне бы этих денег вполне хватило.

Я ответил, что в четверг буду ждать моего неизвестного друга у Фойо в половине первого. Она оказалась не такой молодой, как я ожидал, и вид у нее был скорее внушительный, нежели привлекательный. Это была женщина лет сорока (возраст прелестный, но едва ли способствующий пробуждению сокрушительной страсти с первого взгляда). У нее были белые крупные ровные зубы, только мне почему-то казалось, что их у нее больше, чем нужно. Она была болтлива, но, видя, что она склонна болтать обо мне, я готов был слушать ее со вниманием.

Когда я взглянул на карточку, у меня потемнело в глазах — цены были гораздо выше, чем я предполагал. Но она меня успокоила.

— Я никогда не завтракаю, — сказала она.

— Вы меня обижаете! — великодушно воскликнул я.

— Я никогда плотно не завтракаю: не больше одного блюда. По-моему, люди в наше время слишком много едят. Немножко рыбы, пожалуй. Интересно, есть у них лососина?

Для лососины был еще не сезон, и в карточке она не значилась, но я все же спросил у официанта, нет ли у них лососины. Да, они только что получили чудесного лосося — первого в этом году.

Я заказал для моей гостьи лососину. Официант спросил у нее, не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску, пока будут готовить заказ.

— Нет, — отвечала она, — я никогда плотно не завтракаю. Разве если у вас есть икра. От икры я не откажусь.

У меня екнуло сердце. Я знал, что икра мне не по карману, но как я мог признаться в этом? Я сказал официанту, чтобы он непременно подал икру. Для себя я выбрал самое дешевое блюдо — баранью отбивную.

— Зачем вы берете мясо? — сказала она. — Не понимаю, как можно работать после такой тяжелой пищи. Я против того, чтобы перегружать желудок.

Теперь предстояло выбрать вино.

— Я ничего не пью за завтраком, — сказала она.

— Я тоже, — поспешно заявил я.

— Кроме белого вина, — продолжала моя гостья, как будто и не слышала моих слов. — Французские белые вина такие легкие. Они очень хороши для пищеварения.

— Какое вы предпочитаете? — спросил я, все еще любезно, но без излишней восторженности.

Она блеснула своими ослепительными зубами.

— Мой доктор не разрешает мне пить ничего, кроме шампанского.

Кажется, я побледнел. Я заказал полбутылки. При этом я небрежно заметил, что мой доктор категорически запретил мне пить шампанское.

— Что же вы тогда будете пить?

— Воду.

Она ела икру, она ела лососину. Она непринужденно болтала об искусстве, о литературе, о музыке. А я сидел и подсчитывал, сколько придется платить. Когда мне принесли заказанное блюдо, она взялась за меня всерьез.

— Я вижу, вы привыкли плотно завтракать. И совершенно напрасно. Берите пример с меня. Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо.

— Я и собираюсь есть одно блюдо, — сказал я, видя, что официант опять подходит к нам с карточкой.

Она грациозно от него отстранилась.

— Нет, нет, я никогда не завтракаю. Так, погрызу что-нибудь, да и то скорее как предлог для беседы. Я просто не в состоянии больше проглотить ни кусочка. Разве только если у них есть французская крупная спаржа. Быть в Париже и не попробовать ее — это просто обидно.

Сердце у меня упало. Я видел эту спаржу в магазинах и знал, что она ужасно дорогая. Не раз у меня текли слюнки при виде ее.

— Мадам желает знать, нет ли у вас крупной спаржи, — спросил я у официанта. Я напряг всю свою волю, чтобы заставить его сказать «нет». Его круглая пасторская физиономия расплылась в радостной улыбке, и он заверил меня, что у них есть такая крупная, такая великолепная, такая нежная спаржа, просто чудо.

— Я ни капельки не голодна, — вздохнула моя гостья. — Но если вы настаиваете, я, пожалуй, съем немножко.

Я заказал.

— А вы разве не хотите?

— Нет, я спаржи не ем.

— Да, некоторые ее не любят. А все потому, что вы едите слишком много мяса, это портит вкус.

Мы ждали, пока приготовят спаржу. Мною овладел страх. Я уже не спрашивал себя, хватит ли денег до конца

месяца, — я думал только о том, как бы уплатить по счету. Какой позор, если не хватит каких-нибудь десяти франков и придется занять их у моей гостыи. Нет, об этом не могло быть и речи. Я знал точно, сколько у меня есть, и решил, что, если счет превысит эту сумму, я опущу руку в карман и, с возгласом ужаса вскочив на ноги, скажу, что у меня украли кошелек. Будет, конечно, очень неловко, если у нее тоже не окажется денег. Тогда останется одно — предложить в залог свои часы, а потом вернуться и уплатить по счету.

Появилась спаржа. Она была необычайных размеров, сочная и аппетитная. Аромат растопленного масла щекотал мои ноздри, как запах дымящихся тельцов, сжигаемых благочестивыми иудеями, щекотал ноздри Иеговы. Я следил, как эта бессовестная женщина самозабвенно поглощает кусок за куском, и деликатно рассуждал о состоянии современной драмы на Балканах. Наконец спаржа исчезла.

— Кофе? — спросил я.

— Да, кофе и мороженое, — отвечала она.

Мне уже нечего было терять, и я заказал себе кофе, а ей — кофе и мороженое.

— Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда слеую, — сказала она, доедая мороженое. — Человек должен вставать из-за стола с таким ощущением, что он еще не вполне насытился.

— Вы еще голодны? — едва выговорил я.

— Нет, что вы, я не голодна; я вообще не ем второго завтрака. Утром я выпиваю чашку кофе, потом обедаю, а на второй завтрак так что-нибудь перекушу, самую малость. Я имела в виду вас.

— А-а, понимаю.

И тут случилось нечто ужасное. В то время как мы ждали кофе, к нам подошел метрдотель и с угодливой улыбкой на лицемерной физиономии протянул нам большую корзину, полную огромных персиков. У них был румянец невинной девушки; у них было все богатство тонов итальянского пейзажа. Но откуда они взялись в это время года? Один бог знает, сколько они стоят. Я тоже это узнал — несколько позже, ибо моя гостыя, не прерывая беседы, рассеянно взяла из корзины персик.

— Вот видите, вы набили желудок мясом (моя единственная несчастная котлетка!) — и больше ничего не в

состоянии съесть. А я только слегка перекусила и теперь с удовольствием съем персик.

Принесли счет, и, когда я уплатил, у меня едва-едва осталось на чаевые. Взгляд ее на мгновение задержался на жалких трех франках, оставленных мною для официанта, и она, конечно, сочла меня скрягой. Когда я вышел из ресторана, впереди у меня были целые две недели, а в кармане ни одного сантима.

— Берите пример с меня, — сказала она на прощание, — никогда плотно не завтракайте.

— Я сделаю еще лучше, — отвечал я. — Я сегодня не буду обедать.

— Шутник! — весело воскликнула она, вскакивая в экипаж. — Вы настоящий шутник!

Теперь я наконец отомщен. Мне кажется, я человек незлопамятный, но, когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги, вполне простительно обозревать плоды их труда с чувством удовлетворения. Она весит теперь двести девяносто четыре фунта.

ЛУИЗА

Я никогда не понимал, чего ради Луиза со мной знается. Она меня недолюбливала и не упускала случая за моей спиной сказать обо мне самым милым тоном что-нибудь нелестное. Она была слишком деликатна, чтобы выражать свои мысли прямо, но намек, вздох, легкое движение ее красивых рук говорили яснее слов. Это была великая мастерица на язвительные комплименты. Мы, правда, близко знали друг друга уже лет двадцать пять, но я никогда не поверю, чтобы старое знакомство имело для нее хоть какое-нибудь значение. Она считала меня грубым, черствым, циничным и вульгарным. Я терялся в догадках, почему бы ей попросту не отступить от меня. Ничуть не бывало; напротив, она не оставляла меня в покое — постоянно звала к себе то к завтраку, то к обеду, а раз или два в год приглашала провести субботу и воскресенье на ее загородной вилле. Наконец, как мне показалось, я понял, в чем тут дело. Луизу мучило подозрение, что я ей не верю; потому-то она и не любила меня, но в то же время искала моего общества: я единственный не принимал ее всерьез, это ее злило, и она не могла успокоиться, пока не заставит меня сдаться и признать свою ошибку. Быть может, она смутно чувствовала, что я разгадал под маской ее истинное лицо, и решила рано или поздно разубедить меня — ведь только я один еще упорствовал. Я не был до конца уверен в том, что Луиза — отъявленная лгунья. Возможно, она обманывала себя не менее удачно, чем других, или же в глубине души смеялась над всеми. А если так, то ее могло привлекать ко мне сознание, что у нас, как у двух мошенников, есть общий секрет, о котором никто и не догадывается.

Я знал Луизу еще до ее замужества. Это была хрупкая слабенькая девушка с большими грустными глазами. Отец и мать боготворили ее и дрожали над ней — после какой-то болезни, кажется скарлатины, у нее было осложнение на сердце и ей приходилось особенно беречься. Когда Том Мэйтленд сделал ей предложение, они пришли в ужас, так как считали, что она слишком хрупка для тягот семейной жизни. Но жилось им нелегко, а Том Мэйтленд был богат. Он клялся, что для Луизы готов на все, и в конце концов они вверили эту святыню его попечениям. Том Мэйтленд был рослый, здоровый, очень красивый парень, прекрасный спортсмен. В Луизе он души не чаял. Он понимал, что с ее больным сердцем жить ей на земле осталось недолго, и решил сделать все возможное, чтобы эти немногие годы она была счастлива. Он забросил любимый спорт, но не потому, что она этого требовала (нет, она радовалась его успехам!), а потому, что, по странному совпадению, стоило ему собраться куда-нибудь — поиграть в гольф или на охоту, — как с ней случался сердечный припадок. Если они расходились во мнениях, она тотчас уступала, ведь это была самая покладистая из всех жен на свете, но сердце подводило ее, и она неделю лежала в постели, кроткая, безропотная. Конечно, с его стороны было жестоко противоречить ей. Потом он долго убеждал ее, что был неправ, и только после упорной борьбы великодушный она наконец соглашалась поступить по-своему. Однажды, видя, как Луиза прошагала восемь миль, когда ей вздумалось прогуляться, я намекнул Тому Мэйтленду, что она крепче, чем кажется с первого взгляда. Он покачал головой и вздохнул.

— Нет, нет, здоровье у нее никуда. Она показывалась лучшим в мире докторам, и все они считают, что ее жизнь на волоске. Просто у нее необычайная сила воли.

Он передал Луизе мое мнение о ее выносливости.

— Завтра мне придется за это расплачиваться, — сказала вечная страдальца. — Я буду на пороге смерти.

— По-моему, сил у вас предостаточно, было бы желание, — возразил я.

Я давно заметил, что в веселой компании она может танцевать ночь напролет, если же ей скучно, она чувствует недомогание и Том вынужден везти ее домой.

Боюсь, что мой ответ ей не понравился — она мило улыбнулась мне, но ее большие голубые глаза оставались серьезными.

— Вы, верно, ждали, что я упаду замертво, лишь бы доставить вам удовольствие, — сказала она.

Луиза пережила своего мужа. Он простудился насмерть, когда они как-то катались на яхте и все пледы понадобились Луизе, чтоб не замерзнуть. Он оставил ей солидное состояние и дочь. Луиза была безутешна. Удивительно, как она вообще выдержала этот удар. Друзья ждали, что она тут же последует за бедным Томом в могилу. Они уже от души жалели ее дочь, которая останется круглой сиротой. Они удвоили свое внимание к Луизе. Не давали ей пальцем пошевелить; старались делать все на свете, только бы избавить ее от забот. Как же иначе, ведь, если предстояло что-нибудь утомительное или неинтересное, сердце изменяло ей и она оказывалась на пороге смерти. Она говорила, что просто погибает без человека, который заботился бы о ней, и не знает, как с ее слабым здоровьем вырастит свою дорогую Айрис. Друзья спрашивали, почему бы ей не выйти опять замуж. О, с ее сердцем об этом не может быть и речи, хотя, конечно, дорогой Том хотел бы этого, и, пожалуй, так было бы лучше для Айрис; но кто ж захочет возиться с таким жалким инвалидом? Как ни странно, охотников взять на себя эту обузу нашлось более чем достаточно, и спустя год после смерти Тома Луиза позволила Джорджу Хобхаусу повести ее к алтарю. Это был превосходный, подающий надежды молодой человек, к тому же далеко не бедняк. Он был бесконечно признателен за то, что именно ему предоставили право заботиться об этом хрупком создании.

— Не бойся, долго я не протяну, — говорила она.

Он был человек военный, притом весьма честолюбив, но вышел в отставку. Здоровье Луизы требовало, чтобы зиму она проводила в Монте-Карло, а лето в Довилле. Он не сразу решился отказаться от своей карьеры, а Луиза сперва и слышать об этом не хотела; но наконец она уступила, как уступала всегда, и он целиком посвятил себя тому, чтобы остаток жизни жена его была по возможности счастлива.

— Теперь уже недолго, — говорила она. — Я постараюсь не быть тебе в тягость.

Следующие два или три года Луиза, несмотря на слабое сердце, ухитрялась появляться в нарядных туалетах на всех самых шумных вечерах, крупно играла и даже флиртовала

с высокими и стройными молодыми людьми. Но Джордж Хобхаус был не так вынослив, как первый муж Луизы, и, чтобы справиться с повседневными обязанностями ее второго мужа, ему то и дело приходилось поддерживать себя крепкими напитками. Возможно, это вошло бы у него в привычку, что вряд ли понравилось бы Луизе, но, к счастью (для нее), началась война. Он вернулся в полк и спустя три месяца был убит. Это был тяжелый удар для Луизы. Однако она понимала, что в такое время нельзя предаваться личному горю; если у нее и был сердечный припадок, то никто об этом не узнал. Чтобы как-то рассеяться, она превратила свою виллу в Монте-Карло в санаторий для выздоравливающих офицеров. Друзья говорили ей, что она не выдержит такого напряжения.

— Конечно, это убьет меня, — соглашалась она. — Я знаю. Но что за беда? Я выполню свой долг.

Это не убило ее. Она наслаждалась жизнью как никогда. Во всей Франции не было более популярного санатория. Случайно я встретил Луизу в Париже. Она завтракала в «Ритце» с высоким и очень красивым молодым французом. Она объяснила, что приехала сюда по делам санатория. Офицеры необыкновенно милы с ней. Зная, как она слаба, они не позволяют ей шагу ступить. Они все заботятся о ней, как... ну да, как любящие мужья. Она вздохнула.

— Бедняжка Джордж, кто бы мог подумать, что я, с моим сердцем, переживу его?

— И бедняжка Том! — сказал я.

Не знаю почему, но мои слова ей не понравились. Она, по обыкновению, страдальчески улыбнулась, и ее прекрасные глаза наполнились слезами.

— Вы всегда говорите так, будто упрекаете меня за те немногие годы, что мне осталось прожить.

— Кстати, ваше сердце, кажется, окрепло?

— Оно никогда не окрепнет. Сегодня я показывалась специалисту, и он сказал, что я должна подготовиться к худшему.

— Ну, это пустяки, вы ведь уже двадцать лет готовитесь к худшему.

После войны Луиза поселилась в Лондоне. По-прежнему это была худая, хрупкая женщина, большеглазая и бледная, но хотя ей было за сорок, никто не давал ей больше двадцати

пяти. Айрис, которая уже вышла из пансиона и стала совсем взрослой девушкой, переехала жить к ней.

— Она будет заботиться обо мне, — говорила Луиза. — Конечно, нелегко ей придется с таким инвалидом, но вряд ли она посетует — ведь дни мои сочтены.

Айрис была славная девушка. Всю жизнь ей внушали, что ее мать серьезно больна. Даже в детстве не позволяли шуметь. Она всегда помнила, что для матери всякое волнение очень вредно. И хотя сейчас Луиза уверяла ее, что ни в коем случае не позволит ей жертвовать собой ради нудной старой женщины, девушка и слышать ничего не хотела. Разве это жертва, это же счастье хоть чем-нибудь помочь бедной мамочке. Со вздохом Луиза принимала ее помощь, и немалую.

— Девочке нравится думать, что она мне полезна, — говорила она.

— А вам не кажется, что ей нужно побольше бывать на людях? — спросил я.

— Об этом-то я ей всегда и толкую. Не могу заставить ее развлечься. Видит Бог, я совсем не хочу, чтобы кто-то страдал из-за меня.

Айрис же, когда я пытался вразумить ее, сказала:

— Бедная мамочка, она хочет, чтобы я гостила у друзей и ездила на вечера, но стоит мне собраться куда-нибудь, как с ней случается припадок, — лучше уж я посижу дома.

Но вскоре она влюбилась. Один мой знакомый, весьма приятный юноша, попросил ее руки, и Айрис дала согласие. Мне нравилась эта девочка, и я радовался, что у нее будет наконец своя жизнь. По-видимому, она прежде и не подозревала, что это возможно. Но однажды молодой человек пришел ко мне в совершенном отчаянии и сказал, что свадьба откладывается на неопределенное время. Айрис не в силах оставить мать. Конечно, мое дело сторона, но я решил повидаться с Луизой. Она всегда приглашала к чаю друзей и теперь, когда стала старше, собирала у себя художников и писателей.

— Итак, я слышал, Айрис замуж не выходит, — сказал я после обычных приветствий.

— Еще неизвестно. Пока что нет, хотя мне бы очень этого хотелось. Я на коленях умоляла ее не считаться со мной, но она наотрез отказывается меня покинуть.

— Не кажется ли вам, что ей это нелегко?

— Ужасно. Правда, ждать осталось всего несколько месяцев, но мне невыносимо думать, что кто-то жертвует собой ради меня.

— Дорогая Луиза, вы схоронили уже двух мужей, я, право, не понимаю, почему бы вам не схоронить по крайней мере еще двоих.

— Не вижу тут ничего смешного, — сказала она ледяным тоном.

— А вам никогда не казалось странным, что у вас хватает сил исполнять все свои желания и что слабое сердце мешает вам делать лишь то, что вам не по вкусу?

— О, я прекрасно знаю, что вы обо мне думаете. Вы никогда не верили, что я серьезно больна, так ведь?

Я посмотрел ей прямо в глаза.

— Никогда. Я считаю, что ваше поведение все эти двадцать пять лет — сплошная ложь. Я не встречал более эгоистичной и жестокой женщины. Вы разбили жизнь тем двум несчастным, которые женились на вас, а теперь собираетесь разбить жизнь собственной дочери.

Меня бы не удивило, если б с Луизой тут же случился сердечный припадок. Я был уверен, что она придет в ярьость. Но она только кротко улыбнулась.

— Мой бедный друг, уже недалек тот день, когда вы страшно пожалеете об этих словах.

— Вы твердо решили помешать Айрис выйти за этого мальчика?

— Я умоляю ее выйти за него. Я знаю, что это убьет меня. Ну что ж. Кому я нужна? Только обуза для всех.

— И вы ей сказали, что это убьет вас?

— Она меня заставила.

— Как будто можно заставить вас сделать хоть что-то, что не входит в ваши намерения!

— Пусть женятся хоть завтра, раз ей так хочется. Если это убьет меня — так тому и быть.

— Может, рискнем?

— Неужели вы ни капли не жалеете меня?

— Да вы мне смешны, какая уж тут жалость.

На бледных щеках Луизы выступил слабый румянец, и, хотя она по-прежнему улыбалась, глаза ее смотрели холодно и зло.

— Свадьба будет не позже, чем через месяц, — сказала она, — и если со мной что-нибудь случится, надеюсь ни вы, ни Айрис не станете терзаться угрызениями совести.

Луиза сдержала слово. Был назначен день, заказано пышное приданое, разосланы приглашения. Айрис и весьма приятный юноша сияли. В день свадьбы, в десять утра, с этой чертовой куклой Луизой случился очередной сердечный припадок, и она умерла. Умерла, великодушно простив Айрис, которая ее убила.

ЗА ЧАС ДО ФАЙФОКЛОКА

Миссис Скиннер не любила опаздывать. Она была уже одета — вся в черном шелку, как того требовали ее возраст и траур по недавно скончавшемуся зятю; осталось лишь надеть ток. Ее немного смущала эгретка из перьев цапли, которая могла вызвать резкое осуждение кое-каких знакомых, наверняка тоже приглашенных на файфоклок; и в самом деле, разве не бесчеловечно убивать этих прекрасных белых птиц ради их перьев, да еще когда у них пора любви; но раз уж так случилось, глупо было бы отказаться от такой красивой и элегантной отделки, к тому же отказ обидел бы зятя. Он привез ей эти перья с Борнео, не сомневаясь, что подарок обрадует ее. Кэтлин не преминула наговорить неприятностей по этому поводу, о чем, должно быть, жалеет теперь, после того, что произошло; впрочем, Кэтлин всегда недолюбливала Гарольда. Миссис Скиннер решительно водрузила ток на голову (в конце концов, это ее единственная приличная шляпа) и, стоя перед зеркалом, приколола его булавкой с большим агатовым наконечником. Если кто-нибудь упрекнет ее за эти перья, у нее готов ответ.

— Конечно, это ужасно, — скажет она; — мне бы и в голову не пришло покупать такую вещь, но это последний подарок моего бедного зятя.

Это будет и объяснением и оправданием. Все с таким сочувствием отнеслись к их горю. Миссис Скиннер достала из ящика чистый носовой платок и слегка побрызгала на него одеколоном. Она никогда не душилась, считая это признаком известного легкомыслия, но одеколон — другое дело, он так приятно освежает. Теперь можно было считать

себя почти готовой. Миссис Скиннер перевела глаза с зеркала на окно. Прекрасный день выбрал каноник Хейвуд для фэйфоклока в саду. Совсем тепло, на небе ни облачка, и зеленая листва еще не утратила весенней свежести. Миссис Скиннер улыбнулась, заметив в садике свою маленькую внучку, которая, вооружась граблями, деловито возилась у отведенной ей цветочной клумбы. Очень она бледненькая, Джоэн, нельзя было так долго держать ребенка в тропиках; и потом она не по годам серьезна, никогда не бегают, не резвится, ей бы только поливать свои цветы или играть в какие-то тихие, ею самой придуманные игры. Миссис Скиннер оправила платье на груди, взяла перчатки и пошла вниз.

Кэтлин сидела за письменным столиком у окна, занятая проверкой каких-то списков; она состояла почетным секретарем Клуба любительниц гольфа и во время состязаний ей приходилось очень много трудиться. Она тоже была уже совсем готова.

— Я вижу, ты все-таки надела джемпер, — сказала миссис Скиннер.

За завтраком обсуждался вопрос о том, ехать ли Кэтлин в джемпере или в черной шифоновой блузке. Джемпер был черный с белым, и Кэтлин находила его очень эффектным, но едва ли это могло сойти за траур. Однако Миллисент высказалась в пользу джемпера.

— Совсем не обязательно нам всем иметь такой вид, словно мы только что с похорон, — сказала она. — Ведь после смерти Гарольда прошло уже восемь месяцев.

Миссис Скиннер была несколько шокирована черствостью этих рассуждений. Миллисент стала какая-то странная с тех пор, как вернулась с Борнео.

— Уж не думаешь ли ты снять вдовий креп раньше времени, милочка? — спросила она у дочери.

Миллисент уклонилась от прямого ответа.

— Теперь траур не так соблюдают, как в прежнее время, — сказала она и немного помолчала. Когда она заговорила опять, миссис Скиннер почудились в ее голосе какие-то необычные нотки. Видимо, и Кэтлин уловила их, судя по тому, что она удивленно взглянула на сестру. — Гарольд, я уверена, не хотел бы, чтобы я вечно носила по нем траур.

— Я нарочно оделась пораньше, потому что хотела кое о чем поговорить с Миллисент, — сказала Кэтлин в ответ на замечание матери.

— О чем же?

Кэтлин промолчала. Но она отложила в сторону свои списки и, нахмутив брови, принялась перечитывать письмо от дамы, которая жаловалась на несправедливые действия комиссии, снизившей ей гандикап с двадцати четырех очков на восемнадцать. Быть почетным секретарем Клуба любителей гольфа — обязанность нелегкая и требующая большого такта. Миссис Скиннер стала натягивать свои новые перчатки. Маркизы над окнами смягчали солнечный свет и умеряли жару. Миссис Скиннер посмотрела на большую, ярко раскрашенную деревянную птицу-носорога, которую Гарольд отдал ей на сохранение; ей всегда казалось немного нелепым держать такую вещь в комнате, но Гарольд очень дорожил этой птицей. Она имела отношение к какому-то культу и вызвала большой интерес у каноника Хейвуда. На стене над диваном было развешено малайское оружие (названий миссис Скиннер не помнила); там и сям красовались серебряные и медные вещицы, привезенные ей Гарольдом в разное время. Она всегда относилась к Гарольду с симпатией, и при мысли о нем ее взгляд невольно скользнул к роялю, на котором стояла обычно его фотография вместе с фотографиями обеих ее дочерей, внучки, сестры и племянника.

— Кэтлин! А где же портрет Гарольда? — спросила она. Кэтлин оглянулась. Портрета не было.

— Кто-то его убрал, — с удивлением сказала Кэтлин.

Она встала и подошла к роялю. Фотографии были представлены так, чтобы не бросалось в глаза пустое место.

— Может быть, Миллисент захотелось поставить его у себя в комнате, — сказала миссис Скиннер.

— Я бы заметила. И потом у Миллисент есть другие фотографии Гарольда. Они у нее заперты в комод.

Миссис Скиннер всегда казалось странным, что в комнате дочери нет ни одного портрета Гарольда. Она даже раз попробовала завести об этом разговор, но Миллисент его не поддержала. Миллисент сделалась удивительно неразговорчива после своего возвращения с Борнео, и всякие попытки миссис Скиннер проявить материнское сочувствие встречали с ее стороны молчаливый отпор. Она не желала говорить о постигшей ее утрате. Люди переживают горе по-разному. Видимо, прав был мистер Скиннер, советовавший

оставить Миллисент в покое. Воспоминание о муже вернуло мысли миссис Скиннер к предстоящему визиту.

— Папа спрашивал меня, надеть ли ему цилиндр, — заметила она. — Я сказала, что на всякий случай не мешает.

Файфоклок у каноника был парадным событием. Обычно в таких случаях заказывалось в кондитерской Бодди мороженое, клубничное и ванильное, но кофе-гласе у Хейвудов всегда готовили дома. Приглашено было все местное общество. Поводом послужил приезд епископа Гонконга, который был школьным товарищем каноника. Гостям было обещано, что епископ расскажет о миссионерской деятельности в Китае. Миссис Скиннер, у которой дочь восемь лет прожила на Востоке и зять был резидентом в одном из районов Борнео, относилась к этой перспективе с живейшим интересом. Разумеется, она в таких вещах понимала гораздо больше, чем люди, которые не имеют никакого отношения к колониям и колониальным делам.

«Что знает об Англии тот, кто Англию только и знает?» — как любил говорить мистер Скиннер.

Мистер Скиннер — который в эту самую минуту вошел в комнату — был юристом, как и его покойный отец, и имел контору в Линкольнс-Инн-Филдс. Каждый день он с утра уезжал в Лондон и только к вечеру возвращался домой. Он получил возможность сопровождать жену и дочерей к канонику Хейвуду лишь благодаря тому, что каноник предусмотрительно избрал для файфоклока субботу. В визитке и брюках в полоску мистер Скиннер выглядел весьма презентабельно. В его наружности не было франтовства, но была скромная внушительность. Это была наружность адвоката с солидной практикой, каким он и был на самом деле; его фирма никогда не бралась за дела, допускающие хотя бы тень сомнения, и, если клиент излагал ему обстоятельства, которые могли показаться неблагоприятными, мистер Скиннер озабоченно сдвигал брови.

— К сожалению, мы обычно воздерживаемся от ведения подобных дел, — говорил он. — Вам лучше обратиться в другое место.

Он придвигал к себе блокнот и писал на верхнем листке фамилию и адрес. Затем отрывал листок и вручал его клиенту.

— Я бы посоветовал вам обратиться вот к этим джентльменам. Если вы сошлетесь на меня, они сделают для вас все, что возможно.

У мистера Скиннера было чисто выбритое лицо и лысина во всю голову. Строго поджатый рот с тонкими, бескровными губами противоречил робкому выражению голубых глаз. Щеки были бледные и морщинистые.

— Я вижу, ты надел новые брюки, — сказала миссис Скиннер.

— Сегодня, по-моему, как раз подходящий случай, — отвечал супруг. — Не знаю, может быть, вдеть бутоньерку в петлицу?

— Не нужно, папа, — сказала Кэтлин. — Это не совсем хороший тон.

— Увидишь, очень многие будут с бутоньерками, — возразила миссис Скиннер.

— Разве что какие-нибудь клерки, — сказала Кэтлин. — Вы же знаете, Хейвудам приходится приглашать самую разношерстную публику. И потом ведь у нас траур.

— Интересно, не устроят ли после речи епископа сбор пожертвований, — сказал мистер Скиннер.

— Ну нет, не думаю, — сказала миссис Скиннер.

— Это был бы очень дурной тон, — отозвалась Кэтлин.

— На всякий случай не мешает захватить деньги, — сказал мистер Скиннер. — Если понадобится, я дам за всех. Вот не знаю, десяти шиллингов достаточно или нужно дать фунт?

— Уж если давать, то не меньше фунта, папа, — сказала Кэтлин.

— Ну, там видно будет. Я не хочу давать меньше других, но больше, чем нужно, тоже давать незачем.

Кэтлин убрала в ящик все свои бумаги и встала из-за стола. Она посмотрела на часы.

— А Миллисент не готова? — спросила миссис Скиннер.

— У нас еще масса времени. Просили к пяти, так что на много раньше половины шестого приезжать нет смысла. Я велел Дэвису подать машину в четверть шестого.

Обычно машиной правила Кэтлин, но изредка, в торжественных случаях, Дэвис, садовник, надевал ливрею и превращался в шофера. Это лучше выглядело со стороны; к тому же Кэтлин вовсе не стремилась сидеть за рулем, когда на ней был новый джемпер. Взглянув на мать, с усилием втискивавшую палец за пальцем в новые перчатки, Кэтлин вспомнила, что и ей надо надеть перчатки. Она понюха-

ла — не пахнет ли от них бензином после чистки. Запах был, но совсем слабый. Она решила, что никто не заметит.

Наконец отворилась дверь и вошла Миллисент — в полном трауре, с длинным вдовьим крепом. Миссис Скиннер никак не могла привыкнуть к этому костюму, хотя и знала, что полагается носить его целый год. Жаль, что он совершенно не идет Миллисент; некоторым траур к лицу. Она сама как-то примерила шляпу Миллисент и нашла, что выглядит очень эффектно. Бог даст, милый Элфред переживет ее, но если случится наоборот, она не снимет траура до конца своих дней. Как королева Виктория. Конечно, Миллисент — другое дело; Миллисент еще молодая женщина, ей всего тридцать шесть; невесело в тридцать шесть лет остаться вдовой. Едва ли ей удастся второй раз выйти замуж. Кэтлин, верно, так и не выйдет, — ей уже тоже тридцать пять. Когда Миллисент и Гарольд были здесь последний раз, она предлагала, чтобы Кэтлин поехала к ним погостить; Гарольд как будто ничего не имел против, но Миллисент заупрямилась. А почему, собственно? Все-таки там мог представиться случай. Не то, чтобы они хотели сбыть Кэтлин с рук, но девушка должна выйти замуж, а здесь среди их знакомых совсем не попадаются неженатые мужчины. Миллисент все жаловалась на климат. Правда, у нее у самой цвет лица совершенно погиб. Никто бы теперь не поверил, что из двух сестер более хорошенькой всегда была Миллисент. Кэтлин с годами похудела, некоторые, правда, находят ее чересчур худой, но теперь, когда она остриглась, а на щеках у нее всегда румянец, благодаря игре в гольф при любой погоде, она, по мнению миссис Скиннер, стала совсем недурна. Вот о бедной Миллисент этого не скажешь; фигура у нее испортилась окончательно; ростом она невелика, и, располнев, стала просто бесформенной. А располнела она ужасно; должно быть, тропическая жара виновата — мешает двигаться. Кожа у Миллисент бледная и нечистая; голубые глаза, когда-то составлявшие ее главную прелесть, словно выцвели.

«Ей надо бы заняться своей шеей, — размышляла миссис Скиннер. — У нее скоро будет двойной подбородок».

Она пробовала заговаривать об этом с мужем. Он возражал, что Миллисент, в конце концов, не такое уж юное создание. Так-то оно так, но из этого еще не следует, что нужно совсем распуститься. Миссис Скиннер решила серьезно поговорить с дочерью; но, разумеется, из уважения к

ее горю придется подождать до окончания траура. В сущности, она была рада законному поводу отложить этот разговор, мысль о котором слегка пугала ее. Миллисент и в самом деле изменилась. Что-то мрачное было теперь в выражении ее лица, от чего матери становилось не по себе в ее присутствии. Миссис Скиннер любила тотчас же высказывать вслух всякую мысль, пришедшую в голову, а у Миллисент завелась неприятная манера не отвечать, когда к ней обращаешься (просто так, чтобы что-нибудь сказать), и неизвестно, слышала она или нет. Иногда это невыносимо раздражало миссис Скиннер, и, чтобы удержаться от резкого замечания по адресу Миллисент, ей приходилось напоминать себе, что бедный Гарольд умер всего восемь месяцев назад.

Свет из окна падал на пухлое лицо вдовы, молча остановившейся посреди комнаты. Кэтлин, стоя к окну спиной, с минуту вглядывалась в это лицо.

— Миллисент, мне нужно поговорить с тобой, — начала она. — Сегодня утром я играла в гольф с Глэдис Хейвуд.

— Кто выиграл, ты? — спросила Миллисент.

Глэдис Хейвуд была единственной незамужней дочерью каноника.

— Она мне сказала одну вещь, которая касается тебя, и я считаю, что ты должна знать об этом.

Миллисент перевела глаза на окно, за которым ее дочка поливала цветы.

— Мама, вы сказали Энни, чтобы она напоила Джоэн чаем в кухне? — спросила она.

— Да, девочка будет пить чай вместе со слугами.

Кэтлин недружелюбно взглянула на сестру.

— Епископ по дороге на родину провел несколько дней в Сингапуре, — продолжала она. — Он большой любитель путешествий. На Борнео он тоже бывал и знает многих из твоих знакомых.

— Как ему интересно будет встретиться с тобой, дорогая, — сказала миссис Скиннер. — Может быть, он и бедного Гарольда знал.

— Да, он встречался с ним и очень хорошо его помнит. Он говорит, что был потрясен известием о его смерти.

Миллисент села и принялась натягивать свои черные перчатки. Миссис Скиннер показалось странным, что она никак не отзывалась на слова Кэтлин.

— Кстати, Миллисент, — сказала она. — Куда-то исчез портрет Гарольда. Ты его не брала отсюда?

— Да, я его взяла и спрятала.

— Казалось бы, для тебя должно быть приятнее иметь его перед глазами.

Миллисент и на этот раз промолчала. Положительно несносная привычка.

Кэтлин, слегка повернув голову, в упор посмотрела на сестру.

— Миллисент, зачем ты нам сказала, что Гарольд умер от лихорадки?

Вдова не шевельнулась и не отвела глаз, но по ее желтоватому лицу медленно разлилась краска. Она по-прежнему молчала.

— Что означает твой вопрос, Кэтлин? — с недоумением спросил мистер Скиннер.

— Епископ говорит, что Гарольд кончил самоубийством.

У миссис Скиннер вырвался возглас испуга, но муж сделал ей знак не вмешиваться.

— Это правда, Миллисент?

— Правда.

— Почему же ты нам не сказала?

Миллисент помедлила с ответом. Она вертела в пальцах брунейскую медную фигурку, которую взяла со столика. Это был тоже подарок Гарольда.

— Я думала, для Джоэн лучше, если все будут считать, что ее отец умер от лихорадки. Мне не хотелось, чтобы она знала.

— Ты поставила нас в очень неловкое положение, — заметила Кэтлин, наморщив лоб. — Глэдис Хейвуд упрекнула меня, зачем я ей сказала неправду. Мне стоило большого труда убедить ее, что я сама ничего не знала. Каноник, по ее словам, очень обижен. Он говорит, что после стольких лет знакомства, даже дружбы, он вправе был рассчитывать на большее доверие с нашей стороны, тем более, что он и венчал тебя с Гарольдом. И если, мол, мы не хотели говорить ему правду, то, во всяком случае, незачем было говорить неправду.

— Должен сказать, что в этом я с ним вполне согласен, — ледяным тоном произнес мистер Скиннер.

— Я, понятно, объяснила Глэдис, что мы здесь ни при чем. Мы говорили то, что было сказано нам.

— Надеюсь, этот разговор не помешал тебе выиграть партию, — сказала Миллисент.

— Совершенно неуместное замечание, моя милая, — воскликнул мистер Скиннер.

Он поднялся, перешел комнату и стал перед холодным камином, машинально раздвинув сзади фалды визитки.

— Это касалось только меня, — сказала Миллисент. — Почему же я не имела права умолчать об этом, если считала, что так будет лучше?

— Видно, мать для тебя — чужая, раз ты даже с ней не захотела поделиться, — сказала миссис Скиннер.

Миллисент только пожала плечами.

— Нетрудно было сообразить, что рано или поздно это все равно станет известно, — сказала Кэтлин.

— А почему? Не могла же я предвидеть, что два старых попа, встретившись, не найдут другой темы для пересудов.

— Когда епископ упомянул о своем пребывании на Борнео, совершенно естественно, что Хейвуды спросили, не был ли он знаком с тобой и с Гарольдом.

— Это все разговор не по существу, — сказал мистер Скиннер. — В любом случае ты обязана была сказать нам всю правду, и мы бы тогда решили, как лучше поступить. Как юрист, могу тебе сказать, что попытки скрыть истинное положение вещей в конечном счете всегда только вредят делу.

— Бедный Гарольд, — сказала миссис Скиннер, и слезы поползли по ее щекам. — Это ужасно. Он всегда был таким внимательным зятем. Что могло побудить его к этому ужасному поступку?

— Климат.

— Я бы хотел услышать от тебя, как это случилось, Миллисент, — сказал отец.

— Кэтлин вам скажет.

Кэтлин помялась. То, что ей предстояло сказать, было и в самом деле ужасно. Казалось чудовищным, что нечто подобное могло произойти в такой семье, как их семья.

— Епископ говорит, что он перерезал себе горло.

Миссис Скиннер ахнула и в невольном порыве бросилась к своей сраженной судьбою дочери. Она жаждала заключить ее в объятия.

— Бедная моя девочка! — воскликнула она.

Но Миллисент отстранилась.

— Нет, нет, мама, пожалуйста. Не выношу, когда меня трогают.

— Ну, знаешь ли, Миллисент, — сказал мистер Скиннер, нахмурясь.

Он явно не одобрял ее поведения.

Миссис Скиннер вздохнула, горестно покачала головой и, осторожно прикладывая к глазам платочек, возвратилась на свое место. Кэтлин перебирала пальцами длинную золотую цепь, висевшую у нее на шее.

— Просто нелепо, что я от подруги узнаю про обстоятельства смерти моего зятя. Мы оказались в глупейшем положении. Епископ очень ждет встречи с тобой, Миллисент; он хочет выразить тебе свое сочувствие. — Она сделала паузу, но Миллисент упорно молчала. — Епископ говорит, Миллисент куда-то уезжала с Джоэн, а вернувшись, застала бедного Гарольда мертвым на кровати.

— Каково было вынести такое потрясение, — сказала миссис Скиннер.

Миссис Скиннер снова заплакала, но Кэтлин мягко положила ей руку на плечо.

— Не надо плакать, мама, — сказала она. — У вас будут красные глаза, и это может показаться странным.

В наступившей тишине миссис Скиннер утерла слезы и после некоторого усилия овладела собой. Почему-то ей не давала покоя мысль, что на голове у нее сейчас ток с эгреткой из перьев цапли, подаренных Гарольдом.

— Я вам еще не все сказала, — снова начала Кэтлин.

Миллисент не спеша подняла голову и посмотрела на сестру твердым, но в то же время настороженным взглядом. Так смотрят, когда ожидают услышать какой-то звук и боятся пропустить его.

— Мне бы не хотелось причинять тебе боль, дорогая, — продолжала Кэтлин, — но я не сказала еще об одной подробности, которую тебе, по-моему, следует знать. Епископ говорит, что Гарольд пил.

— Боже мой, какой ужас! — воскликнула миссис Скиннер. — Как можно говорить подобные вещи! И это тебе рассказывала Глэдис Хейвуд? А что ты ей сказала?

— Сказала, что это неправда.

— Вот к чему ведут секреты, — сердито заметил мистер Скиннер. — Всегда так бывает. Чем больше скрывать, тем больше даешь пищи для разных нелепых слухов, которые в десять раз хуже истины.

— Епископу в Сингапуре сказали, будто Гарольд наложил на себя руки в припадке белой горячки. Я считаю, Миллисент, что твой долг опровергнуть это — ради всех нас.

— Ужасно, что такие вещи говорят о человеке, которого уже нет в живых, — сказала миссис Скиннер. — А ведь это может очень дурно отразиться на Джоэн, когда она вырастет.

— Но откуда взялись эти разговоры, Миллисент? — спросил отец. — Гарольд был всегда так воздержан.

— Да, здесь, — отвечала вдова.

— Разве он пил?

— Как лошадь.

Неожиданность и резкость этого ответа ошеломила всех троих.

— Миллисент, как ты можешь говорить так о своем покойном муже? — воскликнула миссис Скиннер, всплеснув затянутыми в перчатки руками. — Я не понимаю тебя. Я вообще не могу тебя понять с тех пор, как ты возвратилась домой. Никогда бы не поверила, что моя родная дочь так отнесется к смерти своего мужа.

— Не стоит сейчас вдаваться в это, мать, — сказал мистер Скиннер. — Поговорим потом.

Он подошел к окну и выглянул в освещенный солнцем садик, потом вернулся на прежнее место. Достал из кармана пенсне и, хоть вовсе не собирался надевать его, тщательно протер платком стекла. Миллисент смотрела на него, и в ее взгляде была совершенно откровенная, беззастенчивая ирония. Мистер Скиннер негодовал. Неделя труда осталась позади, и до понедельника он мог чувствовать себя свободным человеком. Хоть он и говорил жене, что это чаепитие у каноника скучнейшая затея, куда лучше было бы спокойно выпить чаю у себя в саду, — на самом деле он думал о предстоящем визите с удовольствием. Миссионерская деятельность в Китае интересовала его весьма отдаленно, но с епископом любопытно было познакомиться. И вот — извольте! Шутка ли, оказаться впутанным в такую историю. Вдруг узнать, что твоим зятем был пьянчуга и самоубийца. Миллисент рассеянно опраивала свои белые

рукавчики. Ее хладнокровие бесило его; но вместо того, чтобы сказать ей это, он обратился к младшей дочери.

— Почему ты стоишь, Кэтлин? Кажется, в комнате достаточно стульев.

Кэтлин, не говоря ни слова, пододвинула себе стул и села. Мистер Скиннер шагнул к Миллисент и остановился перед нею.

— Я, разумеется, понимаю, зачем ты сказала нам, что Гарольд умер от лихорадки. Это была ошибка, потому что рано или поздно такие вещи всегда выходят наружу. Не знаю, насколько сведения, сообщенные епископом, соответствуют фактам, но мой тебе совет рассказать нам все, и как можно подробнее, а тогда — подумаем. Раз каноник и Глэдис знают, теперь уже нет надежды сохранить дело в тайне. В такой округе, как наша, пересуды неизбежны. Но мы хотя бы должны знать всю правду, это нам поможет.

Миссис Скиннер и Кэтлин мысленно одобрили его постановку вопроса. Они ждали, что ответит Миллисент. Выражение ее лица оставалось непроницаемым; краска быстро сбегала с него, и оно было мучнисто-бледным, как обычно.

— Едва ли вам будет приятно услышать от меня всю правду, — сказала она.

— Во всяком случае, ты можешь рассчитывать на наше понимание и сочувствие, — важно произнесла Кэтлин.

Миллисент искоса глянула на сестру, и тень усмешки скользнула по ее плотно сомкнутым губам. Потом она медленно обвела взглядом всех троих. Миссис Скиннер показалось, что она смотрит на них так, словно перед ней три портновских манекена. Она как будто существовала в каком-то другом мире, совершенно отдельно от них.

— Как вам известно, я вышла за Гарольда не по любви, — сказала она задумчиво.

Миссис Скиннер уже собралась запротестовать, но ее удержало движение мужа, едва заметное, но достаточно красноречивое для нее — недаром они были женаты столько лет. Миллисент продолжала. Она говорила ровным голосом, не спеша, почти не меняя тона.

— Мне шел двадцать восьмой год, и других женихов у меня не было. Ему, правда, было уже сорок четыре, и мне казалось, что это очень много, но он ведь занимал хорошее положение, верно? Едва ли я могла рассчитывать на лучший случай.

У миссис Скиннер навернулись было опять слезы, но она вовремя вспомнила о файфоклоке.

— Да, теперь я понимаю, почему ты убрала отсюда фотографию, — сказала она скорбным голосом.

— Мама, я прошу вас! — воскликнула Кэтлин.

Фотография была сделана, когда Гарольд только что стал женихом Миллисент, и вышла очень удачной. Миссис Скиннер всегда находила Гарольда видным мужчиной. Он был высок ростом, массивного телосложения, пожалуй, несколько склонен к тучности, но неизменно подтянут; в общем у него была что называется представительная внешность. Правда, он тогда уже был лысоват, но мужчины теперь лысеют рано; кроме того, он сам говорил, что топи — ну, знаете, эти тропические шлемы — очень портят волосы. Он носил маленькие черные усики, и лицо у него было совсем коричневое от загара. Его лучшим украшением были глаза — большие, карие, такие же, как у Джоэн. Он был интересным собеседником. Кэтлин называла его речи напыщенными, но миссис Скиннер с ней не соглашалась, считая, что мужчине к лицу апломб; когда же она заметила (а заметила она очень скоро), что Гарольду нравится Миллисент, это окончательно расположило ее в его пользу. Он всегда был предупредителен с миссис Скиннер, а она делала вид, будто ей крайне интересны его рассказы о подведомственном ему районе и об его охотничьих подвигах. Кэтлин говорила, что он о себе чересчур высокого мнения, но миссис Скиннер принадлежала к поколению, безоговорочно принимавшему на веру преувеличенное мнение мужчин о себе. Миллисент очень скоро поняла, куда дует ветер, и хотя она ничего не говорила матери, для той было ясно, что если Гарольд сделает предложение, он не встретит отказа.

Гарольд гостил у общих знакомых, которые прожили на Борнео тридцать лет и очень хорошо отзывались о тамошних условиях. По-видимому, ничто не мешало замужней женщине вполне сносно устроить там свою жизнь; детей, конечно, пришлось бы отправлять на родину, как только им исполнится семь лет; но так далеко вперед миссис Скиннер не считала нужным загадывать. Она пригласила Гарольда на обед, сказала ему, что к чаю они всегда дома. Дела, как видно, еще не торопили его, и когда разговор зашел о том, что он чересчур загостился у своих друзей, последовало

радушное приглашение провести неделю-другую в доме у Скиннеров. К концу этого срока Гарольд уже был женихом Миллисент. Свадьбу отпраздновали очень пышно, молодые провели медовый месяц в Венеции и затем отбыли на Восток. Миллисент писала из каждого порта, куда заходил пароход. Судя по всему, она была счастлива.

— Меня очень любезно встретили в Куала Солор, — рассказывала она. Куала Солор был главный город провинции Сембулу. — Мы остановились у резидента, и все наперебой приглашали нас на обеды. Раз или два я слышала, как мужчины предлагали Гарольду выпить, но он отказывался, говоря, что он теперь человек женатый и начал новую жизнь. Я не понимала, почему все смеются. Миссис Грэй, жена резидента, не раз говорила о том, как все тут рады, что Гарольд женился. Очень уж тоскливо одному, без семьи, в отдаленных административных пунктах. Когда мы уезжали из Куала Солор, миссис Грэй попрощалась со мной таким тоном, что я невольно была озадачена. Она словно бы торжественно вверяла Гарольда моим заботам.

Все трое слушали молча. Кэтлин не отрывала глаз от бледного, бесстрастного лица сестры; мистер Скиннер смотрел на противоположную стену, увешанную крисами, парангами и другим малайским оружием; у этой стены сидела на диване его жена.

— Только когда я снова попала в Куала Солор полтора года спустя, мне стала ясна причина этого непонятного поведения. — Миллисент издала горлом странный сдавленный звук, точно отголосок презрительного смеха. — Я узнала многое, о чем не догадывалась раньше. Гарольд в тот раз приезжал в Англию специально, чтобы жениться. На ком жениться, это особой роли не играло. Помните, мама, как мы из кожи вон лезли, чтобы не упустить его? Можно было не тратить столько усилий.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, Миллисент, — сказала миссис Скиннер обиженным тоном; намек на какие-то интриги не понравился ей. — Я сразу увидела, что он в тебя влюблен.

Миллисент пожала своими массивными плечами.

— Он был запойным пьяницей. Каждый вечер, уходя спать, он брал с собой бутылку виски, а к утру она оказывалась пустой. Его предупредили, что, если он не бросит пить, ему придется уйти в отставку. Главный его начальник

сказал, что хочет дать ему последний шанс. Пусть берет отпуск и едет в Англию. И пусть постарается привезти оттуда жену, чтоб было кому присматривать за ним. Гарольд женился на мне потому, что ему нужна была нянька. В Куала Салор заключались пари насчет того, сколько времени мне удастся продержаться его трезвым.

— Но он был влюблен в тебя, — перебила миссис Скиннер. — Ты не знаешь, какими словами он о тебе говорил; а в то самое время, о котором ты сейчас упомянула — когда ты уехала в Куала Салор, потому что должна была родиться Джоэн, — я получила от него такое милое письмо, и все только о тебе.

Миллисент снова поглядела на мать, и густой, темный румянец окрасил ее желтоватую кожу. Руки, покоившиеся на коленях, слегка задрожали. Она вспоминала ту первую пору своей семейной жизни. Правительственный катер доставил их к устью реки, и ночь они провели в бунгало, которое Гарольд шутил назвал своей приморской виллой. На следующий день туземная лодка повезла их вверх по реке. Из прочитанных романов Миллисент вынесла впечатление, что на реках Борнео царит всегда загадочный, зловещий мрак, а тут над головой было ярко-синее небо, по которому бежали белые облачка, и зелень мангровых зарослей и пальм нипа, спускавшихся к самой воде, блестела на солнце. По берегам сплошной стеной тянулись джунгли, а дальше на фоне неба темнел зубчатый силуэт далекой горы. Утренний воздух был свежим и бодрящим. Казалось, приветливый, плодородный край раскрывается ей навстречу, и она всем существом ощущала его вольный простор. Они вглядывались в сплетение ветвей на берегу, высматривая обезьян, а один раз Гарольд показал ей в воде что-то, похожее на корягу, и сказал, что это крокодил. На пристани их встречал помощник Гарольда в шлеме и в парусиновых штанах, а за ним, в качестве почетного караула в честь прибывших, выстроилось десятка полтора молодежавших солдатиков. Гарольд представил своего помощника жене. Фамилия его была Симпсон.

— Черт побери, сэр, — сказал он Гарольду. — До чего же я рад, что вы вернулись. Без вас тут можно было пропасть с тоски.

Бунгало резидента стояло на пригорке, в глубине сада, где в буйном беспорядке разрослись веселые, яркие цветы.

Дом казался немного запущенным и мебели было маловато, но комнаты были большие и прохладные.

— Деревня в той стороне, — сказал ей Гарольд.

Она последовала взглядом за движением его руки, и в это мгновение из чащи кокосовых деревьев донеслись мерные удары гонга. У нее как-то странно сжалось сердце.

Хоть делать ей было почти нечего, дни проходили без томительной скуки. Ранним утром бой приносил им чай, и они нежились на веранде, наслаждаясь душистой утренней прохладой (он в фуфайке и саронге, она в халате), пока не наступало время одеваться к завтраку. Потом Гарольд уходил в свою канцелярию, а она час-другой занималась малайским языком. После второго завтрака он возвращался в канцелярию, а она ложилась спать. Позднее, подкрепившись чашкой чаю, они шли гулять или играли в гольф на площадке, для которой Гарольд велел расчистить ровный участок у подножия холма. К шести уже темнело, и мистер Симпсон являлся пропустить рюмочку. За разговором коротали время до обеда, который бывал поздно; иногда Гарольд играл с мистером Симпсоном в шахматы. Вечера, напоенные пряным ароматом, были пленительны. Набитые светлячками кусты под верандой мерцали и переливались холодным огнем, точно призрачные маяки, а в воздухе было разлито благоухание цветущих деревьев. После обеда прочитывали полученные из Лондона газеты полуторамесячной давности и наконец шли спать. Миллисент нравилось быть замужней женщиной, хозяйкой дома; нравились слуги-туземцы, молчаливые, но приветливые, расхаживавшие по комнатам босиком в своих пестрых саронгах. Мысль, что она — жена резидента, рождала в ней приятное чувство собственной значительности. Гарольд внушал ей уважение тем, как свободно он говорил по-малайски, величественной осанкой и умением держать себя с подчиненными. Иногда она заходила послушать, как он решает судебные дела. Она видела, как многообразны его обязанности и как уверенно он справляется с ними, и это возвышало его в ее глазах. Мистер Симпсон говорил ей, что никто здесь не понимает туземцев лучше Гарольда. В нем есть то сочетание твердости, такта и добродушия, которое необходимо в обращении с этим боязливым, недоверчивым и мстительным народом. Миллисент начала даже восхищаться своим мужем.

Они были женаты уже около года, когда двое натуралистов-англичан, направлявшихся в глубь страны, попросили у них приюта на несколько дней. Просьба была подкреплена рекомендательным письмом губернатора, и Гарольд сказал, что нужно принять гостей как следует. Их приезд внес приятное разнообразие в жизнь дома. Миллисент пригласила к обеду мистера Симпсона (он жил в форте и обедал у них только по воскресеньям), а после обеда мужчины засели за бридж. Миллисент скоро оставила их и ушла спать, но шум в гостиной долго не давал ей заснуть. Она не знала, который был час, когда Гарольд разбудил ее, ввалившись в комнату. Она не подала голоса. Ему пришлось в голову принять ванну перед сном. Ванная находилась внизу, как раз под спальней, и он стал спускаться с лестницы. Должно быть, по дороге он споткнулся: раздался сильный грохот, сопровождаемый бранью. Потом его стошнило. Слышно было, как он льет на себя ведрами воду, а немного спустя он взобрался по лестнице наверх, на этот раз с большей осторожностью, и нырнул в постель. Миллисент притворилась спящей. Ей было противно. Она поняла, что Гарольд пьян. Она дала себе слово утром поговорить с ним об этом. Что подумают натуралисты? Но утром у Гарольда был такой неприступно-величественный вид, что она не решилась напоминать ему о вчерашнем. Ровно в восемь они с Гарольдом и оба гостя сели завтракать. Гарольд окинул взглядом накрытый стол.

— Овсяная каша, — сказал он. — Миллисент, наши гости, вероятно, предпочли бы что-нибудь поострее, такой завтрак их едва ли устроит. Что до меня, мне ничего не нужно, кроме стакана виски с содовой.

Натуралисты засмеялись, но лица у них были смущенные.

— Ваш муж опасный человек, — сказал один из них.

— Я бы считал свой долг гостеприимства не исполненным, если бы в первый день вашего пребывания в моем доме отпустил вас спать трезвыми, — сказал Гарольд, как всегда сумев отлично выразить и закруглить свою мысль.

Миллисент, слушавшая с натянутой улыбкой, почувствовала облегчение, узнав, что гости вчера были так же пьяны, как и хозяин. Больше она не оставляла вечером мужчин одних, и все довольно рано расходились по комнатам. Но все же она была очень рада, когда натуралисты решили продолжать прерванный путь. Жизнь в бунгало вошла в обычную

колею. Спустя несколько месяцев Гарольду пришлось отправиться в инспекционную поездку по району. Вернулся он больной, с сильным приступом малярии. Впервые Миллисент наблюдала вблизи эту болезнь, о которой столько слышала раньше, и ее не удивило, что Гарольд никак не может оправиться даже после того, как приступ миновал. Он был словно не в себе. Придя домой, подолгу молчал, уставясь на нее остекленевшим взглядом; или выходил на середину веранды, слегка пошатываясь, но сохраняя величественную осанку, и произносил длинные речи о политическом положении Англии — и вдруг, потеряв нить, прищуривал глаза с совершенно несвойственным ему лукавством и говорил:

— До чего же эта проклятая малярия изводит человека. Ах, женушка, женушка, не знаешь ты, что за трудное дело — быть строителем империи.

Она стала подмечать на лице Симпсона какое-то тревожное выражение; раз или два, оставшись с ней вдвоем, он словно бы порывался сказать ей что-то, но в последнюю минуту природная робость мешала ему. В конце концов, она не выдержала и, когда Гарольд однажды задержался в канцелярии дольше обычного, сама начала разговор.

— Вы что-то хотите мне сказать, мистер Симпсон? — спросила она без всяких предисловий.

Он покраснел и замялся.

— Нет, нет. Почему вы так решили?

Мистер Симпсон был молодой человек двадцати четырех лет, худой и нескладный, с пышными кудрями, которые он всегда старательно приглаживал. Руки у него распухли и были покрыты волдырями от укусов moskitov. Миллисент упорно смотрела ему в глаза.

— Если это касается Гарольда, как вы не понимаете, что лучше откровенно сказать мне, в чем дело.

Он стал совсем пунцовым и беспокойно ерзал на плетеном стуле. Она продолжала настаивать.

— Боюсь, не сочли бы вы это дерзостью, — сказал он наконец. — Да оно и в самом деле подло говорить о своем начальнике у него за спиной. Малярия — подлая болезнь: когда она тебя хорошенько потреплет, делаешься потом весь точно выжатый.

Он снова замялся. Углы губ у него обвисли, как будто он собирался заплакать. Миллисент почудилось в нем что-то детское.

— Я буду нема, как могила, — сказала она, пряча под улыбкой свое беспокойство. — Говорите, не бойтесь.

— Пожалуй, не надо бы вашему мужу держать в канцелярии виски. Бутылка под рукой, вот его и тянет лишний раз к ней приложиться.

Голос мистера Симпсона был хриплым от волнения. Миллисент вдруг пронизала холодная дрожь. Она постаралась овладеть собой, боясь, что спугнет юношу и тогда уже ничего больше от него не добьется. Ему очень не хотелось говорить. Она просила, настаивала, взывала к его чувству долга, наконец расплакалась. И тогда он рассказал ей, что Гарольд уже две недели почти не бывает трезвым; туземцы толкуют об этом, говорят, что скоро все пойдет опять, как шло до его женитьбы. По-видимому, он тогда много пил, гораздо больше, чем нужно; но до каких-либо подробностей ей так и не удалось допытаться.

— Вы думаете, он и сейчас там пьет? — спросила она.

— Не знаю.

Миллисент вдруг бросило в жар от стыда и гнева. Канцелярия помещалась в строении, которое называли фортом, потому что там хранились ружья и боеприпасы. Строение это было расположено напротив бунгало резидента и тоже окружено садом. Солнце уже село, и Миллисент не понадобилось надевать шляпу. Она поднялась и пошла туда. Гарольда она застала в его кабинете, позади большой комнаты, где он обычно отправлял правосудие. Перед ним стояла бутылка виски. Он курил сигарету и втолковывал что-то несколькими малайцам, которые слушали его, подобострастно и в то же время чуть презрительно улыбаясь. Лицо у него было красное.

Малайцы мгновенно исчезли.

— Я пришла посмотреть, что ты здесь делаешь, — сказала она.

Он встал — его обращение с ней всегда было подчеркнуто вежливым — и покачнулся. Чувствуя, что ноги плохо его держат, он постарался напустить на себя побольше важности.

— Присаживайся, дорогая, присаживайся. Мне пришлось задержаться — неотложные дела.

Она посмотрела на него с негодованием.

— Ты пьян, — сказала она.

Он уставился на нее слегка выпученными глазами, пытаясь придать своему большому, мясистому лицу надменное выражение.

— Не могу даже представить себе, о чем ты говорить, — сказал он.

Она готова была обрушить на него целый поток гневных упреков, но вместо этого вдруг разрыдалась. Бросившись в кресло, она закрыла лицо руками. Гарольд с минуту смотрел на нее, потом и у него потекли по щекам слезы; протянув к ней руки, он шагнул вперед и тяжело упал на колени. Он плакал и цеплялся за нее.

— Прости меня, прости, — твердил он. — Обещаю тебе, этого никогда больше не будет. Во всем виновата проклятая малярия.

— Какой стыд, — простонала она.

Он всхлипывал, как ребенок. Было что-то трогательное в самоунижении этого рослого, величественного человека. Наконец Миллисент подняла голову. На нее был устремлен взгляд, полный мольбы и раскаяния.

— Ты мне даешь честное слово, что никогда больше не возьмешь в рот виски?

— Даю, даю. Мне противно даже думать об этом.

И тогда она ему сказала, что у нее будет ребенок. Он был вне себя от восторга.

— Теперь мне больше ничего на свете не нужно. Теперь можешь быть спокойна за меня.

Они вместе вернулись домой. Гарольд принял ванну и лег поспать. После обеда у них был долгий, душевный разговор. Он признался ей, что до женитьбы иногда действительно пил сверх меры; здесь, в глуши, дурные привычки приобретаются легко. Он обещал подчиниться всем ее требованиям. И все время, пока не подошел срок ехать в Куала Солор, Гарольд был образцовым мужем, нежным, заботливым, полным любви и гордости; его решительно не в чем было упрекнуть. За Миллисент прислали катер; она уезжала на целых полтора месяца, и Гарольд свято обещал, что в ее отсутствие не притронется к бутылке. Прощаясь, он положил руки ей на плечи.

— Я никогда не нарушаю данного слова, — сказал он со свойственным ему величественным видом. — Но не говоря уже об этом, неужели ты считаешь меня способным в такое время причинять тебе лишние тревоги?

Родилась Джоэн. Миллисент жила в доме резидента, и супруга последнего, миссис Грэй, добрейшая пожилая дама, заботилась о ней, как родная. Долгие часы, которые они проводили вдвоем, почти нечем было заполнить, кроме разговоров, и Миллисент очень скоро выяснила все, что касалось алкоголического прошлого ее мужа. Больше всего было узнать, что Гарольду в свое время было прямо заявлено: если он не привезет из Англии жену, то лишится своего поста. Мысль об этом вызывала у Миллисент глухое чувство обиды. А когда она поняла, какой упорный характер носили его приступы запоя, ей стало не по себе. Ее начал преследовать мучительный страх: что если, оставшись один, он не смог устоять против искушения? Она взяла ребенка и няньку и отправилась домой. Доехав до устья реки, она послала вперед нарочного предупредить об ее возвращении, а сама осталась ночевать в бунгало на берегу. Утром, когда катер подходил к пристани, она с тревогой всматривалась в собравшихся там людей. Гарольд и мистер Симпсон стояли впереди. За ними выстроились молодцеватые солдатики. Сердце у Миллисент екнуло: Гарольд пошатывался из стороны в сторону, точно человек, старающийся сохранить равновесие во время качки, и она поняла, что он пьян.

Невеселое это было возвращение. Миллисент почти позабыла про мать, отца и сестру, молча слушавших ее рассказ. Только сейчас она, словно очнувшись, вспомнила об их присутствии, и то, о чем она рассказывала, отодвинулось далеко-далеко.

— В эту минуту я поняла, что ненавижу его, — сказала она. — Мне захотелось его убить.

— Опомнись, Миллисент, что ты говоришь! — воскликнула мать. — Ты забыла, что его уже нет в живых, бедняжки.

Миллисент взглянула на мать, тень прошла по ее бесстрастному лицу. Мистер Скиннер беспокойно задвигался в кресле.

— Рассказывай дальше, — сказала Кэтлин.

— Когда он узнал, что мне все известно, он перестал стесняться. Через три месяца с ним сделался припадок белой горячки.

— Почему ты не уехала от него? — спросила Кэтлин.

— А чем бы это помогло? Через две недели ему бы дали отставку. Кто бы нас тогда содержал, меня и Джоэн? Я должна

была оставаться при нем. Когда он был трезв, я не имела оснований жаловаться. Он не был в меня влюблен, но по-своему любил меня; ведь и я вышла за него не по любви, а оттого, что мне нужен был муж. Чего только я не делала, чтобы помешать ему пить! Даже с помощью мистера Грэя добилась, что из Куала Солор перестали возить к нам спиртное, но он добывал виски у китайцев. Я стерегла его, как кошка стережет мышь. Но ему ничего не стоило перехитрить меня. После короткого перерыва он снова запил. Дела его пришли в беспорядок. Я боялась, что на него начнут поступать жалобы. От нас до Куала Солор было два дня пути, только на это я и надеялась, но, должно быть слухи туда все-таки дошли, так как мистер Грэй прислал мне предостерегающее письмо. Я показала это письмо Гарольду. Он бушевал и возмущался, но, видимо, предостережение подействовало, и два или три месяца он не пил совершенно. Потом все опять пошло по-старому. Так продолжалось, пока нам не вышло время ехать в отпуск на родину.

Готовясь к отъезду, я просила и умоляла Гарольда следить за собой. Я не хотела, чтобы кто-нибудь из вас узнал, что за человек мой муж. И все время, пока мы были в Англии, он держался. Когда пора было уже пускаться в обратный путь, у меня произошел с ним серьезный разговор. Он очень любил дочь и очень гордился ею, и Джоэн тоже была к нему привязана. Она всегда любила его больше, чем меня. Я спросила, неужели он хочет, чтобы девочка выросла в сознании, что у нее отец пьяница. И тут я поняла, что наконец-то держу его в руках. Мои слова потрясли его. Я прибавила, что не допущу этого, что, если Джоэн когда-нибудь увидит его пьяным, я в тот же день возьму ее и уеду. Вы не поверите, он даже побледнел, когда я это сказала. Оставшись одна, я бросилась на колени и благодарила Бога за то, что он указал мне путь к спасению мужа.

Гарольд сказал, что, если я буду ему помогать, он постарается переломить себя. И он действительно старался изо всех сил. Мы решили бороться с бедой вместе. Когда он чувствовал, что его одолевает потребность выпить, он приходил ко мне. Вы знаете, он всегда немного любил важничать; но со мной он был таким кротким, таким смиренным, он был точно ребенок. Пусть верно, что он на мне женился без любви, но в то время он меня любил всем сердцем, меня и Джоэн. А я, я прежде ненавидела его за позор, за то

отвращение, которое он мне внушал, когда в пьяном виде старался напустить на себя величественный и важный вид; но теперь у меня возникло к нему своеобразное чувство. Это не была любовь, но какая-то робкая, застенчивая нежность. Он был для меня не просто мужем, он был словно дитя, которое я выносила с болью и муками. Он гордился мною, и, поверите ли, я тоже узнала это чувство гордости. Меня больше не раздражали его тирады, а его важничанье казалось мне смешным и милым. И мы одержали победу. Он совершенно излечился от своей пагубной страсти. Он даже шутил теперь по этому поводу.

Мистер Симпсон уехал, и его место занял другой молодой человек, по фамилии Фрэнсис.

— Знаете, Фрэнсис, ведь я — исправившийся пьяница, — как-то раз сказал ему Гарольд. — Если б не моя жена, меня бы давно выгнали отсюда. Хорошая у меня жена, Фрэнсис, другой такой нет ни у кого на свете.

Вы даже представить себе не можете, с каким чувством я слушала эти слова. Ради этого стоило страдать, стоило пережить все, что я пережила. Я была по-настоящему счастлива.

Она замолчала. Широкая желтая река, на берегу которой она прожила так долго, катила перед ее глазами свои мутные воды. Вдоль реки летела стая цапель, сияя белизной в трепетных лучах заката, летела вразброд, стремительно и низко, почти над самой водой. Она была точно россыпь белоснежных звуков, по-весеннему сладостных и чистых, божественное арпеджио, извлеченное из невидимой арфы невидимой рукой. Полет этих птиц среди зеленых берегов, уже тонувших в вечерней дымке, напоминал свободный полет ничем не омраченных мыслей.

— И вдруг заболела Джоэн. Три недели мы жили в беспрерывной тревоге. Ближе, чем в Куала Солор, врача не было, приходилось полагаться на советы туземного фельдшера. Когда девочка поправилась, я увезла ее на побережье подышать морским воздухом. Мы провели там неделю. Это впервые я оставила Гарольда с тех пор, как родилась Джоэн. Недалеко от устья реки была рыбацья деревушка, несколько хижин на сваях, но, если не считать этого, мы были там совсем одни. Я много думала о Гарольде, думала с нежностью, и вдруг мне стало ясно, что я люблю его. Я так радовалась, когда за нами пришла лодка, мне хотелось поскорей сказать ему о своем открытии. Я знала, что для него

это будет огромным счастьем. Не могу передать вам, как хорошо было у меня на душе.

По дороге гребец рассказал мне, что мистеру Фрэнсису пришлось отправиться в отдаленное селение, чтобы взять под стражу женщину, убившую своего мужа. Он уехал два или три дня назад.

Меня удивило, что Гарольд не встречал меня на пристани. Он всегда придавал большое значение таким вещам; муж и жена, говорил он, должны быть не менее внимательны друг к другу, чем к посторонним людям. Непонятно было, что могло задержать его. Я поднялась на пригорок, где стоял наш дом. За мной туземная нянька несла на руках Джоэн. В доме царила странная тишина. Казалось, он пуст, нет даже слуг. Я подумала, может быть, Гарольд не ждал меня так рано и ушел куда-то. Я вошла на крыльцо. Джоэн просила пить, и нянька пошла с ней на кухню, чтобы напоить ее. В гостиной Гарольда тоже не оказалось. Я позвала, но ответа не было. Мне стало досадно, я так хотела поскорей увидеть его. Я вошла в спальню. Нет, Гарольд не ушел никуда, он просто лежал и спал. Меня это даже насмешило: ведь он любил уверять, что никогда днем не спит. Привычка спать днем, по его словам, — это просто блажь белого человека. Я на цыпочках подошла к кровати. Вот я его сейчас разыграю, подумала я. Я отдернула москитную сетку. Он лежал на спине, голый, в одном саронге, а рядом стояла пустая бутылка из-под виски. Он был пьян.

Все качалось сначала. Мои многолетние усилия пошли прахом. Напрасно я мечтала, надеялась. Меня вдруг охватило бешенство.

Снова лицо Миллисент потемнело от прилившей краски, и она крепко вцепилась в подлокотники кресла.

— Я схватила его за плечи и стала трясти изо всех сил. «Скотина, — кричала я. — Скотина!» От ярости я не помнила, что делаю и что говорю. Я все трясла и трясла его. Если б вы знали, как он был омерзителен в эту минуту — большой, жирный, полуголый, с опухшим багровым лицом, покрытым трехдневной щетиной. Он шумно, с присвистом дышал. Я кричала на него, но он не слышал. Я пыталась стащить его с кровати, но он был слишком тяжел. Он лежал передо мной, как чурбан. «Открой глаза», — кричала я вне себя. Я снова и снова трясла его. Я его ненавидела. И ненавидела еще сильнее за то, что целую неделю любила его. Он меня предал. Он меня предал. Я хотела сказать ему, что

он грязное животное. Но мои слова до него не доходили. «Я заставлю тебя открыть глаза», — кричала я. Мне нужно было, чтобы он на меня посмотрел.

Вдова облизнула сухие губы. Дыхание ее участилось. Она опять замолчала.

— В таком состоянии разумнее всего было дать ему проспаться, — сказала Кэтлин.

— На стене у кровати висел паранг. Вы знаете, что Гарольд любил всякие диковины.

— Что такое паранг? — спросила миссис Скиннер.

— Не задавай глупых вопросов, мать, — раздраженно оборвал ее муж. — Вон паранг, висит прямо над тобой.

Он указал на длинный малайский клинок, давно уже почему-то притягивавший его взгляд. Миссис Скиннер поспешно отодвинулась в угол дивана, словно ей сказали, что рядом с ней лежит свернувшаяся клубком змея.

— И вдруг у Гарольда хлынула из горла кровь. Поперек горла зияла большая красная рана.

— Миллисент, — закричала Кэтлин и бросилась к ней. — Ради Бога, что ты хочешь сказать?

Миссис Скиннер сидела, испуганно разинув рот.

— Паранг больше не висел на стене. Он лежал на кровати. И тогда Гарольд раскрыл глаза. Они были совсем такие, как у Джоэн.

— Но я не понимаю, — сказал мистер Скиннер. — Как он мог покончить с собой, если он был в таком состоянии, как ты рассказываешь?

Кэтлин схватила сестру за плечо и с силой тряхнула.

— Миллисент, говори сейчас же!

Миллисент резким движением высвободилась.

— Ведь я сказала, паранг висел на стене. Я не знаю, что произошло. Хлынула кровь, а потом Гарольд открыл глаза. Он умер почти мгновенно. Не сказал ни слова, только как будто ахнул.

К мистеру Скиннеру вернулся дар слова.

— Несчастная, ведь это убийство.

Миллисент, вся покрывшаяся красными пятнами, взглянула на отца с таким презрением и ненавистью, что он отшатнулся.

Миссис Скиннер воскликнула:

— Миллисент, но это не ты, не ты?

Тут Миллисент сделала нечто, от чего у всех троих оледенела кровь в жилах. Она хихикнула.

— Кто же еще, — сказала она.

— Боже правый, — прошептал мистер Скиннер.

Кэтлин стояла, вся вытянувшись, и обеими руками держалась за сердце, словно хотела умерить его биение.

— Что же было после? — спросила она.

— Я закричала. Потом бросилась к окну и распахнула его. Потом стала звать няньку. Она вышла в сад вместе с Джоэн. «Не надо Джоэн, — крикнула я. — Не пускай ее сюда». Она позвала повара и велела ему увести девочку. Я кричала ей: «Скорей, скорей». Когда она вошла в комнату, я показала ей Гарольда и сказала: «Туан убил себя». Она взвизгнула и бросилась бежать.

Никто не решался войти в дом. Все точно обезумели от страха. Я отправила к мистеру Фрэнсису нарочного с письмом, в котором рассказала, что случилось, и просила вернуться как можно скорее.

— То есть как это «рассказала, что случилось»?

— Я написала, что, вернувшись с побережья, увидела Гарольда на постели с перерезанным горлом. В тропиках ведь нельзя долго держать тело. Я достала у китайцев гроб, солдаты вырыли могилу за фортом. Когда вернулся мистер Фрэнсис, прошло уже два дня после похорон. Он был еще совсем мальчик. Я могла делать с ним, что хотела. Я сказала ему, что нашла Гарольда с парангом в руке и что, видимо, он зарезался в припадке белой горячки. Я показала ему и пустую бутылку. Слуги подтвердили, что он пил все время, пока меня не было. То же самое я рассказала в Куала Солор. Все там очень жалели меня, а правительство назначило мне пенсию.

Несколько минут никто не говорил ни слова. Наконец мистер Скиннер попытался взять себя в руки.

— Я юрист. Я обязан стоять на страже закона. У меня есть мой профессиональный долг. Наша фирма всегда гордилась своей репутацией. Ты поставила меня в чудовищное положение.

Он мямлил, с трудом ловя фразы, разбегавшиеся в его смятенном мозгу. Миллисент обдала его презрительным взглядом.

— Что же вы намерены делать?

— Убийство есть убийство. Я не могу попустительствовать в таком деле.

— Глупости, папа, — резко сказала Кэтлин. — Не пойдете же вы доносить на родную дочь.

— Ты поставила меня в чудовищное положение, — повторил он.

Миллисент снова пожала плечами.

— Вы сами требовали, чтобы я рассказала вам правду. Да и слишком долго я несла эту тяжесть одна. Пора вам разделить ее со мною.

Дверь открылась, и заглянула горничная.

— Машина у крыльца, сэр, — сказала она.

Кэтлин сумела найти и ответить что-то, и горничная ушла.

— Что ж, поедem, — сказала Миллисент.

— Но я не могу сейчас ехать в гости, — с ужасом воскликнула миссис Скиннер. — Я слишком взволнована. Как мы будем смотреть Хейвудам в глаза? А епископ? Он ведь захочет с тобой познакомиться.

Миллисент равнодушно повела плечами. В глазах у нее было все то же ироническое выражение.

— Надо ехать, мама, — сказала Кэтлин. — Если мы не приедем, это будет выглядеть странно. — Она метнула на Миллисент злобный взгляд. — И вообще вся эта история вопиюще дурного тона.

Миссис Скиннер беспомощно оглянулась на своего супруга. Он подошел и подал ей руку, помогая подняться.

— Придется, пожалуй, ехать, мать, — сказал он.

— О боже, еще и эта эгретка из перьев, которые Гарольд сам подарил мне, — простонала она.

Мистер Скиннер повел ее к двери. Кэтлин следовала за ними, а последней, чуть поотстав, шла Миллисент.

— Вы потом привыкнете, вот увидите, — сказала она спокойно. — Первое время я ни о чем больше и думать не могла, но теперь иногда по два, по три дня не вспоминаю. А бояться нечего.

Никто не ответил. Они прошли через холл и вышли к машине. Дамы сели сзади, а мистер Скиннер с шофером. Машина была старомодная, без стартера, и Дэвис вылез, чтобы завести мотор. Мистер Скиннер обернулся и сердито посмотрел на Миллисент.

— Я не должен был ничего об этом знать, — сказал он. — Ты поступила в высшей степени эгоистично.

Дэвис занял свое место, и они поехали к канонику на файфоклок.

ДЖЕЙН

Я хорошо помню, при каких обстоятельствах впервые увидел Джейн Фаулер. Только потому, что подробности той мимолетной встречи и сейчас так ярки, я и решаюсь положиться на свою память, иначе, признаюсь, трудно было бы поверить, что она не сыграла со мной злую шутку. Незадолго до того я возвратился в Лондон из Китая, и меня позвала на чашку чаю миссис Тауэр. Перед тем на миссис Тауэр напала страсть к перемене декораций — и с чисто женской беспощадностью она пожертвовала креслами, в которых многие годы так удобно располагалась, столами, шкафчиками, безделушками, на которых отдыхал ее глаз со времен замужества, картинами, привычными за жизнь целого поколения, и предалась в руки специалиста. В гостиной у нее не осталось ни единой вещицы, которая о чем-то ей напоминала бы или почему-то была дорога ее сердцу; и в тот день она пригласила меня полюбоваться модной роскошью, в какой ныне пребывала. Все, что только можно покрыть морилкой, было мореное, что морилке не поддается — раскрашено. Все вещи оказались разнотильные, но друг с другом прекрасно сочетались.

— Помните, какой у меня прежде тут был нелепый гарнитур? — спросила миссис Тауэр.

Сейчас занавеси были великолепные, но строгие; диван крыт итальянской парчой; обивка кресла, в котором я сидел, расшита крестом. Гостиная красива, роскошна без крикливости, оригинальна без вычурности, и однако мне здесь чего-то не хватало; вслух я ее похвалил, а мысленно спросил себя, отчего мне куда приятней был довольно потертый ситец того высмеянного хозяйкой гарнитура, акварели викторианской эпохи, которые столько лет были мне знакомы,

и нелепые фигурки дрезденского фарфора, что украшали прежде каминную полку. Чего же мне, спрашивается, недостает в этих комнатах, преображенных весьма полезным мастерством декораторов, подумал я. Может быть, души? Но миссис Тауэр обвела все вокруг довольным взглядом.

— Как вам нравятся мои алебастровые лампы? — спросила она. — От них такой мягкий свет.

— Признаться, я люблю освещение, при котором что-то видно, — улыбнулся я.

— Это так трудно сочетать с освещением, при котором не слишком хорошо видно хозяйку, — засмеялась миссис Тауэр.

Я понятия не имел, сколько ей лет. Когда я был совсем молод, она была уже замужем и много старше меня, но теперь обходилась со мной как со сверстником. Она всегда повторяла, что не делает секрета из своего возраста — ей сорок, — и прибавляла с улыбкой, что все женщины себе пять лет убавляют. Она не пыталась скрыть, что красит волосы (очень приятного каштанового цвета, чуть отливающего медью), — красит потому, поясняла она, что волосы отвратительны, пока седеют, а когда сделаются совсем белые, она их красить перестанет.

— Тогда все начнут говорить, какое у меня молодое лицо.

А пока что она и лицо подкрашивала, хотя и очень осторожно, и ее глаза были так хороши в значительной мере по милости искусства. Она была красивая женщина, изысканно одевалась и в приглушенном алебастровыми лампами свете выглядела ни на день не старше тех сорока, которые сама себе давала.

— Выдержать ничем не прикрытый блеск электрической лампочки в тридцать две свечи я могу только за своим туалетным столиком, — прибавила она с насмешливой прямотой. — Там он нужен, чтобы сперва сказать мне гнусную правду, а потом помочь ее исправить.

Мы премило посплетничали об общих знакомых, и миссис Тауэр сообщила мне о новейших скандальных событиях. После скитаний в дальних краях очень приятно было сидеть в удобном кресле перед пылающим камином, у прелестного столика с прелестным чайным сервизом, и разговаривать с привлекательной, интересной собеседницей. Она обращалась со мной как с блудным сыном, вернувшимся после

многих походов, и намерена была окружить меня вниманием. Она очень гордилась своими зваными обедами, и гостей, гармонирующих друг с другом, подбирала с не меньшим тщанием, чем превосходное меню; едва ли не всякий приглашенный на один из таких вечеров радовался ему как празднику. Вот и сейчас она назначила день и спросила, с кем я хотел бы встретиться.

— Только об одном должна вас предупредить. Если Джейн Фаулер будет еще в Лондоне, мне придется вечер отложить.

— А кто такая Джейн Фаулер? — спросил я

Миссис Тауэр хмуро улыбнулась.

— Джейн Фаулер — мой тяжкий крест.

— Вот как!

— Помните, пока я не обставила все заново, у меня в комнате на фортепьяно стояла фотография — женщина в узком платье с узкими рукавами и золотым медальоном, волосы зачесаны назад, весь лоб открыт и видны уши, довольно курносая и на носу очки? Так вот, это и есть Джейн Фаулер.

— В те стародавние времена у вас в комнате было столько фотографий, — неопределенно сказал я.

— Как вспомню о них, меня дрожь пробирает. Я их все сложила в большой пакет и отправила на чердак.

— Так кто же такая Джейн Фаулер? — опять с улыбкой спросил я.

— Моя золовка. Сестра моего мужа, была замужем за фабрикантом на севере. Она уже много лет вдовее и очень богата.

— А почему она ваш тяжкий крест?

— Она почтенная старомодная провинциалка. Выглядит на двадцать лет старше меня — и готова первому встречному сообщить, что мы вместе учились в школе. В ней необычайно сильны родственные чувства, а из родни у нее в живых осталась одна я, и она безгранично мне предана. Когда она приезжает в Лондон, ей и в голову не приходит остановиться где-нибудь еще — как бы я не обиделась! И она гостит у меня по три недели, по месяцу. Мы сидим тут, и она вяжет или читает. А иногда, не слушая никаких отговорок, везет меня обедать в «Кларидж», вид у нее курам на смех, ни дать ни взять старуха поденщица, и все, кому я меньше всего хотела бы попасться на глаза, оказываются

за соседним столиком. А когда мы едем домой, она объясняет, до чего ей приятно устроить мне маленький праздник. И она собственноручно шьет для меня стеганные чехлы, которыми я вынуждена накрывать чайник, пока она у меня, и вышивает салфеточки и дорожки для обеденного стола.

Миссис Тауэр задыхнулась от длинной речи и умолкла.

— Мне кажется, вы, с вашим тактом, могли бы найти какой-то выход из положения.

— Но поймите, мне не к чему придаться. Она безмерно добра. Золотое сердце. Она мне надоедает до смерти, но я изо всех сил стараюсь, чтобы она об этом не догадалась.

— Когда же она приезжает?

— Завтра.

Но едва последнее слово слетело с губ миссис Тауэр, у парадной двери позвонили. Из прихожей донесся приглушенный шумок, и через минуту-другую дворецкий ввел в гостиную немолодую леди.

— Миссис Фаулер! — возвестил он.

Миссис Тауэр вскочила.

— Джейн! — воскликнула она. — Сегодня я тебя не ждала.

— Да, дворецкий мне так и сказал. А я точно написала в письме, что буду сегодня.

К миссис Тауэр вернулось присутствие духа.

— Ну, это неважно. Я всегда рада тебя видеть. К счастью, сегодня вечер у меня свободный.

— Ни в коем случае не хлопочи из-за меня. Если мне дадут на ужин яйцо в мешочек, больше ничего не надо.

Красивое лицо миссис Тауэр скривилось в мимолетной гримаске. Яйцо в мешочек!

— Ну, надеюсь, у нас найдется что-нибудь получше.

Я вспомнил, что хозяйка и гостя сверстницы, и внутренне усмехнулся. Миссис Фаулер выглядела на все пятьдесят пять. Она оказалась довольно крупной особой: на ней была черная соломенная шляпа, с широких полей сзади на плечи спадала черная кружевная вуаль, плащ — причудливое сочетание строгости и аляповатости, длинное черное платье, такое необъятное, словно под ним надето несколько нижних юбок, и прочные башмаки. Она явно страдала близорукостью, ибо смотрела на мир через большие очки в золотой оправе.

— Не выпьешь ли чаю? — спросила миссис Тауэр.

— Если это не доставит слишком много хлопот. Сейчас я сниму свою накидку.

Она принялась стягивать черные перчатки, потом сняла плащ. Ее шею обвивала массивная золотая цепочка с большим золотым медальоном, в котором, не сомневаюсь, заключена была фотография покойного супруга. Потом она сняла шляпу и вместе с перчатками и плащом аккуратно положила в угол дивана. Миссис Тауэр поджала губы. Что и говорить, наряд миссис Фаулер не слишком подходил к строгой, но величавой красоте этой заново отделанной гостиной. Любопытно, подумал я, где она добывает такие необыкновенные одеяния. Платье не старое, материя дорогая. Странно подумать, что портнихи еще шьют по фасонам, каких никто не носит уже четверть века. Седеющие волосы миссис Фаулер разделены посередине пробором, прическа самая простая, оставляющая лоб и уши открытыми. Волосам этим явно неведомы щипцы какого-нибудь мсье Марселя. Взор гостьи упал на чайный столик, на серебряный чайник в георгианском стиле и чашки старинного вустерского фарфора.

— Что ты сделала с чехольчиком, который я тебе сшила в прошлый приезд, Мэрион? — спросила она. — Ты им не пользуешься?

— Как же, я пользовалась им каждый день, Джейн, — без запинки ответила миссис Тауэр. — К сожалению, недавно с ним случилась беда. Он сгорел.

— Но предыдущий, который я тебе сшила, тоже сгорел.

— Боюсь, ты нас считаешь ужасно неосторожными.

— Пустяки, — улыбнулась миссис Фаулер, — я с удовольствием сделаю для тебя еще один. Завтра же пойду в магазин Либерти и куплю шелку.

Миссис Тауэр мужественно снесла удар.

— Право, я этого не заслуживаю. А жене вашего приходского священника такой чехол не нужен?

— Для нее я только недавно сшила, — с живостью ответила миссис Фаулер.

Она улыбнулась, блеснули мелкие, ровные, очень белые зубы. Прекрасные зубы. Улыбка у нее оказалась премилая.

Однако я решил, что пора мне оставить их вдвоем, и откланялся.

На другой день рано поутру мне позвонила миссис Тауэр, и по голосу я сразу понял, что она в отличном настроении.

— Хочу вам сообщить потрясающую новость, — сказала она. — Джейн выходит замуж.

— Что за вздор.

— Сегодня она мне представит своего жениха, он у меня обедает, и вы тоже непременно приходите.

— Но я помешаю.

— Нисколько. Джейн сама предложила вас пригласить. Приходите обязательно.

Она неудержимо рассмеялась.

— Кто он такой?

— Не знаю. Джейн говорит, он архитектор. Можете вы себе представить, какого человека выберет в мужа Джейн?

Вечер у меня был свободен, а что обед у миссис Тауэр будет отмененный, я не сомневался.

Когда я пришел, миссис Тауэр, блистательная в легком свободном платье, которое, правда, естественней выглядело бы на женщине чуть помоложе, была одна.

— Джейн кончает прихорашиваться. Дождаться не могу, когда вы на нее полюбуетесь. Она трепещет от радости. Говорит, что жених ее обожает. Его зовут Гилберт, и когда она о нем заговаривает, у нее голос так потешно дрожит. Я еле удерживаюсь от смеха.

— Любопытно, на что он похож.

— О, я очень ясно себе представляю. Огромный, громоздкий, лысый, и поперек большого живота большущая золотая цепь. Круглая красная бритая физиономия и оглушительный бас.

Вошла миссис Фаулер. На ней было очень строгое платье черного шелка, с широчайшей юбкой и треном. Скромный треугольный вырез, рукава до локтей. Бриллиантовое ожерелье в серебряной оправе. В руках она держала длинные черные перчатки и черный веер из страусовых перьев. Она умудрялась (это дается далеко не всем) выглядеть в точности тем, что она есть на самом деле. Безошибочно понимаешь: перед тобой добропорядочное ископаемое из семейства наших богатых северных промышленников.

— Шея у тебя очень недурна, Джейн, — с улыбкой великодушно похвалила миссис Тауэр.

И правда, при таком немолодом лице шея удивительная, просто девичья. Гладкая, без морщинки, очень белая. И еще я заметил на редкость красивую посадку головы.

— Сказала вам Мэрион, какая у меня новость? — обратилась ко мне миссис Фаулер с поистине чарующей улыбкой, словно к давнему доброму другу.

— Поздравляю вас, — сказал я.

— Подождите поздравлять, поглядите сперва на моего молодого человека.

— Как мило, что ты называешь жениха своим молодым человеком, — улыбнулась миссис Тауэр.

Глаза миссис Фаулер весело блеснули за несуразными очками.

— Не думай, что увидишь дряхлого старца. Не хочешь же ты, чтобы я вышла за развалину, которая уже стоит одной ногой в гробу?

Только этими словами она и предупредила нас. Да и не осталось времени на разговоры, дворецкий распахнул дверь и громко объявил:

— Мистер Гилберт Нэйпир.

Вошел молодой человек в отлично сшитом смокинге. Худощавый, невысокий, со светлыми чуть вьющимися от природы волосами, синеглазый, без бороды и усов. Не то чтобы очень хорош собой, но лицо славное, приветливое. Возможно, лет через десять оно покроется морщинами и поблекнет, но сейчас перед нами был юнец, свеженький, чистенький, цветущий. Уж конечно не старше двадцати четырех лет. Сперва я подумал — наверно, это сын нареченного Джейн (а я и не знал, что жених — вдовец) явился сказать, что из-за внезапного приступа подагры папаша не может прибыть к обеду. Но его глаза тотчас обратились к Джейн, лицо просияло, и он направился к ней, протянув руки. С застенчивой улыбкой она подала ему обе руки и обернулась к невестке:

— Это мой молодой человек, Мэрион.

Он протянул руку.

— Надеюсь вам понравится, миссис Тауэр, — сказал он. — Джейн сказала мне, что у нее в целом свете нет родных, кроме вас.

Стоило в эту минуту посмотреть на миссис Тауэр. Я невольно восхищался, наблюдая, как мужественно воспитанность и светские привычки одерживают победу над истинно женской натурой. Лишь на миг не сумела она скрыть изумление, потом отчаяние, и тотчас же, совладав с собой, изобразила на лице любезность и радушие. Но явно не нахо-

дила слов. Естественно, Гилберт несколько смутился, я тоже не знал, что сказать, только изо всех сил старался удержаться от смеха. Одна миссис Фаулер сохраняла полнейшее спокойствие.

— Конечно, он тебе понравится, Мэрион. Он обожает вкусно поесть. — И обернулась к молодому человеку: — Обеды Мэрион славятся на весь Лондон.

— Я знаю, — лучезарно улыбнулся он.

Миссис Тауэр поспешила ответить что-то подобающее случаю, и мы спустились в столовую. Эта трапеза запечатлелась в моей памяти как изысканнейшая комедия. Миссис Тауэр явно не могла понять — то ли парочка просто ее разыгрывает, то ли Джейн нарочно скрывала возраст своего жениха, чтобы поставить ее, Мэрион, в дурацкое положение. Но ведь Джейн никогда не шутила, а на недобрую выходку просто не способна. Миссис Тауэр изумлялась, досадовала, недоумевала. И все же овладела собой — ни за что не позволит она себе забыть, что она хозяйка и ее долг принять гостей, как положено. Она оживленно поддерживала беседу, а я спрашивал себя, замечает ли Гилберт Нэйпир, каким жестким, враждебным взглядом, наперекор маске дружелюбия, она на него смотрит. Она его оценивала. Пыталась проникнуть в тайники его души. Я видел, все в ней кипит, искусно подкрашенные щеки ее пылали от гнева.

— У тебя прекрасный румянец, Мэрион, — заметила Джейн, ласково глядя на невестку.

— Я очень спешила, переодеваясь к обеду. Боюсь, я излишне подкрасилась.

— Разве это краска? Я думала, у тебя естественный цвет лица. Иначе я ничего не сказала бы. — Она мимолетно, робко улыбнулась Гилберту. — Знаешь, мы с Мэрион вместе учились в школе. Теперь, глядя на нас, этого не скажешь, правда? Но, конечно, я всегда жила очень тихо и спокойно.

Уж не знаю, что она хотела этим сказать; трудно поверить, чтобы это говорилось по простоте душевной; так или иначе, ее слова до того взбесили миссис Тауэр, что она махнула рукой на самолюбие. И объявила с улыбкой:

— Да, Джейн, нам с тобой уже стукнуло по пятьдесят.

Если она хотела таким разоблачением смутить вдову брата, то просчиталась. Джейн сказала добродушно:

— Гилберт говорит, ради него я не должна признаваться, что мне больше сорока девяти.

У миссис Тауэр слегка дрожали руки, но она и тут нашлась.

— Да, конечно, между вами некоторая разница в возрасте, — с улыбочкой заметила она.

— Двадцать семь лет, — сказала Джейн. — По-твоему, это слишком много? Гилберт говорит, для своих лет я очень молода. Я ведь сказала тебе, что не собираюсь выходить за какого-нибудь дряхлого старца.

Тут уж я не мог удержаться от смеха, засмеялся и Гилберт. Смеялся он от души, как мальчишка. Похоже, его веселило каждое слово Джейн. Но миссис Тауэр, видимо, уже еле сдерживалась, и я с опаской подумал, если не разрядить атмосферу, как бы она впервые в жизни не забыла, что она женщина светская. И постарался прийти на помощь.

— Наверно, у вас сейчас много хлопот с покупкой приданого, — сказал я невесте.

— Нет. Я хотела все заказать своей портнихе в Ливерпуле, я всегда у нее одевалась с тех пор, как первый раз вышла замуж. Но Гилберт мне не позволил. У него очень властный характер, а вкус просто изумительный.

И она посмотрела на него застенчиво, с нежной улыбкой, прямо как семнадцатилетняя девочка.

Миссис Тауэр совсем побелела под своими румянами.

— На медовый месяц мы поедem в Италию. У Гилберта еще не было возможности изучить зодчество Возрождения, и, конечно, архитектору очень важно все посмотреть своими глазами. А по пути мы остановимся в Париже и там купим для меня все, что нужно.

— И надолго вы едете?

— Гилберт условился на службе, что пробудет в отъезде полгода. Для него это будет настоящий праздник, правда? Понимаете, раньше он ни разу не брал отпуска больше чем на две недели.

— Почему же? — спросила миссис Тауэр ледяным тоном, никакая сила воли не могла сделать его теплее.

— Он просто не мог себе этого позволить, бедненький.

— А! — только и вымолвила миссис Тауэр, но самая длинная речь не была бы выразительней.

Подали кофе, и дамы удалились наверх. Мы с Гилбертом заговорили было о том, о сем, как бывает, когда людям совершенно нечего сказать друг другу; но через две минуты

дворецкий подал мне записку. Записка была от миссис Тауэр и гласила:

«Сейчас же поднимитесь к нам и потом как можно скорее уходите. И уведите его. Я должна немедленно все выяснить с Джейн, не то меня хватит удар».

Я солгал простейшим способом:

— У миссис Тауэр разболелась голова, ей надо лечь в постель. Если вы не против, пожалуй, нам с вами лучше уйти.

— Да, конечно, — ответил он.

Мы поднялись к дамам, а через пять минут были уже на улице. Я окликнул такси и предложил молодому человеку подвезти его.

— Нет, спасибо, — ответил он. — Мне только дойти до угла, а там я вскочу в автобус.

Едва услышав, как за нами затворилась парадная дверь, миссис Тауэр бросилась в бой.

— Ты с ума сошла, Джейн? — вскричала она.

— Надеюсь, не больше многих других, кто обычно в сумасшедшем доме не живет, — добродушно ответила Джейн.

— Смею ли спросить, почему ты собралась выйти за этого молодого человека? — с умопомрачительной учтивостью осведомилась миссис Тауэр.

— Отчасти потому, что он никак не хотел примириться с отказом. Он пять раз делал мне предложение. Я просто устала повторять ему «нет».

— А как ты полагаешь, почему он так жаждет на тебе жениться?

— Ему со мной весело.

— Он бессовестный негодяй! — с досадой воскликнула миссис Тауэр. — Я чуть не сказала ему это прямо в глаза.

— Ты была бы не права, и это было бы не очень вежливо.

— Он нищий, а ты богата. Неужели ты так несусветно глупа и не понимаешь, что он женится на твоих деньгах.

Безмятежное спокойствие не изменяло Джейн. Невозмутимо смотрела она на взбудораженную невестку.

— По-моему, ты ошибаешься, — сказала она. — По-моему, он очень ко мне привязан.

— Ты старуха, Джейн.

— Мы с тобой ровесницы, Мэрион, — с улыбкой ответила миссис Фаулер.

— Я всегда следила за собой. Для своих лет я очень молода. Мне никто не даст больше сорока. Но даже мне и в голову не пришло бы выйти за мальчишку на двадцать лет моложе меня.

— На двадцать семь, — поправила Джейн.

— Уж не хочешь ли ты меня уверить, что сумела себе внушить, будто молодой человек способен питать какие-то чувства к женщине, которая годится ему в матери?

— Я долгие годы жила в глуши. Наверно, я не очень хорошо разбираюсь в человеческой природе. Говорят, есть такой Фрейд, кажется австриец...

— Не смейся людей, Джейн, — безо всякой учтивости перебила миссис Тауэр. — Это недостойно. Это некрасиво. Я всегда полагала, что ты женщина разумная. Право же, кого-кого, а тебя я не считала способной влюбиться в мальчишку.

— А я в него не влюблена. Я так ему и сказала. Конечно, он мне очень нравится, иначе я и не подумала бы за него выйти. Но я прямо сказала ему, какое именно у меня к нему чувство, иначе было бы нечестно.

Миссис Тауэр так и ахнула. Кровь бросилась ей в голову, дыхание перехватило. Веера под рукой не было, она схватила вечернюю газету и начала энергично обмахиваться ею.

— Если ты в него не влюблена, чего ради ты хочешь стать его женой?

— Я очень долго вдовела и жила очень тихо и спокойно. И подумала, что приятно будет переменить образ жизни.

— Если тебе захотелось замуж просто ради замужества, почему бы не выйти за человека твоих лет?

— Ни один человек моих лет не делал мне предложение пять раз. По правде сказать, ни один человек моих лет вообще не делал мне предложение.

Джейн сказала это со смехом. И тут миссис Тауэр окончательно вышла из себя.

— Не смейся, Джейн. Я этого не потерплю. Ты, видно, совсем потеряла рассудок. Это ужасно.

Она больше не в силах была сдерживаться и разрыдалась. Она знала, в ее возрасте слезы пагубны, потом целые сутки глаза будут опухшие и вид чудовишный. Но совладать с собой не могла. Рыдала. А Джейн оставалась безмятежно спокойна. Она смотрела через огромные очки на Мэрион и задумчиво разглаживала на коленях черное шелковое платье.

— Ты будешь ужасно несчастлива, — всхлипывала миссис Тауэр, осторожно прикладывая к глазам платочек в надежде, что тушь с подчеркнутых ресниц не размажется.

— Да нет, не думаю, — возразила Джейн по обыкновению таким ровным, кротким тоном, как будто за словами ее таилась едва заметная улыбка. — Мы очень основательно все это обсудили. Я всегда считала, что со мной очень легко ужиться. Думаю, со мной Гилберт будет счастлив и ему будет очень хорошо. До сих пор некому было о нем как следует позаботиться. Мы не сразу решили пожениться, мы очень здраво все обдумали. И условились, если одному из нас захочется вернуть себе свободу, другой никак не станет ему мешать.

Меж тем миссис Тауэр достаточно оправилась и теперь спросила колко:

— Какое содержание он у тебя выпросил по брачному контракту?

— Я хотела определить ему тысячу фунтов в год, но он и слушать не стал. Совсем расстроился, когда я это предложила. Он говорит, что достаточно зарабатывает и может сам себя содержать.

— Он хитрей, чем я думала, — едко ответила миссис Тауэр.

Джейн чуть помолчала, в ее взгляде, обращенном на невестку, была не только доброта, но и твердость.

— Понимаешь, дорогая, ты на все смотришь по-другому. Ты ведь была не слишком безутешной вдовой, правда?

Миссис Тауэр встретила с ней взглядом. Слегка покраснела. Ей стало даже капельку неловко. Но нет, конечно, Джейн простая душа и не способна на язвительные намеки. Миссис Тауэр призвала на помощь все свое достоинство.

— Я так расстроена, мне сейчас необходимо лечь, — сказала она. — Мы еще обо всем поговорим завтра утром.

— Боюсь, это будет не очень удобно, дорогая. Завтра утром мы с Гилбертом получаем разрешение на брак.

Миссис Тауэр в отчаянии воздела руки к небесам, но так и не нашлась, что сказать.

Брак зарегистрировали в муниципалитете. Свидетелями были миссис Тауэр и я. Гилберт в элегантном синем костюме выглядел до смешного юным и явно чувствовал себя неловко. Такие минуты для всякого мужчины испытание.

Но Джейн сохраняла великолепную невозмутимость. Можно было подумать, будто она привыкла выходить замуж не реже, чем самая что ни на есть светская особа. Лишь слабый румянец выдавал некоторое волнение, скрытое под внешним спокойствием. Такие минуты для всякой женщины исполнены трепета. На ней было широчайшее платье серебристого бархата, в покрое я сразу признал руку ливерпульской портнихи (несомненно вдовы самых строгих правил), которая обшивала ее многие годы; однако Джейн настолько уступила легкомыслию обстоятельств, что надела широкополую шляпу, изукрашенную голубыми страусовыми перьями. При очках в золотой оправе выглядело это на редкость несуразно. Когда церемония совершилась, регистратор (кажется, несколько озадаченный разницей в возрасте новобрачных) пожал Джейн руку и со всей официальностью поздравил, а молодой супруг, немного краснея, ее поцеловал. Потом ее поцеловала покорившаяся, но безжалостно суровая миссис Тауэр; а потом новобрачная выжидательно посмотрела на меня. Очевидно, мне тоже надлежало ее поцеловать. Что я и сделал. Когда мы выходили из муниципалитета под циничными взглядами неизбежных зевак, я, признаться, оробел и в машине миссис Тауэр укрылся с облегчением. Мы покатили к вокзалу Виктория, так как счастливая парочка двухчасовым поездом отбывала в Париж и по настоянию Джейн свадебный завтрак предстоял в вокзальном ресторане. Джейн сказала, что всегда очень боится опоздать к поезду. Миссис Тауэр при сем присутствовала лишь из чувства родственного долга, но на светскую любезность у нее сил не хватило; к еде она не притронулась (за что я ее не осуждаю, завтрак был отвратительный, и сам я терпеть не могу шампанское в начале дня), и голос ее звучал неестественно. Но Джейн добросовестно вкушала блюдо за блюдом.

— Я всегда считала, что перед дорогой следует сытно поесть, — сказала она.

Мы проводили новобрачных, и я отвез миссис Тауэр к ней домой.

— Как по-вашему, сколько это продлится? — спросила она. — Полгода?

Я улыбнулся.

— Будем надеяться на лучшее.

— Не говорите глупостей. Какое тут может быть лучшее. Неужели вы думаете, что он женился на ней не ради денег? Разумеется, этот брак не надолго. Я только и надеюсь, что ей придется выстрадать меньше, чем она заслуживает.

Я рассмеялся. Тон, каким высказана была эта великодушная надежда, не оставлял сомнений в подлинных чувствах миссис Тауэр.

— Что ж, если конец настанет быстро, вас утешит возможность сказать: «Я же тебя предупреждала».

— Даю вам слово, никогда я этого не скажу.

— Тогда вам приятно будет поздравить себя с тем, что у вас хватило выдержки не сказать: «Я же тебя предупреждала».

— Она старая, старомодная и скучная.

— А вы уверены, что она скучная? — переспросил я. — Правда, говорит она мало, но, что ни скажет, все попадает в точку.

— За всю свою жизнь я не слышала, чтобы она хоть раз пошутила.

Когда Гилберт и Джейн возвратились из свадебного путешествия, я опять был на Дальнем Востоке и в этот раз провел вдаль от Англии почти два года. Миссис Тауэр не любительница писать письма, и хоть я изредка посылал ей красочную открытку, но ответа не получал. Однако, возвратясь в Лондон, я встретился с ней в первую же неделю: мы оказались рядом за столом на званом обеде. Прием был многолюдный, наверно добрых две дюжины гостей, точно дроздов в пироге в известной детской песенке, а я немного запоздал и, попав в такую толпу, не вдруг разобрал, кто здесь есть. Но когда сели за длинный стол, я огляделся и среди сотрапезников увидел много лиц, широко известных по газетным фотографиям. Хозяйка дома питала слабость к так называемым знаменитостям, и тут собралось на редкость блестящее общество. Миссис Тауэр и я обменялись несколькими фразами, обычными, когда люди не виделись около двух лет, а потом я спросил, как дела у Джейн.

— Очень хорошо, — суховати ответила миссис Тауэр.

— Чем обернулся этот брак?

Миссис Тауэр взяла с тарелки соленую миндалинку, чуть помедлила с ответом.

— По-видимому, он очень удачный.

— Значит, вы тогда ошибались?

— Я сказала, что этот брак не надолго, и сейчас повторяю — не надолго. Он противоречит человеческой природе.

— Она счастлива?

— Они оба счастливы.

— Я полагаю, вы не часто с ними видитесь.

— Сначала виделась очень часто. Но теперь... — Миссис Тауэр слегка поджала губы. — Джейн становится весьма важной персоной.

— То есть? — засмеялся я.

— Наверно, мне сразу следовало вам сказать: она здесь.

— Здесь?!

Я был ошеломлен. Заново обвел глазами стол. Хозяйка дома очень мила и радушна, но я и помыслить не мог, чтобы она пригласила к такому парадному обеду немолодую, старомодную жену безвестного архитектора. От миссис Тауэр не ускользнуло мое замешательство, и она была достаточно умна, чтобы прочитать мои мысли. Она натянуто улыбнулась.

— Посмотрите, кто сидит слева от хозяина.

Я посмотрел. Странно, женщина эта, решительно ни на кого не похожая, бросилась мне в глаза, едва я переступил порог переполненной гостиной. И в ее взгляде мелькнуло что-то, словно она меня узнала, а меж тем, по-моему, я видел ее впервые. Явно не молода, в темных волосах густая проседь; они коротко подстрижены, подвиты, и крутые кудри, точно шлем, подчеркивают красивую форму головы. Эта женщина и не притворяется молодой, на лице, не в пример прочим дамам, ни следа краски, пудры и губной помады. Румяное, загорелое, оно не так уж и красиво, но приятна именно его естественность, свободная от ухищрений косметики. И при таком лице поразительной белизны плечи. Плечи просто великолепны. Такими могла бы гордиться и тридцатилетняя женщина. Но одета она потрясающе. Не часто мне случалось видеть столь смелый наряд. Платье очень открытое и, по тогдашней моде, короткое, черное с желтым; чуть ли не маскарадный костюм — и однако очень ей к лицу; на любой другой женщине оно было бы невозможно, а на ней выглядит просто, будто от природы данная оболочка. И дополняет впечатление ничуть не напускной оригинальности и совсем не нарочитой чудаковатости монотонная широкая черная лента.

— Не станете же вы меня уверять, что это и есть ваша золовка, — ахнул я.

— Это Джейн Нэйпир, — ледяным тоном ответила миссис Тауэр.

В эту минуту Джейн заговорила. Хозяин дома повернулся к ней, заранее улыбаясь. Ее сосед слева, седой, лысоватый, с умным тонким лицом, подался вперед и обратился в слух, двое напротив перестали беседовать друг с другом и тоже внимательно слушали. Джейн договорила — и все слушатели разом откинулись на стульях и разразились хохотом. Человек, сидевший напротив миссис Тауэр, обратился к ней через стол; я его узнал, это был известный государственный муж.

— Ваша золовка отпустила новую шуточку, миссис Тауэр, — сказал он.

Моя соседка улыбнулась:

— Она неподражаема, правда?

— Сейчас я выпью шампанского, и, ради всего святого, объясните мне, что произошло, — сказал я.

Итак, вот что я понял из рассказа миссис Тауэр. В начале медового месяца Гилберт водил Джейн по разным парижским портным и предоставил ей выбирать одеяния по своему вкусу; но уговорил ее обзавестись еще и двумя-тремя нарядами, фасон которых изобрел сам. Оказалось, у него на это особый дар. И он нашел для Джейн искусную камеристку-француженку. В обиходе Джейн никогда не бывало ничего подобного. Чинила она свою одежду сама, а если надо было принарядиться, призывала на помощь горничную. Платья, фасон которых изобрел для нее Гилберт, ничуть не походили на всё, что Джейн носила прежде; но он был осторожен, действовал шаг за шагом, не спеша, и, чтобы доставить ему удовольствие, она, хоть и не без опаски, стала чаще одеваться по его вкусу. Разумеется, придуманные им платья невозможно было надеть на привычные ей необъятные нижние юбки, и, поборов сомнения и страхи, она от этой части туалета отказалась.

— И теперь, не угодно ли, она только и надевает тоненькое шелковое трико, — сказала миссис Тауэр и фыркнула, по-моему, весьма неодобрительно. — Чудо, что она в свои годы еще не простудилась насмерть.

Гилберт и камеристка-француженка учили Джейн носить новые наряды, и, против ожиданий, она оказалась

очень способной ученицей. Француженка пылко восхищалась руками и плечами мадам. Просто стыд и срам прятать такую красоту.

— Подождите немножко, Альфонсина, — сказал Гилберт. — В следующий раз я придумаю для платьев мадам такой покрой, чтобы не скрывать ее достоинств.

Конечно, все портили ужасные очки. Невозможно хорошо выглядеть, когда на тебе очки в золотой оправе. Гилберт попробовал роговые. Покачал головой.

— Это подошло бы молодой девушке, — сказал он. — Тебе очки не по возрасту, Джейн. — И вдруг его осенило: — Ага, придумал! Ты должна носить монокль.

— Что ты, Гилберт, я не могу.

Она посмотрела на мужа. и его волнение, волнение истинного художника, вызвало у нее улыбку. Он так с ней мил, надо постараться доставить ему удовольствие.

— Я попробую, — сказала она.

Пошли к оптику, подобрали монокль нужного размера, и, едва Джейн бойко его примерила, Гилберт захлопал в ладоши. И тут же, к изумлению продавца, расцеловал ее в обе щеки.

— Ты выглядишь чудесно! — воскликнул он.

Итак, они отправились в Италию и провели несколько счастливых месяцев, изучая зодчество Возрождения и барокко. Джейн не только привыкла к своему новому облику, но убедилась, что он ей нравится. Поначалу она немного робела, когда люди оборачивались и смотрели во все глаза, едва она входила в ресторан какого-нибудь отеля, ведь прежде никто и не думал на нее смотреть, однако вскоре оказалось, что это даже приятно. Светские дамы подходили и спрашивали, откуда у нее такое платье.

— Вам нравится? — скромно говорила она. — Этот фасон для меня придумал мой муж.

— Если не возражаете, я хотела бы его скопировать.

Конечно, Джейн многие годы жила тихо и уединенно, однако она отнюдь не лишена была истинно женских чувств. Ответ был у нее наготове.

— Прощу извинить, но мой муж очень требователен, он и слышать не хочет, чтобы кто-то одевался так же, как я. Он хочет, чтобы я была совсем особенной.

Она думала, что, услышав такие слова, над ней станут смеяться, но никто не смеялся, ей отвечали только:

— Да, конечно, это очень понятно. Вы и правда совсем особенная.

Но Джейн видела, они стараются запомнить, как она одета, и почему-то ее это злило. Впервые в жизни она одевается не как все, так с какой стати другие непременно хотят одеваться, как она!

— Гилберт, — сказала она с необычной для нее резкостью, — в другой раз, когда будешь придумывать для меня фасон, придумай так, чтобы никто не мог его перенять.

— Для этого есть только один способ: придумать такие платья, какие можешь носить ты одна.

— А ты можешь такое придумать?

— Да, если ты согласишься кое-что для меня сделать.

— Что же?

— Постричься.

Думаю, тут Джейн впервые заартачилась. Она с юности очень гордилась своими густыми, длинными волосами; остричься — шаг непоправимый. Поистине это значит сжечь свои корабли. Для нее это была не первая нелегкая жертва, напротив — последняя, но она решилась («Я знаю, Мэрион сочтет меня круглой душой, и мне уже никогда больше нельзя будет показаться в Ливерпуле», — сказала она), — и, когда, возвращаясь в Англию, они остановились в Париже, Гилберт повел Джейн (ей чуть не стало дурно, так неистово колотилось сердце) к лучшему в мире парикмахеру. Из салона этого искусника она вышла с элегантною, вызывающе дерзкой головкой в крутых седеющих кудрях. Пигмалион довершил свое чудесное творение: Галатея ожила.

— Да, — сказал я, — но это еще не объясняет, почему Джейн сегодня оказалась среди герцогинь, министров и прочих знаменитостей и почему за столом она восседает между хозяином дома и адмиралом.

— Джейн славится юмором, — сказала миссис Тауэр. — Разве вы не видите, как все смеются, что бы она ни сказала?

Теперь уже не оставалось сомнений, сердце миссис Тауэр полно горечи.

— Когда Джейн написала мне, что они вернулись из свадебного путешествия, я сочла своим долгом пригласить их к обеду. Подумала — не слишком это приятно, но так надо. Я знала, скука будет смертная, и не хотела загубить вечер кому-то, кем по-настоящему дорожу. С другой стороны, мне не хотелось, чтобы Джейн вообразила, будто я

не знакома с приятными людьми. Вы ведь знаете, я никогда не приглашаю больше восьми человек, а тут подумала, может быть, лучше позвать двенадцать. Тогда я была очень занята и с Джейн до назначенного вечера не виделась. Она немножко опоздала — это была уловка Гилберта — и заявила последней. Я чуть не упала, до того была ошеломлена. Перед нею все женщины показались старомодными провинциалками. Я себя почувствовала какой-то размалеванной халдой.

Миссис Тауэр глотнула шампанского.

— Хотела бы я описать вам ее платье. На любой другой женщине оно бы выглядело немыслимо, на ней это было совершенство. А монокль! Мы с ней знакомы тридцать пять лет, и я ни разу ее не видела без очков.

— Но вы ведь знали, что она хорошо сложена.

— Откуда мне было знать? Я всегда видела ее одетой так, как вы ее увидели в первый раз. Неужели вы тогда нашли, что она хорошо сложена? Похоже, она понимала, что изумила всех своим видом, но принимала это как должное. Я подумала о своих гостях и вздохнула с облегчением. Хотя Джейн и нудная, при такой наружности это уже не столь важно. Она сидела в другом конце стола, там много смеялись, и я рада была, что остальные делают хорошую мину при плохой игре; но потом я даже растерялась: после обеда по меньшей мере три человека сказали мне, что моя золовка неподражаема и, как я полагаю, позволит ли она им ее навестить? Я не верила своим ушам. На другой же день наша сегодняшняя хозяйка позвонила мне и сказала: ей говорили, что моя золовка сейчас в Лондоне и что она неподражаема, и нельзя ли прийти ко мне завтракать и познакомиться с ней. А у этой женщины безошибочное чутье: через месяц кругом только и разговору было что о Джейн. Я здесь сегодня не потому, что двадцать лет знакома с хозяйкой дома и сто раз приглашала ее к себе, но потому, что я в родстве с Джейн.

Бедная миссис Тауэр. Она была жестоко уязвлена, и, невольно забавляясь тем, как круто переменялись роли, я все же решил, что она достойна сочувствия.

— Люди не могут устоять перед теми, кто их смешит, — сказал я, пытаясь ее утешить.

— Ну, меня она ни разу не насмешила.

С другого конца стола как раз донесся новый взрыв смеха, видно, Джейн опять сказала что-то забавное.

— Неужели вы единственная не находите ее потешной? — спросил я с улыбкой.

— А вас она и тогда поразила своим юмором?

— Признаться, нет.

— Она в точности так же разговаривает уже тридцать пять лет. Я смеюсь, когда вижу, что смеются другие, чтобы не показаться круглой душой, но меня это не забавляет.

— Как королеву Викторию¹, — сказал я.

Это была неумная шутка, и миссис Тауэр с полным правом довольно резко мне так и сказала. Я попробовал переменить тему.

— А Гилберт здесь? — спросил я, оглядывая сидящих за столом.

— Гилберта приглашали, потому что она никуда не хочет ездить без него, но сегодня он на приеме в Институте архитектуры или как там называется это заведение.

— Я жажду возобновить с ней знакомство.

— После обеда подойдите и заговорите с ней. Она пригласит вас на свои вторники.

— Ее вторники?

— Она принимает вечером по вторникам. У нее можно встретить любую знаменитость. Ее приемы — лучшие в Лондоне. За один год она достигла большего, чем я за двадцать лет.

— Но ведь это просто чудеса. Как ей это удалось?

Миссис Тауэр пожалала красивыми, но чересчур пухлыми плечами.

— Буду рада, если вы мне это объясните.

После обеда я направился было к дивану, где сидела Джейн, но не пробился к ней, и лишь немного позже хозяйка дома подошла ко мне со словами:

— Я должна вас познакомить со звездой сегодняшнего вечера. Вы не знакомы с Джейн Нэйпир? Она неподражаема. Она куда забавнее всех ваших комедий.

Меня подвели к дивану. Адмирал, недавний сосед Джейн по столу, и сейчас был с нею рядом. Он явно не собирался сдвинуться с места, и Джейн, обменявшись со мной рукопожатием, представила меня ему.

— Вы знакомы с сэром Реджинальдом Фробишером?

¹ «Нас это не забавляет» — слова королевы Виктории.

Завязалась беседа. Джейн была все та же, какую я знал прежде, простая душа, искренняя, бесхитростная, но при таком фантастическом облике любое ее слово приобретало особую пикантность. Вдруг я поймал себя на том, что неудержимо хохочу. Джейн что-то сказала, разумно и кстати, но ничуть не пытаюсь острить, и однако ее манера говорить и добродушный взгляд через монокль были поистине неотразимы. Мне стало легко и весело. На прощанье она сказала:

— Если у вас нет занятия поинтереснее, приходите к нам вечером во вторник. Гилберт будет вам очень рад.

— Когда он пробудет в Лондоне месяц, он поймет, что ничего интереснее нет и быть не может, — заметил адмирал.

Итак, во вторник, но довольно поздно, я отправился к Джейн. Общество, которое я там застал, признаться, меня удивило. Не часто собираются вместе столько видных писателей, художников и политических деятелей, артистов, знатных дам и выдающихся красавиц; миссис Тауэр сказала правду, прием был великолепный; с тех пор как продан был Стаффорд-Хаус, я в Лондоне ничего подобного не видел. Никаких особых развлечений не предлагалось. Стол был хорош, но не роскошен. От Джейн, как всегда, веяло спокойным довольством; по-моему, она не слишком старалась занимать гостей, но все явно чувствовали себя прекрасно, вечер прошел приятно и весело, разъехались только в два часа ночи. После этого я постоянно виделся с Джейн. Я не только часто бывал у нее в доме, но встречал ее повсюду, редкий прием теперь обходился без Джейн Нэйпир. Сам я любитель юмора и все пытался понять, в чем секрет ее своеобразного дарования. Повторить, что она говорила, невозможно, ведь шутки, подобно некоторым винам, не переносят путешествий. Она нисколько не язвила. Не блистала находчивостью. В ее замечаниях не было яда, в метких ответах — колкости. Кое-кто думает, что суть остроумия не в краткости, а в двусмысленности, но Джейн ни разу не произнесла ничего такого, что вогнало бы в краску викторианскую добродетель. По-моему, юмор Джейн был бессознательным и уж во всяком случае непосредственным. Он порхал мотыльком с цветка на цветок, повинувшись лишь своей прихоти, не ведая ни метода, ни расчета. Многое зависело от того, как она говорит и как выглядит. Тонкость юмора подчеркивалась вызывающе причудливым обликом — творением Гилберта, но облик — это еще далеко не все.

Разумеется, сейчас Джейн вошла в моду, и люди начинали смеяться, стоило ей открыть рот. Никого уже не удивляло, что Гилберт женился на женщине много старше его. Все видели, у Джейн возраст не имеет значения. Все считали, что этому малому чертовски повезло. Тот самый адмирал процитировал мне строки Шекспира: «Ее разнообразью нет конца. Пред ней бессильны возраст и привычка»¹. Гилберт был в восторге от ее успеха. Я узнал его поближе, и он мне нравился. Никакой он был не негодяй и не охотник за богатым приданым. Он не только безмерно гордился своей Джейн, но всей душой был ей предан. Относился к ней с трогательной добротой. Оказалось, это очень милый и совершенно бескорыстный молодой человек.

— Ну, что вы теперь скажете о Джейн? — однажды спросил он меня победоносно, прямо как мальчишка.

— Право, не знаю, кто из вас большее чудо, вы или она, — ответил я.

— Да нет, при чем тут я.

— Чепуха. Неужели, по-вашему, я так глуп и не понимаю, что вы, и только вы, сделали Джейн такой, какая она есть.

— Я увидел в ней то, что не бросалось всем и каждому в глаза, вот и вся моя заслуга.

— Я могу понять, что вы подметили, как показать необычность ее внешнего облика, но растолкуйте мне, как вы умудрились сделать ее остроумной?

— А я всегда считал, что ее шуточки просто уморительны. Она всегда была остроумна.

— Кроме вас, никто ничего подобного не думал.

Миссис Тауэр не без великодушия признала, что в Гилберте она ошиблась. Она даже стала очень нежно к нему относиться. Но, наперекор видимому благополучию, по-прежнему стояла на своем: брак этот недолговечен. Я не мог не посмеяться над нею.

— В жизни не видал более преданных супругов, — сказал я.

— Гилберту сейчас двадцать семь. Самое время появиться на сцене какой-нибудь хорошенькой девушке. Заметили вы на последнем приеме у Джейн хорошенькую племянницу сэра Реджинальда? По-моему, Джейн очень внимательно

¹ «Антоний и Клеопатра», II, 2. (Перевод Б. Пастернака).

к ним обоим присматривалась, и это навело меня на размышления.

— А я думаю, Джейн не страшны никакие молодые соперницы.

— Поживем — увидим, — сказала миссис Тауэр.

— Вы считали, что этого брака хватит на полгода.

— Что ж, теперь я думаю, его хватит на три года.

Такова уж человеческая природа: если кто-то слишком уверен в своей правоте, естественно, хочешь, чтобы он ошибся. Поистине миссис Тауэр была самоуверенна сверх меры. Но мне не дано было над ней восторжествовать, ибо в конце концов то, что она столь убежденно предсказывала этому неравному браку, свершилось. Но судьба зачастую преподносит нам желанные дары совсем не так, как мы того желали, и хотя миссис Тауэр могла тешить себя мыслью, что оказалась права, она, полагаю, предпочла бы ошибиться. Ибо все произошло совсем не так, как она ждала.

Однажды она позвонила мне, настойчиво попросила прийти, и, по счастью, я отправился к ней немедленно. Едва я вошел, миссис Тауэр встала и двинулась мне навстречу с бесшумной стремительностью леопарда, заведшего добычу. Она явно была взволнована.

— Джейн с Гилбертом разошлись, — сказала она.

— Вот как? Что ж, в конце концов вы оказались правы. Она как-то очень странно на меня посмотрела.

— Бедняжка Джейн, — пробормотал я.

— Бедняжка Джейн! — повторила миссис Тауэр, но таким язвительным тоном, что я опешил.

Не сразу она сумела объяснить мне, что же произошло.

Она кинулась к телефону и вызвала меня, едва затворилась дверь за Гилбертом. Когда он пришел к ней, по его отчаянному, смертельно бледному лицу она мгновенно поняла — случилось что-то ужасное. И уже знала, что услышит, прежде чем он вымолвил:

— Мэрион, Джейн меня оставила.

Она слегка улыбнулась и взяла его за руку.

— Я знала, что вы будете вести себя как рыцарь. Для Джейн было бы ужасно, если бы люди думали, что это вы ее оставили.

— Я пришел к вам, потому что знал, вы мне посочувствуете.

— О, я вас ничуть не осуждаю, Гилберт, — великодушно сказала миссис Тауэр. — Это неминуемо должно было случиться.

Он вздохнул.

— Да, наверно. Не мог я надеяться навсегда ее удержать. Она такая замечательная, а я самый заурядный малый.

Миссис Тауэр похлопала его по руке. Без сомнения, он держится очень благородно.

— Что же теперь будет?

— Да вот, она хочет со мной развестись.

— Джейн всегда говорила, что не станет вам мешать, если вы захотите жениться на молоденькой.

— Неужели, по-вашему, я когда-нибудь захочу на ком-то там жениться после Джейн, — возразил Гилберт.

Это ее озадачило.

— Но ведь вы, конечно, хотите сказать, что это вы оставили Джейн?

— Я? Никогда в жизни я бы ее не оставил.

— Так почему же она с вами разводится?

— Как только определение суда о разводе вступит в силу, она выйдет за сэра Реджинальда Фробишера.

Миссис Тауэр даже взвизгнула от неожиданности. А потом почувствовала такую слабость, что пришлось прибегнуть к нюхательной соли.

— Так-то она благодарна за все, что вы для нее сделали?

— Ничего я для нее не сделал.

— Вы хотите сказать, что позволите ей вот так выжать вас и бросить?

— Перед тем, как пожениться, мы уговорились — если один из нас захочет вернуть себе свободу, другой чинить препятствий не станет.

— Но это же делалось для вас. Ведь вы на двадцать семь лет моложе нее.

— Ну, это условие оказалось для нее очень выгодным, — горько сказал Гилберт.

Миссис Тауэр увещевала его, спорила, доказывала, но Гилберт твердил одно: никакие правила и обычаи к Джейн неприменимы, и он должен в точности исполнить ее желание. От миссис Тауэр он ушел совсем убитый. Она изрядно отвела душу, в подробностях пересказав мне весь этот разговор. Ей приятно было, что я поражен не меньше, чем она сама, а если я не так возмущаюсь поступком Джейн —

что ж, видно, такова преступная безнравственность, присущая всем мужчинам. Она все еще пребывала в крайнем волнении, когда дворецкий отворил дверь и появилась... Джейн собственной персоной. Платье на ней было черное с белым, как оно, конечно, подобало ее несколько двусмысленному положению, но такого невообразимо оригинального фасона и шляпа такая неслыханная, что я только ахнул. Однако держалась она как всегда добродушно и спокойно. Она подошла к миссис Тауэр и хотела ее поцеловать, но та с ледяным достоинством отстранилась.

— Здесь был Гилберт, — сказала она.

— Да, я знаю, — улыбнулась Джейн. — Я посоветовала ему тебя навестить. Я сегодня уезжаю в Париж и хочу, чтобы ты была с ним поласковее, пока я в отъезде. Боюсь, на первых порах ему будет довольно одиноко, и я была бы спокойнее, если б могла рассчитывать, что ты за ним приглядишь.

Миссис Тауэр всплеснула руками.

— Гилберт сейчас меня ошеломил, я просто не могу этому поверить. Он говорит, ты собираешься с ним развестись, чтобы выйти за Реджинальда Фробшера.

— А разве ты не помнишь, перед тем, как я вышла за Гилберта, ты сама советовала мне найти мужа моих лет. Адмиралу пятьдесят три.

— Но, Джейн, ты же всем обязана Гилберту, — возмутилась миссис Тауэр. — Без него ты пропадешь. Он не станет придумывать для тебя наряды, и ты обратишься в ничто.

— А он обещал и дальше придумывать мне наряды, — добродушно отвечала Джейн.

— Ни одна женщина не желала бы лучшего мужа. Он всегда был по отношению к тебе сама доброта.

— Да, я знаю, он был очень милый.

— Как ты можешь быть такой бессердечной?

— Но ведь я никогда не была влюблена в Гилберта, — сказала Джейн. — Я ему прямо об этом говорила. А теперь, я чувствую, мне нужен рядом человек моего возраста. Пожалуй, я достаточно времени пробыла женой Гилберта. С молодежью не о чем разговаривать. — Она чуть помолчала, одарила нас обоих прелестной улыбкой. — Конечно, я не потеряю Гилберта из виду. Я это обсудила с адмиралом. Племянница Реджинальда будет очень подходящей парой Гилберту. Как только мы поженимся, мы пригласим их

погостить у нас на Мальте — вы ведь знаете, адмирал должен принять командование флотом в Средиземном море, — и я ничуть не удивлюсь, если они влюбятся друг в дружку.

Миссис Тауэр презрительно фыркнула.

— А с адмиралом ты тоже условилась, что, если кто-нибудь из вас захочет вернуть себе свободу, другой не станет чинить препятствий?

— Я это предлагала, — невозмутимо ответила Джейн. — Но адмирал говорит, у него глаз наметанный, алмаз со стекляшкой он не спутает и ни на ком больше жениться не захочет, а если кто захочет жениться на мне, так у него на флагманском корабле восемь двенадцатидюймовых пушек, и он будет вести спор с близкого расстояния. — Тут она так взглянула на меня через монокль, что даже страх перед гневом миссис Тауэр не помешал мне рассмеяться. — По-моему, адмирал очень вспыльчив.

Миссис Тауэр, разумеется, метнула в меня сердитый взгляд из-под сдвинутых бровей.

— Я никогда не считала тебя остроумной, Джейн, — сказала она. — Понять не могу, почему людей смешит все, что ты ни скажешь.

— Я и сама не считаю себя остроумной, Мэрион. — Джейн улыбнулась, блеснули прекрасные ровные зубы. — И я рада уехать из Лондона, пока слишком многие не разделили наше с тобой мнение.

— Хотел бы я, чтобы вы открыли мне секрет вашего потрясающего успеха, — вставил я.

Джейн посмотрела на меня с хорошо мне знакомым добродушным, бесхитростным выражением.

— Знаете, когда я вышла за Гилберта и стала жить в Лондоне и все начали смеяться, что бы я ни сказала, я удивлялась больше всех. Тридцать лет подряд я разговаривала в точности так же, и никто в этом не видел ничего смешного. И я подумала, наверно, всех потешают мои платья, или моя стрижка, или монокль. А потом оказалось, все это потому, что я говорю правду. Люди совсем не привыкли слышать правду, вот им и кажется, что это юмор. Не сегодня завтра кто-нибудь еще откроет, в чем тут секрет, а когда все станут говорить правду, это, конечно, уже не будет забавно.

— А почему мне одной твои разговоры не кажутся забавными? — спросила миссис Тауэр.

Джейн ответила не сразу, словно и сама подыскивала верное объяснение.

— Пожалуй, ты просто не умеешь разобрать, что правда, а что нет, Мэрион, дорогая, — сказала она с обычным кротким благодушием.

И тем самым, конечно, последнее слово осталось за ней. Последнее слово всегда останется за Джейн, понял я. Она воистину неподражаема.

ПОЭТ

Меня мало интересуют знаменитости, и я всегда терпеть не мог страсть, которой одержимы столь многие — непременно жать руки великим мира сего. Когда мне предлагают познакомиться с кем-то, кого возвышают над простыми смертными чины или заслуги, я стараюсь, подыскав благовидный предлог, уклониться от этой чести; и когда мой друг Диего Торре хотел представить меня Санта Анье, я отказался. Но на сей раз объяснил свой отказ чисто-сердечно: Санта Анья не только великий поэт, он еще и фигура романтическая, и занятно было бы увидеть на склоне его дней человека, чьи приключения стали (по крайней мере, в Испании) легендой; но я знал, что он стар и болен, — надо полагать, его только утомит появление постороннего, и притом иностранца. Калисто де Санта Анья был последним отпрыском Великой Школы; в мире, где байронизм не в почете, он жил по Байрону и описал свою бурную жизнь в стихах, принесших ему славу, какой не ведал ни один его современник. Не могу судить о его творениях, потому что прочитал их впервые в двадцать три года и тогда пришел от них в восторг; полные страсти, дерзкой отваги, буйства красок и жизненных сил, они вскружили мне голову — и по сей день эти звучные строки и покоряющие ритмы неотделимы для меня от чарующих воспоминаний юности, и сердце мое начинает биться чаще всякий раз, как я их перечитываю. Я склонен думать, что в странах, где говорят по-испански, Калисто де Санта Анью чтят по заслугам. В ту давнюю пору вся молодежь повторяла его стихи, и мои друзья без конца рассказывали мне о его неукротимом нраве, о его пылких речах (ибо он был не только

поэт, но и политик), о его язвительном остроумии и любовных похождениях. Он был мятежник, безрассудно смел, и подчас бросал вызов законам; но прежде всего он был любовник. Все мы знали о его страсти к такой-то великой актрисе или к некоей божественной певице, — мы ведь зачитывались пламенными сонетами, в которых он живописал свою любовь, свои страдания, свой гнев, мы твердили их наизусть! — и нам было известно, что испанская принцесса, надменнейшая наследница Бурбонов, уступила его мольбам, а когда он ее разлюбил, постриглась в монахини. Ведь когда какому-нибудь из Филиппов, ее царственных предков, надоедала любовница, она уходила в монастырь, ибо не пристало возлюбленной короля принять потом любовь другого, а разве Калисто де Санта Анья не выше всех земных королей? И мы воздавали хвалы романтическому поступку принцессы — это делает ей честь и лестно для нашего поэта.

Но все это было много лет назад, и дон Калисто, презрев мир, который больше ничего не мог ему предложить, уже четверть века жил отшельником в своем родном городе Эсихе. Я собрался побывать там (я как раз приехал недели на две в Севилью) не ради Санта Аньи, просто это прелестный андалусский городок, милый мне и со многим для меня связанный, и, узнав о моем намерении, Диего Торре предложил представить меня поэту. По-видимому, дон Калисто изредка позволял писателям младшего поколения навещать его и порой в беседах с ними проявлял тот же пыл, что зажигал слушателей в славные дни его расцвета.

— А какой он теперь с виду? — спросил я.

— Великолепен.

— Есть у вас его фотография?

— Если б была! С тридцати пяти лет он не позволяет себя снимать. По его словам, он хочет, чтобы потомки знали его только молодым.

Признаться, этот намек на тщеславие меня растрогал. Я знал, в молодости Санта Анья был красавцем, и сонет, написанный им, когда он понял, что молодость миновала, берет за сердце: чувствуется, с какой болью, с какой горькой насмешкой следил поэт за увяданием своей редкой красоты, которая прежде так всех восхищала.

Однако я отклонил предложение друга; мне довольно было вновь перечитать хорошо знакомые стихи, вообще

же я предпочитал свободно бродить по тихим солнечным улицам Эсихи. И потому несколько даже испугался, получив вечером в день приезда собственноручную записку великого человека. Из письма Диего Торре он узнал о моем приезде, писал Санта Анья, и ему будет очень приятно, если на завтра в одиннадцать часов утра я его навещу. Теперь мне ничего другого не оставалось — в назначенный час надо было к нему явиться.

Гостиница моя была на главной площади, в это весеннее утро очень оживленной, но стоило свернуть за угол — и казалось, я иду по городу, покинутому жителями. Улицы, эти извилистые белые улочки, были пустынные, разве что изредка степенно пройдет женщина вся в черном, возвращаясь с богослужения. Эсиха — город церквей, куда ни пойдешь, то и дело перед глазами изъеденные временем стены или башня, на которой свили гнездо аисты. В одном месте я приостановился, глядя на проходящую мимо вереницу осликов. На них были выцветшие красные чепраки, и уж не знаю, что за груз несли они в свисающих по бокам корзинах. А когда-то Эсиха была городом не из последних, и на многих воротах перед белыми домами красовались внушительные гербы, ведь в этот отдаленный уголок стремились богачи Нового Света, и здесь на склоне лет селились авантюристы, которые нажили себе состояния в Северной и в Южной Америке. В одном из таких домов жил и дон Калисто, и, когда я позвонил у решетчатой калитки, мне приятно была мысль, что жилище его так ему подходит. В тяжелых воротах было какое-то обветшалое величие, и оно гармонировало с моим представлением о прославленном поэте. Я слышал, как отдавался в доме звонок, но никто не отворил мне, и я позвонил еще раз, и еще. Наконец к калитке подошла усатая старуха.

— Что вам? — спросила она.

Ее черные глаза были еще красивы, но лицо угрюмое, и я подумал, что это она, должно быть, заботится о старом поэте. Я подал ей свою визитную карточку.

— Ваш хозяин меня ждет.

Она отворила железную калитку и впустила меня. Попросила подождать и ушла по лестнице в дом. После раскаленной солнцем улицы патио порадовал прохладой. Он был благородных пропорций, и можно было подумать, что построен он каким-нибудь последователем конкистадоров; но

краска потускнела, плитка под ногами разбита, кое-где отвалились большие куски штукатурки. Всюду следы бедности, но отнюдь не убожество. Я знал, что дон Калисто беден. Бывали времена, когда деньги доставались ему легко, но он относился к ним пренебрежительно и тратил щедрой рукой. И явно живет теперь в нужде, но замечать ее ниже его достоинства. Посреди патио стоял стол, по сторонам его качалки, на столе — газеты двухнедельной давности. Знать бы, каким грезам предается старик, сидя здесь теплыми летними вечерами и покуривая сигарету, подумал я. По стенам под аркадой развешаны были потемневшие, дурно написанные испанские полотна, кое-где стояли старинные пыльные *bargueño*¹ с блестящей, местами поврежденной инкрустацией. По сторонам двери висела пара старинных пистолетов, и я с удовольствием вообразил, что они-то и послужили дону Калисто в знаменитейшей из его многочисленных дуэлей, когда ради танцовщицы Пепы Монтаньес (теперь, наверно, она беззубая старая карга) он убил герцога Дос Эрманоса.

Все вокруг пробуждало образы, которые я смутно угадывал, и так подходило знаменитому поэту-романтику, что дух этого дома всецело завладел моим воображением. Эта благородная нищета окружает его сейчас столь же славным ореолом, как бывшее великолепие его юности; в нем тоже сохранился давний дух конкистадоров, и ему очень к лицу кончить свою прославленную жизнь в этих великолепных полуразрушенных стенах. Конечно же, так и подобает жить и умереть поэту. Я пришел сюда довольно равнодушно, даже немного скучая в предвидении этой встречи, но постепенно мною овладело беспокойство. Я закурил сигарету. Пришел я точно к назначенному часу и теперь недоумевал, что же задерживает старика. Тишина странно тревожила. В этом тихом патио толпились тени прошлого, и давно минувший, невозвратный век вновь обрел для меня некую призрачную жизнь. В те дни людей отличали страсть и неукротимый дух, от каких в нашем мире не осталось и следа. Мы уже не способны поступать столь безрассудно и геройствовать столь театрально.

Я услышал какое-то движение, и сердце мое забилось быстрее. Теперь я волновался, и когда увидел наконец, как

¹ Шкафчик с выдвижными ящиками (*исп.*).

он спускается по лестнице, у меня даже дух захватило. В руках он держал мою карточку. Он был высок, очень худ, кожа чуть с желтизной, точно старая слоновая кость; грива седых волос, а густые брови еще темны, и от этого мрачнее кажется огонь, сверкающий в великолепных глазах. Поразительно, что в такие годы его глаза еще сохранили свой блеск. Орлиный нос, плотно сжатые губы. На ходу он не сводил с меня глаз, в них не было приветливости, казалось, он холодно меня оценивает. Он был в черном, в руке широкополая шляпа. Во всей осанке уверенность и достоинство. Он был такой, каким я хотел бы его видеть, и, глядя на него, я понял, как он потрясал умы и покорял сердца. Да весь его облик говорил: это поэт.

Он спустился в патио и медленно подошел ко мне. Взор у него был поистине орлиный. Для меня настала неповторимая минута, вот он передо мной, наследник великих испанских поэтов прошлого — за ним мне видятся великолепный Эррера, задумчивый тоскующий Фрай Луис, мистик Хуан де ла Крус и сложный, темный Гонгора. Он — последний в этой длинной череде, и он достойно шел по их стопам. Странно, в душе моей зазвучала прелестная, нежная песнь, самое знаменитое из лирических творений дона Калисто.

Я смешался. По счастью, у меня заранее заготовлены были первые слова приветствия.

— Маэстро, для меня, чужестранца, необычайная честь познакомиться со столь великим поэтом.

В проницательных глазах мелькнула насмешливая искорка, и суровые губы на миг дрогнули улыбкой.

— Я не поэт, сеньор, я торгую щетиной. Вы попали не по адресу. Дон Калисто живет в соседнем доме.

Я ошибся дверью.

КОРЫТО

Позитано расположено на склоне крутого холма и представляет собой кучу беспорядочно настроенных белых домишек, чьи черепичные крыши за сотни лет совершенно поблекли под беспощадными лучами солнца; но в отличие от многих таких же итальянских местечек, которые строились подальше от греха на скалистых возвышенностях, все его прелести невозможно охватить с одного взгляда. В Позитано есть улочки, взбирающиеся в гору прихотливыми зигзагами, есть облезлые крашенные дома в стиле барокко (но барокко очень позднего), куда некогда наезжала неаполитанская знать, которая могла позволить себе на сезон такое скудное великолепие. В самом деле, местечко это, пожалуй, даже чересчур живописно, и зимой две или три его скромные гостиницы битком набиты художниками и художницами. Трудясь в поте лица, они каждый по-своему отдают дань эмоциям, которые вызывает у них Позитано. Одни затрачивают бездну усилий, чтобы запечатлеть на полотне каждое окошко, каждую черепицу, какие только схватывает их пытливый взгляд, и, без сомнения, получают удовлетворение, служащее наградой прилежанию и трудолюбию. «Во всяком случае, это от души», — скромно говорят они, демонстрируя свои работы. Другие, порывистые и стремительные, с бешеным неистовством набрасываются на полотна, щедрыми мазками нанося на них краску. Эти говорят: «Видите ли, я пытался здесь выразить свое я». Они стоят с полузакрытыми глазами и как бы в раздумье бормочут: «Кажется, я все же сумел передать самого себя. Как по-вашему?» А есть и такие, что представляют вам на обозрение в высшей степени занимательное нагромождение

кубов и эллипсов и при этом угрюмо цедают сквозь зубы: «Я это вижу так». Люди они, как правило, молчаливые и серьезные и на ветер слов не бросают.

Но Позитано расположено на южном склоне, и летом там мудрено кого-нибудь встретить. Гостиница в Позитано чистая, прохладная, на ее увитой виноградом веранде приятно посидеть вечером, любясь морем, искрящимся в загадочном свете звезд. У подножия холма, на самом берегу бухты, в маленькой таверне «Марина» под низким сводчатым потолком, можно пообедать анчоусами, ветчиной, макаронами и свежешвыловленной кефалью, запивая все это холодным вином. Раз в сутки из Неаполя приходит пароход с почтой, на какие-то четверть часа создавая на пляже видимость оживления (порта нет и в помине, и пассажиры высаживаются на берег в маленьких шлюпках).

Однажды в августе, когда Капри, где я поселился, мне наскучил, я решил провести несколько дней в Позитано, нанял рыбацкую лодку и на ней добрался до городка. По дороге я задержался в тенистой бухточке, искупался, позавтракал и немного вздремнул, так что в Позитано прибыл лишь к вечеру. К гостинице я поднялся пешком в сопровождении двух крепких рыбацких, тащивших за мной на головах мои чемоданы, и, к своему величайшему удивлению, узнал, что буду не единственным постояльцем. Официант, по имени Джузеппе, был моим старым приятелем и исполнял сейчас обязанности и коридорного, и портье, и горничной, и повара. Он сообщил мне, что у них вот уже три месяца живет синьор — американец.

— Он что, художник, писатель или что-нибудь в этом духе? — поинтересовался я.

— Что вы, синьор, он настоящий джентльмен.

Чудно, подумал я. В это время года в Позитано иностранцев не бывает, разве что забредет какой-нибудь немец-турист, распаренный и пропыленный, с рюкзаком за плечами, но и они здесь не задерживаются. Я не мог представить себе, чтобы человек захотел прожить здесь три месяца, — конечно, если ему не нужно скрываться. А так как весной весь Лондон только и говорил что о бегстве выдающегося, но тем не менее бесчестного финансиста, у меня родилась забавная мысль, что таинственный незнакомец как раз и окажется им. Я был с этим финансистом немного знаком и от

души пожелал, чтобы мой внезапный приезд не нарушил его покоя.

— Вы увидите синьора в «Марине», — сказал мне Джузеппе, когда я выходил из гостиницы, чтобы снова спуститься к морю. — Он всегда обедает там.

Когда я пришел в таверну, его там, безусловно, не было. Я заказал себе обед и выпил «американки», которая, между прочим, не так уж плохо заменяет коктейль. Через несколько минут, однако, в дверях появился человек, который не мог быть ни кем иным, как моим соседом по гостинице, и на секунду я почувствовал разочарование, убедившись, что он не имеет ничего общего с мошенником-финансистом. Это был высокий пожилой мужчина с красивым худощавым лицом, сильно загоревшим после лета, проведенного на Средиземном море. Он был одет в очень хорошо сшитый, почти щегольской кремовый костюм из чесучи. Шляпы на нем не было. Его коротко остриженные волосы еще не поредели. Держался он свободно, элегантно. Он оглядел с полдюжины столов, за которыми местные жители играли в домино и в карты, потом взгляд его остановился на мне. Глаза незнакомца заулыбались. Он подошел к моему столику.

— Я узнал, что вы только что прибыли в гостиницу. Джузеппе сейчас занят, он предложил мне самому представиться вам и сказал, что вы не будете против. Надеюсь, вам не очень скучно будет пообедать в обществе совершенно незнакомому вам человека?

— Ну, конечно, нет. Присаживайтесь.

Он повернулся к девушке, накрывавшей для меня стол, и на прекрасном итальянском языке сказал ей, что я обедаю с ним. Потом посмотрел на мой стакан.

— Я договорился с хозяином, и он держит для меня джин и французский вермут. Вы позволите предложить вам крепкий мартини?

— С удовольствием.

— Мартини, знаете ли, тут редкость, и под его воздействием я лучше проникаюсь экзотикой здешних мест.

Он и в самом деле приготовил превосходный коктейль, и мы с удвоенным аппетитом принялись за ветчину и анчоусы, которые нам подали на первое. Мой новый знакомый обладал мягким юмором и приятной манерой говорить.

— Вы должны извинить мое многословие, — заметил он между прочим. — Первый раз за три месяца мне выпала

возможность поболтать по-английски. Едва ли вы пробудете здесь долго. Так что я намерен хорошенько поэксплуатировать вас.

— Три месяца в Позитано — это и в самом деле многовато.

— У меня тут лодка, я купаюсь, ловлю рыбу. Много читаю. Я привез с собой изрядное количество книг и буду весьма рад, если вы захотите ими воспользоваться.

— Пожалуй, у меня у самого хватит книг. Но я с удовольствием посмотрю, что у вас есть. Очень любопытное дело — разглядывать книги, которые читают другие.

Он кинул на меня пронизывающий взгляд, в глазах у него вспыхнула искорка.

— И в то же время многое можно об этих людях узнать, — промолвил он.

Пообедав, мы продолжили нашу беседу. Незнакомец был человеком начитанным и интересовался самыми разнообразными вопросами. Он с таким знанием дела рассуждал о живописи, что мне пришло в голову, не искусствовед ли он или антиквар. Но затем оказалось, что он знаком с трудами Светония, и я решил, что он преподаватель колледжа. Я спросил, как его зовут.

— Барнаби, — ответил он.

— Эта фамилия с недавних пор в большой моде.

— Как так?

— Неужели вы ничего не слышали о знаменитой миссис Барнаби? Она же ваша соотечественница.

— Да, припоминаю, ее фамилия последнее время частенько попадалась в газетах. Вы с ней знакомы?

— Ну, еще бы. У нее весь прошлый сезон были самые интересные приемы. Я посещал их всегда, когда она меня приглашала. Да и кто мог отказаться? Поразительная женщина. Приехала в Лондон, чтобы провести там сезон, и, бог мой, какого потрясающего успеха добилась. Это было настоящее триумфальное шествие.

— Она, кажется, очень богата?

— Сказочно, по-моему. Но не это создало ей успех. Деньги есть у многих американок. Миссис Барнаби обязана своим положением исключительно свойствам своей натуры. Она всегда остается сама собой и не старается пустить пыль в глаза. Она естественна. Это бесценная женщина. Вы, конечно, знаете ее историю?

Мой знакомый улыбнулся.

— Миссис Барнаби, возможно, большая знаменитость в Лондоне, но в Америке, насколько мне известно, о ней никто не знает.

Я тоже улыбнулся — но про себя: я представил себе, как шокирован был бы этот воспитанный и широко образованный человек богатым жизненным опытом поразительной миссис Барнаби, ее грубоватым юмором и непосредственностью, от которых веяло запахом прерий.

— Ну что же, я вам расскажу о ней. Говорят, муж у нее совсем неотесанный человек. Она рассказывает, что он этакий громадный детина и кулаком валит с ног бычка. В Аризоне его прозвали Майк-Одной-Двоих.

— Боже мой, за что?

— Когда-то, давным-давно, он одной пулей убил сразу двоих. Она говорит, что и сейчас к западу от Скалистых гор не найти такого стрелка, как ее муж. Он рудокоп, но побывал и ковбоем, и контрабандистом, и еще бог его знает чем.

— Типичный герой Дикого Запада, — заметил мой профессор, как мне показалось, несколько суховато.

— Настоящий сорвиголова, наверное. Послушали бы вы, какие истории рассказывает про него миссис Барнаби. И, конечно, все наперебой умоляют ее вызвать его в Лондон, но она говорит, что он ни за что не расстанется с необъятными просторами Запада. Год или два назад он нашел нефть и теперь богат как Крез. Должно быть, это очень сильная личность. Все мы, раскрыв рот, слушали ее рассказы о временах, когда она делила с мужем тяготы и лишения лагерной жизни. Просто дух захватывает, когда смотришь на эту седоволосую женщину, совсем некрасивую, но одетую изысканно, с изумительным жемчугом на шее, и слушаешь, как она стирала рудокопам белье и стряпала для них пищу. Ваши американские женщины обладают поистине потрясающей способностью приспосабливаться. Когда миссис Барнаби сидит во главе стола, чувствуя себя на равной ноге с принцами крови, послами, министрами, герцогом таким-то и герцогом таким-то, кажется почти невероятным, что каких-нибудь несколько лет назад она стряпала для семидесяти рудокопов.

— А читать и писать она умеет?

— Мне кажется, что приглашения пишет от ее имени секретарь, но я бы не сказал, что она невежественна. Миссис Барнаби говорила мне, что одно время взяла себе за правило читать каждый вечер по меньшей мере час после того, как весь лагерь заснет.

— Удивительно!

— Зато Майк-Одной-Двоих научился писать свое имя только тогда, когда ему понадобилось подписывать чеки.

Мы поднялись к нашей гостинице и, расставаясь на ночь, условились на следующий день взять с собой завтрак и отправиться на лодке к гроту, открытому моим новым знакомым. Мы чудесно провели время, купались, читали, закусили, немного поспали и поболтали, а вечером вместе пообедали. На следующий день, после завтрака на террасе, я напомнил Барнаби о его обещании показать мне свои книги.

— Пойдемте, пойдемте.

Я последовал за ним в его комнату, где Джузеппе убирал постель. Первое, что бросилось мне в глаза, была фотография знаменитой миссис Барнаби, вставленная в богатую рамку. Мой знакомый тоже заметил ее и внезапно побледнел от гнева.

— Ты дурак, Джузеппе. Зачем ты вынул эту фотографию из шкафа? Для чего, черт бы тебя побрал, я спрятал ее подальше?

— Не знаю, синьор. Потому я и поставил ее опять на стол синьора. Я думал, что ему нравится смотреть на портрет своей синьоры.

Я был потрясен.

— Так моя миссис Барнаби — ваша жена? — воскликнул я.

— Вот именно.

— Боже милостивый, значит, вы — Майк-Одной-Двоих?

— Разве похоже?

Я расхохотался.

— Я бы не сказал.

Я посмотрел на его руки. Он хмуро улыбнулся и показал их мне.

— Нет, сэр, я никогда не валил бычков ударом своего мощного кулака.

Мгновение мы молча глядели друг на друга.

— Она мне никогда этого не простит, — простонал он. — Ей хотелось, чтобы я взял себе вымышленное имя,

а когда я отказался, очень обиделась на меня. Она сказала, что так ей будет все время беспокойно. Я ей ответил, что прятаться три месяца в Позитано уже само по себе достаточно скверно и будь я проклят, если добавлю еще и чужое имя... — Он запнулся. — Отдаюсь всецело на вашу милость. Мне ничего не остается, как надеяться, что вы великодушно сохраните тайну, которая стала вам известна благодаря самой нелепой случайности.

— Буду нем как могила, но, честно говоря, я не совсем понимаю. Что все это значит?

— По профессии я врач, и мы с женой последние тридцать лет прожили в Пенсильвании. Не знаю, может быть, я показался вам неотесанным чурбаном, но миссис Барнаби, осмелюсь сказать, — одна из самых культурных женщин, каких я знаю. Потом умерла ее родственница и оставила ей большое состояние. В этом отношении все правильно. Моя жена — очень и очень богатая женщина. Она начиталась английских романов и давно мечтала провести сезон в Лондоне, устраивать приемы и вообще вкусить великолепия, о котором читала в книгах. Деньги принадлежат ей, и, хотя такая идея не очень соблазняла меня, я был искренне рад, что ее мечта сбудется. В апреле мы отплыли в Европу. На одном с нами корабле оказались молодые герцог и герцогиня Хэрифорд.

— Слышал. Им-то она и обязана своим первым успехом. Они были буквально без ума от миссис Барнаби и разрекламировали ее, как целая армия газетчиков.

— Когда мы отплыли, я был нездоров. Карбункул приковал меня к каюте, и миссис Барнаби осталась без присмотра. На палубе ее кресло оказалось рядом с креслом герцогини, и из случайно подслушанной реплики она поняла, что английская аристократия не слишком высокого мнения о законодателях нашего света. Жена моя — сообразительная женщина, и она заметила мне, что, если ваши предки подписали Хартию Вольностей, на них вряд ли произведет впечатление то, что дедушка одного из ваших знакомых торговал скунсовыми шкурками, а дедушка другого был паромщиком. У моей жены очень тонкое чувство юмора. Разговорившись с герцогиней, она рассказала ей маленький ковбойский анекдот, а чтобы оживить его, сказала, что это случилось с ней самой. Успех не заставил себя ждать. Герцогиня упрашивала ее рассказать еще что-нибудь, и жена

стала действовать смелее. Через двадцать четыре часа герцог и герцогиня, можно сказать, ели из ее рук. В перерывах она приходила в мою каюту и сообщала о ходе событий. По простоте душевной я находил все это забавным, а так как заняться было нечем, я послал в библиотеку за Брет Гартом и принялся начинать жену броскими деталями.

Я хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— У нас ее называли вторым Брет Гартом!

— А какое удовольствие я испытывал, рисуя себе удивление друзей моей жены, когда в конце плавания появлюсь я и мы расскажем всю правду. Но я строил планы, не приняв в расчет жену. Накануне того дня, когда мы должны были прибыть в Саутгемптон, миссис Барнаби довела до моего сведения, что Хэрифорды собираются устроить для нее прием. Герцогиня во что бы то ни стало хотела познакомиться ее со всякими замечательными людьми. Такой случай выпадает раз в сто лет, но я, конечно, все испорчу. Она призналась, что ей пришлось изобразить меня совсем не таким, каков я на самом деле. Я не знал, что она уже сделала меня Майком-Одной-Двоих, однако подозрение, что она вообще забыла упомянуть о моем присутствии на корабле, уже не раз появлялось у меня. Ну, короче говоря, она попросила меня уехать в Париж на одну-две недели, пока она не упрочит свое положение. Я не возражал. Перспектива немного поработать в Сорбонне улыбалась мне больше, чем хождения по приемам в Мэйфэре¹. Вот как получилось, что я сошел в Шербуре, а жена продолжала путь до Саутгемптона. Но не прожил я в Париже и десяти дней, как она прилетела ко мне. Она сказала, что ее успех превзошел самые невероятные мечтания: все было в десять раз удивительнее, чем в любом из романов, но, если появлюсь я, всему конец. Очень хорошо, согласился я, итак, я остаюсь в Париже. Ей это не понравилось, она заявила, что не сможет быть ни минуты спокойной, пока я так близко и пока существует угроза, что какой-нибудь знакомый наткнется на меня. Я предложил Вену или Рим. Это ей тоже не подошло. Кончилось тем, что я приехал сюда и хоронюсь тут, словно преступник, целых три бесконечных месяца.

— Так вы хотите сказать, что не убивали тех двух игроков, пристрелив одного левой, а другого правой рукой?

¹ Район богатых особняков в центре Лондона.

— Сэр, я никогда в жизни не держал в руках пистолета.

— А как же с нападением мексиканских бандитов на вашу бревенчатую хижину, когда жена заряжала ружья, а вы три дня отстреливались, пока не подошли войска?

Мистер Барнаби криво усмехнулся:

— Это для меня ново. А не кажется ли вам, что это грубо придумано?

— Грубо?! Да чем это хуже любого фильма о Диком Западе?

— Я едва ли ошибусь, если предположу, что из них-то моя жена и почерпнула эту мысль.

— А корыто! Стирка белья для рудокопов и все такое. Да знаете ли вы, что мы надрывались от смеха, когда она рассказывала эту историю. Ведь она в лондонский свет буквально всплыла на своем корыте. — Я рассмеялся. — Какими же простофилями все мы выглядели!

— Ну, настоящий-то дурак, прошу вас заметить себе, это я, — возразил мистер Барнаби.

— Она удивительная женщина, и вы вправе гордиться ею. Я всегда говорил, что она просто бесценна. Она разгадала, что в сердце каждого англичанина таится страсть к романтическому, и она удовлетворила эту страсть.

— Вам, сэр, хорошо веселиться. Может быть, Лондон и в самом деле приобрел необыкновенную хозяйку званых вечеров, что же касается меня, то я начинаю думать, что потерял отличную спутницу жизни.

— Великие прерии Запада — единственное подходящее место для Майка-Одной-Двоих. Мой дорогой мистер Барнаби, у вас лишь один выход. Придется вам продолжать скрываться.

— Весьма вам признателен, — ответил он, как мне показалось, довольно холодно.

МИСТЕР ВСЕЗНАЙКА

Я решил, что Макс Келада мне не понравится, еще до того, как увидел его. Война только что кончилась, и движение на океанских линиях стало особенно оживленным. Достать билет на пароход было почти невозможно, и приходилось довольствоваться любым местом, предложенным пароходными агентами. Нечего было и думать об отдельной каюте, и я радовался, что хоть попал в двухместную. Но когда мне назвали фамилию второго пассажира, сердце мое упало. Эта фамилия наводила на мысль о плотно закрытом иллюминаторе и спертom воздухе по ночам. Делить каюту с кем бы то ни было четырнадцать суток (я ехал от Сан-Франциско до Иокогамы) и без того достаточно неприятно, но меня бы это меньше страшило, если б моим попутчиком оказался Смит или Браун.

Когда я вошел в каюту, вещи мистера Келада были уже там. Вид их мне не понравился: слишком уж много наклеек на чемоданах, слишком велик кофр для одежды. Мистер Келада успел разложить свои туалетные принадлежности, и я заметил, что он постоянный клиент несравненного месье Коти: на умывальнике стояли духи, туалетная вода, бриллиантин от Коти. Черного дерева щетки с золотыми монограммами не мешало бы помыть. Нет, мистер Келада мне определенно не нравился. Я пошел в курительную, потребовал колоду карт и стал раскладывать пасьянс. Только я начал, ко мне подошел один из пассажиров и спросил, не я ли мистер такой-то.

— Я мистер Келада, — добавил он, приоткрыв в улыбке ряд белоснежных зубов, и сел.

— А-а, мы, кажется, в одной каюте.

— Повезло нам, правда? Никогда не знаешь, с кем тебя поместят. Я очень обрадовался, когда узнал, что вы англичанин. По-моему, за границей мы, англичане, должны держаться друг друга, вы ведь меня понимаете.

Я даже заморгал.

— Разве вы англичанин? — спросил я, пожалуй, не совсем тактично.

— Конечно. А вы приняли меня за американца, да? Британец до мозга костей, вот я кто.

В доказательство мистер Келада достал из кармана паспорт и слегка помахал им перед моим носом.

У короля Георга немало удивительных подданных. Мистер Келада был небольшого роста, плотный, с чисто выбритым смуглым лицом, мясистым крючковатым носом и блестящими влажными глазами навывкате. Его длинные выующиеся волосы были черны и лоснились. Говорил он с несвойственной англичанам живостью и сильно жестикулировал. Без сомнения, при более близком знакомстве с его британским паспортом обнаружилось бы, что небо над родиной мистера Келада куда лазурнее, чем над Англией.

— Что будете пить? — спросил он меня.

Я взглянул на него с недоумением. Сухой закон был в силе и, по всей видимости, на корабле строго соблюдался. А газированная вода и лимонад, когда меня не мучит жажда, мне одинаково противны. Лицо мистера Келада осветилось восточной улыбкой.

— Виски с содовой или сухой martini? Скажите лишь слово.

Из карманов брюк он извлек по фляжке и положил передо мной на стол. Я выбрал martini, и мистер Келада, подзвав официанта, потребовал кубики льда и два стакана.

— Очень хороший коктейль, — сказал я.

— Там, где я это взял, еще много всего, и если у вас здесь есть знакомые, скажите им, что у одного вашего приятеля спиртного хоть отбавляй.

Мистер Келада был болтлив. Он рассказывал о Нью-Йорке и Сан-Франциско. Говорил о пьесах, картинах и политике. Это был патриот. Британский флаг — величественное полотнище, но, когда им размахивает джентльмен из Александрии или Бейрута, я невольно чувствую, что этот флаг несколько теряет в своем достоинстве. Мистер Келада был фамильярен. Я далек от высокомерия, но, на мой

взгляд, когда обращаешься к постороннему, не подобает опускать слово «мистер». Между тем мистер Келада — вероятно, чтоб я чувствовал себя проще, — отбросил эту формальность. Не нравился мне мистер Келада. Когда он подсел, я отложил было карты, теперь же, полагая, что для первого раза наш разговор достаточно затянулся, снова принялся за пасьянс.

— Тройку на четверку, — сказал мистер Келада.

Ничто так не действует на нервы, когда раскладываешь пасьянс и смотришь, куда положить очередную карту, как советы под руку.

— Сходится, сходится! — воскликнул он. — Десятку на валета.

С яростью и ненавистью в душе я закончил. Тогда он завладел колодой.

— Любите карточные фокусы?

— Ненавижу, — ответил я.

— Я все же покажу вам один.

Он показал три. Тогда я заявил, что спущусь в столовую и выберу себе место.

— О, не беспокойтесь, — сказал он. — Место вам уже занято. Я решил, раз мы с вами в одной каюте, хорошо бы и сидеть за одним столом.

Не нравился мне мистер Келада.

Мало того, что я делил с ним каюту и трижды в день ел за одним столом; стоило мне только выйти на палубу, как он оказывался рядом. Отделаться от него было невозможно. Ему и в голову не приходило, что в нем не нуждаются. Он не сомневался, что вам так же приятно видеть его, как ему вас. Если бы в своем собственном доме вы спустили его с лестницы или захлопнули дверь перед его носом, он и тут не заподозрил бы, что с ним не хотят знаться. Он был очень общителен и через три дня знал на пароходе всех. Он попевал всюду: проводил лотереи, возглавлял аукционы, собирал деньги на призы победителям состязаний, затевал игры в серсо и гольф, организовал концерт, устроил костюмированный бал. Он был вездесущ. И, конечно, возбуждал всеобщую ненависть. Мы называли его мистер Все-знайка даже в глаза. Он принимал это за комплимент. Но особенно невыносим он был в столовой. Тут мы почти на час оказывались в его власти. Он шутил, хохотал, ораторствовал, спорил. Он все знал лучше других, и если вы с ним

не соглашались, это был удар по его самолюбию. Даже когда речь шла о пустяках, он не успокаивался до тех пор, пока не склонял вас на свою сторону. Он не допускал и мысли, что может ошибиться. Он из тех, кто знает наверняка. Мы сидели за столом судебного врача. Мистеру Келада никто бы здесь не перечил — доктор был ленив, а я подчеркнуто равнодушен, — если бы не сидевший с нами некто Рэмзи. Этот тоже, как и мистер Келада, не терпел возражений, и его выводила из себя самоуверенность левантинца. Их споры были бесконечны и язвительны.

Рэмзи служил в американском консульстве в Кобе. Это был высокий грузный человек, уроженец Среднего Запада, его тучное тело с трудом умещалось в дешевом костюме. Он возвращался к месту службы после недолгого пребывания в Нью-Йорке, куда ездил за женой, которая провела год на родине. Это была очень хорошенькая женщина с приятными манерами и с чувством юмора. Служба в консульстве больших доходов не приносит, и миссис Рэмзи одевалась очень скромно, но со вкусом. Она умела носить вещи и всегда выглядела элегантно. Я не обратил бы на нее особого внимания, если бы не одно ее качество, которое, быть может, и свойственно женщинам, но в наше время обычно ими скрывается. Глядя на миссис Рэмзи, нельзя было не поражаться ее скромности. Скромность украшала ее, как цветок украшает платье.

Как-то за обедом разговор случайно коснулся жемчуга. Газеты много писали о хитроумном способе получения жемчуга, придуманном японцами, и доктор заметил, что их жемчуг неминуемо снизит стоимость настоящего. Этот жемчуг и сейчас уже очень хорош, а скоро его доведут до совершенства. Мистер Келада, по своему обыкновению, ухватился за новую тему. Он сообщил нам все, что можно знать о жемчуге. Думаю, что Рэмзи даже понятия об этом не имел, но он не мог упустить случая сцепиться с левантинцем, и через пять минут разгорелся жестокий спор. Я еще никогда не слышал, чтобы мистер Келада спорил так страстно и многословно, как на этот раз. Наконец что-то сказанное Рэмзи его особенно уязвило, он стукнул кулаком по столу и закричал:

— Я ведь знаю, что говорю. Я еду в Японию, как раз чтобы посмотреть пресловутый японский жемчуг. Это моя специальность, и любой эксперт подтвердит вам, что с

моим мнением считаются. Я знаю все лучшие жемчужины в мире, а уж если чего не знаю о жемчуге, того и знать не стоит.

Это было для нас новостью, при всей своей болтливости мистер Келада никому еще не говорил о роде своих занятий. Мы слышали только, что он едет в Японию по каким-то коммерческим делам. Он победоносно оглядел нас.

— Японцам никогда не получить жемчужины, которую такой знаток, как я, не распознал бы с первого взгляда. — Он указал на ожерелье миссис Рэмзи. — Помяните мое слово, миссис Рэмзи, эта нитка никогда ни на один цент не упадет в цене.

Миссис Рэмзи из свойственной ей скромности слегка покраснела и спрятала жемчуг под платье. Рэмзи подался вперед. Он взглянул на нас, и в его глазах мелькнула улыбка.

— Красивая нитка, правда?

— Я сразу обратил на нее внимание, — ответил мистер Келада. — Да, сказал я себе, вот это жемчуг что надо.

— Его покупали без меня. Интересно, сколько, по-вашему, он стоит?

— О, цена ему около пятнадцати тысяч долларов. Но я не удивлюсь, если на Пятой авеню за эту нитку взяли все тридцать.

Рэмзи злорадно улыбнулся.

— А что вы скажете, если миссис Рэмзи в день отъезда из Нью-Йорка купила ее в универсальном магазине за восемнадцать долларов?

Мистер Келада побагровел.

— Вздор. Жемчуг настоящий, притом для своего размера превосходный, я еще не встречал такой нитки.

— Хотите пари? Ставлю сто долларов, что это подделка.

— Идет.

— Ах, Элмер, нельзя же спорить, когда знаешь наверняка, — сказала миссис Рэмзи, слабо улыбаясь.

В ее голосе слышался мягкий упрек.

— Почему же? Деньги сами плывут в руки, надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой случай.

— Но как вы докажете? — продолжала она. — Ведь ваши утверждения голословны.

— Дайте мне взглянуть поближе, и, если это подделка, я тут же скажу. Я готов потерять сто долларов, — заявил мистер Келада.

— Сними жемчуг, дорогая. Пусть этот джентльмен смотрит на него, сколько ему угодно.

Миссис Рэмзи мгновение колебалась. Потом подняла руки к замочку.

— Я не могу расстегнуть, — сказала она. — Придется мистеру Келада поверить мне на слово.

Меня вдруг кольнуло предчувствие, что сейчас произойдет какое-то несчастье, но я не нашелся что сказать.

Рэмзи вскочил.

— Дай я расстегну.

Он протянул нитку мистеру Келада. Левантинец вынул из кармана увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать жемчуг. Улыбка торжества заиграла на его чисто выбритом смуглом лице. Он вернул нитку и собрался было заговорить. Внезапно он перехватил взгляд миссис Рэмзи. Она так побледнела, что, казалось, была близка к обмороку. Глаза ее расширились от ужаса. Они молили о спасении; это было до того ясно, что я удивляюсь, как ее муж ничего не заметил.

Мистер Келада застыл с открытым ртом. Он густо покраснел. Было ясно, что он делает над собой усилие.

— Я ошибся, — сказал он. — Это очень хорошая имитация, и, конечно, посмотрев через лупу, я сразу увидел, что жемчуг не настоящий. Пожалуй, больше восемнадцати долларов эта безделка и не стоит.

Он достал бумажник, вынул из него сто долларов и молча протянул мистеру Рэмзи.

— Может, это научит вас впредь не быть таким самоуверенным, мой молодой друг, — сказал Рэмзи, принимая деньги.

Я заметил, что руки у мистера Келада дрожали.

История эта, как обычно бывает, распространилась по всему кораблю, и на долю мистера Келада в тот вечер выпало немало насмешек. Шутка сказать — мистера Всезнайку посадили в калошу. Только миссис Рэмзи ушла в свою каюту, у нее разболелась голова.

На следующее утро я встал и начал бриться. Мистер Келада лежал в постели и курил сигарету. Вдруг послышался слабый шорох, и в щели под дверью показалось письмо. Я отворил дверь и выглянул. Никого. Я поднял конверт. На нем печатными буквами было написано: Макс Келада. Я передал ему письмо.

— От кого бы это? — Он вскрыл конверт. — О!

Из конверта он вынул не письмо, а стодолларовую бумажку. Мистер Келада взглянул на меня и покраснел. Изорвав конверт на мелкие клочки, он протянул их мне.

— Будьте добры, киньте это в иллюминатор.

Я исполнил просьбу и взглянул на него с улыбкой.

— Кому охота разыгрывать из себя шута горохового, — сказал он.

— Жемчуг оказался настоящим?

— Будь у меня хорошенькая жена, я не отпустил бы ее на год в Нью-Йорк, если сам остаюсь в Кобе, — сказал он.

В эту минуту мистер Келада мне почти нравился. Он потянулся за бумажником и бережно положил в него сто долларов.

ПАДЕНИЕ ЭДВАРДА БАРНАРДА

Бэйтмену Хантеру не спалось. Две недели, пока он плыл от Таити до Сан-Франциско, он обдумывал то, что ему предстояло рассказать, а потом три дня в поезде подыскивал для этого слова. До Чикаго уже остались считанные часы, а его все еще одолевали сомнения. Его совесть, и всегда очень чувствительная, была неспокойна. Он не был уверен, что сделал все возможное; а честь требовала сделать и невозможное. И его мучила мысль, что, когда оказались затронуты его собственные интересы, он позволил им одержать верх над рыцарскими чувствами. Уже совсем было приготовясь пожертвовать собой, он теперь испытывал настоящее разочарование. Он был подобен филантропу, который из самых бескорыстных побуждений строит образцовые жилища для бедняков и потом обнаруживает, что выгодно поместил свой капитал. Невольно радуется десяти процентам, вознаграждающим его за «хлеб, отпущенный по водам», но ощущает и некоторую неловкость, ибо уже не может полностью насладиться собственным благородством. Бэйтмен Хантер знал, что в сердце своем он чист, но не был уверен, сумеет ли, рассказывая все это Изабелле Лонгстаф, спокойно выдержать испытующий взгляд ее невозмутимых серых глаз. Глаза у нее пронизательные и умные. Она всех судит с высоты собственной непогрешимости, и нет ничего страшнее ледяного молчания, каким она встречает любой поступок, несогласный с требованиями ее суровой морали. Нечего и думать переубедить ее, она никогда не меняет своих мнений. Но Бэйтмен и не желал, чтобы она была иной. Он любил ее не только за то, что она красива — гибкая, стройная, с гордой посадкой головы, —

еще дороже ему была красота ее души. Правдивая, с непреклонным чувством чести, открыто и безбоязненно глядящая на жизнь, она казалась ему воплощением всего самого прекрасного, что свойственно его соотечественницам. Он видел в ней идеальную молодую американку, больше того, чувствовал, что ее совершенство в какой-то мере рождено ее окружением, и убежден был, что такая девушка могла появиться только в Чикаго. Ему было нестерпимо больно думать о том, какой удар он должен нанести ее гордости, и в сердце его вспыхивал гнев при одном воспоминании об Эдварде Барнарде.

Но вот наконец и Чикаго. Бэйтмен с радостью увидел знакомые длинные вереницы серых домов. Ему не терпелось поскорее очутиться на Уобаш-авеню, увидеть толпы на тротуарах, машины, снующие по мостовой, услышать привычный шум. Он дома. И он счастлив, что родился в самом замечательном городе Соединенных Штатов. Сан-Франциско — это провинция, Нью-Йорк уже изжил себя, будущее Америки — в развитии ее экономических возможностей, а Чикаго так удобно расположен и жители его исполнены такой энергии, что, конечно, ему суждено стать подлинной столицей страны.

«Пожалуй, я доживу до тех дней, когда Чикаго станет величайшим городом мира», — сказал себе Хантер, выходя из вагона.

Его встретил отец, и, обменявшись крепким рукопожатием, они зашагали по платформе, очень похожие друг на друга, высокие, худощавые, с суховатыми красивыми чертами лица и тонкими губами. Автомобиль мистера Хантера ждал их у вокзала. Мистер Хантер перехватил гордый счастливый взгляд, которым его сын оглядывал улицы.

— Рад, что вернулся? — спросил он.

— Еще бы! — ответил Бэйтмен.

Он пожирал глазами неугомонный город.

— Тут, пожалуй, движение немного оживленнее, чем на твоём острове, а? — засмеялся мистер Хантер. — Понравилось тебе там?

— Чикаго мне больше по вкусу, отец, — ответил Бэйтмен.

— Эдварда Барнарда ты не привез с собой?

— Нет.

— Как он там живет?

Бэйтмен помедлил, его красивое тонкое лицо омрачилось.

— Я бы не хотел о нем говорить, — сказал он наконец.

— Хорошо, мой друг, не надо. У твоей матери сегодня счастливый день.

Они миновали самые людные улицы и теперь ехали берегом озера к внушительному зданию, точной копии одного старинного замка на Луаре, которое мистер Хантер построил несколько лет назад. Едва Бэйтмен оказался один в своей комнате, он поднял телефонную трубку и назвал номер. Ответил знакомый голос, и сердце его забилося.

— Добрый день, Изабелла, — весело сказал он.

— Добрый день, Бэйтмен.

— Как это вы узнали мой голос?

— Я не так уж давно его слышала. И потом, я ждала вас.

— Когда можно вас увидеть?

— Если у вас нет ничего более интересного на сегодняшний вечер, приходите к нам обедать.

— Вы прекрасно знаете, что для меня не может быть ничего интереснее.

— Вам, наверно, есть о чем порассказать?

Ему почудилась в ее голосе нотка настороженности.

— Да, — ответил он.

— Хорошо, вечером вы мне все расскажете. До свидания.

Она положила трубку. Это так похоже на нее — ждать долгие часы, хотя можно было бы и раньше узнать о том, что так близко ее касается. В ее сдержанности Бэйтмен видел замечательную силу духа.

Обедали только вчетвером: Изабелла, ее родители и Бэйтмен. Он наблюдал, как она все время направляет разговор, не давая ему выйти за рамки легкой светской болтовни, и ему пришло в голову, что точно так же какая-нибудь маркиза, над которой уже нависла тень гильотины, болтала о всяких пустяках, не желая думать о неумолимом завтра. Тонкое лицо, аристократически короткая верхняя губка и пышные белокурые волосы тоже придавали ей сходство с маркизой, и, даже не будь это всем известно, вы угадали бы, что в ее жилах течет кровь лучших семей Чикаго. Столовая была подходящей оправой для ее хрупкой красоты, ибо по желанию Изабеллы этот дом — точь-в-точь один из дворцов на Большом канале в Венеции — был

обставлен знатоком англичанином в стиле Людовика XV; изящество обстановки, связанное для нас с именем этого любвеобильного монарха, оттеняло прелесть Изабеллы и в то же время казалось в ее присутствии не столь легкомысленным. Ведь Изабелла была очень начитанна, и беседа ее, хоть и светски легкая, никогда не была пустой. Сейчас она рассказывала о концерте, на котором была днем с матерью, о лекциях, которые читал в «Аудиториуме» заезжий английский поэт, о политических новостях, о картине старого мастера, которую отец недавно купил в Нью-Йорке за пятьдесят тысяч долларов. И, слушая ее, Бэйтмен отдыхал душою. Он снова в цивилизованном мире, в самом средоточии культуры, среди избранных мира сего, и голоса, которые помимо его воли тревожили его и не желали стихать, наконец-то умолкли.

— До чего приятно снова оказаться в Чикаго, — сказал он.

Когда обед кончился. Изабелла, выходя из столовой, сказала матери:

— Я уведу Бэйтмена к себе. Нам надо поговорить.

— Хорошо, дорогая, — сказала миссис Лонгстаф. — А потом приходите в «комнату мадам Дюбарри». Мы с папой будем там.

Изабелла и Бэйтмен отправились наверх, и она ввела его в гостиную, с которой у него было связано столько милых воспоминаний. Он так хорошо знал комнату и все же, как всегда, не мог удержать восторженного восклицания. Изабелла с улыбкой огляделась по сторонам.

— По-моему, очень удачно, — сказала она. — Главное, все, как должно быть. Даже пепельницы и те не нарушают стиля.

— Вот в этом-то вся прелесть. Здесь все в точности так, как должно быть, вы и тут верны себе.

Они сели перед камином, и Изабелла подняла на него спокойные серые глаза.

— Так что же вы мне хотели рассказать? — спросила она.

— Просто не знаю, как начать.

— Эдвард Барнард думает вернуться?

— Нет.

Оба замолчали надолго, и каждый немало передумал, прежде чем Бэйтмен заговорил снова. Перед ним была

трудная задача: ведь в его рассказе многое будет нестерпимо оскорбительно для ее чуткого слуха, и, однако, из уважения к ней, да и к самому себе, он должен рассказать всю правду.

Все это началось очень давно, когда они с Эдвардом Барнардом, еще студентами, встретили Изабеллу Лонгстаф на званом вечере — то был ее первый выезд в свет. Они знали ее, когда она была еще девочкой, а они голеенастыми подростками, но потом она на два года уехала в Европу, чтобы закончить свое образование, и вернулась совершенно очаровательной девушкой, с которой они рады были возобновить знакомство. Оба отчаянно влюбились в нее, но Бэйтмен скоро понял, что она замечает одного лишь Эдварда, и, как верный друг, обрек себя на роль наперсника. Он пережил немало горьких минут, но не мог не признать, что Эдвард достоин своего счастья, и, опасаясь, как бы что-нибудь не разрушило дружбу, которой он так дорожил, старался ни единым намеком не выдать своих чувств. Через полгода Изабелла и Эдвард обручились. Но они были слишком молоды, и отец Изабеллы решил, что им следует подождать со свадьбой, по крайней мере до тех пор, пока Эдвард не окончит университет. Им предстояло ждать еще год. Бэйтмен хорошо помнил ту зиму, в конце которой Изабелла и Эдвард должны были обвенчаться, зиму, заполненную танцами, театром, бесконечными развлечениями, и всюду неизменно он был с ними третьим. Она вскоре должна была стать женой его друга, но от этого он любил ее ничуть не меньше; ее улыбка, брошенная мимоходом шутка, ее доверчивая привязанность не переставали радовать его; и он не без самодовольства поздравлял себя с тем, что не завидует их счастью. А потом случилась беда. Один из крупных банков потерпел крах, на бирже разразилась паника, и отец Эдварда Барнарда потерял все, что имел. В тот вечер он вернулся домой, сказал жене, что разорен, а после обеда ушел к себе в кабинет и застрелился.

Неделю спустя Эдвард Барнард, измученный и осунувшийся, пришел к Изабелле и просил ее вернуть ему слово. Вместо ответа она обвила руками его шею и расплакалась.

— Мне ведь и так трудно, любимая, — сказал он.

— Неужели ты думаешь, что я могу с тобой расстаться? Я люблю тебя.

— Разве ты теперь можешь стать моей женой? Нет, это безнадежно. Твой отец никогда этого не допустит. У меня нет ни гроша.

— А мне все равно. Я люблю тебя.

Он посвятил ее в свои планы. Ему надо немедленно найти какой-то заработок, и Джордж Брауншмидт, старый друг их семьи, предложил ему место в своей торговой фирме. Он ведет дела в Южных морях, и у него есть конторы на многих островах Полинезии. Он предложил Эдварду на год-другой поехать на Таити, где под руководством одного из лучших управляющих он сумеет изучить все тонкости этого многообразного дела, а потом вернуться в Чикаго, где ему будет обеспечено приличное положение. Что может быть лучше? Когда Эдвард все это рассказал Изабелле, она просияла.

— Глупенький, зачем же ты понапрасну меня огорчал?

При этих словах лицо его осветилось радостью, глаза вспыхнули.

— Изабелла, неужели ты готова меня ждать?

— А по-твоему, ты этого не стоишь? — улыбнулась она.

— Нет, нет, не смейся надо мной сейчас. Умоляю тебя, будь серьезна. Ведь это может быть целых два года.

— Ну и пусть. Я люблю тебя, Эдвард. Когда ты вернешься, мы поженимся.

Джордж Брауншмидт не любил откладывать дело в долгий ящик, он сказал Эдварду, что, если тот согласен занять предложенное ему место, ему следует отплыть из Сан-Франциско не позднее чем через неделю. Последний вечер Эдвард провел с Изабеллой. После обеда мистер Лонгстаф сказал, что хочет побеседовать с Эдвардом, и увел его в курительную. Когда Изабелла рассказала отцу о своем решении, он отнесся к этому вполне благосклонно и теперь Эдвард просто не мог представить себе, о чем, собственно, будет разговор. Хозяин был явно смущен, и это озадачило Эдварда. Мистер Лонгстаф запинался. Говорил о каких-то пустяках. И наконец решился:

— Вы, надо полагать, слышали об Арнольде Джексо-не? — спросил он, нахмурившись.

Эдвард колебался. Врожденное прямодушие обязывало его признаться в том, о чем он куда охотнее умолчал бы.

— Да, слышал. Но очень давно. По правде говоря, я не придал этому особого значения.

— Мало кто в Чикаго не слыхал об Арнольде Джексо-не, — с горечью сказал мистер Лонгстаф. — А если такой и найдется, ему тут же с радостью выложат эту историю. Вам известно, что он брат миссис Лонгстаф?

— Да, я знаю.

— Мы, разумеется, уже долгие годы не поддерживаем с ним никаких отношений. Он уехал из Америки весьма скоропалительно, и, я думаю, Америка рассталась с ним без особого сожаления. Как мы слышали, он живет на Таити. Мой совет вам держаться от него подальше, но, если что-нибудь узнаете о нем, не считите за труд написать — мы с миссис Лонгстаф будем вам очень признательны.

— Непременно напишу.

— Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь вы, наверно, хотите присоединиться к дамам.

В редкой семье нет человека, самое имя которого все прочие члены этой семьи охотно забыли бы, если бы только им позволили их ближние, и хорошо еще, когда от этого человека их отделяет поколение или два и время уже успело окружить его грехи романтическим ореолом. Но если блудный сын жив и если он не просто любитель выпить или поволочиться, если его странности не из тех, которые можно извинить спасительной фразой «в конце концов, он этим вредит только себе самому», тогда остается одно — молчать. Так и поступали Лонгстафы в случае с Арнольдом Джексоном. Они никогда не заговаривали о нем. Они даже не ходили по той улице, на которой он когда-то жил. Как люди великодушные, они не могли допустить, чтобы жена и дети Арнольда Джексона страдали за его преступления, и долгие годы поддерживали их при условии, что те будут жить в Европе. Они всячески старались заставить общество забыть об Арнольде Джексоне и, однако, знали, что злополучная история так же свежа у всех в памяти, как в тот день, когда на удивление всему свету разразился громкий скандал. Арнольд Джексон был самой что ни на есть паршивой овцой. Богатый банкир, почтенный прихожанин, филантроп, человек, уважаемый всеми не только за происхождение (в его жилах текла кровь лучших семей Чикаго), но и за безупречную честность, он в один прекрасный день был арестован по обвинению в мошенничестве; и обман, вскрывшийся на суде, был не из тех, которые можно объяснить внезапным соблазном: он был преднамеренным и

длился не один год. Арнольд Джексон оказался отъявленным жуликом. Его присудили к семи годам исправительной тюрьмы, и, по общему мнению, он еще легко отделался.

На прощание Изабелла и Эдвард обменялись клятвами в верности. Изабелла заливалась слезами, и лишь мысль о страстной любви Эдварда несколько утешала ее. Странное у нее было чувство. Несмотря на боль разлуки, она была счастлива сознанием, что он боготворит ее.

С тех пор прошло больше двух лет.

Эдвард писал Изабелле с каждой почтой, она получила от него двадцать четыре письма, ибо почта оттуда отправлялась всего раз в месяц, и письма его были такие, какими и должны быть письма влюбленного. Задушевные и милые, порою с юмором — особенно в последнее время — и нежные. Сперва чувствовалось, что он тоскует по дому, мечтает вернуться в Чикаго, к Изабелле, и, слегка встревоженная, она умоляла его быть стойким. Она боялась, как бы он не упустил такой счастливый случай и не примчался домой. Ей хотелось, чтобы у ее любимого хватило выдержки, и она напредила ему слова поэта:

Я не любил бы так тебя,
Не будь мне честь дороже.

Но постепенно он, казалось, успокоился, и Изабелла радовалась, видя, с каким воодушевлением он старался расшевелить этот забытый богом уголок, ежечасно показывая, что такое американская деловая хватка. Но она знала Эдварда, и, когда первый год, минимальный срок его пребывания на Таити, подошел к концу, она приготавилась употребить все свое влияние, чтобы удержать его там. Пусть он до тонкостей изучит дело, ведь смогли же они ждать год, почему не подождать еще один. Она посоветовалась с Бэйтменом Хантером, великодушнейшим из друзей (что бы она делала без него первые дни после отъезда Эдварда!), и они решили, что будущее Эдварда превыше всего. Время шло, и она с облегчением убедилась, что он совсем не рвется домой.

— Он просто великолепен, правда? — воскликнула она однажды.

— Он молодец, — ответил Бэйтмен.

— Ему там трудно приходится, это можно прочесть между строк, но он все терпит, потому что...

Щеки ее чуть порозовели, и Бэйтмен с серьезной улыбкой, которая так красила его, закончил:

— Потому что он любит вас.

— Я его не стою, — смиренно сказала она.

— Вы удивительная, Изабелла, просто удивительная.

Но прошел еще год, по-прежнему Изабелла каждый месяц получала письма от Эдварда, и в конце концов ее стало удивлять, что он ни словом не упоминает о возвращении. Он писал так, словно навсегда обосновался на Таити и, больше того, очень этим доволен. Это ее озадачило. Она несколько раз перечитала все его письма, одно за другим, и, теперь в самом деле читая между строк, поразились перемене, которой прежде не замечала. Последние письма были так же нежны и милы, как и первые, но тон их стал иной. Еще прежде она со смутной подозрительностью относилась к юмору Эдварда и питала чисто женское недоверие к этому непонятному свойству, а теперь почувствовала в нем легкомыслие, которое ставило ее в тупик. Казалось, это пишет новый Эдвард, не тот, которого она знала прежде.

Однажды, на другой день после того, как пришла почта с Таити, она ехала в автомобиле с Бэйтменом, и он спросил:

— Эдвард написал вам, когда он отплывает?

— Нет. Я думала, он что-нибудь написал вам.

— Ни слова.

— Вы же знаете Эдварда, — засмеялась Изабелла. — У него нет чувства времени. Если придется к слову, спросите его в следующем письме, когда он думает приехать.

Она говорила так беззаботно, что лишь обостренная чуткость помогла Бэйтмену понять, как ей хочется, чтобы он это сделал.

— Конечно. Непременно спрошу. И о чем только он думает! — ответил он с улыбкой.

Через несколько дней, снова встретившись с Бэйтменом, Изабелла заметила, что он чем-то взволнован. С тех пор как Эдвард уехал, они часто бывали вместе: обоим он был дорог и, заговаривая о нем, каждый находил в другом благодарного слушателя. Не удивительно, что Изабелла читала в лице Бэйтмена, как в раскрытой книге. Что-то подсказало ей, что его тревога связана с Эдвардом, и она не отступилась, пока не заставила его признаться.

— Видите ли, — сказал он наконец, — до меня дошли слухи, будто Эдвард уже не работает в той фирме, и вчера мне представился случай спросить самого мистера Брауншмидта.

— И что же?

— Уже почти год, как Эдвард там больше не служит.

— Как странно, что он ничего не писал об этом!

Бэйтмен замаялся, но он зашел уже так далеко, что просто не мог не договорить до конца. Ему было мучительно неловко.

— Его уволили.

— Боже правый, за что?

— Они, кажется, предупреждали его, и не раз, и в конце концов предложили уйти. Говорят, он был нерадив и плохо знал дело.

— Эдвард?!

Наступило молчание, и вдруг Бэйтмен увидел, что Изабелла плачет. Он невольно схватил ее за руку.

— Дорогая, не надо, не надо, — взмолился он. — Я не могу видеть ваши слезы.

Самообладание настолько ей изменило, что она даже не отняла руки. Он пытался ее утешить:

— Непостижимо, правда? Это так не похоже на Эдварда. Нет, здесь, наверно, какое-то недоразумение.

Некоторое время она молчала, а когда заговорила, голос ее звучал неуверенно.

— Вам не кажется, что в его последних письмах есть что-то странное? — спросила она, отводя в сторону полные слез глаза.

Бэйтмен ответил не сразу.

— Я заметил в них перемену, — признался он наконец. — Мне кажется, Эдвард утратил ту вдумчивость и серьезность, которые меня так в нем восхищали. Можно подумать, что самые важные вещи... что они уже не важны для него.

Изабелла молчала. Смутно и тревожно было у нее на душе.

— Может быть, он ответит вам, когда думает вернуться. Нам остается только ждать этого ответа.

Снова оба они получили по письму от Эдварда, но и на этот раз он ни словом не обмолвился о возвращении; правда, когда он писал, он еще не мог получить последнего письма Бэйтмена. Ответа можно ждать лишь со следующей почтой. Пришла и она, и Бэйтмен принес Изабелле только что полученное письмо; но ей довольно было взглянуть на его лицо, чтобы понять, что он смущен и расстроен.

Изабелла внимательно прочла письмо от начала до конца, потом, слегка поджав губы, перечитала.

— Очень странное письмо, — сказала она. — Я не совсем понимаю.

— Можно подумать, что он смеется надо мной, — вспыхнув, сказал Бэйтмен.

— Да, в самом деле, но это, разумеется, не нарочно. Это так не похоже на Эдварда.

— И он ни слова не пишет о возвращении.

— Не будь я так уверена, что он меня любит, я бы подумала... Даже не знаю, что бы я подумала.

Вот тогда-то Бэйтмен и раскрыл перед нею план, который сложился у него за этот день. Фирма его отца, компаньоном которой он теперь стал, производила все виды автомобилей и как раз намеревалась открыть отделения в Гонолулу, Сиднее и Веллингтоне; и, вместо того чтобы послать туда управляющего, Бэйтмен надумал поехать сам. На обратном пути он остановится на Таити — едучи из Веллингтона, его все равно не минует, и тогда повидает Эдварда.

— Тут какая-то загадка, и я непременно ее разгадаю. Это единственный выход.

— Как вы добры, Бэйтмен! — воскликнула Изабелла. — Как великодушны!

— Вы же знаете, Изабелла, больше всего на свете я хочу, чтобы вы были счастливы.

Она посмотрела на него и протянула ему обе руки.

— Вы удивительный, Бэйтмен. Другого такого нет на свете. Как мне вас благодарить?

— Никак не благодарите. Только позвольте помочь вам.

Она опустила глаза и слегка покраснела. Она до того привыкла к нему, что уже забыла, как он хорош собой. Он был высокий, одного роста с Эдвардом, и тоже прекрасно сложен, но волосы у него были темные, а лицо не румяное, как у Эдварда, а матово-бледное. Она, конечно, знала, что он любит ее. Это было трогательно. Она питала к нему самые нежные чувства.

Вот из этого-то путешествия и вернулся теперь Бэйтмен Хантер.

Дела задержали его несколько дольше, чем он рассчитывал, и у него было вдоволь времени, чтобы поразмыслить о двух своих друзьях. Он пришел к выводу, что у Эдварда

не может быть никакой серьезной причины, которая помешала бы ему вернуться домой, разве что гордость не позволяет ему заявить права на обожаемую невесту, пока он не преуспел; но, если так, надо его урезонить. Изабелла несчастлива. Эдвард должен вместе с ним вернуться в Чикаго и обвенчаться с нею, не откладывая. На заводах автомобильной компании Хантера для него найдется подходящая должность. Сердце Бэйтмена обливалось кровью, но он ликовал, думая о том, как ценою собственного счастья устроит счастье двух самых дорогих ему людей. Он никогда не женится. Он будет крестным отцом их детям, и через много лет, когда Изабеллы и Эдварда уже не будет в живых, он расскажет их дочери, что в давние-давние времена любил ее мать. Бэйтмен рисовал себе эту сцену, и глаза его затуманивались слезами.

Он хотел захватить Эдварда врасплох и потому не телеграфировал о своем прибытии, а, сойдя с парохода, отправился прямо в «Отель де ля флёр», куда его взялся проводить какой-то юноша, назвавшийся сыном хозяина. Он посмеивался, представляя себе, как изумится его друг, когда в контору войдет столь неожиданный посетитель.

— Кстати, — спросил он дорогой, — не скажете ли мне, где можно найти мистера Эдварда Барнарда?

— Барнарда? — переспросил его спутник. — Я как будто слышал это имя.

— Он американец. Высокий, светло-каштановые волосы, голубые глаза. Он здесь уже третий год.

— Ну да. Теперь я знаю, кто вам нужен. Племянник мистера Джексона.

— Чей племянник?

— Мистера Арнольда Джексона.

— Нет, мы, видимо, говорим о разных людях, — холодно ответил Бэйтмен.

Он был испуган. Как странно, Арнольд Джексон, очевидно, известен здесь всем и каждому, и он даже не потрудился переменить свое опозоренное имя. Но кого же это он выдает за своего племянника? Миссис Лонгстаф — его единственная сестра, а братьев у него никогда не было. Проводник оказался очень словоохотливым, но говорил с каким-то странным акцентом, и, поглядев на него искоса, Бэйтмен заметил то, что раньше ускользнуло от него: в жилах этого юноши течет немало туземной крови. И невольно

Бэйтмен стал смотреть на него несколько свысока. Они вошли в гостиницу. Сняв номер, Бэйтмен попросил объяснить ему, где помещается контора фирмы «Брауншмидт». Оказалось, на берегу, у самой лагуны. И, с удовольствием ощущая после недельного плавания твердую почву под ногами, он неторопливо зашагал к берегу по залитой солнцем дороге. Отыскав нужный ему дом, Бэйтмен отослал управляющему свою визитную карточку, и через очень высокую, похожую на сарай комнату — не то лавку, не то склад — его провели в контору, где сидел полный лысый человек в очках.

— Вы не скажете, где я могу найти мистера Эдварда Барнарда? Насколько мне известно, он одно время служил здесь.

— Совершенно верно. Но где он теперь, не могу вам сказать.

— Ведь он как будто приехал сюда по рекомендации мистера Брауншмидта. Я хорошо знаком с мистером Брауншмидтом.

Толстяк внимательно и недоверчиво посмотрел на Бэйтмена.

— Послушай-ка, Генри, — окликнул он кого-то из служащих, — ты не знаешь, где теперь Барнард?

— По-моему, он служит у Кэмерона, — ответил тот, не дав себе труда показаться.

Толстяк кивнул.

— Выйдя от нас, поверните налево, в три минуты дойдете до Кэмерона.

Бэйтмен помедлил.

— Видите ли... Эдвард Барнард — мой лучший друг, я был просто поражен, когда узнал, что он ушел из фирмы «Брауншмидт».

Толстяк, прищурясь, колючими глазами посмотрел на Бэйтмена, и под этим пронизывающим взглядом ему стало так не по себе, что он даже покраснел.

— Очевидно, фирма «Брауншмидт» и Эдвард Барнард не нашли общего языка, — сказал управляющий.

Бэйтмену не очень нравился его тон, он с достоинством встал и, извинившись за беспокойство, распрощался. Он уходил со странным чувством, как будто человек, с которым он только что беседовал, мог бы многое рассказать ему, но говорить не желал.

Бэйтмен пошел в указанном направлении и вскоре очутился у Кэмерона. Это была самая обыкновенная лавка, по дороге сюда он миновал уже не одну такую; первый же человек, которого он увидел, был Эдвард: в рубашке с засученными рукавами он отмеривал какую-то дешевую материю. Бэйтмен даже вздрогнул от неожиданности, увидев его за этим малопочтенным занятием. Но едва он переступил порог, Эдвард поднял голову, заметил его и радостно вскрикнул:

— Бэйтмен! Какими судьбами!

Он перегнулся через прилавок и крепко пожал руку Бэйтмену. Казалось, он нимало не был смущен; неловко себя чувствовал один Бэйтмен.

— Я сейчас, только заверну покупку.

Он уверенно и ловко отрезал материю, сложил, завернул и вручил пакет темнокожему покупателю.

— Заплатите, пожалуйста, в кассу.

И, улыбаясь и весело блестя глазами, повернулся к Бэйтмену.

— Откуда ты взялся? Ух, до чего я рад тебя видеть. Садись, будь как дома.

— Не можем же мы разговаривать здесь. Пойдем ко мне в гостиницу. Надеюсь, тебе можно уйти? — опасливо добавил Бэйтмен.

— Ну конечно, можно. Не такие уж мы тут на Таити деловые люди. А-Лин, — окликнул он китайца, стоявшего за прилавком напротив, — когда вернется хозяин, скажите ему, что ко мне приехал из Америки друг и я пошел распить с ним бутылочку.

— Холосо, — широко улыбаясь, ответил китаец.

Эдвард накинул пиджак, надел шляпу и вместе с Бэйтменом вышел из лавки. Бэйтмен попытался взять шутливый тон.

— Вот уж не ожидал увидеть, как ты отмериваешь три с половиной ярда дрянного ситца какому-то грязному негру, — сказал он, смеясь.

— Да понимаешь, Брауншмидт выставил меня, и я решил, что с таким же успехом могу торговать ситцем.

Столь откровенное признание поразило Бэйтмена, но ему показалось неделикатным продолжать этот разговор.

— Надо полагать, в такой лавчонке ты не разбогатеешь, — сказал он сухо.

— Надо полагать. Но на хлеб мне хватает, а что еще человеку нужно?

— Два года назад ты бы на этом не успокоился.

— С годами умнеешь, — весело возразил Эдвард.

Бэйтмен посмотрел на него внимательнее. На Эдварде был поношенный, не первой свежести белый полотняный костюм и широкополая соломенная шляпа туземной работы. Он похудел, дочерна загорел и, кажется, стал еще красивее. И однако, что-то в нем встревожило Бэйтмена. У него появилась какая-то небрежность в походке; он был беспечен, весел без видимой причины — во всем этом как будто не было ничего предосудительного, и, однако, все это ставило Бэйтмена в тупик. «Черт побери, не могу понять, чему он радуется», — подумал Бэйтмен.

Они дошли до гостиницы и уселись на террасе. Слуга-китаец принес им коктейли. Эдварду не терпелось услышать все чикагские новости, и он засыпал друга вопросами. Это был неподдельный и вполне естественный интерес. Но, странное дело, ему как будто одинаково любопытно было услышать о тысяче самых разных вещей: о здоровье отца Бэйтмена он расспрашивал так же нетерпеливо, как и о том, что поделявает Изабелла. Он говорил о ней без тени смущения, словно она ему не нареченная, а сестра: и не успел еще Бэйтмен толком разобраться в этом, как беседу уже отнесло к его собственным занятиям и к новым заводским корпусам, которые недавно возвел его отец. Он твердо решил опять перевести разговор на Изабеллу и ждал только удобного случая, как вдруг Эдвард приветливо замахал рукой. Кто-то шел к ним по террасе, но Бэйтмен сидел спиной и не видел этого человека.

— Подсаживайтесь к нам, — весело пригласил Эдвард.

Незнакомец подошел ближе. Он был очень высок, худ, в белом полотняном костюме. Лицо тоже худое, длинное, крупный орлиный нос, красивый выразительный рот и густые белоснежные кудри.

— Это мой старый друг, Бэйтмен Хантер. Я вам о нем рассказывал, — сказал Эдвард, и на его губах снова заиграла улыбка.

— Рад познакомиться с вами, мистер Хантер. Я знал вашего отца.

Незнакомец крепко, дружески пожал руку Бэйтмена. И тогда лишь Эдвард назвал его:

— Мистер Арнольд Джексон.

Бэйтмен побелел и почувствовал, что у него похолодели пальцы. Это был тот самый мошенник, каторжник, это был дядя Изабеллы. Бэйтмен не находил слов. Он пытался скрыть свое смятение.

В глазах Арнольда Джексона вспыхнули веселые искорки.

— Я вижу, мое имя вам знакомо.

Бэйтмен не мог сказать ни да, ни нет, и это было тем более неловко, что и Джексона и Эдварда его растерянность, видимо, забавляла. Мало того, что ему навязали знакомство, которого он хотел бы избежать, над ним еще и потешаются. Быть может, однако, он сделал слишком поспешный вывод, ибо Джексон тотчас прибавил:

— Насколько мне известно, вы дружны с Лонгстафами. Мэри Лонгстаф — моя сестра.

«Неужели он воображает, что мне неизвестен самый громкий скандал в истории Чикаго?» — спросил себя Бэйтмен. Но тут Джексон положил руку на плечо Эдварду.

— Я тороплюсь, Тедди, — сказал он. — У меня дела. А вы приезжайте ко мне сегодня обедать.

— Вот и отлично, — ответил Эдвард.

— Вы очень любезны, мистер Джексон, — холодно сказал Бэйтмен, — но, видите ли, я здесь совсем ненадолго, мы отплываем завтра. Надеюсь, вы извините меня, если я не приеду.

— Никаких отговорок. Я накормлю вас настоящим таитянским обедом. Моя жена чудесно стряпает. Тедди вас привезет. Приезжайте пораньше, полюбуется закатом. Если захотите, я устрою вас обоих на ночь.

— Конечно, приедем, — сказал Эдвард. — Когда приходит пароход, в гостинице всю ночь адский шум, а у вас мы славно поболтаем.

— Я просто не могу отпустить вас, мистер Хантер: вы должны мне рассказать о Чикаго и о Мэри, — сердечнейшим тоном продолжал Джексон.

Он кивнул и отошел, прежде чем Бэйтмен успел вымолвить хоть слово.

— У нас на Таити отказываться не принято, — засмеялся Эдвард. — Да к тому же тебя нигде так вкусно не накормят.

— Почему он сказал, что его жена хорошо стряпает? Я слышал, она в Женеве.

— Далековато для жены, а? — заметил Эдвард. — И он давненько с нею не виделся. Я подозреваю, что он говорил о другой жене.

Бэйтмен ответил не сразу. Лицо у него стало серьезное. Но, подняв глаза, он поймал на себе смеющийся взгляд Эдварда и гневно вспыхнул.

— Арнольд Джексон — жулик и негодяй, — сказал он.

— Боюсь, что ты прав, — с улыбкой ответил Эдвард.

— Не понимаю, что может быть общего с ним у порядочного человека.

— Возможно, я не порядочный человек.

— Вы часто с ним видитесь?

— Да, очень. Он принял меня в племянники.

Бэйтмен подался вперед и впился глазами в Эдварда.

— Он тебе нравится?

— Очень.

— Но разве ты не знаешь, что он жулик, что его судили? Разве здесь этого не знают? Его надо изгнать из цивилизованного общества.

Кольцо дыма от сигары Эдварда поплыло в неподвижном благоуханном воздухе, и он проводил его взглядом.

— Я думаю, Джексон — самый первостатейный плут, — сказал он наконец. — И я не уверен, что его стоит оправдывать, хотя бы он и покался в своих грехах. Он был обманщик и лицемер. Этого не вычеркнешь. Но я не встречал собеседника приятней. Он научил меня всему, что я знаю.

— Чему это он тебя научил? — изумленно воскликнул Бэйтмен.

— Как жить.

Бэйтмен иронически рассмеялся.

— Хорош учитель, нечего сказать. Так вот почему ты упустил случай разбогатеть и теперь зарабатываешь на жизнь, стоя за прилавком в грошовой лавчонке?

— Он удивительный человек, — сказал Эдвард, добродушно улыбаясь. — Может быть, вечером ты и сам поймешь, что я хочу сказать.

— Я не собираюсь обедать у него, если ты это имеешь в виду. Никогда ты меня не уговоришь переступить порог его дома.

— Сделай это для меня, Бэйтмен. Мы столько лет были друзьями, ты не можешь мне отказать, ведь я прошу тебя.

В тоне Эдварда было что-то совсем незнакомое Бэйтмену. Он говорил мягко, но перед этой мягкостью трудно было устоять.

— Ну, если так, придется мне поехать, — сказал Бэйтмен с улыбкой.

И потом, рассудил он, совсем не вредно узнать Арнольда Джексона поближе. Ясно, что он забрал большую власть над Эдвардом, и, если предстоит бороться с ним, необходимо понять, в чем состоит эта власть. Чем больше он беседовал с Эдвардом, тем явственней понимал, как тот переменялся. Он чувствовал, что следует быть осторожнее, и решил не открывать истинной причины своего приезда, пока не нащупает верный путь. Он принялся болтать о том о сем, о своих успехах в делах за время поездки, о политических новостях в Чикаго, об общих знакомых, вспомнил те времена, когда они вместе учились.

Наконец Эдвард сказал, что ему пора возвращаться в лавку, и обещал заехать за Бэйтменом в пять часов, чтобы вместе отправиться к Арнольду Джексону.

— Между прочим, — сказал Бэйтмен, выходя вместе с Эдвардом из сада, — я думал, ты живешь в этой гостинице. Кажется, здесь это единственное приличное место.

— Ну нет, для меня тут слишком роскошно, — засмеялся Эдвард. — Я снимаю комнату за городом. Там дешево и чисто.

— Насколько я помню, в Чикаго для тебя было важно совсем другое.

— Чикаго!

— Что ты хочешь сказать, Эдвард? Чикаго — лучший город в мире.

— Верно, — сказал Эдвард.

Бэйтмен быстро взглянул на него, но лицо Эдварда было непроницаемо.

— Когда ты думаешь вернуться?

— Сам не знаю, — улыбнулся Эдвард.

Ответ Эдварда, его тон потрясли Бэйтмена, но, прежде чем он успел спросить, в чем дело, Эдвард помахал рукой проезжавшему в машине метису.

— Подвези-ка меня, Чарли, — сказал он.

Он кивнул Бэйтмену и побежал к машине, остановившейся в нескольких шагах от ворот гостиницы. Бэйтмен остался один разбираться в путанице впечатлений.

Эдвард заехал за ним в расхлябанной двуколке, в которую была запряжена старая кобыла, и они поехали берегом моря. По обе стороны дороги тянулись плантации кокосовых пальм и ванили, изредка попадалось на глаза огромное манговое дерево, в пышной зелени которого прятались желтые, алые, пурпурные плоды; порой за деревьями на миг открывалась синяя гладь лагуны, и на ней там и сям — крохотные островки, увенчанные высокими пальмами. Дом Арнольда Джексона стоял на пригорке, и к нему вела лишь узкая дорожка, поэтому они распрягли кобылу, привязали ее к дереву, а двуколку оставили на обочине. «Ну и порядки», — подумал Бэйтмен. У дома их встретила высокая, красивая, но уже немолодая туземка, которой Эдвард крепко пожал руку. Потом он представил ей Бэйтмена.

— Это мой друг, мистер Хантер. Мы будем у вас обедать, Лавиния.

— Очень хорошо, — сказала она, и лицо ее осветилось улыбкой. — Арнольд еще не воротился.

— Мы пока искупаемся. Дайте-ка нам с мистером Хантером парео.

Женщина кивнула и вошла в дом.

— Кто это? — спросил Бэйтмен.

— Да это Лавиния. Жена Арнольда.

Бэйтмен сжал губы, но ничего не сказал. Через минуту она вернулась со свертком, который и вручила Эдварду; крутой тропинкой мужчины спустились на берег в кокосовую рощу. Они разделись, и Эдвард показал другу, как превратить длинный красный лоскут, называемый парео, в аккуратные купальные трусики. Скоро они уже плескались в теплой неглубокой воде. Эдвард был превосходно настроен. Он смеялся, кричал, пел. Совсем как пятнадцатилетний мальчишка. Никогда прежде Бэйтмен не видел его таким веселым; а потом, когда они лежали на берегу и курили, пуская дым в прозрачный воздух, Бэйтмен только диву давался, глядя на беззаботного, ликующего Эдварда.

— Ты, я вижу, доволен жизнью, — сказал Бэйтмен.

— Вполне.

Они услышали какой-то шорох и, оглянувшись, увидели идущего к ним Арнольда Джексона.

— А я за вами, — сказал он. — Понравилось вам купание, мистер Хантер?

— Очень, — ответил Бэйтмен.

Арнольд Джексон уже успел снять свой щеголеватый костюм, теперь на нем было только парео. Он был босиком, все тело покрыто темным загаром. Его белоснежные кудри и лицо аскета странно не вязались с этим туземным нарядом, но держался он уверенно и свободно.

— Если вы готовы, пойдете в дом, — сказал он.

— Сейчас я оденусь, — сказал Бэйтмен.

— Да разве вы не захватили для своего друга парео, Тедди?

— Он, наверно, предпочтет свой костюм, — улыбнулся Эдвард.

— Ну разумеется, — мрачно отозвался Бэйтмен, видя, что Эдвард опоясался набедренной повязкой и уже готов идти, а сам он еще и рубашку не надел.

— А ногам не больно босиком? — спросил он. — Мне показалось, дорога каменистая.

— Ну, я привык.

— Приятно переодеться в парео, когда возвращаешься из города, — сказал Джексон. — Если бы вы собирались остаться на Таити, я бы очень советовал вам позаимствовать эту привычку. Я, пожалуй, не видывал одежды разумней. Прохладно, удобно и недорого.

Они поднялись к дому, и Джексон ввел их в просторную комнату с выбеленными стенами; там стоял накрытый к обеду стол, Бэйтмен заметил, что на нем пять приборов.

— Ева, — позвал Джексон, — выйди, покажись другу Тедди и приготовь нам коктейли.

Потом он подвел Бэйтмена к широкому низкому окну.

— Смотрите, — сказал он и торжественно повел рукой. — Смотрите хорошенько.

Кокосовые пальмы беспорядочной толпой спускались по крутому склону к лагуне, и в вечернем свете она вся переливалась нежными красками, точно грудь голубки. Неподалеку на берегу ручья теснились туземные хижины, а у рифа четко вырисовывался силуэт челна и в нем — два рыбака. Дальше открывался беспредельный простор Тихого океана, и в двадцати милях, воздушный, бесплотный, точно сотканный воображением поэта, виднелся несказанной прелести остров Мурее. Красота была такая, что у Бэйтмена дух захватило.

— В жизни не видел ничего подобного, — вымолвил он наконец.

Арнольд Джексон не отрываясь смотрел на раскинувшуюся перед ним картину, и взгляд у него был мечтательный и мягкий. Тонкое, задумчивое лицо его было сосредоточенно и строго, и, взглянув на него, Бэйтмен вновь поразился его необычайной одухотворенности.

— Истинная красота, — прошептал Арнольд Джексон. — Не часто случается видеть ее лицом к лицу. Всмотритесь в нее, мистер Хантер, такого вы уже никогда больше не увидите, ибо мгновение преходяще, но память о нем всегда будет жить в вашем сердце. Вы коснулись вечности.

Голос его был глубок и звучен. Казалось, ему ведомы одни лишь возвышенные мысли и чувства, и Бэйтмен не без труда напомнил себе, что человек, говорящий это, — преступник и злостный обманщик. Но тут Эдвард, словно услышав что-то, быстро обернулся.

— Моя дочь, мистер Хантер.

Бэйтмен пожал ей руку. У нее были великолепные темные глаза и смеющийся алый рот, но кожа смуглая и вьющиеся волосы, рассыпанные по плечам, угольно-черные. Весь наряд — один только розовый ситцевый балахон, ноги босы, а на голове венок из белых душистых цветов. Прелестное создание. Словно богиня полинезийской весны.

Она слегка смутилась, но не больше Бэйтмена, который с самого начала чувствовал себя здесь крайне неловко и пришел в еще большее замешательство, увидев, как эта маленькая сильфида опытной рукой смешала три коктейля.

— Сделай-ка нам покрепче, девочка, — сказал Джексон.

Она разлила коктейли по бокалам и с очаровательной улыбкой подала их мужчинам. Бэйтмен лыстил себя надеждой, что он в совершенстве владеет тонким искусством смешивать коктейли, и не на шутку удивился, когда оказалось, что этот коктейль превосходен. Джексон заметил невольное восхищение на лице гостя и горделиво рассмеялся.

— Недурно, а? Я сам обучал девочку, а ведь в былые времена в Чикаго я любому бармену мог дать сто очков вперед. В тюрьме от нечего делать я развлекался тем, что придумывал новые коктейли, но, если уж говорить всерьез, нет ничего лучше сухого martini.

Бэйтмен вздрогнул точно от удара, кровь прилила к его щекам и тотчас вновь отхлынула. Он не находил слов, но тут в комнату вошел туземец с огромной суповой миской,

и все сели за стол. Вскользь брошенное замечание о коктейле, как видно, пробудило в Арнольде Джексоне цепь воспоминаний, и он стал рассказывать о днях, проведенных в тюрьме. Говорил легко, свободно и беззлобно, словно прошел курс наук где-то в чужой стране и теперь делился впечатлениями. Обращался он к Бэйтмену, и Бэйтмен поначалу смутился, а потом и вовсе не знал, куда деваться. Он видел, что Эдвард не сводит с него глаз и глаза эти искрятся лукавством. Он багрово покраснел, решив, что Джексон потешается над ним, вдруг почувствовал себя дураком, хотя для этого, конечно, не было никаких оснований, и обозлился. Ну и бесстыдство, другого слова не подберешь! И цинизм этого Арнольда Джексона — все равно, подлинный он или напускной, — просто возмутителен. Обед шел своим чередом. Чем только не потчевали Бэйтмена: и сырой рыбой, и еще какими-то непонятными кушаньями — он пробовал их из одной только вежливости, но, к величайшему своему удивлению, убеждался, что они очень даже вкусны. А потом случилось самое убийственное для Бэйтмена происшествие за весь этот вечер. Перед его прибором лежал небольшой венок, и, желая поддержать разговор, он что-то сказал о красоте цветов.

— Ева сплела его для вас, — сказал Джексон, — да, видно, постеснялась отдать.

Бэйтмен взял венок в руки и вежливо поблагодарил девушку.

— Вы должны его надеть, — сказала она с улыбкой и покраснела.

— Я? Ну что вы!

— Это очень милый таитянский обычай, — сказал Арнольд Джексон.

Перед его прибором тоже лежал венок, и он возложил его себе на голову. Эдвард последовал его примеру.

— Боюсь, мой костюм не подходит к случаю, — поежился Бэйтмен.

— Хотите парео? — с живостью спросила Ева. — Я мигом принесу.

— Нет, весьма признателен. Мне и так удобно.

— Покажи ему, как надевают венок, Ева, — сказал Эдвард.

В эту минуту Бэйтмен ненавидел своего лучшего друга. Ева встала из-за стола и с веселым смехом возложила венок на его черные волосы.

— Он вам очень к лицу, — сказала миссис Джексон. — Правда, Арнольд?

— Ну конечно.

Бэйтмена даже пот прошиб.

— Какая жалость, что уже темно, — сказала Ева, — а то бы мы вас троих сфотографировали.

Бэйтмен возблагодарил свою счастливую звезду. Конечно, вид у него дурацкий: синий костюм, стоячий воротничок, все строго, аккуратно, как подобает джентльмену, и вдруг на голове этот нелепый венок. Он негодовал, никогда еще ему не стоило такого труда сохранять хотя бы видимость любезности. Его бесил этот старик во главе стола, полуголый, с лицом святого и с живыми цветами на красивых белых кудрях. Просто чудовищно.

Но вот обед кончился. Ева с матерью остались убирать со стола, а мужчины вышли на веранду. Было очень тепло и воздух напоен ароматом белых ночных цветов. Полная луна сияла в безоблачном небе, и лунная дорожка протянулась по широкой глади океана, уводя в беспредельные просторы Вечности. Арнольд Джексон нарушил молчание. Своим звучным, мелодичным голосом он заговорил о туземцах, о древних легендах Таити. То были диковинные рассказы о былых временах, об опасных путешествиях в неведомые края, о любви и смерти, о ненависти и мщении. Рассказы об искателях приключений, открывших эти затерянные в океане острова, о мореплавателях, которые селились здесь и брали в жены дочерей славных вождей таитянских племен, о пестрой жизни бродяг и авантюристов, промышляющих на этом серебристом побережье. Бэйтмен, возмущенный до глубины души, поначалу слушал Джексона угрюмо, но вскоре какое-то колдовство, таившееся в этих рассказах, завладело им, и он сидел точно замороженный. Романтический мираж заслонил от него трезвый свет будней. Уж не забыл ли он, что Арнольд Джексон красноречив, как змий, что своим красноречием он выманивал миллионы у доверчивых людей, что это красноречие едва не помогло ему ускользнуть от кары за его преступления? Не было на свете человека сладкоречивей, и никто на свете не умел так вовремя остановиться. Неожиданно Джексон поднялся.

— Ну, мальчики, вы давно не виделись. Я ухожу, вам надо поболтать. Когда захотите лечь, Тедди покажет вам, где постель.

— Но я вовсе не собирался оставаться у вас ночевать, мистер Джексон, — сказал Бэйтмен.

— Это куда удобнее. Мы позаботимся, чтобы вас вовремя разбудили.

И, любезно пожав руку гостю, Арнольд Джексон откланялся, величавый, точно епископ в полном облачении.

— Разумеется, если хочешь, я отвезу тебя в Папезте, — сказал Эдвард, — но лучше оставайся. Проехать берегом на заре — истинное наслаждение.

Несколько минут оба молчали. Бэйтмен не знал, как приступить к разговору, который после всех событий дня стал казаться ему еще важнее.

— Когда ты возвращаешься в Чикаго? — неожиданно спросил он.

Минуту Эдвард молчал. Потом лениво через плечо посмотрел на друга и улыбнулся:

— Не знаю. Пожалуй, что никогда.

— То есть как? Что ты говоришь? — воскликнул Бэйтмен.

— Мне здесь хорошо. А от добра добра не ищут, правда?

— Боже милостивый, но не можешь же ты весь свой век здесь просидеть. Да разве это жизнь? Это значит похоронить себя заживо. Уедем, Эдвард, уедем сейчас же, пока еще не поздно. Я так и знал, что с тобой что-то неладно. Ты влюбился в этот остров, подпал под дурное влияние, но стоит тебе вырваться отсюда — и ты возблаговаришь судьбу. Ты будешь чувствовать себя как наркоман, который наконец излечился от своей страсти. И тогда ты поймешь, что два года дышал отравленным воздухом. Ты даже не представляешь себе, какое это будет облегчение — вновь полной грудью вдохнуть свежий и чистый воздух родины.

Бэйтмен говорил торопливо, сбивчиво, и в голосе его звучали искреннее волнение и нежность. Эдвард был тронут.

— Спасибо тебе, дружище.

— Едем завтра, Эдвард. Тебе вообще не следовало приезжать сюда, это была ошибка. Здешняя жизнь не для тебя.

— Ты вот говоришь: такая жизнь, этакая. А по-твоему, как надо жить?

— Да тут не может быть двух мнений. Надо исполнять свой долг, упорно трудиться, выполнять все обязательства, которые накладывает на тебя твое положение в обществе.

— И в чем награда?

— Награда в сознании, что ты достиг всего, к чему стремился.

— Очень уж возвышенно для меня, — сказал Эдвард, и в ночной полутьме Бэйтмен разглядел, что он улыбается. — Боюсь, ты сочтешь, что я безнадежно опустил. У меня сейчас есть кое-какие мысли, которые три года назад, вероятно показались бы мне возмутительными.

— Тебе внушил их Арнольд Джексон? — с презрением спросил Бэйтмен.

— Он не нравится тебе? Пожалуй, это естественно. Сперва он и мне не нравился. Я страдал теми же предрассудками, что и ты. Джексон — необыкновенный человек. Ты сам видел, он не делает секрета из своего пребывания в тюрьме. Не думаю, чтобы он сожалел об этом или о преступлениях, которые привели его туда. Я слышал от него одну-единственную жалобу — что в тюрьме он подорвал свое здоровье. По-моему, он просто не знает, что такое угрызения совести. Нравственных критериев для него не существует. Он примет все на свете, в том числе и себя самого. Он великодушен и добр.

— И всегда был таким, — перебил Бэйтмен, — за чужой счет.

— Я обрел в нем хорошего друга. Разве это противостоит, что я принимаю человека таким, каким я его знаю?

— И в конце концов теряешь всякое представление о том, что хорошо и что дурно.

— Нет, добро и зло я и теперь прекрасно различаю, но вот чего я уже не могу понять с прежней ясностью, так это разницы между плохим человеком и хорошим. Кто такой Арнольд Джексон — плохой человек, совершающий добрые поступки, или хороший человек, совершающий дурные поступки? На это нелегко ответить. Может быть, на самом деле вовсе и нет такой уж разницы между людьми. Может быть, даже лучшие из нас — грешники, и худшие из нас — святые. Кто знает?

— Ты никогда не убедишь меня, что белое есть черное, а черное есть белое.

— Ну конечно, нет, Бэйтмен.

Бэйтмен так и не понял, почему по губам Эдварда скользнула улыбка, — ведь он же согласился с ним.

— Когда я увидел тебя сегодня утром, — заговорил Эдвард после короткого молчания, — мне показалось, я увидел себя самого, каким я был два года назад. Тот же воротничок, те же туфли, тот же синий костюм, та же энергия. Та же решительность. Господи, до чего же я был энергичен! У меня руки чесались, когда я смотрел на это сонное царство. Куда ни пойдешь, всюду открывалось широкое поле деятельности для предприимчивого человека. Тут можно было нажить не одно состояние. Что за нелепость, думал я, увозить копру в Америку и лишь там выжимать из нее масло. Куда выгодней делать все на месте, где есть дешевая рабочая сила, и не тратить денег на перевозки, и я уже видел, как на острове возникают огромные фабрики. Потом мне показался безнадежно устаревшим самый способ выжимания масла, и я изобрел машину, которая разрезала кокосовый орех и выскабливала мякоть из скорлупы со скоростью двухсот сорока штук в час. Гавань была тесновата. Я строил планы, как расширить ее, потом образовать синдикат и купить землю, построить две-три большие гостиницы и несколько бунгало для людей, приезжающих надолго; я придумал, как наладить пароходное сообщение, чтобы привлечь сюда туристов из Калифорнии. Я уже видел, как через двадцать лет на месте этого полуфранцузского ленивого городишка Папезте вырастет большой американский город с десятиэтажными домами и трамваями, театрами, биржей и мэром.

— Так действуй же, Эдвард, действуй! — воскликнул Бэйтмен, в волнении вскакивая со стула. — У тебя есть идеи и есть способности. Ведь ты станешь самым богатым человеком на всем Тихом океане!

Эдвард тихонько засмеялся.

— А мне это вовсе не нужно.

— Неужели ты хочешь сказать, что тебе не нужны деньги, огромные деньги, миллионы? А ты знаешь, что можно сделать с такими деньгами? Знаешь, какую силу они дают? И если тебе самому все равно, подумай, ты ведь можешь открыть новые области для применения человеческой энергии, можешь дать работу тысячам людей. Твои слова вызывают в воображении такие картины, что у меня голова кружится.

— Тогда лучше сядь, дорогой мой Бэйтмен, — рассмеялся Эдвард. — Моя машина для резки кокосов так и

останется на бумаге, и, если это будет зависеть от меня, трамвай никогда не потревожит сонных улиц Папезте.

Бэйтмен тяжело опустился на стул.

— Не понимаю я тебя, — сказал он.

— Это пришло ко мне не сразу. Мало-помалу я полюбил здешнюю жизнь, ее непринужденность, ее досуг, полюбил здешних людей, их добродушие, их беззаботные улыбки. Я стал думать. Прежде у меня на это никогда не хватало времени. Я стал читать.

— Ты всегда читал.

— Я читал, чтобы сдать экзамены. Читал, чтобы суметь поддержать разговор. Читал в поисках нужных мне сведений. Здесь я научился читать удовольствия ради. Я научился разговаривать. Известно тебе, что беседа — одно из величайших удовольствий в жизни? Но для этого нужен досуг. Прежде я всегда был слишком занят. И понемногу все, что казалось мне таким важным, значительным, стало казаться довольно-таки мелким и пошлым. Что толку в этой вечной суете, в постоянном напряжении? Вот я вспоминаю Чикаго и вижу мрачный, серый город, сплошной камень — точно тюрьма — и непрестанную суматоху. А к чему все эти усилия? Так ли надо жить? Для того ли мы родились на свет, чтобы спешить на службу, работать час за часом весь день напролет, потом спешить домой, обедать, ехать в театр? Так ли я должен проводить свою молодость? Ведь молодость коротка, Бэйтмен. А когда состаришься, чего тогда ждать? Утром спешить из дому на службу и работать час за часом весь день напролет, а потом снова спешить домой, обедать, ехать в театр? Если сколачивать состояние, быть может, оно того и стоит, — не знаю, это зависит от характера; ну а если ты не стремишься к богатству, тогда чего ради? Я большего хочу от жизни, Бэйтмен.

— Что же тогда ты ценишь в жизни?

— Боюсь, ты станешь смеяться надо мной. Красоту, правду и доброту.

— Неужели ты думаешь, что не найдешь всего этого в Чикаго?

— Некоторые, может быть, и найдут, а я — нет. — Эдвард порывисто поднялся. — Говорю тебе: когда я думаю, что за жизнь я вел в прежние времена, меня охватывает ужас, — с силой воскликнул он. — Меня дрожь пробирает, когда я думаю, какой опасности я избежал. Я и не знал,

что у меня есть душа, пока не приехал сюда. Останься я богатым человеком, я потерял бы ее безвозвратно.

— Как ты можешь говорить такие вещи? — с негодованием крикнул Бэйтмен. — Мы часто спорили об этом.

— Да, знаю. С таким же успехом глухонемые могут спорить о музыке. Я никогда не вернусь в Чикаго, Бэйтмен.

— А как же Изабелла?

Эдвард подошел к краю веранды и, облокотившись на перила, заглянул в колдовскую синеву ночи. Когда он обернулся, Бэйтмен увидел на его лице улыбку.

— Изабелла чересчур хороша для меня. Ни одной женщиной я не восхищался так, как ею. У нее великолепная голова, и она так же добра, как и красива. Я уважаю ее энергию и ее честлюбие. Она рождена для успеха. Я ее совершенно не стою.

— Она думает иначе.

— Но ты должен ей это объяснить, Бэйтмен.

— Я? — воскликнул Бэйтмен. — Кто угодно, только не я.

Эдвард стоял спиной к ярко сияющей луне, и лица его нельзя было разглядеть. Неужели он опять улыбается?

— Даже и не думай что-либо скрыть от нее, Бэйтмен. Она ведь так умна, она в два счета все у тебя выпытает. Лучше уж сразу расскажи все начистоту.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, я расскажу, что виделся с тобой. — В голосе его звучало волнение. — Честное слово, просто не знаю, что ей сказать.

— Скажи, что я ничего не добился. Скажи, что я не только беден, но и доволен этим. Скажи, что меня прогнали со службы за лень и нерадивость. Скажи обо всем, что ты видел сегодня вечером, и обо всем, что я сказал тебе.

Неожиданная мысль осенила Бэйтмена, он вскочил и не владея собою, в смятении посмотрел на Эдварда.

— Боже милостивый, ты что, не хочешь на ней жениться?

Эдвард серьезно взглянул на него.

— Я не могу просить ее вернуть мне слово. Если она пожелает, чтобы я сдержал его, я сделаю все, что в моих силах, чтоб быть ей хорошим, любящим мужем.

— И ты хочешь, чтобы я передал ей это, Эдвард? Нет, я не могу. Это ужасно. Никогда ей не приходило в голову, что ты не хочешь на ней жениться. Она любит тебя. Да разве могу я причинить ей такую боль?

Опять Эдвард улыбнулся.

— Почему бы тебе самому не жениться на ней, Бэйтмен? Ты любишь ее с незапамятных времен. Вы прекрасная пара. С тобой она будет совершенно счастлива.

— Не говори так. Я не могу этого вынести.

— Я отказываюсь в твою пользу, Бэйтмен. Ты лучше меня.

Было что-то в тоне Эдварда, что заставило Бэйтмена быстро вскинуть на него глаза, но Эдвард смотрел серьезно, без улыбки. Бэйтмен не знал, что сказать. Смущение овладело им. Не подозревает ли Эдвард, что он приехал на Таити по ее поручению? И как это ни было ужасно, он не мог совладать с собой, сердце его ликовало.

— Что ты сделаешь, если Изабелла напишет тебе и разошлет вашу помолвку? — медленно произнес он.

— Как-нибудь переживу.

Бэйтмен был так взволнован, что не услышал ответа.

— Хоть бы уж ты был одет по-человечески, — с досадой сказал он. — Ведь тут решается судьба. Из-за этого твоего нелепого костюма все выглядит таким ужасно несолидным.

— Уверяю тебя, что в парео и в венке из роз я могу быть столь же серьезен, как в цилиндре и смокинге.

Тут новая мысль поразила Бэйтмена.

— Эдвард, а ты делаешь это не ради меня? Я не знаю, но, может быть, от этого вся моя жизнь пойдет по-другому. Ты не жертвуешь собой ради меня? На это, знаешь, я согласиться не могу.

— Нет, Бэйтмен. Здесь я отучился от глупостей и сантиментов. Я очень хочу счастья и тебе и Изабелле, но и сам вовсе не желаю быть несчастным.

Его ответ несколько охладил Бэйтмена. Это отдавало цинизмом. А Бэйтмен был не прочь сыграть роль благородного героя.

— Неужели ты собираешься прозябать здесь всю жизнь? Да это же настоящее самоубийство. Когда я вспоминаю твои смелые мечты после окончания колледжа, я просто поверить не могу, что ты способен удовольствоваться местом продавца в жалкой лавчонке.

— Ну, это только на время, и я набираюсь здесь неоценимого опыта. У меня другие планы. Арнольду Джексону принадлежит островок в архипелаге Паумоту, около тысячи миль отсюда — лагуна, окруженная полоской суши. Он там насадил кокосовые пальмы. Он хочет отдать его мне.

— Почему это? — спросил Бэйтмен.

— Потому что, если Изабелла вернет мне слово, я женюсь на его дочери.

— Ты? — Бэйтмен был как громом поражен. — Жениться на полукровке? Невозможно. Ты не дойдешь до такого безумия.

— Она славная девушка, добрая и ласковая. Я думаю, что буду счастлив с ней.

— Ты в нее влюблен?

— Не знаю, — раздумчиво ответил Эдвард. — Не так влюблен, как был влюблен в Изабеллу. Изабеллу я боготворил. Мне казалось, лучше ее нет никого на свете. Я не стоил ее мизинца. С Евой — не то. Она словно прекрасный экзотический цветок, который нужно укрывать от злого ветра. Я хочу защищать ее. Никому и в голову не придет, что Изабелла нуждается в защите. По-моему, Ева любит меня таким, какой я есть, а не таким, каким я могу стать. Что бы ни случилось со мною, она никогда во мне не разочаруется. Самая подходящая для меня жена.

Бэйтмен молчал.

— Завтра нам рано подниматься, — сказал наконец Эдвард. — Пора спать.

Тогда заговорил Бэйтмен, и в голосе его слышалось непритворное страдание.

— Я так ошеломлен, прямо не знаю, что и сказать. Я приехал сюда, потому что заподозрил неладное. Я думал, тебе здесь не повезло и ты стыдишься вернуться, не добившись успеха. Но ничего подобного я не ждал. Я просто в отчаянии, Эдвард. Для меня это такое разочарование. Я надеялся, что ты многого достигнешь. Невыносимо думать, что ты так бессмысленно губишь свои таланты, свою молодость, свое будущее.

— Не горюй, дружище, — сказал Эдвард. — Я не потерпел поражения. Я преуспел. Ты и не представляешь себе, с какой жадностью я смотрю в будущее, каким богатым и полным смысла оно мне кажется. Когда ты женишься на Изабелле, ты будешь изредка вспоминать обо мне. Я построю себе дом на своем коралловом островке и стану там жить и выращивать пальмы, и очищать кокосы от скорлупы, как их очищали спокон веку, и возделывать свой сад, и удить рыбу. У меня будет как раз столько дела, чтобы не

скучать, но и не тупеть от работы. У меня будут книги, и Ева, и дети, я надеюсь, и главное — бесконечная изменчивость моря и неба, и свежесть рассвета, и прелесть закатов, и щедрое великолепие ночи. Где еще совсем недавно была пустыня, я насажу сад. Я что-то создам. Незаметно пройдут годы, и, когда я состарюсь, верю, позади у меня останется счастливая, простая, мирная жизнь. Скромно, на свой лад, и я проживу не чуждый красоты. Ты думаешь, это такая малость, когда доволен каждым своим днем? Ведь известно, что не будет пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. А я обрел душу.

Эдвард провел Бэйтмена в комнату, где стояли две кровати, и сам бросился на одну из них. Прошло десять минут, и по его ровному, спокойному, как у ребенка, дыханию Бэйтмен понял, что он уснул. Но сам он еще долго не мог сомкнуть глаз, ум его был в смятении, и он забылся сном, лишь когда в комнату неслышно, точно призрак, прокрался рассвет.

Бэйтмен окончил свой долгий рассказ. Он ничего не утаил от Изабеллы, кроме того, что, как ему казалось, могло бы оскорбить ее или выставить его самого в смешном свете. Он не рассказал ей, как его заставили обедать в венке из живых цветов, не рассказал и о том, что, как только она вернет Эдварду слово, он женится на дочери ее дяди и какой-то туземки. Но, видно, чутье у Изабеллы было тоньше, чем он думал, ибо, по мере того как он рассказывал, взгляд ее становился все холодней и губы смыкались все крепче. Время от времени она пытливо взглядывала на него, и, не будь он так поглощен своим рассказом, он поразился бы выражению ее лица.

— Какая она, эта девушка, дочь дяди Арнольда? — спросила Изабелла, когда Бэйтмен кончил. — Как по-вашему, есть между нами какое-нибудь сходство?

Вопрос удивил Бэйтмена.

— Я не думал об этом. Вы же знаете, кроме вас, я никого не замечаю, и мне никогда не приходило в голову, что кто-то может походить на вас. Кто может сравниться с вами?

— Она хорошенькая? — спросила Изабелла, улыбнувшись в ответ на его слова.

— Пожалуй. Некоторые даже называли бы ее красавицей.

— Ну, это неважно. Я думаю, нам больше незачем говорить о ней.

— Что вы собираетесь делать. Изабелла?

Изабелла посмотрела на свою руку, на кольцо, которое Эдвард надел ей в час обручения.

— Когда я не позволила Эдварду расторгнуть нашу помолвку, я думала, это побудит его добиваться успеха. Я хотела вдохновлять его. Я думала, если что-нибудь может заставить его добиться успеха, так это мысль, что я его люблю. Я сделала все, что могла. Это безнадежно. Было бы только слабостью с моей стороны не смотреть правде в глаза. Бедный Эдвард, в конце концов он вредит только себе самому. Он был очень милый и славный, но чего-то в нем не хватало, я думаю — твердости. Надеюсь, он будет счастлив.

Она сняла с пальца кольцо и положила его на стол. Бэйтмен не спускал с нее глаз, и сердце его так билось, что дух захватывало.

— Вы изумительная, Изабелла, вы просто изумительная.

Она улыбнулась, встала и протянула ему руку.

— Как мне вас отблагодарить за все, что вы для меня сделали? — сказала она. — Вы оказали мне неоценимую услугу. Я знала, что могу на вас положиться.

Он взял ее руку и долго не выпускал. Никогда еще она не была так хороша.

— Я на все готов для вас, Изабелла. Вы ведь знаете, я прошу только об одном, позвольте мне любить вас и служить вам.

— Вы такой сильный, Бэйтмен, — вздохнула она. —

С вами испытываешь восхитительное чувство уверенности.

— Изабелла, я боготворю вас.

Он сам не знал, как на него нашло вдохновение, но вдруг он схватил ее в объятия, и она, даже не подумав отстраниться, улыбнулась ему.

— Изабелла, — пылко воскликнул он, — вы же знаете, с того самого дня, как я впервые вас увидел, я хотел, чтобы вы стали моей женой!

— Так что же вы молчали? — спросила она.

Она любит его. Он едва верил своему счастью. Она протянула ему для поцелуя свои прелестные губки. И, держа ее в объятиях, он видел, как разрастается и приобретает все больший вес «Автомобильная компания Хантера», видел

миллионы машин, которые она будет выпускать, видел огромную коллекцию картин, которая затмит любую нью-йоркскую коллекцию. И он станет носить роговые очки. А Изабелла, вся во власти его восхитительных сильных рук, счастливо вздохнула, ибо думала о доме, который она оставит самой изысканной старинной мебелью, и о концертах, которые они будут устраивать, и о *thés dansants*¹, и обедах, на которые станет приглашать лишь самое избранное общество. И Бэйтмену так подойдут роговые очки.

— Бедный Эдвард. — вздохнула она.

¹ Танцевальные вечера (*фр.*).

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ

Впервые я обратил на него внимание именно из-за этого шрама, широкого и красного, который большим полумесяцем пересекал его лицо от виска до подбородка. Очевидно, это был след страшной раны, то ли от удара саблей, то ли от осколка снаряда. Во всяком случае, этот шрам выглядел странно на его круглом, добродушном лице с мелкими, неприметными чертами и простоватым выражением. Да и само лицо как-то не вязалось с таким огромным телом. Это был могучий человек, выше среднего роста. На нем всегда был один и тот же поношенный серый костюм, рубашка цвета хаки и мягкое сомбреро. Вид у него был не слишком опрятный. Каждый день ко времени коктейля он появлялся в гватемальском «Палас-отеле» и, неторопливо расхаживая по бару, продавал лотерейные билеты. Если он этим зарабатывал на жизнь, то жил он, по всей вероятности, очень бедно, потому что я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь купил у него билет; однако изредка ему предлагали выпить. Он никогда не отказывался. Он пробиравался между столиками осторожно и как-то вразвалку, словно привык ходить пешком на далекие расстояния, останавливаясь у каждого столика, с легкой улыбкой называл номера своих билетов и, если на него не обращали внимания, с той же улыбкой двигался дальше. По-видимому, он почти всегда был под хмельком.

Как-то вечером, когда я с одним знакомым стоял у стойки в баре — в гватемальском «Палас-отеле» делают превосходный сухой martini, — человек со шрамом подошел к нам и снова, уже в который раз, вытащил для моего обозрения свои билеты. Я покачал головой, но мой знакомый приветливо кивнул ему.

- Qué tal, генерал? Как дела?
- Ничего. Не блестяще, но бывало хуже.
- Что будете пить?
- Бренди.

Выпив залпом, он поставил рюмку и кивнул моему знакомому.

- Gracias. Hasta luego¹.

Затем он отошел от нас и стал предлагать свои билеты другим.

— Кто он такой? — спросил я. — Какой у него ужасный шрам на лице!

— Да, он его не украшает. Этот человек — изгнанник из Никарагуа. Разумеется, головорез и бандит, но неплохой малый. Я даю ему время от времени несколько песо. Он был генералом, возглавил там мятеж, и если бы не кончились боеприпасы, он свергнул бы правительство и был бы теперь военным министром, а не продавал лотерейные билеты в Гватемале. Его захватили вместе со всем штабом и судили военным судом. Такие дела там решаются быстро, и его приговорили к расстрелу. В плену, надо думать, ему сразу стало ясно, что его ждет. Ночь он провел в тюрьме и вместе с остальными — всего их было пятеро — коротал время за игрой в покер, в которой фишками служили спички. Он говорил мне, что никогда у него не было такой полосы невезения. На рассвете в камеру вошли солдаты, чтобы вести заключенных на казнь. К этому времени он успел проиграть больше спичек, чем обычный человек может использовать за целую жизнь.

Их вывели в тюремный двор и поставили к стене, всех пятерых в ряд лицом к солдатам. Но ничего не последовало, и наш друг спросил, какого черта их заставляют ждать. Офицер ответил, что ждут прибытия генерала — командующего правительственными войсками, который пожелал присутствовать при казни.

— В таком случае я еще успею выкурить сигарету, — сказал наш друг. — Генерал никогда не отличался точностью.

Но едва он закурил, как генерал, — между прочим, это был Сан-Игнасио, вы с ним, возможно, встречались, — появился во дворе в сопровождении своего адъютанта. Были

¹ Спасибо. До скорой встречи (*исп.*).

выполнены обычные формальности, и Сан-Игнасио спросил осужденных, нет ли у кого-нибудь из них последнего желания. Четверо ответили отрицательно, но наш друг сказал:

«Да, я хотел бы проститься с женой».

«Вуено¹, — сказал генерал, — я не возражаю. Где она?»

«Ждет у ворот тюрьмы».

«Тогда это займет не больше пяти минут».

«Даже меньше, сеньор генерал», — сказал наш друг.

«Отведите его в сторону».

Два солдата вышли вперед и отвели осужденного в указанное место. Офицер по кивку генерала дал команду, раздался нестройный залп, и те четверо упали. Они упали странно — не разом, а один за другим, нелепо дергаясь, как марионетки в кукольном театре. Офицер подошел к ним и разрядил оба ствола револьвера в того, который был еще жив. Наш друг докурил сигарету и отшвырнул окурки.

В это время у ворот произошло какое-то движение. Во двор быстрыми шагами вошла молодая женщина — и внезапно остановилась, схватившись рукой за сердце. Потом она вскрикнула и, протянув руки, бросилась вперед.

«Сагамба²», — сказал генерал.

Женщина была вся в черном, волосы покрыты вуалью, лицо мертвенно-бледное. Почти девочка — тоненькая, с правильными чертами лица и огромными глазами. Сейчас в этих глазах застыл ужас. Она бежала, полуоткрыв рот, и так была прекрасна в своем горе, что даже у этих ко всему безразличных солдат вырвался возглас изумления.

Мятежник шагнул ей навстречу. Она кинулась к нему в объятия, и с хриплым страстным криком: «Alma de mi corazón — сердце души моей!» — он прильнул к ее губам. В то же мгновение он выхватил нож из-под рваной рубахи — ему непостижимо, как ему удалось его там спрятать, — и ударил ее в шею. Кровь хлынула из перерезанной вены, обогрив его рубаху. Он снова обнял жену и прижался к ее губам.

Многие не поняли, что произошло — настолько быстро все свершилось, — у других же вырвался крик ужаса, они бросились к нему и схватили его за руки; женщина упала бы,

¹ Хорошо (*исп.*).

² Черт возьми (*исп.*).

если бы адъютант генерала не подхватил ее. Она была без сознания. Ее положили на землю и обступили, растерянно глядя на нее. Мятежник знал, как нанести удар: остановить кровь было невозможно. Через минуту адъютант, стоявший возле нее на коленях, поднялся. «Она мертва», — прошептал он.

Мятежник перекрестился.

«Почему ты это сделал?» — спросил генерал.

«Я любил ее».

Словно вздох пробежал по рядам; все взгляды были устремлены на убийцу. Генерал молчал и тоже смотрел на него.

«Это был благородный поступок, — сказал наконец генерал. — Я не могу казнить такого человека. Возьмите мою машину и отвезите его на границу. Сеньор, свидетельствую вам свое уважение, как смелый человек смелому человеку».

Послышался ропот одобрения. Адъютант тронул убийцу за плечо, и тот, не сказав ни слова, зашагал между двумя солдатами к ожидавшей машине.

Мой знакомый умолк, и я некоторое время тоже молчал. Должен заметить, что он был гватемалец и говорил со мной по-испански. Я постарался как можно лучше перевести то, что услышал, сохранив даже и его несколько напыщенный слог. Честно говоря, я думаю, что он вполне соответствует сюжету.

— Но откуда же этот шрам? — спросил я наконец.

— А, это он как-то раз откупоривал бутылку, и она разорвалась у него в руках. Бутылка шипучки.

— Никогда не любил шипучки, — сказал я.

В ПОИСКАХ МАТЕРИАЛА

Я часто подумывал, не написать ли мне роман, где главный герой — шулер, и, разъезжая по свету, усердно высматривал представителей этой профессии. Поскольку существует мнение, что занятие это малопочтенное, никто в нем открыто не признается. Эти люди так необщительны, что узнать, каким образом они зарабатывают на жизнь, можно только при самом близком знакомстве, вернее даже — лишь после того, как вы раза три-четыре посидели с ними за зеленым столом. Но и тогда они не склонны распространяться о тайнах своего ремесла. У них есть слабость — выдавать себя за кавалеристов, за торговых агентов или землевладельцев. Подобный снобизм весьма затрудняет для писателя изучение этой категории людей. Мне посчастливилось встретить их немало, они были приветливы, любезны, обходительны, но стоило мне намекнуть, как нельзя более деликатно, о моей заинтересованности (в конце концов, чисто профессиональной) во всех тонкостях их искусства — и они тут же пугливо замыкались в себе. При одном лишь упоминании о крапленых картах мой собеседник как улитка мгновенно прятался в свою раковину. Меня, однако, не так легко сбить с позиции, и, убедившись, что прямой путь ни к чему не приведет, я избрал окольный. Я был с ними детски простодушен и кроток. В ответ они устаивали меня своим вниманием и даже сочувствием. Хотя они честно признавались, что не читали ни строчки из написанного мною, само по себе знакомство с писателем не лишено было для них интереса. Быть может, они смутно чувствовали, что и моя профессия не вызывает одобрения обывателей. И все же мне приходилось накапли-

вать материал, исходя из одних догадок. Это требовало терпения и трудолюбия.

Легко себе представить, в каком я был восторге, когда познакомился с двумя джентльменами, которым, по всей видимости, предстояло обогатить скудный запас моих сведений. Я плыл из Хайфона на французском пароходе, который шел на восток, а они сели на него в Гонконге. Они приезжали туда на скачки и теперь возвращались в Шанхай. Я тоже ехал в Шанхай, а оттуда в Пекин. Вскоре я узнал, что они отправились в это путешествие из Нью-Йорка, собираются, как и я, остановиться в Пекине и по счастливой случайности поедут обратно в Америку тем же пароходом, на который взял билет и я. Это были приятные люди, они сразу пришлись мне по душе, но лишь тогда испытал я искреннюю радость от знакомства с ними, когда кто-то из пассажиров шепнул мне, что это профессиональные игроки. Нечего было и надеяться, что они заговорят со мной о своих делах, но я был уверен, что какой-нибудь легкий намек, случайно оброненное замечание откроют мне многое.

Одному из них — звали его Кембл — было лет под сорок; он был невысок, но так строен и хорошо сложен, что вовсе не казался низкого роста; у него были большие печальные глаза и изящные руки. Если бы не ранняя лысина, его можно было бы назвать красивым. Он одевался со вкусом. Говорил тихо и спокойно, движения его были неторопливы. Его спутник был совсем иного склада. Это был крупный мужчина с багровым румянцем и жесткими черными волосами, с виду настоящий силач, с крепкими и, должно быть, скорыми на расправу кулаками. Звали его Питерсон.

Выгоды такого сотрудничества были очевидны. Элегантный, утонченный Кембл обладал острым умом, знанием человеческой природы и ловкостью рук; но жизнь шулера полна опасностей, и, когда дело доходило до драки, кулаки Питерсона всегда были к услугам обоих и, надо полагать, не раз выручали их. Слух о том, что кулак Питерсона свалит с ног кого угодно, с непостижимой быстротой облетел весь пароход. Однако за то короткое время, что мы плыли из Гонконга в Шанхай, они ни разу не предложили сыграть в карты. Может быть, они хорошо заработали за неделю скачек и вкушали теперь заслуженный отдых. И, уж конечно, они поспешили воспользоваться тем, что находились временно вне власти сухого закона; надо отдать им долж-

ное — их почти никогда не видели трезвыми. Они мало говорили о себе, но охотно — друг о друге. Кембл сообщил мне, что Питерсон — один из виднейших горных инженеров в Нью-Йорке, а Питерсон уверял меня, что Кембл — известный банкир. Богатства его, говорил Питерсон, неисчислимы. Мне ли было сомневаться в их правдивости! Меня только удивило, что Кембл не до конца обдумал свою роль — ему бы следовало носить более дорогие запонки и булавки; и серебряный портсигар — это, казалось мне, просто небрежность с его стороны.

В Шанхае я пробыл всего один день и хотя снова встретился с этой парой в Пекине, но был очень занят и видел их только мельком. Меня несколько озадачило, что Кембл совсем не выходил из отеля. Он, вероятно, и Храм Неба не пошел посмотреть. Но я понимал, что для него Пекин не представляет интереса, и ничуть не удивился, когда приятели снова вернулись в Шанхай, где, как мне было известно, богатые купцы вели крупную игру. Наконец я встретился с ними на пароходе, который увозил нас в Америку, и не мог им не посочувствовать, видя, что пассажиры вовсе не расположены играть. Состоятельных людей здесь не было. Публика подобралась серая. Кембл, правда, предложил сыграть в покер, но ставки не превышали двадцати долларов, и Питерсон, не желая, должно быть, попусту тратить время, не принимал участия в игре. Хотя мы играли целыми днями, он составил нам компанию только в последний вечер. Очевидно, он решил окупить свои расходы в баре, а это он с легкостью сделал в один присест. Но Кембла, видимо, увлекал самый процесс игры. И, конечно, только тот, кто по-настоящему любит свое дело, может добиться успеха. Ставки для него не существовали, и он играл с утра до вечера каждый день. Когда он своими гибкими пальцами медленно сдавал карты, я не мог оторвать взгляда от его рук. Глаза его, казалось, прожигали каждую карту насквозь. Пил он очень много, ничуть не теряя при этом спокойствия и самообладания. На лице у него не отражалось и тени волнения. Я понимал, что это отличный игрок, и мне очень хотелось увидеть его за работой. Столь серьезное отношение к тому, что было для него лишь развлечением, невольно заставляло уважать его.

Я расстался с моими попутчиками в Виктории и подумал, что больше их не увижу. Я начал приводить в порядок

свои впечатления, записывать кое-какие детали, которые могли мне потом пригодиться.

Приехав в Нью-Йорк, я нашел у себя письмо: одна моя старая знакомая приглашала меня на завтрак в ресторан Ритц. Когда я пришел, она сказала мне:

— Народу будет совсем мало. Придет один человек, который вам, по-моему, должен понравиться. Это видный банкир. Он будет со своим другом.

Едва она успела это сказать, как я увидел, что к нам подходят Кембл и Питерсон. Я сразу понял все: Кембл — действительно крупный банкир; Питерсон — действительно известный инженер; никакие они не шулера. К чести своей могу сказать, что я ничем себя не выдал, но, вежливо пожав им руки, я с негодованием пробормотал сквозь зубы:

— Самозванцы!

НЕПОКОРЕННАЯ

Он вернулся в кухню. Старик все еще лежал на полу там, где Ганс сбил его с ног; лицо у него было в крови, он стонал. Старуха стояла, прижавшись спиной к стене, и с ужасом, широко раскрыв глаза, смотрела на Вилли, приятеля Ганса, а когда вошел Ганс, она ахнула и бурно зарыдала.

Вилли сидел за столом, сжимая в руке револьвер. На столе перед ним стоял недопитый стакан с вином. Ганс подошел к столу, налил себе стакан и осушил его залпом.

— А здорово тебя, мой милый, разукрасили, — сказал Вилли, ухмыляясь.

На физиономии у Ганса была размазана кровь и тянулись глубокие царапины: следы пяти пальцев с острыми ногтями. Он осторожно коснулся рукой щеки.

— Чуть глаза не выдрала, сука. Надо будет йодом смазать. Ну, теперь она угомонилась. Иди.

— Да я не знаю... Пойти? Ведь уже поздно.

— Брось дурить. Мужчина ты или кто? Ну и что ж, что поздно? Мы заблудились, так и скажем.

Еще не стемнело, и клонящееся к западу солнце лило свет в окна фермерской кухни. Вилли помялся. Он был шуплый, темноволосый и узколиций, до войны работал портным-модельером. Ему не хотелось, чтобы Ганс считал его размазней. Он встал и шагнул к двери, в которую только что вошел Ганс. Женщина, поняв, зачем он идет, вскрикнула и рванулась вперед.

— Non, non¹, — закричала она.

¹ Нет, не (фр.).

Ганс одним прыжком очутился возле нее. Он схватил ее за плечи и с силой отшвырнул назад. Женщина упала, Ганс взял у Вилли револьвер.

— Молчать, вы оба! — рявкнул он. Он сказал это по-французски, но с гортанным немецким выговором. Потом кивнул Вилли на дверь. — Иди, я тут за ними присмотрю.

Вилли вышел, но через минуту вернулся.

— Она без памяти.

— Ну и что?

— Не могу я. Не стоит.

— Дурень, вот ты кто. Ein Weibchen. Баба.

Вилли покраснел.

— Лучше, пожалуй, пойдем, — сказал он.

Ганс презрительно пожал плечами.

— Вот допью бутылку, тогда и пойдем.

Ему не хотелось спешить, приятно было еще немного поблагодушествовать. Сегодня он с самого утра не слезал с мотоцикла, руки и ноги ныли. По счастью, ехать недалеко, только до Суассона, всего километров десять — пятнадцать. Может, повезет: удастся выспаться на приличной постели.

Конечно, ничего б этого не случилось, если бы она не вела себя так глупо. Они с приятелем сбились с дороги. Окликнули работавшего в поле крестьянина, а он им нарочно наврал, вот они и запутались в каких-то проселках. На ферму зашли, только чтобы спросить дорогу. Очень вежливо спросили — с населением было приказано обращаться по-хорошему, если только, конечно, французы сами будут вести себя подобающим образом. Девушка-то и открыла дверь. Она сказала, что не знает, как проехать к Суассону, и тогда они ввалились в кухню; старуха (ее мать, наверное, решил Ганс) объяснила, как туда доехать. Все трое — фермер, его жена и дочь — только что отужинали, на столе еще оставалась бутылка с вином. Тут Ганс почувствовал, что просто умирает от жажды. Жара стояла страшная, а пить в последний раз пришлось в полдень. Он попросил у них бутылку вина, и Вилли сказал при этом, что они заплатят. Вилли — паренек славный, только рохля. В конце концов, ведь немцы победили. Где теперь французская армия? Улепетывает со всех ног. Да и англичане тоже — все побросали, поскакали, как кролики, на свой островишко. Победители по праву взяли то, что хотели, — разве не так?

Но Вилли проработал два года в парижском ателье. По-французски он болтает здорово, это верно, потому его и назначили сюда. Но жизнь среди французов не прошла для Вилли даром. Никудышный народ французы. Немцу жить среди них не годится.

Фермерша поставила на стол две бутылки вина. Вилли вытащил из кармана двадцать франков и протянул ей. Она ему даже спасибо не сказала. Ганс по-французски говорил не так бойко, как Вилли, но все-таки малость научился, между собой они всегда говорили по-французски, и Вилли поправлял его ошибки. Потому-то Ганс и завел с ним приятельские отношения, Вилли был ему очень полезен, и к тому же Ганс знал, что Вилли им восхищается. Да, восхищается, потому что Ганс высокий, стройный, широкоплечий, потому что курчавые волосы его уж такие белокурые, а глаза — голубые-преголубые. Ганс никогда не упускал случая поупражняться во французском, и тут он тоже заговорил с хозяевами, но те — все трое — словно воды в рот набрали. Он сообщил им, что у него у самого отец фермер, и, когда война кончится, он, Ганс, вернется на ферму. В школе он учился в Мюнхене, мать хотела, чтобы из него вышел коммерсант, но у него душа к этому не лежит, поэтому, сдав выпускные экзамены, он поступил в сельскохозяйственное училище.

— Вы пришли сюда спросить дорогу, и вам ответили, — сказала девушка. — Допивайте вино и уходите.

Он только тут рассмотрел ее как следует. Не то чтобы хорошенькая, но глаза красивые, темные, нос прямой. Лицо очень бледное. Одета совсем просто, но почему-то не похожа на обыкновенную крестьянку. Какая-то она особенная, нет в ней деревенской грубости, неотесанности. С самого начала войны Ганс постоянно слышал рассказы солдат о француженках. Есть в них, говорили они, что-то такое, чего нет в немецких девушках. Шик, вот что, сказал Вилли, но, когда Ганс спросил, что он, собственно, имеет в виду, тот ответил, что это надо самому видеть, тогда и поймешь. Гансу, конечно, приходилось слышать о француженках и другое, что они корыстные и пальца им в рот не кладут. Ладно, через неделю он сам будет в Париже, увидит все своими глазами. Говорят, верховное командование уже распорядилось насчет веселых домов для немецких солдат.

— Допивай вино и пошли, — сказал Вилли.

Но Гансу здесь нравилось, он не хотел, чтобы его торопили.

— А ты не похожа на фермерскую дочку, — сказал он девушке.

— Ну и что?

— Она у нас учительница, — пояснила мать.

— Ага, образованная, значит.

Девушка передернула плечами, но Ганс продолжал добродушно на своем ломаном французском:

— Значит, ты должна понимать, что капитуляция для французов — благодеяние. Не мы затеяли войну, вы ее начали. А теперь мы сделаем из Франции приличную страну. Мы наведем в ней порядок. Мы приучим вас работать. Вы у нас узнаете, что такое повиновение и дисциплина.

Девушка сжала кулаки и глянула на него. Черные глаза ее горели ненавистью. Но она промолчала.

— Ты пьян, Ганс, — сказал Вилли.

— Трезвее трезвого. Говорю сущую правду, и пусть они эту правду узнают раз и навсегда.

— Нет, ты пьян! — крикнула девушка. Она уже больше не могла сдерживаться. — Уходите, уходите же!

— А, так ты понимаешь по-немецки? Ладно, я уйду. Только на прощание ты меня поцелуешь.

Она отпрянула, но он удержал ее за руку.

— Отец! — закричала девушка. — Отец!

Фермер бросился на немца, Ганс отпустил девушку и изо всей силы ударил старика по лицу. Тот рухнул на пол. Девушка не успела убежать, и Ганс тут же схватил ее и стиснул в объятиях. Она ударила его наотмашь по щеке. Ганс коротко и зло рассмеялся.

— Так-то ты ведешь себя, когда тебя хочет поцеловать немецкий солдат? Ты за это заплатишься.

Он что было сил скрутил ей руки и потащил к двери, но мать кинулась к нему, вцепилась ему в рукав, стараясь оторвать от дочери. Плотной обхватив девушку одной рукой, он ладонью другой грубо отпихнул старуху, и та, едва устояв на ногах, отлетела к стене.

— Ганс! Ганс! — кричал ему Вилли.

— А, иди ты к черту!

Ганс зажал рот девушки руками, заглушая ее крики, и выволок ее за дверь.

Вот так оно все и произошло. Ну, сами посудите, кто во всем этом виноват, не она разве? Залепила пощечину. Дала бы себя поцеловать, он тут же и ушел бы.

Ганс мельком взглянул на фермера, все еще лежавшего на полу, и еле удержался от смеха: до того комична была у старика физиономия. Глаза Ганса улыбались, когда он посмотрел на старуху, жавшуюся к стенке. Боится, что сейчас и ее очередь подойдет? Напрасно беспокоится. Он вспомнил французскую пословицу.

— *C'est le premier pas qui coûte*¹, — сказал он. — Нечего реветь, старуха. Этого все равно не миновать, рано или поздно.

Он сунул руку в боковой карман и вытащил бумажник.

— На вот сотню франков. Пусть мадемуазель купит себе новое платье. От ее старого осталось не много.

Он положил деньги на стол и надел каску.

— Идем.

Они вышли, хлопнув дверью, сели на мотоциклы и уехали. Старуха поплелась в соседнюю комнату. Там на диване лежала ее дочь. Она лежала так, как он ее оставил, и плакала навзрыд.

Три месяца спустя Ганс снова оказался в Суассоне. Вместе с победоносной германской армией он побывал в Париже и проехал на своем мотоцикле через Триумфальную арку. Вместе с армией он продвинулся сперва к Туру, затем к Бордо. Боев он и не нюхал, а солдат французских видел только пленных. Весь поход был такой развеселой потехой, какая ему и не снилась. После перемирия он еще с месяца пожил в Париже. Послал цветные почтовые открытки родне в Баварию, накупил всем подарков. Приятель его Вилли, знавший Париж как свои пять пальцев, там и остался, а Ганса и все его подразделение направили обратно в Суассон в оставленную здесь немецкими властями часть. Суассон — городок славный, и солдат расквартировали неплохо. Еды вдоволь, а шампанское почти даром, за бутылку одна марка на немецкие деньги. Когда вышел приказ о переводе в Суассон, Гансу пришло в голову, что забавно будет зайти взглянуть на ту девчонку с фермы. Он приготовил ей в подарок пару шелковых чулок, чтобы она поняла, что он зла не помнит. Ганс хорошо ориентировался и был уверен, что

¹ Труден только первый шаг (*фр.*).

без труда разыщет ферму. Как-то вечером, когда заняться было нечем, он сунул чулки в карман, сел на мотоцикл и поехал. Стоял погожий осенний день, в небе ни облачка; местность красивая, холмистая. Уже очень давно не выпадало ни капли дождя, и, хотя был сентябрь, даже немолчно шелестящие тополя не давали почувствовать, что лето близится к концу.

Один раз Ганс свернул не в ту сторону, это его несколько задержало, но все равно в какие-нибудь полчаса он добрался до фермы. Возле дверей его облаяла хозяйская дворняжка. Он, не постучав, повернул дверную ручку и вошел. Девушка сидела за столом, чистила картофель. При виде солдатской формы Ганса она вскочила на ноги.

— Вам что?

И тут она его узнала. Она попятилась к стене, крепко стиснув в руке нож.

— Ты? Cochon¹.

— Ну-ну, не горячись, не обижу. Смотри лучше, что я тебе привез — шелковые чулки.

— Забирай их и убирайся вместе с ними.

— Не глупи. Брось-ка нож. Тебе же будет хуже, если будешь так злиться. Можешь меня не бояться.

— Я тебя не боюсь.

Она разжала пальцы, нож упал. Ганс снял каску, сел на стул. Вытянув вперед ногу, носком сапога пододвинул нож поближе к себе.

— Давай помогу тебе картошку чистить, а?

Она не ответила. Ганс нагнулся, поднял нож, вытащил из миски картофелину и стал ее чистить. Лицо девушки хранило жесткое выражение, глаза смотрели враждебно. Она продолжала стоять у стены и молча следила за ним. Ганс улыбнулся добродушной, обезоруживающей улыбкой.

— Ну что ты смотришь такой злючкой? Не так уж я тебя обидел. Я был тогда очень взвинчен, ты пойми. Все мы тогда такие были. В то время еще поговаривали о непобедимости французской армии, о линии Мажино... — У него вырвался смешок. — Ну и винцо, конечно, бросилось мне в голову. Тебе еще повезло. Женщины говорили мне, что я не такой уж урод.

¹ Свинья (фр.).

Девушка окинула его с ног до головы уничтожающим взглядом.

— Убирайся отсюда вон.

— Уйду, когда сам захочу.

— Если не уйдешь, отец сходит в Суассон, подаст на тебя жалобу генералу.

— Очень это генералу надо. У нас есть приказ налаживать мирные отношения с населением. Как тебя зовут?

— Не твое дело.

Щеки у нее пылали, глаза сверкали гневом. Она показалась ему сейчас красивее, чем он ее тогда запомнил. Что ж, в общем получилось удачно. Не какая-нибудь простенькая деревенская девчонка. Больше похожа на горожанку. Да, ведь мать сказала, что она учительница. И именно потому, что это была не обычная деревенская девушка, а учительница, образованная, ему было особенно приятно ее помучить. Он ощущал себя сильным, крепким. Он взъерошил свои курчавые белокурые волосы и усмехнулся при мысли, сколько девчонок с радостью оказались бы тогда на ее месте. За лето он так загорел, что голубые глаза его казались какими-то уж чересчур голубыми.

— Отец с матерью где?

— В поле работают.

— Слушай, я проголодался. Дай мне хлеба и сыра и стакан вина. Я заплачу.

Она жестко рассмеялась.

— Мы уже три месяца не знаем, что такое сыр. Хлеба не наедаемся досыта. Год назад свои же французы забрали у нас лошадей, а теперь боши растащили и все остальное: коров наших, свиней, кур — все.

— Ну и что ж, мы не даром взяли, мы заплатили.

— Думаешь, мы можем быть сыты пустыми бумажками, которые вы нам даете взамен?

Она вдруг заплакала.

— Ты что, голодна?

— Нет, что ты, — сказала она с горечью. — Мы же питаемся по-королевски: картошкой, хлебом, брюквой и салатом. Завтра отец пойдет в Суассон — может, удастся купить конины.

— Послушай, честное слово, я неплохой парень. Я привезу вам сыра и, может, даже немного ветчины.

— Я в твоих подачках не нуждаюсь. Скорее умру с голоду, чем прикоснусь к еде, которую вы, свиньи, украли у нас.

— Ну ладно, посмотрим, — ответил он невозмутимо. Он надел каску, поднялся, сказал: «Au revoir, mademoiselle»¹ — и ушел.

Он не мог, понятно, разъезжать на мотоцикле по окрестным дорогам ради собственного удовольствия, приходилось ждать, пока пошлют с поручением и он сможет снова побывать на ферме. Это случилось десять дней спустя. Он ввалился бесцеремонно, как и тогда. На этот раз в кухне оказались фермер с женой. Было уже за полдень, фермерша стояла у печки, мешала что-то в горшке. Старик сидел за столом. Они взглянули на Ганса, но как будто не удивились. Дочь, вероятно, рассказала им, что он приходил. Они молчали. Старуха продолжала стряпать, а фермер угрюмо, не отводя глаз, смотрел на клеенку на столе. Но не так-то легко было обескуражить добродушного Ганса.

— Bonjour, la compagnie², — приветствовал он их весело. — Вот, привез вам гостинцев.

Он развязал пакет, вытащил и разложил на столе порядочный кусок сыра, кусок свинины и две коробки сардин. Старуха обернулась, и Ганс усмехнулся, подметив в ее глазах жадный блеск. Фермер окинул продукты хмурым взглядом. Ганс приветствовал его широкой улыбкой.

— У нас тогда вышло недоразумение, в прошлый раз. Прошу прощения. Но тебе, старик, не надо было вмешиваться.

В этот момент вошла девушка.

— Что ты здесь делаешь? — крикнула она ему резко. Взгляд ее упал на продукты. Она сгребла их все вместе и швырнула Гансу. — Забирай! Забирай их отсюда!

Но мать бросилась к столу.

— Аннет, ты с ума сошла!

— Я не приму от него подачки.

— Да ведь это наши продукты, наши! Они украли их у нас. Ты только посмотри на сардины — это сардины из Бордо!

Старуха нагнулась и подняла их. Ганс взглянул на девушку — голубые глаза его глядели насмешливо.

¹ До свидания, мадемуазель (фр.).

² Привет всей компании (фр.).

— Значит, тебя зовут Аннет? Красивое имя. Что ж ты не позволишь своим старикам немного полакомиться? Сама ведь говорила, что вы уже три месяца сыра не пробовали. Ветчины я достать не смог. Привез то, что удалось раздобыть.

Фермерша взяла обеими руками свинину, прижала ее к груди. Казалось, она готова была расцеловать этот кусок мяса. По щекам Аннет текли слезы.

— Господи, стыд какой! — вырывалось у нее как стон.

— Ну что ты. Какой тут стыд? Кусок сыра и немножко свинины, только и всего.

Ганс уселся, закурил папиросу и передал пачку старику. Одно мгновение тот колебался, но искушение было слишком велико: он вытащил одну папиросу и протянул пачку обратно Гансу.

— Оставь себе, — сказал Ганс. — Я достану еще сколько угодно. — Он затянулся и выпустил дым через нос. — Чего нам ссориться? Что сделано, того не переделаешь. Война есть война, сами понимаете. Аннет — девушка образованная, я знаю; я не хочу, чтоб она обо мне худо думала. Наша часть, вероятно, задержится в Суассоне надолго. Я могу заезжать иногда, привозить чего-нибудь съестного. Вы знаете, ведь мы из всех сил стараемся наладить отношения с населением в городе, но французы упорствуют. И глядеть на нас не желают. В конце концов, ведь это просто досадная случайность — ну, то, что произошло здесь в тот раз, когда я заходил с приятелем. Вам нечего меня бояться. Я готов относиться к Аннет со всем уважением, как к родной сестре.

— Зачем тебе приходиться сюда? Почему ты не оставишь нас в покое? — сказала Аннет.

В сущности, он и сам толком не знал. Ему не хотелось признаться, что он просто стосковался по нормальным человеческим отношениям. Молчаливая враждебность, окружавшая немцев в Суассоне, действовала ему на нервы; иной раз он готов был подойти на улице к первому встречному французу, смотрящему на него так, будто он пустое место, и двинуть его как следует, а иной раз это доводило его чуть не до слез. Хорошо бы найти семью, где б тебя принимали дружелюбно. Он не соврал, сказав, что у него нет нечистых намерений в отношении Аннет. Она не принадлежала к его типу женщин. Ему нравились высокие, полногрудые; такие же, как он сам, голубоглазые и белокурые, чтоб они были крепкие, горячие и в теле. Непонятная ему изысканность,

прямой тонкий нос, темные глаза, бледное продолговатое лицо — нет, это все не для него. В этой девушке было что-то внушавшее ему робость. Если б он не был тогда в таком упоении от побед германской армии, если бы не был так утомлен и в то же время взвинчен и не выпил бы столько вина на пустой желудок, ему бы и в голову не пришло, что его может пленить такая вот девушка.

Недели две Ганс никак не мог отлучиться из части. Он оставил на ферме привезенные тогда продукты и не сомневался, что старики накинулись на них, как голодные волки. Он не удивился бы, если б и Аннет, едва он вышел за дверь, составила им компанию. Уж таковы французы: любят пройтись на дармовщинку. Слабый народ, вымирающий. Конечно, Аннет ненавидит его — бог ты мой, еще как ненавидит! — но свинина есть свинина, а сыр есть сыр.

Аннет не выходила у него из головы. Ее отвращение к нему раздражило его. Он привык нравиться женщинам. Вот будет здорово, если она, в конце концов, все же влюбится в него! Ведь он у нее первый. Студенты в Мюнхене, болтая за кружкой пива, уверяли, что по-настоящему женщина любит того, кто ее совратил, — после этого она начинает любить самую любовь. Обычно, наметив себе девушку, Ганс был совершенно уверен, что не получит отказа. Он посмеивался про себя, и глаза его зажигались хитрецей.

Наконец случай позволил ему снова побывать на ферме. Он забрал сыру, масла, сахару, банку колбасных консервов, немного кофе и укатил на мотоцикле. Но на этот раз повидать Аннет ему не удалось. Она с отцом работала в поле. Мать была во дворе, и при виде свертка в руках Ганса глаза ее загорелись. Она повела Ганса в кухню. У нее дрожали руки, пока она развязывала сверток, а когда увидела, что он принес, на глазах у нее выступили слезы.

— Ты очень добр, — сказала она.

— Могу я присесть? — спросил он учтиво.

— Садись, садись. — Она взглянула в окно. Ганс понял, что старуха хочет проверить, не идет ли дочь. — Может, выпьешь стаканчик вина?

— С удовольствием.

Он без труда сообразил, что жадность к еде заставила старуху относиться к нему если и не вполне благожелательно, то, во всяком случае, терпимо: она уже готова наладить с ним отношения. Этот ее взгляд, брошенный в окно, как бы сделал их сообщниками.

— Ну, как свинина — ничего?
— Давно такой не пробовали.
— В следующий раз, как приеду, привезу еще. А ей, Аннет, понравилось?

— Она ни к чему и не притронулась. Скорее, говорит, с голоду помру, чем возьму.

— Глупая.

— Вот и я ей так сказала. Уж раз, говорю, есть еда, так ешь, нечего отворачиваться, этим дела все равно не поправишь.

Они вели мирную беседу, пока Ганс не спеша потягивал вино. Он узнал, что фермершу зовут мадам Перье. Он спросил, есть ли у нее еще дети. Фермерша вздохнула. Нет, нету. Был у них сын, но его мобилизовали в начале войны, и он погиб. Его не на фронте убили, он умер в госпитале в Нанси от воспаления легких.

— А-а, — сказал Ганс. — Жалко.

— Может, так оно и к лучшему. Он ведь был вроде Аннет. Все равно бы пропал, не вынес бы позора поражения. — Фермерша снова вздохнула. — Ах, дружок, ведь нас предали, оттого все так и получилось.

— И чего ради вы кинулись на защиту поляков? Что они вам?

— Верно, верно. Если б мы не стали мешать вашему Гитлеру, дали бы ему захватить Польшу, он бы оставил нас в покое.

Уходя, Ганс повторил, что зайдет еще.

— Насчет свинины я не забуду, — добавил он.

Обстоятельства сложились Гансу на руку. Он получил задание, связанное с обязательными, дважды в неделю, поездками в соседний городок, и это дало ему возможность чаще навещать ферму. Он поставил себе за правило никогда не являться туда с пустыми руками. Но с Аннет дело у него не клеилось. Стараясь добиться ее расположения, он пускал в ход все те нехитрые приемы, которые, как научил Ганса его мужской опыт, так действуют на женщин; но Аннет на все отвечала язвительными насмешками. Плотнo сжав губы, колючая, неприступная, она смотрела на Ганса так, словно хуже его и на свете никого не было. Не раз она доводила его до того, что, обозлившись, он готов был схватить ее за плечи и так тряхануть, чтобы душу из нее вытрясти.

Однажды он застал ее одну, а когда она встала, собираясь уйти, он загородил ей дорогу.

— Стой-ка. Я хочу поговорить с тобой.

— Говори. Я женщина и беззащитна.

— Вот что я хочу тебе сказать. Насколько мне известно, я здесь могу пробыть еще долго. Жизнь для вас, французов, легче не станет, она станет труднее. Я могу кое в чем оказаться тебе полезным. Почему ты не хочешь образумиться, как твой отец с матерью?

Со стариком Перье у него и впрямь дело шло на лад. Нельзя сказать, чтобы старик принимал Ганса сердечно. Сказать правду, он держался с ним сурово и отчужденно, но все-таки вежливо. Он даже как-то попросил Ганса принести ему табаку и, когда тот отказался взять с него деньги, поблагодарил его. Старик интересовался новостями из Суассона и жадно хватал газету, которую привозил ему Ганс. Ганс, фермерский сын, мог поговорить о делах на ферме как человек, знающий толк в хозяйстве. Ферма у Перье была хорошая, не слишком велика и не слишком мала, с поливкой удобно — по участку протекал довольно широкий ручей, есть и плодовый сад, и пашня, и выгон. Ганс понимающе и сочувственно выслушивал старика, когда тот жаловался, что не хватает рабочих рук, нет удобрения, что скот и хозяйственный инвентарь у него отобрали и на ферме все идет прахом.

— Ты спрашиваешь, почему я не могу образумиться, как мой отец с матерью? Смотри!

Аннет туго обтянула на себе платье и так стояла перед Гансом. Он не поверил своим глазам. То, что он увидел, повергло его в никогда доселе не испытанное смятение. Кровь прилила ему к щекам.

— Ты беременна!

Она села на стул и, опустив голову на руки, зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось на части.

— Позор! Позор! — повторяла она.

Ганс кинулся к ней, распростер объятия.

— Милая моя!

Она вскочила на ноги и оттолкнула его.

— Не прикасайся ко мне! Уходи! Уходи! Или тебе мало того, что ты со мной сделал?

Она выскочила из комнаты, Ганс несколько минут постоял один. Он был потрясен. Голова у него шла кругом,

когда он медленно ехал обратно в Суассон, и вечером, улегшись в постель, он лежал час за часом и никак не мог уснуть. Он все время видел перед собой Аннет, ее раздавленное, округлившееся тело. Она была такой нестерпимо жалкой, когда сидела у стола и плакала, надрываясь от слез. Ведь это его дитя она вынашивает в утробе.

Он было задремал, и вдруг весь сон словно рукой сняло. Неожданная мысль ошеломила его с внезапной и сокрушительной силой орудийного залпа: он любит Аннет. Открытие это совершенно потрясло Ганса, он даже не сразу осознал его до конца. Конечно, он постоянно думал об Аннет, но совсем по-другому. Он просто представлял себе, что вдруг она в него влюбится и как он будет торжествовать, если она сама предложит ему то, что он взял тогда силой, но ни на одно мгновение ему не приходило в голову, что Аннет для него — нечто большее, чем любая другая женщина. Она не в его вкусе. Она и не так чтоб уж очень хорошенькая. Ничего в ней нет особенного. Откуда же у него вдруг это странное чувство? И чувство это не было приятным, оно причиняло боль. Но Ганс уже понял: это любовь, и его охватило ощущение счастья, какого он еще не знал. Ему хотелось обнять ее, приласкать, хотелось целовать ее полные слез глаза. Он, казалось, не испытывал желания к ней как к женщине, он только хотел бы утешить ее и чтоб она ответила ему улыбкой — странно, он никогда не видел ее улыбающейся; он хотел бы заглянуть ей в глаза, в ее чудные, прекрасные глаза, и чтоб взгляд их смягчился нежностью.

В течение трех дней Ганс никак не мог выбраться из Суассона, и в течение трех дней и трех ночей он думал об Аннет и о ребенке, которого она родит. Наконец ему удалось съездить на ферму. Он хотел повидать мадам Перье с глазу на глаз, и случай ему благоприятствовал: он встретил ее на дороге неподалеку от дома. Она собирала хворост в лесу и возвращалась домой, таща на спине большую вязанку. Ганс остановил мотоцикл. Он знал, что радушие фермерши вызвано лишь тем, что он приносит им продукты, но это его мало трогало; достаточно того, что она с ним любезна и будет вести себя так и дальше, пока можно будет что-нибудь из него вытянуть. Ганс сказал, что хочет поговорить с ней, и попросил, чтоб она опустила вязанку на землю. Она послушалась. День был серый, по небу ходили тучи, но было не холодно.

— Я знаю насчет Аннет, — сказал Ганс.

Она вздрогнула.

— Как ты узнал? Она ни за что не хотела, чтобы ты знал.

— Она сама мне сказала.

— Да, хороших дел ты тогда натворил.

— Мне и в голову не приходило, что она... Почему вы раньше мне не сообщили?

Она начала рассказывать. Без горечи, даже не обвиняя, как если бы случившееся лишь обычная житейская невзгода — ну, как если бы сдохла корова во время отела или крепкий весенний мороз прихватил фруктовые деревья и сгубил урожай, — невзгода, которую должно принимать смиренно и безропотно. После того страшного вечера Аннет несколько дней пролежала в постели в бреду, с высокой температурой. Боялись за ее рассудок. Она вскрикивала не переставая по многу часов подряд. Врача достать было негде. Деревенского доктора призвали в армию. В Суассоне осталось всего два врача, оба старики: как таким добраться до фермы, если б даже и была возможность их вызвать? Но врачам было запрещено покидать пределы города. Потом температура спала, но Аннет была все же слишком плоха, не могла подняться с постели, а когда наконец встала, то такая была бледная, слабая — смотреть жалко. Потрясение оказалось для нее слишком тяжким. Прошел месяц, затем второй, истекли все положенные сроки обычного женского недомогания, но Аннет и не заметила этого. У нее это всегда бывало нерегулярно. Первой почуяла неладное мадам Перье. Она расспросила Аннет. Обе пришли в ужас, но все-таки они не были вполне уверены и отцу ничего не сказали. Когда миновал и третий месяц, сомневаться уже больше не приходилось... Аннет забеременела.

У них был старенький «ситроен», в котором до войны мадам Перье два раза в неделю возила продукты на рынок в Суассон, но со времени немецкой оккупации продуктов на продажу оставалось так мало, что не стоило из-за этого гонять машину. Бензин достать было почти невозможно. На этот раз они кое-как заправили машину и поехали в город. В Суассоне можно было теперь увидеть только немецкие машины, по улицам расхаживали немецкие солдаты, вывески были на немецком языке, а обращения к населению, подписанные комендантом города, — на французском. Многие магазины прекратили торговлю.

Они зашли к старому, знакомому им врачу, и он подтвердил их подозрения. Но врач был ревностным католиком и не пожелал оказать им нужную помощь. В ответ на их слезы он пожал плечами.

— Ты не единственная, — сказал он Аннет. — Il faut souffrir¹.

Они знали, что есть еще другой доктор, и пошли к нему. Они позвонили. Им долго никто не открывал. Наконец дверь открыла женщина в черном платье. Когда они спросили доктора, она заплакала. Немцы его арестовали за то, что он масон, и держат в качестве заложника. В кафе, часто посещаемом немецкими офицерами, взорвалась бомба: двоих убило, нескольких ранило. Если к определенному сроку виновные не будут выданы, всех заложников расстреляют. Женщина казалась доброй, и мадам Перье поведала ей свою беду.

— Скоты, — сказала женщина. Она поглядела на Аннет с состраданием. — Бедная девочка.

Она дала им адрес акушерки, добавив, что они могут сослаться на ее рекомендацию. Акушерка дала лекарство. От этого лекарства Аннет стало так плохо, что она уж думала, что умирает, но желанного результата от него не последовало. Беременность Аннет не прекратилась.

Все это мадам Перье рассказала Гансу. Некоторое время он молчал.

— Завтра воскресенье, — произнес он наконец. — Я завтра не занят. Заеду к вам, поговорим. Привезу чего-нибудь вкусного.

— У нас иглодок нет. Ты бы не мог достать?

— Постараюсь.

Она взвалила на спину вязанку и поплелась по дороге. Ганс вернулся в Суассон.

Он побоялся брать мотоцикл и на следующий день взял напрокат велосипед. Пакет с продуктами он привязал к раме. Пакет был больше обычного, в нем находилась еще бутылка шампанского. На ферму он приехал, когда стемнело и он мог быть уверен, что вся семья вернулась домой после работы. Он вошел в кухню. Там было тепло и уютно. Мадам Перье стряпала, муж читал «Пари суар». Аннет штопала чулки.

¹ Здесь: надо смириться (*фр.*).

— Вот взгляните, привез вам иголки, — сказал Ганс, развязывая пакет. — А это материя тебе, Аннет.

— Она мне не нужна.

— Разве? — ухмыльнулся он. — А не пора тебе начать шить белье ребенку?

— Верно, Аннет, пора, — вмешалась мать, — а у нас ничего нет. — Аннет не поднимала глаз от работы. Мадам Перье окинула жадным взглядом содержимое пакета. — Шампанское!

Ганс издал смешок.

— Сейчас я вам скажу, зачем я его привез. У меня возникла идея. — Мгновение он колебался, потом взял стул и уселся напротив Аннет. — Право, не знаю, с чего начать. Я сожалею о том, что произошло тогда, Аннет. Не моя это была вина, виной тому обстоятельства. Можешь ты меня простить?

Она метнула в него ненавидящий взгляд.

— Никогда! Почему ты не оставишь меня в покое? Мало тебе того, что ты погубил мою жизнь?

— Я как раз об этом. Может, и не погубил. Когда я услышал, что у тебя будет ребенок, меня всего точно перевернуло. Все теперь стало по-другому. Я горжусь этим.

— Гордишься? — бросила она ему едко.

— Я хочу, чтобы ты родила ребенка, Аннет. Я рад, что тебе не удалось от него отделаться.

— Как у тебя хватает наглости говорить мне это?

— Да ты послушай! Я ведь только об этом теперь и думаю. Через полгода война кончится. Весной мы поставим англичан на колени. Дело верное. И тогда меня демобилизуют, и я женюсь на тебе.

— Ты? Почему?

Сквозь загар у него проступил румянец. Он не мог заставить себя произнести это по-французски и потому сказал по-немецки — он знал, что Аннет понимает немецкий:

— Ich liebe dich¹.

— Что он говорит? — спросила мадам Перье.

— Говорит, что любит меня.

Аннет запрокинула голову и закатилась пронзительным смехом. Она хохотала все громче и громче, она не могла

¹ Я люблю тебя (нем.).

остановиться; из глаз у нее текли слезы. Мадам Перье больно ударила ее по щекам.

— Не обращай внимания, — обратилась она к Гансу. — Истерика. В ее положении это бывает.

Аннет с трудом перевела дыхание и овладела собой.

— Я захватил бутылку шампанского, отпразднуем нашу помолвку.

— Вот это-то и обиднее всего, — сказала Аннет, — что нас победили дураки, безмозглые дураки.

Ганс продолжал уже по немецки:

— Я и сам не знал, что люблю тебя, не знал до того дня, как ты сказала, что у тебя будет ребенок. Меня тогда как громом ударило, но я думаю, что люблю-то я тебя уже давно.

— Что он говорит? — спросила мадам Перье.

— Ничего. Чепуха.

Ганс снова перешел на французский. Пусть родители Аннет услышат все, что он собирается сказать.

— Я бы и сейчас на тебе женился, только мне не разрешат. И ты не думай, что я ничего собой не представляю. Отец у меня со средствами, у нашей семьи солидное положение. Я старший сын, и ты ни в чем не будешь нуждаться.

— Ты католик? — спросила мадам Перье.

— Да, я католик.

— Вот это хорошо.

— У нас там, где мы живем, места красивые и земля отличная. Лучшего участка не сыщешь от Мюнхена до Инсбрука. И участок наш собственный. Мой дед купил его после войны семидесятого года. У нас и машина есть, и радио, и телефон поставлен.

Аннет повернулась к отцу.

— Он на редкость тактичен, этот субъект, — сказала она иронически, поглядев на Ганса в упор. — Да, конечно, мне там уготована сладкая жизнь — мне, иностранке из побежденной страны, с ребенком, рожденным вне брака. Все это гарантирует мне полное счастье, не правда ли?

Тут впервые заговорил Перье, человек скупой на слова.

— Должен признать, — сказал он Гансу, — ты это поступаешь великодушно, ничего не скажешь. Я сам участвовал в прошлой войне, и все мы на войне вели себя не так, как в мирное время. Уж такова человеческая натура, ничего не поделаешь. Но теперь, когда сын наш умер, у

нас никого нет, кроме дочери. Мы не можем расстаться с Аннет.

— Я уже подумал, что вам это нелегко будет. И вот что я решил: я останусь здесь.

Аннет окинула Ганса быстрым взглядом.

— Как это надо понимать? — спросила его мадам Перье.

— У меня есть брат. Он останется с отцом, будет ему помогать. Мне здешние края нравятся. Человек предприимчивый и с головой может добиться толку на такой ферме, как ваша. После войны многие немцы осядут во Франции. Всем известно, что у французов земли много, а обрабатывать ее некому. Я сам слышал это от одного нашего лектора в Суассоне. Он сказал, что треть французских ферм запущена, потому что на них некому работать.

Старики переглянулись. Аннет видела, что родители готовы идти на уступки. Именно об этом они и мечтали с тех пор, как умер их сын: им нужен хороший зять, здоровый, сильный, чтоб было кому заботиться о ферме, когда сами они состарятся и смогут выполнять лишь самую легкую работу.

— Это меняет дело, — сказала мадам Перье. — О таком предложении стоит подумать.

— Замолчите, — сказала Аннет резко. Она наклонилась вперед и впилась в немца горящим взглядом. — У меня есть жених, учитель, он преподавал в том же городе, где и я. После войны мы поженимся. Он не такой здоровяк и не такой смазливый, как ты. Он невысок и узкоплеч. Его красота — его ум, он светится у него в лице, и вся сила его — сила душевного величия. Он не варвар, он культурный человек, за его плечами тысяча лет цивилизации. Я люблю его. Люблю всей душой.

Ганс помрачнел. Ему не приходило в голову, что Аннет может любить еще кого-то.

— Где он сейчас?

— Где ему быть, как ты думаешь? В Германии, в плену, умирает с голоду. А вы тут живете припеваючи. Сколько раз мне повторять, что я тебя ненавижу? Ты ждешь, чтоб я тебя простила? Никогда — слышишь? Ты готов искупить вину? Ты глуп. — Она откинула голову: в глазах ее горела нестерпимая тоска. — Я опозорена. Но он простит меня, у него нежная душа. Меня только мучит мысль, что вдруг когда-нибудь у него возникнет подозрение, что, может,

ты взял меня не силой, что я сама отдалась тебе за сыр и масло, за шелковые чулки. Я была бы не единственная, такие есть. Во что превратится тогда наша жизнь? Между нами будет стоять ребенок — ребенок, прижитый от немца. Твой ребенок, такой же большой и белокурый, такой же голубоглазый, как ты. О Боже, Боже, за что я так наказана?

Она порывисто встала и вышла из кухни. С минуту все трое, оставшиеся в кухне, молчали. Ганс уныло уставился на бутылку с шампанским. Потом вздохнул и поднялся. Когда он шагнул к двери, мадам Перье последовала за ним.

— Ты это серьезно сказал, что женишься на ней? — спросила она вполголоса.

— Да. Абсолютно серьезно. Я люблю ее.

— И ты не заберешь ее отсюда? Ты останешься здесь и будешь работать на ферме?

— Даю слово.

— Старик мой вечно работать не сможет, это ясно. Дома тебе пришлось бы делить все с братом. Здесь тебе ни с кем не придется делиться.

— Да, и это тоже, конечно, имеет значение.

— Мы никогда не одобряли, что Аннет собирается замуж за этого своего учителя. Но тогда еще был жив сын. Он говорил, пусть выходит, за кого хочет. Аннет любит его без памяти. Но теперь сын наш, бедный мальчик, умер, теперь дело другое. Одной ей с фермой не управиться, если б даже она захотела.

— Просто срам продавать такую ферму. Я-то знаю, как дорога человеку своя земля.

Они дошли до дороги. Мадам Перье взяла его за руку, слегка сжала ее.

— Приходи опять поскорее.

Ганс видел, что старуха держит его сторону. Этой мыслью он и утешался, когда ехал обратно в Суассон. Досадно, что Аннет влюблена в другого. По счастью, он в плену. К тому времени, как его выпустят, ребенок успеет родиться. И это может изменить отношение Аннет. Женщин разве поймешь? У них в деревне одна была так влюблена в своего мужа, что над ней все потешались, а потом она родила и мужа после этого просто видеть не могла. Как знать, может, что-нибудь в этом роде — только наоборот — произойдет и с Аннет. Теперь, когда он предложил ей вступить с ним в брак, она должна понять, что он парень порядочный. Бог ты мой, до

чего же трогательный был у нее вид, когда она сидела вот так, откинув назад голову. И как замечательно она говорила! Актриса на сцене и то не сумела бы выразить все это лучше. И при этом слова ее звучали так естественно. Да, надо признаться, французы говорить умеют. Аннет, безусловно, умна. Даже когда она язвит его своим злым языком, слушать ее — наслаждение. У него у самого не такое уж плохое образование, но он не стоит ее мизинца. Она культурная, вот уж чего у нее не отнять.

— Осел я, — сказал он вслух, продолжая нестись на своем велосипеде. Она же сама сказала про него, что он рослый, сильный, красивый. Разве б она так сказала, если б все это не имело для нее ровно никакого значения? И про ребенка она говорила, что у него глаза будут голубые, как у отца. Провались он на этом месте, если его светлые кудри и голубые глаза не произвели на нее впечатления! Ганс хихикнул. Дай срок. Запасемся терпением, а природа свое дело сделает.

Недели проходили одна за другой. Командир части в Суассоне был человек пожилой, не педант: зная, что ожидает солдат весной, он не слишком донимал их работой. Немецкие газеты утверждали, что Англия совершенно разрушена налетами *Luftwaffe*¹ и что население страны охвачено паникой. Немецкие подводные лодки топят британские суда десятками. Англия голодает. Близятся большие перемены. К лету все будет кончено, немцы станут хозяевами мира. Ганс написал родителям, что собирается жениться на французенке и в придачу получит отличную ферму. Он предложил брату занять денег и выкупить его, Ганса, долю в хозяйстве, чтобы Ганс мог прикупить земли во Франции, расширить участок при ферме. После войны, да при теперешнем курсе, землю можно будет купить за гроши. Ганс расхаживал по ферме со стариком Перье и делился с ним своими планами. Тот спокойно его выслушивал. Надо будет обновить инвентарь. Он, как немец, получит льготы. Трактор устарел, Ганс привезет отличный новый из Германии, и механический плуг тоже. Чтобы ферма давала доход, надо применять новейшие усовершенствования. Мадам Перье потом передавала Гансу, что муж ее считает его очень дельным и знающим. Она теперь принимала Ганса радушно и

¹ Германский военно-воздушный флот (нем.).

настояла на том, чтобы он обедал у них каждое воскресенье. Она переименовала его имя на французский лад и звала его Жаном. Он охотно помогал по хозяйству. Аннет уже не могла выполнять тяжелую работу, и на ферме был очень полезен человек, всегда готовый подсобить, если нужно.

Аннет держалась все так же неприступно и враждебно. Она никогда не заговаривала с ним сама, только отвечала, если он что спрашивал, и при малейшей возможности уходила наверх, к себе в комнату. Когда наверху становилось совсем уж невыносимо холодно, она спускалась в кухню, усаживалась возле печки, шила или читала, не обращая на Ганса ни малейшего внимания, будто его тут и не было. Она поздоровела, расцвела, на щеках у нее заиграл румянец. В глазах Ганса она была красавицей. Близящееся материнство придавало ей какое-то особое достоинство, Ганс глядел на нее и ликовал в душе.

Однажды, подъезжая к ферме, он увидел, что по дороге навстречу идет мадам Перье и машет рукой, чтобы он остановился. Ганс резко затормозил.

— Я поджидаю тебя уже целый час. Думала, ты и не приедешь. Не заходи к нам сегодня. Пьер умер.

— Какой Пьер?

— Пьер Гавэн. Учитель, за которого Аннет собиралась замуж.

Сердце у Ганса радостно дрогнуло. Вот это удача! Теперь он свое возьмет.

— Она очень расстроена?

— Она не плачет. Я было пыталась заговорить с ней, но она на меня так и накинулась. Если ты ей сегодня покажешься на глаза, она, чего доброго, всадит в тебя нож.

— Я ж не виноват, что он умер. Как вы об этом узнали?

— Его друг бежал из плена, пробрался через Швейцарию. Он написал Аннет. Письмо получили сегодня утром. Заключение в лагере подняли бунт: их там морили голодом. И зачинщиков расстреляли. Среди них оказался и Пьер.

Ганс молчал. Пьер, по его мнению, получил по заслугам. Они что ж, воображают, что концентрационный лагерь — это им курорт, что ли?

— Дай ей время прийти в себя, — продолжала мадам Перье. — Когда успокоится, я с ней переговорю. Я напишу, когда тебе можно будет зайти к нам.

— Ладно. Вы меня поддержите, а?

— Можешь быть уверен. Мы с мужем согласны. Мы все обсудили и порешили на том, что нам ничего не остается, как принять твоё предложение. Он не дурак, мой муж, а он говорит, что единственное спасение для Франции — это содружество с немцами. И уж что бы там ни было, ты мне пришелся по душе. Я даже так думаю, что ты более подходящий муж для Аннет, чем тот учитель. Да еще ребенок у вас будет, и все такое.

— Я хочу, чтобы это был мальчик, — сказал Ганс.

— Мальчик и будет, я наверняка знаю. Я уже гадала на кофейной гуще. И на картах гадала. Каждый раз выходит одно и то же: будет мальчик.

— Чуть было не забыл, тут у меня для вас газеты, — сказал Ганс, поворачивая мотоцикл и собираясь садиться.

Он передал ей три номера «Пари суар». Старик Перье читал их каждый вечер. Он читал о том, что французы должны трезво смотреть на факты, что они должны признать «новый порядок», который Гитлер собирается установить в Европе; он читал о том, что немецкие подводные лодки повсюду бороздят моря, что генеральный штаб продумал в мельчайших деталях план кампании, которая поставит Англию на колени, и что американцы слишком плохо подготовлены, слишком неоперативны, слишком раздроблены, чтобы оказать помощь Англии. Он читал о том, что Франция должна воспользоваться самым небом посланной ей возможностью и в лояльном сотрудничестве с немецким рейхом восстановить свое почетное положение в обновленной Европе. И писали все это не немцы, нет, — сами французы. Перье одобрительно кивал головой, читая о том, что плутократы и евреи будут истреблены и что простой народ во Франции возьмет наконец то, что принадлежит ему по праву. Они это верно говорят, те умные люди, которые объясняют, что Франция — в основе своей страна земледельческая и ее опора — трудолюбивые фермеры. Во всем этом есть здравый смысл.

Как-то вечером, когда они кончали ужинать — прошло десять дней после получения известия о смерти Пьера Гавэна, — мадам Перье, заранее договорившись с мужем, обратилась к Аннет:

— Я на днях написала Жану, чтоб он зашел к нам завтра.

— Спасибо за предупреждение. Я не выйду из своей комнаты.

— Послушай, дочка, пора бросить глупости. Смотри на вещи трезво. Пьер умер. Жан тебя любит, готов на тебе жениться. Парень он красивый. Любая девушка гордилась бы таким мужем. Как нам управиться на ферме без его поддержки? Он обещал купить на свои деньги трактор и плуг. Уж что было, то было, постарайся забыть об этом.

— Зря тратишь слова, мама. Я и прежде зарабатывала себе на жизнь, заработаю и потом. Я его ненавижу. Мне ненавистно его тщеславие, его самонадеянность. Я готова убить его. Но мне и смерти его мало. Я хотела бы причинить ему такие муки, какие он причинил мне. Мне кажется, я умру спокойно, только если найду способ ранить его так же больно, как он меня.

— Какой ты вздор говоришь, бедное ты мое дитя.

— Мать права, дочка, — сказал Перье. — Нас победили, и приходится мириться с обстоятельствами. Мы помнее их, и если сумеем пустить в ход свои козыри, мы еще окажемся в выигрыше. Франция вся насквозь прогнила. Евреи и плутократы — вот кто погубил нашу страну. Почитай-ка газеты, сама поймешь.

— И ты полагаешь, что я верю хоть единому слову этой газетки? Ты думаешь, почему он тебе ее таскает? Потому что это продажная газетка, она продана немцам. Те, кто пишет в ней, — изменники. Да, изменники! Господи, хоть бы дожить мне до того дня, когда толпа разорвет их в клочки! Все они куплены, куплены на немецкие деньги. Подлецы!

Мадам Перье начала терять терпение.

— И что ты так взъелась на парня? Ну да, он взял тебя силой. Он был пьян, ничего не соображал. Не ты первая, не ты последняя, с кем такое случилось. Ведь вот он тогда ударил твоего отца, из него кровь хлестала, как из борова, а разве отец твой помнит зло?

— История неприятная, но я предпочитаю забыть о ней, — сказал Перье.

Аннет насмешливо захохотала.

— Тебе бы священником быть. Ты прощаешь обиды с истинно христианским смирением.

— Ну и что тут плохого? — сердито сказала мать. — Парень сделал все, что мог, чтобы загладить вину. Где бы отец твой доставал табак все эти месяцы, если бы не Жан? И если мы не голодали, так только благодаря Жану.

— Будь у вас хоть капля гордости, хоть малейшее чувство достоинства, вы бы швырнули ему в лицо его подачки.

— Ты ведь тоже кое-чем от них попользовалась. Скажешь, нет?

— Нет! Ни разу!

— Это неправда, и ты сама отлично это знаешь. Да, ты отказывалась есть сыр, который он принес, и масло, и сардины. Но суп ты ела, а я в него положила мясо, которое принес нам Жан. И вот этот салат сегодня за ужином: ты бы ела его без всякой приправы, если бы Жан не достал мне масла.

Аннет глубоко вздохнула. Она провела рукой по глазам.

— Знаю. Я не хотела притрагиваться, но не могла удержаться: я так наголодалась. Да, я знала, что в супе мясо, которое он принес, и все-таки поела супу. И я знала, что салат приправлен его маслом. Я решила отказаться, но мне так хотелось есть! Это не я его ела, а голодный зверь, который сидит во мне.

— Так ли, этак ли, а суп ты ела.

— Да, со стыдом, с отчаянием в душе. Сперва они сломили танками и самолетами нашу силу, а теперь, когда мы беззащитны, сокрушают наш дух, морят нас голодом.

— Драмы разводить, дочка, ни к чему, этим делу не поможешь. Ты женщина образованная, а здравого смысла в тебе нет. Забудь про то, что было, подумай, ведь ребенку нужно дать отца, не говоря уж о том, что мы получим такого ценного работника на ферме. Он один стоит двух батраков. Так-то будет благоразумнее.

Аннет устало пожала плечами, и все трое умолкли.

На следующий день приехал Ганс. Аннет хмуро взглянула на него, но не шелохнулась, не проронила ни слова. Ганс улыбнулся.

— Спасибо, что не убежала от меня, — сказал он.

— Родители приглашали тебя зайти. Они ушли в деревню. Я пользуюсь случаем поговорить с тобой начистоту. Садись.

Он снял шинель и каску, пододвинул стул к столу.

— Отец с матерью хотят, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты повел себя ловко. Своими подачками и посулами ты обвел их вокруг пальца. Они верят тому, что пишут в газетке, которую ты им носишь. Так вот, знай: я никогда не стану твоей женой. Я прежде не подозревала, я и представить

себе не могла, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу тебя.

— Послушай, давай я буду говорить по-немецки. Ты достаточно хорошо знаешь немецкий, поймешь, что я скажу.

— Еще бы мне не знать немецкий! Я преподавала его. Я два года была гувернанткой двух девочек в Штутгарте.

Ганс перешел на немецкий, она же продолжала говорить по-французски.

— Я не только люблю тебя, я тобой восхищаюсь. Я восхищаюсь твоими манерами, твоей культурностью. В тебе есть что-то для меня непонятное. Я уважаю тебя. Ну да, я понимаю, сейчас ты не захочешь выйти за меня замуж, будь это даже возможно. Но ведь Пьер умер.

— Не смей произносить его имя! — крикнула она вне себя. — Этого еще не хватало!

— Я только хотел выразить тебе сочувствие по поводу того, что он...

— Безжалостно расстрелян немецкими тюремщиками.

— Может, со временем ты станешь горевать о нем меньше. Знаешь, когда умирает человек, которого любишь, кажется, этого и не пережить. Но постепенно оно забывается. Ну а в таком случае, ты не думаешь, что твоему ребенку нужен отец?

— Допустим, если б я даже не любила другого: неужели ты воображаешь, что я смогла бы когда-нибудь забыть, что ты немец, а я француженка? Если бы ты не был туп, как только могут быть тупы немцы, ты бы сообразил, что ребенок этот будет для меня вечным укором. Думаешь, у меня нет друзей? Как я стану глядеть им в глаза — я, у которой ребенок от немецкого солдата? Я прошу тебя об одном: оставь меня одну с моим позором. Уходи, ради бога, уходи и никогда не возвращайся.

— Но ведь это и мой ребенок. Я хочу его.

— Ты? — воскликнула она изумленно. — Что он тебе — ребенок, зачатый в скотском опьянении?

— Ты не понимаешь. Я горд и счастлив. Когда я услышал, что ты родишь, я тут-то и понял, что люблю тебя. Я сперва и сам не поверил, до того это было неожиданно. Неужели ты не понимаешь? Он для меня все на свете, этот ребенок. Не знаю, как тебе выразить это. Он меня так задел за душу, что я сам себя не понимаю.

Аннет внимательно посмотрела на него, и глаза ее странно блеснули. Казалось, она торжествует. Она коротко рассмеялась.

— Не знаю, что во мне сильнее: ненависть к скотству немцев или презрение к их сентиментальности.

Он, казалось, не слышал ее.

— Я все время только о нем и думаю.

— Ты так уверен, что будет мальчик?

— Я знаю, что будет мальчик. Мне хочется держать его на руках, я хочу сам учить его ходить. А когда подрастет, научу всему, что сам знаю. Научу ездить верхом, научу стрелять. В вашем ручье рыба водится? Научу его удить рыбу. Я буду самым счастливым отцом на свете.

Она смотрела на него в упор холодным, жестким взглядом. Выражение лица у нее было напряженное, суровое. Страшная мысль возникала и складывалась у нее в мозгу. Он улыбнулся ей обезоруживающей улыбкой.

— Когда ты увидишь, как крепко я люблю нашего сына, ты, может, меня тоже полюбишь. Я буду тебе хорошим мужем, моя красавица.

Она молчала. И только по-прежнему смотрела на него пристально и мрачно.

— Неужели у тебя не найдется для меня ласкового словечка? — сказал Ганс.

Аннет вспыхнула. Она крепко стиснула руки.

— Пусть меня презирают другие. Но я никогда не совершу поступка, за который буду презирать себя сама. Ты мой враг и всегда останешься для меня врагом. Мне бы только дожить до того дня, когда Франция будет снова свободна. День этот настанет. Пусть через год, через два, может, даже через тридцать лет, но он настанет. Остальные могут поступать, как им заблагорассудится, но я никогда не примирюсь с теми, кто поработил мою родину. Я ненавижу и тебя, и ребенка, которого зачала от тебя. Да, мы потерпели поражение. Но это не значит, что мы покорены, ты это еще увидишь. А теперь иди. Я приняла твердое решение, и никакая сила на свете не заставит меня изменить ему.

Минуты две он молчал.

— Ты позаботилась насчет доктора? Все расходы я беру на себя.

— Ты что, думаешь, мы хотим расславить наш позор по всей округе? Мать сама сделает все, что нужно.

— Ну а что, если роды пойдут неблагополучно?

— А что, если ты не будешь соваться не в свое дело?

Ганс вздохнул и поднялся со стула. Он вышел, прикрыв за собой дверь. Она следила за ним в окно, пока он шел по тропинке, ведущей к дороге. С яростью в душе она вдруг осознала, что какие-то сказанные им слова разбредили в душе ее чувство, неведомое ей прежде.

— Боже, Боже мой, дай мне сил! — выкрикнула она в отчаянии.

Старая дворняжка, много лет прожившая на ферме, подскочила к Гансу, свирепо на него лая. Ганс вот уже несколько месяцев пытался приручить собаку, но все без толку. Когда он тянулся ее погладить, она отскакивала, рыча и скаля зубы. И сейчас, вымещая на ней обиду за неоправдавшиеся надежды, давая выход раздражению, Ганс сильным пинком грубо отшвырнул собаку, она отлетела в кусты, взвыла и, прихрамывая, побежала прочь.

— Зверь! — воскликнула Аннет. — Все ложь, ложь! И я еще по слабости своей чуть не начала его жалеть!

На стене возле двери висело зеркало. Аннет подошла к нему. Она выпрямилась и улыбнулась своему отражению. Но улыбка получилась похожая на злобную гримасу.

Стоял уже март. В суассонском гарнизоне началась кипучая деятельность. Усиленная муштра и то и дело инспекции. Носились всякие слухи. Несомненно, часть готовили куда-то к отправке, но куда именно, об этом рядовые солдаты могли только гадать. Одни полагали, что наступил наконец момент вторжения в Англию, другие держались того мнения, что их пошлют на Балканы; поговаривали и об Украине. Все это время Ганс был очень занят. На ферму он смог поехать только через две недели.

День выдался пасмурный, холодный. Моросил дождь, но казалось, он, того и гляди, перейдет в снег и ветер подхватит и закружит снежные хлопья. Все вокруг было сумрачно и безрадостно.

— Наконец-то! — воскликнула мадам Перье, когда вошел Ганс. — Мы уж думали, ты помер.

— Раньше приехать не мог. Каждый день ждем приказа об отправлении. Когда будет приказ, неизвестно.

— Ребенок родился сегодня утром. Мальчик.

От бурной радости сердце у Ганса захолонуло. Он кинулся к старухе, обнял ее и расцеловал в обе щеки.

— В воскресенье родился, счастливым будет. Ну, сейчас откупорим шампанское. Как чувствует себя Аннет?

— Хорошо — насколько хорошо можно чувствовать себя в ее положении. Роды были легкие. С ночи начались схватки, а к пяти утра уже родила.

Старик Перье сидел у самой печки, курил трубку. Он спокойно улыбнулся не помнящему себя от радости Гансу.

— Это со всеми так бывает, когда у кого родится первый ребенок, — сказал он.

— Волосики у мальчика густые, и они светлые, как у тебя. А глаза голубые. Все так, как ты и думал, — сказала мадам Перье. — Первый раз вижу такого красивого младенчика. Весь будет в папу.

— Бог ты мой, до чего же я рад! — восклицал Ганс. — До чего же здорово жить на свете! Я хочу повидать Аннет.

— Не знаю, согласится ли она. Нельзя ее тревожить, а то еще молоко пропадет.

— Нет-нет, тогда не надо. Ни в коем случае. Если не хочет меня видеть, не надо. Но дайте мне хоть на минутку взглянуть на сына!

— Подожди. Попробую принести его сюда.

Мадам Перье вышла. Слышны были ее тяжелые шаги, пока она медленно взбиралась по лестнице. Но почти тут же ступени снова затрещали под ее быстрыми шагами. Она, запыхавшись, вбежала в кухню.

— Ее там нет. Ее нет в комнате. И ребенка нет.

Перье и Ганс вскрикнули, и все трое, не соображая, что делают, кинулись по лестнице вверх. Резкий свет зимнего дня беспощадно обнажал убогую обстановку: железная кровать, дешевый шкаф, комод. В комнате никого не было.

— Где она? — вопила мадам Перье. Она выбежала в узкий коридорчик, распахнула там двери, громко звала дочь:

— Аннет! Аннет! Господи, она просто с ума сошла!

— Может, она внизу, в гостиной?

Они бросились вниз, вбежали в гостиную, давно нежилую. Оттуда пахло ледяным холодом. Они заглянули в кладовку.

— Нигде нет! Ушла! Случилось что-то ужасное!

— Как она могла уйти из дому? — спросил Ганс, замирая от тревоги.

— Да через парадную дверь, дурень ты!

Перье пошел к парадной двери, осмотрел ее.

— Да, верно. Засов отодвинут.

— Господи! Боже мой! — вскрикивала мадам Перье. — Это погубит ее!

— Надо ее поискать, — сказал Ганс. По привычке он побежал обратно в кухню — он всегда входил и выходил только через кухню. Старики бежали за ним следом.

— Куда идти?

— Господи! Ручей... — вдруг ахнула старуха.

Ганс остановился как вкопанный. Он ошеломленно, с ужасом смотрел на старуху.

— Мне страшно! — кричала она. — Мне страшно!

Ганс распахнул дверь, и в тот же момент вошла Аннет. На ней была только ночная рубашка и тонкий халатик из вязкого шелка: бледно-голубые цветы по розовому полю. Она вся вымокла, мокрые, распущенные волосы прилипли к голове и свисали на плечи грязными, путанными прядями. Она была смертельно бледна. Мадам Перье кинулась к дочери, обняла ее.

— Где ты была? Бедная моя дочка, ты промокла насквозь. Сумасшедшая!

Но Аннет оттолкнула ее. Она взглянула на Ганса.

— Ты пришел вовремя.

— Где ребенок? — воскликнула мадам Перье.

— Я должна была сделать это немедленно. Я боялась, что позже у меня не хватит мужества.

— Аннет, что ты сделала?

— То, что велел мне долг. Я опустила его в ручей и держала под водой, пока он не умер...

Ганс дико вскрикнул — это был крик смертельно раненного зверя. Он закрыл лицо обеими руками и, шатаясь, как пьяный, кинулся вон из дома. Аннет рухнула в кресло и, опустив голову на сжатые кулаки, страстно, неистово зарыдала.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Макинтош. <i>Перевод И. Гуровой</i>	7
Рыжий. <i>Перевод Е. Бучацкой</i>	40
Дождь. <i>Перевод И. Гуровой</i>	62
Ровно дюжина. <i>Перевод М. Лорие</i>	103
Записка. <i>Перевод В. Маянц</i>	130
Мэйхью. <i>Перевод В. Ашкенази</i>	163
Сальваторе. <i>Перевод Н. Чернявского</i>	167
На окраине империи. <i>Перевод Норы Галь</i>	172
Мираж. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	204
Друзья познаются в беде. <i>Перевод Норы Галь</i>	224
Пустячный случай. <i>Перевод М. Литвиновой</i>	229
Возвращение. <i>Перевод Н. Чернявского</i>	249
Стрекоза и муравей. <i>Перевод И. Гуровой</i>	254
Завтрак. <i>Перевод И. Красногорской</i>	258
Луиза. <i>Перевод Н. Ромм</i>	263
За час до файфоклока. <i>Перевод Е. Калашиниковой</i>	270
Джейн. <i>Перевод Норы Галь</i>	297
Поэт. <i>Перевод Норы Галь</i>	324
Корыто. <i>Перевод В. Артемова</i>	329
Мистер Всезнайка. <i>Перевод Н. Ромм</i>	338
Падение Эдварда Барнарда. <i>Перевод Р. Облонской</i>	345
Человек со шрамом. <i>Перевод В. Ашкенази</i>	378
В поисках материала. <i>Перевод И. Красногорской</i>	382
Непокоренная. <i>Перевод Н. Дехтеревой</i>	386

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Собрание сочинений в 9 томах

Том 8

Редактор И. Куцин

Художественный редактор И. Марев

Технический редактор Т. Фатюхина

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0101136.

Подписано в печать 08.09.00 г.

Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂.

Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84.

Уч.-изд. л. 23,85. Заказ № 892.

ТЕРРА—Книжный клуб.

113093, Москва, ул. Щипок, 2.

Оригинал-макет подготовлен ООО «Галатей».

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

